

18+

Александр Подрабинек

Диссиденты

«Эмиграция или лагерь? Верность или слабость? Преданность или предательство? Достойный выбор в СССР был невелик: сначала свобода, потом тюрьма.»

Александр Подрабинек

Диссиденты

Москва
АСТ

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
П44

Дизайн перепелета — *Ирина Сальникова*

В книге использованы фотографии
из личного архива Александра Подрабиника,
в том числе фотоработы Юрия Гримма

Подрабинек, Александр Пинхосович

П44 Д Dissиденты / Александр Подрабинек. — Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2014. — 477, [3] с. — (Мемуары — XX век).

ISBN 978-5-17-082401-4

Это книга воспоминаний о диссидентской Москве 1970–1980-х. Ее автор — Александр Подрабинек — активный участник правозащитного движения. В 1978-м был арестован по обвинению в клевете на советский строй и сослан на 5 лет в Северо-Восточную Сибирь. В 1979 в США вышла его книга «Карательная медицина». В 1980-м вновь арестован и приговорен к 3,5 годам лагерей.

«Эмиграция или лагерь? Верность или слабость? Преданность или предательство? Достойный выбор в СССР был невелик: сначала свобода, потом тюрьма».

ISBN 978-5-17-082401-4

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

© Подрабинек А.П.
© ООО «Издательство АСТ»

Оглавление

Как бросить курить и начать писать мемуары (вместо предисловия)	9
--	---

ЧАСТЬ I

Детство	13
Пушкинская площадь	14
Электросталь	19
Москва	24
Человек свободы	27
Московские будни	29
Три товарища	35
Дамы из прошлого века	36
Писательский зуд	48
Нетерпение	55
От иллюзий к делу	57
Психиатрия: первые шаги	64
«Узнаёшь брата Сашу?»	69
1977. Таллин. Новый год	76
Беляевский треугольник	77
Наш ответ Чемберлену	83
Поездка в Сибирь	86
Империя наносит ответный удар	95
Запад — Восток	102
Cherchez la femme	106
Генеральная репетиция	109
Прощай, оружие!	114
Искусство допроса	117

Корреспонденты и дипломаты	124
«Скорая помощь»	129
Под прицелом КГБ	133
Никто не хотел уезжать	142
Наружка	146
Первое испытание	160
Заложники	161
Минута слабости	207
Наш человек в КГБ	212
Рабочая комиссия	225
Последние деньки	235

ЧАСТЬ II

«Матросская Тишина»	243
Малолетки	250
Следствие	253
Суд	260
Красная Пресня	277
Дальняя дорога	281
Чуна	293
Бармакон	295
Свадебное путешествие	301
Полюс холода	311
Тюрьма Якутская	341
Смертники	345
Идиотское следствие	350
Эрос не дремлет	353
Трудности судопроизводства	356
И снова суд	361
Большая Марха	364
«Труд — дело чести, доблести и геройства»	366
Тюрьма в тюрьме	372
Уголовники	377

«Только на зеленый»	380
Ломка.....	389
Одиночество.....	391
Голод.....	401
Холод.....	412
Сны.....	416
Еще одна минута слабости	419
Стукачи	425
Чахотка.....	438
Больничка	443
Изгнание из рая.....	451
Приятная лагерная жизнь.....	455
Последний забег	464
Ода телогрейке.....	468
Искушение свободой	470

Как бросить курить и начать писать мемуары (вместо предисловия)

Как-то в ПКТ — внутрилагерной тюрьме — очень короткое время я сидел в общей камере. Как бы каникулы от одиночки. И вот сидим мы в камере, шесть мужиков, о еде — ни слова, о женщинах — тем более. И все стонут — покурить бы. Нет курева, уши пухнут. Наконец камерный весельчак Паша-армян развел надзирателя на две пачки сигарет. На спор. Подзывает его к кормушке:

— Ты какого года рождения?

— Пятьдесят девятого, — отвечает крошечного роста молодой дубак с большими ушами по кличке Миклухо.

— Не может быть, ты не такой старый, — заводит его Паша.

— Да точно, — отвечает Миклухо.

— Не верю. Давай спорить, что ты врешь! На две пачки сигарет.

— Да чо спорить — я чо, не знаю, когда родился?

— Ну так спорим?

Поспорили. И тут умный Паша говорит глупому Миклухе:

— Ты не пятьдесят девятого года рождения, а тысяча девятьсот пятьдесят девятого! Ты же больше, чем на тысячу лет, никак не выглядишь!

Сигареты наши! Надолго ли... И тут я решаю: надо бросать курить. Во-первых, независимость — от привычки, от

ментов, от денег. Во-вторых, пощажу легкие — уберегусь от туберкулеза. Паша тоже решил бросить. Мы договорились так: в первый день выкуриваем пять сигарет, во второй — четыре, и так далее до пятого дня. На пятый день выкурили по одной и бросили. А чтобы не получилось, как у Марка Твена, который «сам бросал десятки раз», договорились под четыреста присядок. Кто-нибудь пробовал присесть четыреста раз кряду? И на вольных харчах трудно, а на тюремных — практически невозможно. Но мы в уголовном мире, проиграл — плати. Иначе... Поэтому лучше не проигрывать.

Я недолго отдыхал в общей камере и скоро вернулся в свою одиночку. Не буду описывать, какой пробуждается аппетит, когда бросаешь курить. Да на тюремной баланде. Но я терпел. После череды карцеров и одиночки я бы и ста раз не присел. Недели через две выхожу вечером в коридор наполнить бачок питьевой водой, надзиратель где-то замешкался, а я тем временем поднимаю глазки в камерах, здороваюсь, перекидываюсь парой словечек с зэками. В одной камере вижу: лежит Паша на верхней шконке и курит! Я ему кричу: «Паша, четыреста присядок за тобой!» Паша в ауте: «Ай, Декабрист поймал меня!» (У меня в лагере кликуха была — Декабрист.) И что самое забавное: Паша только что проиграл двести присядок в карты, присел половину и лег передохнуть с сигареткой в зубах. Тут-то ему и прилетело еще четыреста. Но Паша был славный парень, и я скостил ему долг — до двух раз по двести. Он после этого все посматривал за мной — не курю ли?

Следующие пятнадцать лет я не курил. Иногда очень хотелось. Одно останавливало — вдруг Паша узнает? На пересылках всем все известно. И я держался.

Так к чему я это? А к тому, что, выражаясь по-лагерному, за базар надо отвечать. И дернул же меня черт осенью 2008 года поддаться уговорам начать писать мемуары. Пообещал Игорю Губерману. Теперь приходится выполнять. Губерман ведь тоже бывший зэк, вдруг предъявит?

ЧАСТЬ I

Детство

Все началось с радиолы «Кама» — с прекрасными белыми клавишами, которые издавали восхитительный звук при переключении диапазонов. Мы жили небогато, и покупка была значительной. Но папа решился. Мы притащили «Каму» домой, включили, нашли «Голос Америки» и первое, что услышали, — песню Булата Окуджавы про бумажного солдатика. Это было в середине 60-х годов.

Мы жили втроем: папа, брат Кирилл, который годом меня старше, и я. Мама наша умерла от рака желудка, когда я был в первом классе. Папа очень любил ее и удержался в жизни только из-за нас. Со временем боль притупилась, и он иногда спрашивал нас, а не жениться ли ему вот на этой, а потом — вот на этой? Мы с братом всякий раз морщились, не понимая, зачем нужна в доме чужая женщина, когда нам и втроем хорошо.

Мы часто говорили о политике, много спорили. Радиола «Кама» внесла в наши споры осмысленность — мы стали получать настоящую информацию из передач западных радиостанций. Мне было тринадцать, брату — четырнадцать, и мы уже понимали, какая ложь окружает нас в школе, на улице, в кино. С детским азартом мы все проверяли на подлинность и с восторгом убеждались в собственной правоте.

О демонстрации, прошедшей 5 декабря 1966 года на Пушкинской площади, мы узнали, конечно, тоже по западному радио. И тогда же решили, что в следующем году обязательно пойдем туда и примем участие. 5 декабря 1967 года рано утром мы выехали на электричке из своей подмосковной Электростали в Москву. Нас было четверо — с нами был Юра, школьный приятель Кирилла. Единственная проблема — мы не знали, в какое время состоится демонстрация. Радио не сообщало об этом. Мы почему-то решили, что самое разумное — в полдень. Купили цветы, приехали на Пушкинскую площадь. Она не была оцеплена, как мы ожидали, но обилие милиции и характерных людей в штатском не оставляло сомнений — ждут демонстрантов. Тем временем, увидев, что делается на площади, Юра испугался и ушел. Однако демонстрантов никаких не было, только мы. Отступить было невозможно. Мы подошли к памятнику, положили цветы на пьедестал, сняли шапки и некоторое время постояли молча, ожидая, что нас вот-вот утащат в КГБ. На нас действительно обратили внимание, но никто никуда не потащил. Мы спокойно ушли оттуда. Специально не оглядывались. Перевели дух, только проехав несколько станций метро. Вечером из передач западного радио мы узнали, что демонстрация состоялась, но только прошла она в шесть вечера.

Мне было четырнадцать лет, и это была моя первая победа. Не над коммунистической властью, конечно, а над самим собой, над своим страхом, над своей уверенностью в неизбежности ареста.

Пушкинская площадь

Первая демонстрация на Пушкинской площади прошла 5 декабря 1965 года с требованием гласного суда над Синявским и Даниэлем. С тех пор демонстрации проводились там каждый год. Хорошее место. Достаточно большое, чтобы там могли собраться сотни две протестующих, и достаточно маленькое, чтобы демонстранты не потерялись на огромной площади.

Ритуал был всегда один и тот же — ровно в шесть вечера диссиденты снимали головные уборы в память о погибших и сидящих сегодня политзаключенных. На декабрьском морозе было сразу ясно видно, кто пришел протестовать, а кто — хватать протестующих или просто полюбопытствовать.

В начале 70-х годов на Пушкинской площади 5 декабря я впервые увидел Солженицына. Он стоял рядом с Сахаровым, и оба были на голову выше остальных.

На площади в этот день всегда было множество западных корреспондентов, и власти долгое время стеснялись устраивать погромы. КГБ и оперативный комсомольский отряд МГУ заполняли площадь, выхватывая из толпы и на подходе к площади тех диссидентов, которых знали в лицо. Некоторых держали в милицейских машинах, других отвозили в отделения милиции, кого-то просто катали по городу, пока не закончится демонстрация. Иногда мелко пакостили. Американскому корреспонденту Джорджу Крымски как-то прокололи все четыре колеса его автомобиля, припаркованного неподалеку от площади.

В 1976 году традицию молчаливой демонстрации нарушила Зинаида Михайловна Григоренко, жена генерала Петра Григоренко*. Она произнесла небольшую речь о наших политзаключенных, и никто не посмел ее арестовать. Однако вслед за этим началась потасовка. Главной мишенью оказался Андрей Дмитриевич Сахаров — оперотрядники и чекисты начали бросать в него полиэтиленовые пакеты с песком и грязью с тротуара. Потом дело дошло до рукопашной. Виктор Некипелов** и я оказались рядом с Сахаровым, в небольшом темном закутке на периферии площади, и так не слишком хорошо освещенной. Андрей Дмитриевич был к потасовкам не приспособлен, и мы с Виктором отбивались за троих. Им, однако же, удалось свалить Сахарова в снег, а какой-то боров в штатском еще и лег сверху, придавив его к земле. Я стал поднимать Сахарова за руку, спихнув борова на землю и креп-

* Петр Григорьевич Григоренко (1907–1987) — генерал-майор Советской армии, начальник кафедры военной кибернетики Военной академии им. Фрунзе, политзаключенный, член Московской хельсинкской группы (МХГ).

** Виктор Александрович Некипелов (1928–1989) — врач-фармацевт, поэт, публицист, член МХГ, политзаключенный.

ко упираясь ногой ему в живот, отчего тот согнулся пополам, но затем я получил сзади сильный удар по затылку и на некоторое время отключился. Меня потащили к милицейской машине, но тут подоспели Некипелов и кто-то еще из наших, кажется, Юра Гримм*, и меня отбили. Сахаров тем временем сумел подняться и присоединиться к основной группе диссидентов на площади, где его взяли в кольцо и отвели к машине кого-то из западных корреспондентов. Больше Андрей Дмитриевич в демонстрациях на Пушкинской площади не участвовал.

В 1977 году была принята новая Конституция и ситуация изменилась. Не с правами человека, а с датой праздника. День Конституции перенесли с 5 декабря на 7 октября. Среди московских диссидентов начались жаркие споры, в какой день теперь выходить на традиционную демонстрацию: 7 октября, в новый День Конституции, или 10 декабря, в День прав человека? В конце концов международная дата победила советскую.

Однако КГБ начал действовать жестче, и 10 декабря многие известные диссиденты с самого утра были заблокированы в своих квартирах. Других забирали на подходе к Пушкинской площади. Тем не менее несколько десятков человек все же добрались до памятника и провели традиционную молчаливую демонстрацию.

Меня, как и многих других, с утра блокировали в квартире. Я тогда жил у моего друга Димы Леонтьева** на Новоалексеевской улице, в двух шагах от метро «Щербаковская». Собственно говоря, блокировать меня было и не надо — уже много недель за мной ходила наружка, фиксируя каждый шаг, каждый разговор, дыша в затылок и наступая на пятки. На сей раз несколько чекистов вышли из машин и расположились в подъезде.

У нас, как всегда, собралось много друзей. Вот ситуация: сидим в квартире и понимаем, что, если попытаемся поехать на Пушкину, — заметут. Можно сидеть, потому что «нас забло-

* Юрий Леонидович Гримм (1935–2011) — политзаключенный, член редколлегии самиздатского журнала «Поиски».

** Дмитрий Анатольевич Леонтьев (1955–1982) — пианист, писатель, участник демократического движения в СССР.

кировали». Можно пойти и провести время в отделении. Кто сказал, что в СССР нет свободы выбора? Выбор всегда есть. Сидеть в милиции — пошло и скучно. Сидеть дома — значит принять навязанные нам правила игры. Мы с Таней Осиповой* решаем идти напролом — и будь что будет. Выходим из квартиры. Кто-то из чекистов моей наружки уже в подъезде предупреждает: «Да не ходите вы туда, бесполезно». В самом деле, не успеваем пройти ста метров до метро, как нас запикивают в машины и отвозят в милицию. Освобождают только часов в десять вечера.

Много лет спустя до меня дошел документ КГБ СССР из архива ЦК КПСС. Назывался он «О срыве враждебной акции антиобщественных элементов», был датирован 11 декабря 1977 года и подписан председателем КГБ Юрием Андроповым. В этой двухстраничной записке о прошедшей накануне демонстрации Андропов информирует членов ЦК, что «наиболее активные экстремисты и лица, склонные к участию в массовых сборищах, взяты под строгий контроль». В результате чего «никто из инспирированных провокации на площади Пушкина не появился». До сих пор не понимаю, кого они обманывали — себя, друг друга? Какие еще инспирированные? Да ведь и демонстрация состоялась!

Похоже, идеологические клише заменяли им информацию даже в общении друг с другом. В той же записке Андропов пишет: «Подготовка к такой акции активно обсуждалась среди экстремистских элементов из числа сионистов, на квартирах Сахарова, жены арестованного Гинзбурга и в других местах. Особенно настойчиво стремился осуществить эту затею активный еврейский экстремист Подрабинек».

Разумеется, КГБ прекрасно знал, что я не активист еврейского движения. Что же заставляло их врать даже в своем кругу, в своих секретных документах?

Традиция декабрьских демонстраций на Пушкинской площади не прерывалась. Каждый год туда кто-то приходил,

* Татьяна Семеновна Осипова — член Московской хельсинкской группы, политзаключенная.

в каком бы удручающем положении ни было демократическое движение. Хорошо помню 10 декабря 1986 года. Это был тяжелый, хмурый день. Накануне стало известно о гибели в Чистопольской тюрьме Анатолия Марченко*. Настроение было паршивое. Все разговоры о гласности, о перестройке казались фальшью.

На демонстрацию мы решили ехать вместе с отцом — как девятнадцать лет назад, когда поехали на Пушкинскую площадь в первый раз и тоже вместе. Я жил тогда во Владимирской области, в городе Киржач, где поселился после освобождения из лагеря. С вечера КГБ обложил наш дом — одна машина в конце улицы, по дороге на автостанцию, другая — у перекрестка, на пути в центр города. Было ясно: заберут в милицию, продержат до вечера. И все-таки мы встали рано утром, в начале пятого, рассчитывая, если повезет, уехать в Москву с пятичасовой электричкой. Было морозно и темно. Уличные фонари покачивались на ветру, едва освещая дорогу. В конце улицы стояла гэбэшная «Волга», носом к проезжей части, чтобы можно было выхватить светом фар каждого прохожего. Но фары были потушены. В машине все спали, откинувшись на подголовники. Мы молча прошли мимо, потом рассмеялись: пять часов утра — самое сладкое время для сна. Нужен очень сильный мотив, чтобы пожертвовать таким невинным удовольствием. У нас он есть, у них — нет.

В Москве отец пошел по своим делам, и мы договорились встретиться ровно в шесть часов на Пушкинской. Вечером мне удалось беспрепятственно дойти до площади. Она была запружена милицией и гэбнёй. Ни одного знакомого лица. Без пяти шесть начал подбираться к памятнику. Очень быстро меня остановили два человека в штатском и офицер милиции.

— Вы куда? — спросил меня офицер с раздражением в голосе.

— А вам какое дело? — вежливо отозвался я.

* Анатолий Тихонович Марченко (1938–1986) — политзаключенный, писатель. Погиб в Чистопольской тюрьме.

— Вам придется пройти с нами в отделение милиции, — встрял в разговор широко улыбающийся и чем-то очень довольный человек в штатском.

— С какой стати? Для чего?

— А для установления личности, Александр Пинхосович, — не без юмора ответил гэбэшник и еще шире улыбнулся.

— Ну вот, вы же и так меня знаете, — пытался я призвать его к логике.

— Конечно. А теперь еще и устанавливать будем.

Разговор стал совершенно бредовым. Я просидел в 108-м отделении милиции несколько часов и еще успел на последнюю электричку в Киржач.

Последний раз я принял участие в традиционной декабрьской демонстрации в 1987 году. Это было уже начало новой эпохи. Власть решила поменять стратегию — чтобы удержать протесты в безопасном для нее русле, надо было их возглавить. 10 декабря они устроили на Пушкинской площади митинг в ознаменование Дня прав человека. Разумеется, в шесть часов вечера. Площадку вокруг памятника Пушкину оцепила милиция. Пройти внутрь можно было только по пропускам. Выступали казенные ораторы, произносили казенные речи. Я и еще несколько человек, также не сумевшие подойти к памятнику и оставшиеся за цепью, ровно в шесть часов вечера сняли шапки. Партийные пропагандисты в это время говорили о перестройке, о новой политике гласности и перспективах социализма. Происходящее походило на фарс. Мне было невыносимо противно слушать эту ложь. Было обидно за Пушкинскую площадь, за 10 декабря, за нашу демонстрацию, в которой я начал участвовать двадцать лет назад.

Электросталь

Как попадали в демократическое движение? Это в комсомол или партию надо было писать заявление, а в диссидентскую среду можно было попасть только шаг за шагом, постепенно завоевывая репутацию и признание. Никаких формально-

стей не было, потому что не было единой организации. В этом была сила движения. Организованную группу было бы гораздо легче разгромить, хоть легальную, хоть подпольную. Такие группы все же были, и они действовали с разной степенью успешности. КГБ был натаскан на поиск организованного сопротивления. Чекисты занимались этим десятилетия, со времен Дзержинского. Но как бороться с людьми, которые не скрываются, они не знали. Они этого не понимали.

Мы жили в подмосковном городе Электросталь, куда родители переехали из Москвы в начале 50-х годов. Причины бегства из столицы были просты. Папа был врачом и к тому же евреем. Кампания «против космополитизма» и «дело врачей» оставили его без работы. В Электростали, рабочем городе с тремя большими заводами и сотысячным населением, работа нашлась. Папа был участковым в поликлинике, подрабатывал спортивным врачом на стадионе «Авангард», преподавал микробиологию в медицинском училище в Ногинске, занимался частной практикой — лечил гипнозом алкоголиков. Иногда даже давал сеансы гипноза в городском клубе.

В десять лет я вступил в пионеры. За какую-то провинность отец хотел наказать меня — не пустить в Москву на церемонию торжественного приема в пионеры. Я чуть не плакал. Папа смилостивился, я поехал со всеми. Принимали в пионеры нас в музее Ленина на Красной площади, а перед этим повели в мавзолей Ленина. Странное и мрачное место. Мы тихо шли гуськом вокруг прозрачного саркофага с таким великим и таким мертвым вождем пролетариата, замороженно глядя на забальзамированный труп. На какой-то ступеньке я споткнулся, и мне показалось, что саркофаг с Лениным сдвинулся с места, а Ленин в своем гробу пошевелился. Это было ужасно.

Всю обратную дорогу домой мы спорили, из чего сделан саркофаг. (Позже мои коллеги по «скорой помощи» рассказывали, как они ездили в мавзолей на вызов, когда какой-то смертник взорвал там бомбу. Сколько погибло человек вместе с этим бомбистом, определить было невозможно — части тел и внутренности были размазаны по стенам; взрывная

волна в маленьком помещении с гранитными стенами превратила всех в кровавое месиво. Но с саркофагом не случилось ровно ничего.)

Первые год-два я носил пионерский галстук с радостью и гордостью. Потом меня стали мучить вопросы. В летнем пионерском лагере мы разучивали песню:

Взвейтесь кострами, синие ночи,
Мы пионеры — дети рабочих,
Близится эра светлых годов,
Клич пионера: «Всегда будь готов!»

Я пел нехотя, и наша пионервожатая, студентка педвуза с большой грудью и ласковыми глазами, поинтересовалась, что со мной.

— Я не могу петь это, — тихо ответил я.

— Почему? — спросила пионервожатая.

— Я — не дети рабочих, — ответил я стеснительно и без всякого подвоха. Увидев, что она меня не понимает, я добавил: — У меня папа врач, а мама умерла.

Пионервожатая некоторое время смотрела на меня удивленно, а потом сказала:

— И очень хорошо, что врач. Ты из-за этого стесняешься петь?

Мне было уже неловко, но я решил все-таки поделиться с ней еще одним тревожившим меня вопросом. Мне было непонятно, что такое «близится эра светлых годов»? Всякий текст я понимал буквально. «А что, — спросил я вожатую, мучаясь от неловкости, — разве сейчас эра темных годов?»

Пионервожатая как-то странно усмехнулась. Видимо, эта мысль была для нее внове. Вздохнув, она сказала мне совершенно по-дружески:

— Да ты не думай об этом. Пой, как артисты поют. Они же не всегда о себе поют или что им нравится, они просто исполняют, так ведь?

Я согласился, но пел все равно через силу. Я не понимал, какая сейчас эра и что плохого в том, что я не «дети рабочих».

Так постепенно пионерское детство и закончилось. Скоро свои галстуки мы забросили за шкаф. С детством кончились и игры.

Вся городская интеллигенция знала друг друга. Постепенно сложился круг общения. Самые близкие друзья начали делиться самиздатом. Это была очень весомая добавка к передачам западного радио. Это было свое — настоящее, рискованное, о чем нельзя болтать со школьными приятелями, а иногда и говорить вслух. Я был в восторге и очень гордился доверием взрослых.

Мы с братом не были комсомольцами — единственными в своих классах. Для старшеклассников это было исключительным явлением. В школе к нам относились подозрительно. В младших и средних классах на нашу фронду мало обращали внимания. Отказ вступать в комсомол школьное руководство могло объяснить двумя причинами: либо мы баптисты, либо откровенные враги. Мы предоставили возможность нашим преподавателям, партийным и комсомольским вожакам решать этот вопрос без нашего участия.

В городе действительно была незарегистрированная баптистская община. Ходили слухи о милицейских облавах в домах баптистов, об арестах молодых людей, отказывающихся по религиозным соображениям служить в армии. Как-то город облетела страшная весть: молодого баптиста, работавшего на металлургическом заводе, призвали в армию, он отказывался, ему угрожали арестом, и, доведенный до отчаяния, он прыгнул в чан с расплавленным металлом. Говорят, заводское начальство сокрушалось, что плавка оказалась испорчена из-за повышенного содержания углерода...

Однако нас с братом в баптисты не записали. Мы были враги. Но ухватить нас было не за что. Языки у нас были хорошо подвешены, аргументы в спорах друг с другом отточенны, и повода придрасться мы не давали. Разве что Кирилл в 1968 году в школе при всех неодобрительно высказался о советской интервенции в Чехословакии. Получился скандал, который, однако, замяли после того, как брат указал завучу школы и по совместительству парторгу, что это именно он пострадает за плохую воспитательную работу. В целом же мы

вняли увещаниям отца, что нам прежде всего необходимо окончить школу и получить аттестат. Папа к тому же готовился защищать докторскую диссертацию, что тоже обязывало нас вести себя не слишком вызывающе.

Тем не менее в трудные моменты папа нас всегда защищал. В восьмом классе моя классная руководительница Нина Павловна Чуканцева на классном собрании начала выяснять, кто что сделал для построения коммунизма в нашей стране. Каждый изворачивался, как мог, и все это выглядело очень глупо. Дошла очередь и до меня. Я честно ответил, что ничего не сделал, и уже примирительно добавил, что вот, учусь и этого, кажется, достаточно.

Нина Павловна тут же потребовала мой дневник и на его полях размашисто написала папе записку, что я неправильно отношусь к построению коммунизма и на это следует обратить родительское внимание, поскольку идеологическое воспитание явно хромает. Папа написал в ответ одно слово «Чепуха!» и подписался. Я специально смотрел на реакцию классной, когда на следующий день отдавал дневник с папиным ответом. Она побагровела, стала совершенно пунцовой, но ничего не сказала, потому что говорить было некому. Дома мы шутили, что теперь папе поставят двойку по поведению и вызовут в школу бабушку.

В десятом классе я стал готовиться поступать на биофак МГУ, упрямо игнорируя уверения взрослых, что для поступления евреев в университет определена жесткая квота и мне туда не пробиться. Можно было, конечно, и не быть евреем. Мама — русская, папа — еврей, выбирай что хочешь. Мы выбрали быть евреями, даже не обсуждая этого, — иное казалось неприличным. Быть вместе с угнетенными — это естественно. Начальник паспортного стола, выдавая мне паспорт, долго недоумевающе смотрел на меня, когда я ответил, что в третьей графе действительно прошу написать «еврей». Он искренне ничего не понимал.

Потом я всем говорил, что я еврей из чувства противоречия. При этом забавно, что русские не считают меня русским, потому что у русских национальность определяется по отцу, а евреи не считают евреем, потому что у них на-

циональность определяется по матери. Я — человек без национальности. Меня такая неопределенность всегда устраивала, поскольку я все равно считал все это не стоящим внимания предрассудком.

И вот я стал готовиться в университет, игнорируя свою национальную принадлежность. Я хорошо знал биологию, и моя юношеская самонадеянность убеждала меня в том, что я смогу поступить. Я стал ездить на биологические олимпиады в МГУ. На одной из них познакомился со своим сверстником — Сашей Левитовым, который несколько следующих лет оставался моим самым близким другом. Сашка жил в Москве, кто-то из его друзей был вхож в дом Петра Якира* и получал оттуда «Хронику текущих событий», которая к тому времени выходила уже второй год. Так в мои руки впервые попала ХТС.

Это было потрясающее открытие! То, что передавали «голоса» или приходило с самиздатом, не шло ни в какое сравнение с тем, что было напечатано в «Хронике». Мне открылся целый мир сопротивления, солидарности, взаимовыручки. В стране была реальная политическая жизнь. А я прозябал на какой-то глухой обочине, в провинциальном подмосковном городке, вдали от интересных событий, от настоящей борьбы и верных друзей. Скорей, скорей в Москву! Быстрее окончить школу, поступить в университет и влиться в бурную жизнь, полную приключений, из которых я, конечно же, выйду победителем.

Москва

Удар был оглушительным, но неизбежным. Провалившись в МГУ, я с горя поступил в Первый медицинский институт им. Сеченова. Но с учебой ничего не получалось.

Отношения с отцом сильно испортились. Мне было семнадцать лет, я хотел самостоятельных решений и собственной

* Петр Ионович Якир (1923–1982) — историк, политзаключенный, член Инициативной группы защиты прав человека в СССР.

жизни, дерзил отцу, а папа бывал иногда очень вспыльчив. Кончилось это тем, что как-то поздно вечером я хлопнул дверь, прихватив только свои документы и коллекцию почтовых марок, которую собирал все школьные годы. Так я ушел из нашего дома, в который больше никогда не вернулся.

На улице шел холодный сентябрьский дождь. Промокнув до нитки и стуча зубами от холода, я добрал до вокзала, сел в электричку и через полтора часа был в Москве. Идти было некуда. Я остался ночевать в зале ожидания Курского вокзала. На деревянных скамейках почему-то разрешалось только сидеть. Тех, кто ненароком сваливался в горизонтальное положение, бдительный дежурный милиционер брезгливо трогал рукой за плечо и будил словами «Не положено». Рядом со мной пыталась спать сидя миловидная рыжеволосая девушка, и уж не помню как, но вскоре она склонила свою головку ко мне на плечо, я положил свою голову на ее, и мы так чудесно проспали до утра. После обеда мы встретились, долго гуляли по Москве. Она рассказывала о своем увлечении мотоциклами, а я рассказал, что ушел из дома. «Давно?» — спросила она. «Вчера», — ответил я. Она рассмеялась. Потом мы целовались в каком-то сквере, а вечером я посадил ее на поезд в Пермь, и больше мы никогда не виделись.

Надо было как-то выживать. Я пошел в деканат своего института хлопотать о стипендии. В деканате мне объяснили, что стипендии будут назначаться по результатам учебы за первый семестр. Тогда я попросил хотя бы общежитие, на что мне возразили, что жителям Московской области общежитие не положено — вполне можно ездить каждый день из дома в институт и обратно. Я говорил, что у меня исключительное положение, я поссорился с домашними и мне общежитие нужно, как никому другому. Декан задумался, сказал, конечно, не бывает правил без исключений, затем полистал мое худенькое личное дело и спросил, почему я не комсомолец. Я коротко ответил, что не хочу. Декан поглядел на меня задумчиво и сказал, что ничем помочь не может.

С учебой не складывалось. Надо было бросать институт и зарабатывать на жизнь. Университет все еще манил меня,

и я решил устроиться туда на работу. Меня взяли лаборантом на кафедру биофизики биофака МГУ, которой тогда заведовал профессор Борис Николаевич Тарусов. Получал я 74 рубля в месяц. Это было чуть больше минимальной в то время зарплаты, и все бы ничего, но до первой получки еще надо было дожить. Выручало то, что из-за работы с вредными реактивами мне были положены ежедневно бесплатная бутылка молока и коржик. Кроме того, в университетской столовой белый хлеб лежал на столах бесплатно, что в те годы было большой редкостью. Таким образом, проблема питания была решена.

Дни были заняты работой и отчасти учебой — я ходил на лекции по химии и биологии, выбирая себе темы, которые мне больше нравились. Никто надо мной не висел, не следил за моей успеваемостью, и такая учеба доставляла настоящее удовольствие.

Вечера были пустые и бестолковые. Денег не было, и идти было некуда. Я слонялся по темной вечерней Москве, а в плохую погоду садился в 39-й трамвай, который ехал от университета до Чистопрудного бульвара, наверное, не меньше часа. За это время можно было не только отогреться, но и подремать, прислонившись к окну.

Хуже обстояло дело с жильем. Ночевать на кафедре не разрешалось. Идти к родственникам или знакомым не хотелось — можно ли начинать самостоятельную жизнь с просьбой о помощи?

Я ночевал на вокзалах. Примелькавшись на одном, переходил на другой. Больше всего мне нравился аэровокзал на Ленинградском проспекте, там я оставался ночевать чаще всего. Скамейки были мягкими, и можно было даже прилечь, если находилось свободное место. В подвальном этаже располагались вполне приличные туалеты с холодной и горячей водой в умывальниках, и утром можно было почистить зубы, умыться и бодро шагать на работу. Вскоре я примелькался на Аэровокзале. Но меня заметила не только милиция. Промышлявшие на вокзале фарцовщики сперва просто поинтересовались, чего я здесь торчу, а затем предложили приобщиться к делу. Сначала продавать отпечатанные на фото пор-

нографические игральные карты и покупать шмотки у иностранцев, а потом, может быть, заняться и валютой. Это были неплохие ребята, совсем не бандитского вида и без видимых криминальных наклонностей. У меня сложились с ними приятельские отношения, но от их предложения я уклонился. Они не обижались, иногда подшучивая, не созрел ли я уже для настоящего дела. Вскоре аэропортовские милиционеры начали гнать меня с вокзала, и я рассказал об этом своим фарцовщикам. Не знаю, куплены были менты или были в доле, но меня тут же оставили в покое.

А вскоре была первая получка, настоящий, за деньги полноценный горячий обед в университетской столовой и собственные сигареты «Ту-134». И первая, самая лучшая за всю мою жизнь покупка — туристские ботинки и теплые фланелевые носки! Теперь я смело ходил по мокрым московским тротуарам, больше не перепрыгивая опасливо через холодные осенние лужи. Можно было не спешить прийти на работу пораньше, чтобы развесить на батарее мокрые носки в надежде, что они высохнут до прихода сотрудников лаборатории. А вскоре распрощался я и с вокзалами, и с друзьями-фарцовщиками, и с бездомной жизнью под аккомпанемент объявлений о прибытии и отправлении поездов и самолетов. Я начал снимать квартиры, в чем немало преуспел.

Человек свободы

На юго-западе Москвы, напротив Черемушкинского рынка, по выходным дням в те годы собиралась толкучка, на которой при изрядной доле везения можно было снять комнату или квартиру. Туда я и пошел, как только у меня появились деньги.

Я сразу обратил внимание на этого человека. Ему было около тридцати, и его отличал от окружающих некоторый аристократизм. Он был не суетлив, держался спокойно и уверенно, был щегольски одет и, что самое удивительное, — благожелательно улыбался, когда с кем-то разговаривал. По тем угрюмым временам это было необычно.

Не добившись успеха в своих поисках, я поехал на следующий день на другую такую же толкучку — в Банный проезд. К женщине, которая подходила к толкучке с явным намерением что-то сдать, мы подскочили одновременно — я и тот самый человек с Черемушкинского рынка. Каждый из нас не хотел уступать другому выгодный вариант, но покладистая Надежда Ивановна, наша будущая хозяйка, сказала, что она сдаст нам, так и быть, две комнаты.

Так я познакомился с Володей Ежовым, с которым был дружен всю жизнь. Он снимал комнату для своей подруги Люси, мне же досталась проходная комната, отгороженная тяжелой шторой, зато дешевая, что при моей лаборантской зарплате было немаловажно. Дом был деревянный, он стоял на пригорке среди других деревянных домов, которых так мало уже оставалось в Москве. «Село» наше называлось Троицкое, по названию полуразрушенной церкви, стоявшей тут же, на пригорке, — и все это находилось не где-нибудь на окраине Москвы, а напротив «Мосфильма», на другой стороне Мосфильмовской улицы. Потом я переехал в отдельную комнату в соседнем флигеле, и это было чудесное место — зимой снег укутывал наш маленький домик чуть не до крыши, а весной сирень лезла в окно, и я специально открывал его, приглашая ее в дом.

Володя Ежов был человеком свободы. Он многому научил меня и многое объяснил. Володя занимался разнообразными делами. Отучившись в институте землеустройства, а затем в юридическом, он не стал работать по специальности. Был пожарным сцены в театре Станиславского, страховым агентом, бомбил на своей «Победе», а потом на старенькой *BMW* 1939 года. Водил дружбу с художниками, поэтами и актерами. Но самое главное — он был поэтом. Его стихи, которых он написал не так и много, были точны по ощущениям, мелодичны и написаны кристально чистым русским языком.

Он любил поэзию и русских поэтов. Каждое 30 мая мы троим — он, Люся и я — ехали в Переделкино, приходили на могилу Бориса Пастернака, где Володя читал его стихи — и это надо было слышать! В те годы в день рождения Пастернака на его могилу приходило много народу. Это было ме-

стом встречи знакомых, любителей поэзии, почитателей Пастернака.

Когда меня посадили, мы на некоторое время потеряли друг друга из виду. Вернувшись из заключения, я обнаружил, что его домашний телефон изменился, и я не мог его найти. Но в ближайшее 30 мая мы с женой поехали в Переделкино и, еще не дойдя до кладбища, встретили Володю. С тех пор мы часто виделись вплоть до его смерти от сердечного приступа в 2004 году.

Он вел вольный образ жизни, оставаясь свободным человеком, не припиленным к государственной работе и общественному положению. Когда пала советская власть, он ездил в Австралию, где в Аделаиде жил его сын. Там он что-то строил своими руками, читал стихи и был любимцем тамошнего общества. Он был щедр и обаятелен. В какой-нибудь другой, более благополучной стране он бы прославился и был почитаем. Но не в России. Россия не ценит талантливых людей, которым очень повезло, если их не посадили, а просто не заметили.

Московские будни

Володя постоянно нуждался в деньгах. Он пользовался успехом у женщин и отвечал им взаимностью. Чем громче успех, тем больше расходы. Володя затевал какие-то рискованные операции, переодалживал деньги, закладывал вещи в ломбард. Наконец, решив зарабатывать руками, он освоил выгодное тогда дело — обивку дверей в квартирах, главным образом в новостройках. Сначала я у него подрабатывал, бегая по этажам в поисках заказов, а потом освоил ремесло сам.

Это было очень кстати. Работу в университете я к тому времени бросил, поступив в медицинское училище при институте Склифосовского осваивать профессию фельдшера «скорой помощи». Училище давало бронь от армии и звание прапорщика после получения диплома. Стипендия была крошечная, и денег на жизнь не хватало. По выходным я с другими студентами ездил разгружать вагоны на Курской-товар-

ной. Там платили неплохо — до 10–15 рублей в день, но работа была тяжелая.

Безумно жарким летом 1972 года я устроился работать проводником на железную дорогу. Мой брат Кирилл учился на физическом факультете Московского педагогического института, и у них организовали летний «строительный отряд» проводников. Я к нему присоединился. Москву заволокло дымом от подмосковных торфяных пожаров, и уехать из города было очень кстати. Я работал на рейсе Москва — Хабаровск. Семь дней туда, семь — обратно. Платили хорошо. Мы с напарником, как и все, пытались что-то заработать на «зайцах», но ничего не заработали. Недоставало деловой хватки.

В середине рейса у меня случился конфуз. Как положено проводникам, мы разносили чай, за стакан которого брали пять копеек. В Новосибирске к нам в поезд сел ревизор, который остался всем доволен в нашей работе, кроме чая. К нашему великому изумлению, чай должен был стоить четыре копейки. Откуда мы взяли, что он стоит пять, я не знаю. Ревизор, мужик опытный, увидел, что мы честно заблуждались, и не стал поднимать шума. Тем более что и навар был в буквальном смысле копеечным. Разумеется, после Новосибирска мы начали разносить чай по четыре копейки. Тут пришла пора удивляться пассажирам. «Почему до Новосибирска чай стоил пять копеек, а теперь четыре?» — подозрительно расспрашивали нас самые дотошные. Мы отвечали что-то невразумительное про какие-то северные скидки, общее снижение цен и еще всякую другую чушь, а пассажиры только качали головой и удивлялись. Если бы чай стал стоить дороже, вопросов бы ни у кого не было, к этому все привыкли. Но дешевле...

С началом учебного года профессию проводника пришлось оставить. Ночами я работал санитаром в реанимационном отделении института Склифосовского. Санитарская работа в реанимации — грязная и неблагодарная, но я присматривался к лечебной практике и осваивал врачебные манипуляции. Я научился интубировать трахею, делать внутрисердечные инъекции и венесекцию. Позже, на «скорой по-

мощи», мне все это очень пригодилось. В отделении многие не выживали, смертность была высокой. Пострадавших привозили из аварий, с пожаров, массовых катастроф. Все — в тяжелом шоковом состоянии. Хотя бывали и по-своему чудесные случаи.

Как-то в мое дежурство привезли строителя, упавшего с большой высоты. Никто не мог понять, как он остался жив. Работяги выпивали поздно вечером на площадке двенадцатого этажа строящегося дома, когда вдруг заметили, что одного из них рядом нет. Как ни были они пьяны, а бросились искать. Обнаружили его на земле лежащим без сознания. Вызвали «скорую», привезли к нам в реанимацию. Утром он очнулся и рассказал, что вечером они крепко выпивали, а потом он пошел вниз по нужде, справил ее и, не имея сил подняться обратно, свалился спать тут же.

Другой случай был еще удивительнее. Лет пятидесяти полковник Советской армии после неприятностей на службе и скандала в семье решил свести счеты с жизнью. Вероятно, он был человек педантичный и решил сделать все наверняка, с перестраховкой. К решетке балкона этажом выше он привязал петлю, надел ее на шею, встал на край своего балкона и выстрелил себе в голову из табельного пистолета. Он решил погибнуть если не от пули, то в петле или упав и разбившись. В последний момент рука его, как это часто случается у самоубийц, дрогнула, и пуля лишь чиркнула по черепу. Он оступился, повиснув в петле, но веревка не выдержала грузного полковника и оборвалась. Он упал с шестого этажа, но ветки деревьев под окном смягчили падение, и он приземлился, сломав себе ногу. Его привезли к нам, но уже через пару часов перевели в травматологию. Тройное самоубийство не получилось. Месяца через два он заходил к нам в отделение благодарить врачей за помощь и жаловался, что за попытку самоубийства его уволили со службы и исключили из партии.

Но по-настоящему чудесный случай произошел, когда я еще не устроился туда на работу. В перерыве между лекциями мы курили на улице, когда мимо нас несколько человек бегом и с грохотом провезли каталку с больным. В неспеш-

ных советских больницах вообще никогда не возили каталки бегом. Как-то считалось, что такая спешка умаляет достоинство медперсонала. Здесь же было особо удивительно то, что каталку везли от морга в сторону реанимационного отделения. В обратную сторону — сколько угодно и, разумеется, не спеша. Но чтоб так...

Скоро мы узнали, в чем было дело. В терапевтическом отделении умер больной. После констатации смерти труп положено держать два часа в отдельной комнате или в коридоре за ширмой, пока не появятся достоверные признаки смерти. Только после этого можно везти в морг. Но отделение было, как всегда, переполнено, пустых комнат не было, больные лежали в коридоре, и оставлять там труп, даже за ширмой, дежурный врач не хотел. Дело шло к вечеру, смена у врача заканчивалась, и он велел санитарам отвезти труп в морг. Что и было сделано.

На следующий день труп привезли из холодной комнаты в секционный зал для вскрытия. Обычно, прежде чем патологоанатом приступает к своей работе, два санитара начинают процедуру. Один делает скальпелем большой патологоанатомический разрез, вскрывая грудную и брюшную полости, а другой распиливает фрезой черепную коробку. Кто с чего начнет — дело случая. Труп, привезенному из терапии, повезло — к нему первым подошел санитар со скальпелем. Вскрыв грудную полость, он увидел, что сердце бьется. Поднялся страшный переполох, оживший труп погрузили на каталку и понеслись в реанимацию. Что мы и видели, покуривая в перерыве между лекциями.

Мужику посчастливилось, что первым к нему подошел санитар со скальпелем, а не с фрезой. Он выжил и выздоровел. Врача, ошибочно констатировавшего смерть, как-то наказали. Мужик оказался классным паркетчиком и в знак благодарности за спасенную жизнь перекладывал потом паркет в административном здании. Хорошо, что не поубивал всех!

Работа в реанимации была полезной и даже в чем-то интересной, но платили гроши. Научившись у Володи Ежова обивать двери, я перестал считать каждую копейку. Что может быть лучше — свободный график и неплохие деньги!

Я выходил на заработки, когда было время и желание. Временами денег было столько, что, возвращаясь домой, я их просто клал в ящик стола и потом брал оттуда не считая. Иногда мы с Володей объединяли свои усилия, работая в паре.

Своей комнаты в Троицком я через некоторое время лишился. Хозяйка моя, Надежда Ивановна, была женщина предприимчивая и сдавала все что можно. В том числе сарай с печкой, в котором жили две еще не старые, но сильно потрепанные алкоголички. Они постоянно устраивали пьянки с такими же бездомными кавалерами, вечно с кем-то ругались, дрались, справляли малую нужду на травку перед дверью и редко бывали трезвыми. Как-то осенним утром одного из их вечных собутыльников Надежда Ивановна обнаружила около сарая мертвым, с ножом в спине. Приехала милиция, всех опросили, в том числе и меня. Претензий в связи с убийством ко мне не было, но жил я здесь без прописки, что советскими законами не разрешалось. Пришлось съехать.

У Володи была однокомнатная квартира в доме гостиничного типа на 9-й Парковой, рядом с метро «Щелковская». Он собирался ее продавать, она временно пустовала, и я там поселился. В маленькой этой комнатке Володя хранил дерматин для своей обивочной работы и желтую техническую вату — три огромных тюка по 50 килограмм в каждом. Жить это не мешало, но однажды мне взбрела в голову шальная мысль посмотреть, как вата горит. Я подпалил от сигареты совсем маленький кусочек — и вдруг пламя перекинулось на ближайший тюк и вмиг охватило всю его поверхность. Я бросился к раковине, но вода из крана потекла тоненькой струйкой, как это бывает в кошмарном сне, когда пытаешься бежать, а ноги безумно тяжелы и шажки получаются невыносимо маленькими. Я попытался сбить пламя одеялом, отчего вата разгорелась еще сильнее. Комната наполнилась дымом, и я открыл окно, чтобы легче было дышать. Приток чистого воздуха очень освежил начавшийся пожар. Телефона в квартире не было, но поваливший из окна дым был достаточно ясным сигналом для прохожих. Кто-то вызвал пожарных.

Я тем временем пытался справиться с пожаром самостоятельно. В какой-то мере мне это удалось. Открытого огня уже не было, тюки обгорели по краям, но вата медленно и задумчиво тлела где-то в глубине себя. Дым, однако, шел не переставая. Я обвязал рот и нос мокрым платком и продолжил свои усилия. Вскоре приехала пожарная команда — на шести больших машинах и штабном газике. Пожарники быстро выпустили с улицы раздвижную лестницу и полезли по ней ко мне на третий этаж, таща за собой брандспойт. Тем временем группа других пожарников прошла в дом как все нормальные люди — через подъезд и по лестнице. Они зашли в квартиру и, оценивая обстановку, начали ворошить тюки с ватой, отчего огонь разгорелся с новой силой, а когда добравшиеся снаружи пожарники сурово разбили окно, чем обеспечили обильный приток кислорода к тлеющей вате, пожар занялся по-настоящему. Заполыхало так, что я кубарем выкатился на лестницу и пришедшие через подъезд пожарники тоже. Вот тут и пригодился брандспойт. Мощнейшая струя воды разметала вату в клочья, и через несколько минут от огня не осталось и следа.

Остатки ваты пожарники выбросили через разбитое окно на улицу. Собравшаяся около дома толпа начала постепенно расходиться. У соседей снизу с потока закапал дождь. Пахло гарью. Я сидел со слезящимися от дыма глазами и отекившим горлом в обгоревшей Володиной квартире, тупо взирая на дела своих безумных рук. Часть учебников и тетрадей с конспектами лекций обгорела. Я потом целый год на зачетах и экзаменах показывал преподавателям по самым неприятным предметам обгоревшие тетради и с трагическим видом объяснял, что не смог подготовиться из-за пожара. Преподаватели сочувствовали и ставили зачет.

Володя впоследствии не раз спрашивал меня, как же это получилось. «Ну, признайся, ведь ты специально поджег?» — спрашивал он меня. Я врал, что заснул с сигаретой в руках. Признаваться было стыдно. Так я ему ничего и не сказал. Он потом долго улаживал последствия устроенного мной стихийного бедствия. Мне это обошлось в 400 рублей — немалую сумму по тем временам. Зато я посмотрел, как горит вата.

Три товарища

Нас было трое, совсем как у Ремарка, только мы были моложе, а времена — жестче. Мы бредили генетикой, хотели учиться в МГУ и сделать в жизни что-то великое или, на худой конец, стоящее. Мы были ровесниками. Нас звали одинаково. Саша Левитов, из семьи военных, тоже еврей и тоже не смог поступить на биофак, но поступил в медицинский. В отличие от меня он его успешно окончил. Саша Седов был русский и на биофак МГУ поступил. Мы были дружны в те годы и много времени проводили вместе.

Я снимал крохотную комнатку в старом доме на Калининском проспекте, между Садовым кольцом и Смоленской набережной. Сдавал мне ее за небольшую плату живший этажом ниже добрый папин приятель — Георгий Яковлевич Свет-Молдавский, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук, известный вирусолог и автор вирусной теории рака. (Много лет спустя он умер от рака — рассказывали, что ставил смертельные опыты на себе.)

Собирались чаще всего у меня. Пили «александровский коктейль» — собственного изготовления адскую смесь медицинского спирта, коньяка и ликера. Читали вслух Иосифа Бродского, слушали магнитофонные записи Александра Галича и говорили о свободе, о личности и власти, о смысле жизни. Как-то зимой, употребив «александровки» сверх всякой меры, мы шли ночью по заснеженному и пустынному Калининскому проспекту и, ошалев от собственной дерзости, орали на всю улицу белогвардейский гимн «Как ныне собирается вещей Олег». До сих пор не понимаю, как нас не забрали тогда по меньшей мере в милицию.

Сашка Левитов ухаживал за необыкновенно красивой девушкой Мариной, дочкой известного писателя-анималиста Игоря Акимовича. Мы все были влюблены в Маринку — кто больше, кто меньше, но дружба с Левитовым не позволяла нам пытаться завоевать ее расположение. Иногда Сашка приходил в нашу компанию с ней. Он сразу делался серьезным, стараясь выглядеть старше. Мы гасили свет и зажигали свечи. Сашка с чувством читал наизусть поэму Галича «Ка-

диш» о Януше Корчаке, и у Маринки на глазах блестели слезы, когда он доходил до того места, где расстреливают дворника детского дома, а потом мы все спорили о долге и пользе, о верности и предательстве, о равнодушии и героизме.

У Саши Седова был дядя — Леонид Александрович Седов, социолог и человек, вхожий в диссидентские дома. От него мы иногда получали «Хронику текущих событий». Как-то в мае 1972 года я встретил его на Садовом кольце недалеко от своего дома. В руках у него был тяжелый чемодан, и вид у Леонида Александровича был самый что ни на есть озабоченный. Он рассказал, что у его друзей дома прошли обыски, и теперь он опасается обыска у себя. В чемодане был весь самиздат, что находился в его квартире. Леонид Александрович шел по улице, раздумывая, куда бы его отнести. Я предложил к себе. Он сначала обрадовался, но потом передумал. То ли его смутил мой юный возраст, то ли слухи о бесшабашном поведении нашей компании, в которой был и его племянник.

Тем не менее вскоре он познакомил меня с Володией Альбрехтом*, а тот, в свою очередь, с Андреем Твердохлебовым**. Так я стал поддерживать диссидентские знакомства.

Левитов вскоре женился на Марине. Саша Седов окончил университет. Я с головой ушел в деятельность демократического движения. Компания наша постепенно распалась. Все разошлись по своим углам. Сашка с Мариной прожили вместе недолго и в конце концов развелись. Маринка с дочкой уехала в Израиль, Левитов — в США, где работает врачом. Саша Седов стал профессором МГУ. А я — зэкком.

Дамы из прошлого века

Это было удивительно. Они были не просто из ряда вон выходящие, они были вне всяких рядов и сравнений. Они были

* Владимир Янович Альбрехт — математик, секретарь московского отделения «Международной амнистии», политзаключенный.

** Андрей Николаевич Твердохлебов (1940–2011) — физик, член Комитета прав человека в СССР, секретарь советской секции «Международной амнистии», политзаключенный.

отблеском исчезнувшего мира, другой культуры, иных отношений. Живое воспоминание о стране, которой не стало. Я был знаком в те годы с тремя такими женщинами, весьма преклонного возраста, которых, однако, язык не повернулся бы назвать старухами. Все они родились в конце XIX века, и каждая из них была причастна к событиям русской истории и культуры XX столетия.

После пожара, устроенного мной в Володиной квартире, первые дни я отлеживался с отеком горла и слезящимися глазами у Алины — Маринкиной мамы, жившей в Оружейном переулке, около площади Маяковского. За мной нежно ухаживали, кормили, поили и велели никуда не торопиться. Недели две я не спеша приходил в себя, а потом надо было куда-то уходить, потому что Сашка Левитов с Маринкой жили натужной семейной жизнью и я был нежелательным свидетелем их непростых отношений. Тут блудный Алинин муж Игорь Акимушкин предложил пожить у него, занимая одну комнату из трех в квартире на Петрозаводской улице, недалеко от метро «Речной вокзал».

Игорь Иванович вел бесшабашный образ жизни и сильно пил. Иногда он среди ночи стучался ко мне и заплетающимся языком объяснял, что пришел с новой славной девушкой («Иди скорее, посмотри на нее, она — чудо», — звал он меня), но у него не осталось ни одного презерватива. Я выручал его. Он был незлобивым человеком и совсем не мелочным. Он был талантлив. Его книгами по популярной биологии зачитывались тогда и дети, и взрослые. Увы, временами он уходил в жестокий запой. Все бы это было ничего, если бы в запойные дни он не становился болтлив, подозрителен и неуравновешен. Как-то в порыве пьяной откровенности он показал мне свой тайник — в середине тома Большой советской энциклопедии была вырезана часть страниц, а в образовавшейся нише уютно устроилась толстая пачка двадцатипятирублевых купюр. Это была очень внушительная сумма, целое состояние по тем временам. На следующий день, смутно припоминая события минувшей ночи, он расспрашивал меня о деньгах и тайниках, пытаясь выяс-

нить, что мне известно о его сбережениях. Потом он тщательно перепрятывал деньги в другое место.

Так долго продолжаться не могло. Я понимал, что когда-нибудь разразится скандал, и стал искать новое жилье. Алинина знакомая, скульптор Инна Ильинична Бломберг нашла для меня комнату на улице Кирова, в бывшем общежитии ВХУТЕМАСа — Высших художественно-театральных мастерских. Хозяйкой квартиры из двух изолированных комнат была ее приятельница Александра Вениаминовна Азарх. Она согласилась сдавать мне комнату за сорок рублей в месяц.

Александра Вениаминовна практически не ходила — в молодости она попала под трамвай и потеряла ногу. За ней ухаживала сиделка, которая приходила к ней утром и вечером. Александре Вениаминовне было восемьдесят лет, но она тщательно следила за собой, на ней всегда был умеренный макияж, и она благоухала дорогими духами, которые невесть откуда брались тогда в пораженной дефицитом и бедностью Москве.

Первые полгода мы почти не общались. Я заходил отдать деньги и каждый раз засматривался на картины, висевшие на стенах ее довольно-таки большой комнаты. В моей комнатухе тоже висели картины. Я не был знатоком живописи. Мне нравились импрессионисты, Коро, но по-настоящему в изобразительном искусстве я не разбирался. На стене напротив моей кровати висела маленькая картина. Засыпая, я часто смотрел на нее — нежных тонов акварель с неясными очертаниями моря, облаков и какого-то города, будто увиденного высоко сверху. Эта акварель настраивала меня на романтический лад, столь созвучный тогда моему возрасту и настроению.

Александра Вениаминовна производила впечатление чудом выжившей в советском аду аристократки: изысканные манеры, тихая интеллигентная речь, благожелательная и добрая улыбка. Она была из другой эпохи, о которой мы только догадывались, о которой где-то читали или что-то знали по обрывкам чьих-то воспоминаний. По вечерам у нее часто собирались гости — интеллигентные люди одного с нею круга. Там было много разговоров, непринужденного веселья и сме-

ха. Я тоже стал иногда заходить к ней, и она постепенно начала рассказывать мне о своей жизни.

Александра Вениаминовна родилась в 1892 году в Витебске, в семье врача. После гимназии поехала изучать медицину в Бельгию, поскольку в России для поступления евреев в университеты существовала гласная процентная норма. Через несколько лет она вернулась в Москву и познакомилась с Алексеем Грановским, а вскоре они поженились. Спустя несколько лет, уже после революции, он стал основателем Государственного еврейского театра — ГОСЕТ. Она бросила медицину и посвятила себя театру — была актрисой, потом режиссером и театральным педагогом. Художником в театре был Марк Шагал, с которым Александра Вениаминовна была знакома еще с детства по Витебску. Ее родная сестра Раиса была замужем за известным художником Робертом Фальком.

Мне стало понятно, откуда в доме столько картин. Причем все картины — подлинники. Так я узнал, что акварель, которая висела в моей комнате и на которую я любил смотреть засыпая, была тоже подлинная и принадлежала кисти Марка Шагала. В середине 70-х Шагал приезжал в Москву, приходил к Александре Вениаминовне. После его ухода она долго была в расстроенных чувствах; видимо, нахлынули воспоминания и она не могла сдержать слез.

Александра Вениаминовна сама была частью Серебряного века, она была в центре событий. Ее игру в театре отмечал Станиславский. Ею восторгался Маяковский, а потом начал за ней ухаживать. Александра Вениаминовна вспоминала об этом с недоумением — и потому, что она была тогда уже замужем, и потому, что Маяковский не выглядел в ее представлении достойным ухажером. Я спрашивал ее, неужели она ни капельки не увлеклась им, на что Александра Вениаминовна только поджимала губы, поднимала глаза к потолку, шумно вздыхала и качала головой.

В 1918 году она присутствовала при первом чтении в Москве Александром Блоком поэмы «Двенадцать». Это было на чьей-то квартире, в кругу хорошо знавших друг друга поэтов, писателей, художников. Александра Вениами-

новна без пиетета относилась к Блоку с его революционной восторженностью и работой для большевиков. Но позже, в советские времена, говорить об этом было опасно. Особенно боялись вести такие разговоры те, кто пережил в Советском Союзе 30-е годы. Однако в разговорах со мной Александра Вениаминовна была откровенна. Глаза ее блестяли, когда она вспоминала, как после прочтения Блоком своей поэмы взбешенный Николай Гумилев хлопнул дверью и ушел не попрощавшись. Он был единственным из присутствовавших, кто так открыто высказал свое отношение к революционным восторгам Блока.

В конце 20-х годов театр ГОСЕТ повез свои спектакли в Европу. Гастроли проходили успешно. Александра Вениаминовна познакомилась там со многими выдающимися людьми того времени, в частности с Зигмундом Фрейдом и Лионом Фейхтвангером. Фрейд, рассказывала она, за два сеанса психотерапии вылечил от заикания артиста их театра Вениамина Зускина, который заикался в обычной жизни, но никогда — на сцене. Александра Вениаминовна рассказывала, что Зускин страшно боялся когда-нибудь начать заикаться во время спектакля.

Между тем в СССР Грановского уже упрекали в безыдейности и аполитичности. Возвращаться на родину было опасно. Грановский решил остаться на Западе; театр вернулся домой без него. В Москве ГОСЕТ возглавил один из ведущих актеров театра Соломон Михоэлс. Александра Вениаминовна осталась с мужем. Она играла во французском театре, но в 1933 году вернулась на родину. Грановский остался во Франции, где и умер в 1937 году.

Политические репрессии каким-то чудом обошли ее стороной. Она была знакома или дружна со столькими людьми, которые в разные годы были посажены или казнены, что просто удивительно, как она выжила в те годы. В числе ее друзей был Яков Блюмкин, бывший эсер и убийца германского посла Мирбаха, расстрелянный чекистами в 1929 году. Что уж говорить о ее коллегах по театру — Соломоне Михоэлсе, убитом в 1948-м по приказу МГБ, или Вениамине Зускине, который был расстрелян в 1952 году как «враг народа».

В 1937 году по приглашению советского правительства в СССР приезжал немецкий писатель Лион Фейхтвангер. Он присутствовал на январском судебном процессе по делу «антисоветского троцкистского центра». Сидел в зале, слушал выступления прокурора Андрея Вышинского и семнадцати подсудимых, обвиненных в измене Родине. Бывшие высокопоставленные большевистские деятели Юрий Пятаков, Леонид Серебряков и еще одиннадцать человек были приговорены к расстрелу, Карл Радек и Григорий Сокольников — к 10 годам лагерей каждый, еще двое — к 8 годам.

«И вот я стою перед вами в грязи, раздавленный своими собственными преступлениями, лишенный всего по своей собственной вине, потерявший свою партию, не имеющий друзей, потерявший семью, потерявший самого себя...» — разоблачал себя на суде Пятаков. Подсудимые поливали себя грязью, калялись в гнусных злодеяниях, признавались в организации немислимых диверсий и шпионаже в пользу Японии и Германии. Любой не обмороженный советской пропагандой человек понял бы, что обвинения лживы, а признания подсудимых добыты под пытками.

Лион Фейхтвангер все слушал, записывал и запоминал. Вернувшись домой, он написал книгу «Москва 1937», полную восхвалений Сталина и сталинизма. Потом, спустя годы и десятилетия, стало популярным объяснение, что Фейхтвангера удалось обмануть, что он поверил сталинской пропаганде и искренне считал подсудимых виновными в кошмарных преступлениях против СССР. Левоу западной интеллигенции так легче было оправдать обличителя капиталистического мира и авторитетного защитника социализма, который писал в 1937 году: «Тупость, злая воля и косность стремятся к тому, чтобы опорочить, оклеветать, отрицать все плодотворное, возникающее на Востоке».

Но вот что рассказала мне Александра Вениаминовна. Фейхтвангер, с которым она была дружна еще с 20-х годов по жизни в Берлине, в тот свой приезд в Москву навещал ее. Однажды, придя к ней после суда над «врагами народа», он схватился за голову и повторял, что это дурной театр, невозможная постановка, что все это ужасно уже сейчас и ужасно все

закончится. В нем не было ни капли доверия ни к суду, ни к советской власти.

«Почему же он написал все это?» — мучил я вопросами Александру Вениаминовну, а она только разводила руками и говорила, что сама не понимает. Теперь я думаю, что, может быть, она и понимала, но слишком хорошо к Фейхтвангеру относилась, чтобы быть его разоблачителем.

Я прожил в комнатке с акварелью Шагала около года. Потом племяннику Александры Вениаминовны Юлию Лабасу зачем-то понадобилась эта комната, и я был вынужден съехать. Я поселился совсем рядом, в доме номер 15 по улице Кирова, в огромной коммунальной квартире, где жило еще восемь семей. Квартира была на самом последнем этаже, лоджия и окна моей огромной комнаты с высоченными потолками выходили на улицу Кирова, а у подъезда стоял лев со щитом, как бы охраняя всех жителей дома. Комнату мне сдавала скульптор Инна Ильинична Бломберг, та самая, что прежде устроила мне комнату у Александры Вениаминовны.

Сама Инна Ильинична жила в той же квартире в маленькой комнатке, а мне уступила большую, в которой раньше была ее мастерская. В этой мастерской в середине 60-х годов она лепила бюст Солженицына, он тогда еще был в фаворе и приходил к ней позировать. Увы, она не успела доделать работу. Солженицына начали публично шельмовать, и Инна Ильинична, испугавшись репрессий, разрушила недоделанный бюст.

Я продолжал бывать у Александры Вениаминовны, иногда приезжал к ней на «скорой помощи», чтобы сделать какую-нибудь инъекцию или измерить артериальное давление. Осенью 1979 года, уже из якутской ссылки, я позвонил ей с районной почты, чтобы поздравить с днем рождения. Слышимость была ужасная, Александра Вениаминовна не знавала меня, объясняя гостям, что звонит какой-то Саша из Якутии, но она не понимает, кто именно.

Это был ее последний день рождения. В следующем году по наводке одного вхожего в ее дом молодого мерзавца ее ограбили — унесли картины, с которыми она прожила всю жизнь. Александра Вениаминовна очень тяжело пережива-

ла это. Через три недели она умерла, чуть-чуть не дожив до 88 лет.

Моя подруга Таня Якубовская искала себе педагога по вокалу. К прелестному ее голосу требовалось вокальное образование. Общие знакомые порекомендовали мне педагога, но предупредили, что она берет в ученики далеко не всех и общаться с ней непросто. Однако Таню она взяла. По деньгам это было сносно.

Анне Ивановне Трояновской было под девяносто. Я не был знаком с ней близко, встречался время от времени и каждый раз поражался ее необыкновенной энергии и ясности ума. Заниматься в таком возрасте преподавательской работой любому человеку было бы трудно, она же получала от этого не только деньги, но и удовольствие. Со своими учениками она была грозна и язвительна. «У вас, Танечка, маленький ротик, это хорошо, чтобы целоваться, но плохо, чтобы петь», — говорила она моей обескураженной подруге, которая уже и не знала, что же ей делать. Анна Ивановна между тем нещадно загружала ее упражнениями, которые позволяли голосу «раскрыться». Она была требовательна и непреклонна, своенравна и несдержанна на язык. Но на нее никто не обижался.

Она жила в Москве в Скатертном переулке. В ее доме часто бывали Святослав Рихтер и Нина Дорлиак, с которыми она была очень дружна. Анна Ивановна увлекалась не только музыкой, но и живописью, поэзией, отчего среди ее друзей было много художников и поэтов.

Родилась она в 1885 году в семье врача. Ей было одиннадцать лет, когда Исаак Левитан подарил ей свой этюд «Цветущие яблони». Во время Гражданской войны в ее доме укрывался композитор Николай Метнер со своей женой. Она дружила домами со Станиславскими и Шаляпиными. В советские времена Анна Ивановна преподавала в Московской консерватории, была членом Союза художников СССР.

Как-то летом она запросилась на дачу, и мы с Таней нашли ей комнату с верандой в большом деревянном доме на несколько семей в подмосковной Малаховке. На даче ей было

скучно, и она попросила у меня почитать Солженицына, о котором, как и все, много слышала. Я принес ей ротапринтное издание «Ракового корпуса» и попросил никому не давать, дабы не было осложнений. Книжку она никому не давала, но однажды забыла ее в беседке в саду, и крамольное издание очутилось в руках соседки — вздорной бабы лет пятидесяти, ненавидевшей москвичей, евреев, интеллигентов, дачников и вообще всех на свете, включая, кажется, саму себя. Уж не помню, чего она хотела от Анны Ивановны — то ли денег, то ли еще чего-то или просто желала покуражиться, но заявила, что на днях отнесет книжку в КГБ или милицию. Дело принимало скверный оборот. Конечно, Трояновскую за самиздат вряд ли посадили бы, но неприятности быть могли. Надо было что-то делать. Я долго ломал голову, что же предпринять, но ничего хорошего придумать не мог. В конце концов решил устроить спектакль.

Утром я надел одежду попроще, нацепил на голову кепку козырьком назад, перекинул через плечо сумку с гаечными ключами и отвертками и пошел к злобной соседке. Из нагрудного кармана у меня торчала индикаторная отвертка, из бокового — блокнот и пачка каких-то старых квитанций. «Из горэнергосбыта», — представился я хозяйке и прошел в комнаты, не спрашивая разрешения. «Проверяем электропроводку и все розетки, — пояснил я. — Требование пожарной инспекции». Хозяйка, как я и ожидал, моментально смирилась с вторжением в ее квартиру человека чужого, но обремененного маленькой властью, и только ходила за мной по пятам да отодвигала мебель, чтобы я мог добраться до розеток. В каждую из них я совал индикаторную отвертку, отчего лампочка на ручке загоралась ядовито-желтым цветом, что производило на хозяйку сильное впечатление. Потыкав отверткой в розетку, я с умным видом тщательно записывал что-то в свой блокнот. Между тем я внимательно оглядывался вокруг, рассчитывая найти книгу где-нибудь на столе и забрать ее незаметно, а если не получится, то и открыто. Книги нигде не было. Розетки вскоре кончились, и я пошел по второму кругу, рисуя схему проводки и ворча, что она не надлежащим образом изолирована. Хозяйка оправдывалась и обещала се-

годня же все непременно исправить. Ясно, что книга лежит в шкафу или где-то еще, укрытая от глаз, но не лезть же в шкаф в поисках розеток и электрической проводки!

Мой спектакль рушился, и на аплодисменты рассчитывать не приходилось. Я уже стоял в прихожей, и пора было уходить. Надо было на ходу менять сценарий.

— Как вы думаете, почему я проверяю именно противопожарную безопасность? — спросил я ее, пытаясь быть максимально вежливым и чуть ли не ласковым.

Хозяйка молча пожала плечами и вопросительно посмотрела на меня. Тут я постарался придать своему лицу самое неприятное выражение и угрожающе продолжил:

— А потому, что если ты сегодня же не вернешь Анне Ивановне книгу Солженицына, то завтра ваш дом запылает со всех сторон. Ты меня поняла?

Соседка побледнела. Вероятно, не столько от самой угрозы, сколько от резкой смены тона и внезапного перехода на «ты». Я понял, что для пущей убедительности мне надо было бы еще грязно выругаться, но у меня не получилось. Дальнейшие разговоры только ослабили бы впечатление, и я повернулся уходить. Соседка между тем опомнилась и сдавленным голосом выдавила:

— Я пойду в милицию.

— Иди, — согласился я. — Но тогда твой дом уж точно сгорит.

Весь день мы сидели дома как на иголках, ожидая новостей от Анны Ивановны, которая ничего не знала о моем визите под видом электрика. Вечером Таня пошла к ней. Вернувшись, она рассказала, что в доме переполох, все соседи о чем-то спорят и очень нервничают. Как я и рассчитывал, злобная соседка рассказала остальным жильцам дома о поступившей угрозе. Я надеялся, что остальные, не будучи такими отчаянными советскими патриотами, образумят ее. Но время шло, а ничего не происходило. Утром Таня уехала на работу, а вернувшись, первым делом пошла к Трояновской. Я ждал ее в нашей малаховской квартире. Часа через два она вернулась улыбаясь — в ее сумочке лежала злополучная книга.

Все получилось, как мы и ожидали. Весь вечер соседи спорили между собой, что важнее — долг советского человека или их собственный дом. Мнения разделились. Никому, кроме злобной соседки, от доноса никакой выгоды не было, а погорельцем мог стать каждый. Судьба «Вороньей слободки» никого не прельщала. В конце концов дело дошло до ругани, злобную соседку уломали, и на следующее утро кто-то из соседей вернул книгу владелице.

Анна Ивановна перенесла все это совершенно спокойно.

— А нет ли у вас, Саша, почитать других романов Солженицына? — спросила она меня несколько дней спустя.

— Конечно, Анна Ивановна, — отвечал я, — только давайте сначала вернемся в Москву.

Анна Ивановна Трояновская, прожившая такую долгую и неутомимую жизнь, умерла в 1977 году.

В Советском Союзе очень любили американских рабочих, но терпеть не могли крупнейший американский профсоюз АФТ-КПП (Американская федерация труда — Конгресс производственных профсоюзов). И было за что! Таких упертых антикоммунистов, как в этом профсоюзе, надо было поискать. Их лидер Джордж Мини не упускал случая выразить свое отвращение к коммунизму и советской системе. Советы платили ему тем же.

В 1977 году Джордж Мини пригласил на конгресс АФТ-КПП в Лос-Анджелесе шесть человек из СССР: Анатолия Марченко, Андрея Сахарова, Владимира Борисова*, Валерия Иванова, Надежду Мандельштам и меня. Разумеется, никто не смог поехать, да и приглашение дошло по почте, кажется, только до кого-то одного из нас. Некоторые послали свои выступления, но планировалось еще и общее письмо с объяснением, почему мы не можем приехать. Мне выпало обсудить эту тему с Надеждой Мандельштам.

Надежда Яковлевна была тогда уже очень хорошо известна не только как вдова великого поэта Осипа Мандельштама,

* Владимир Евгеньевич Борисов — член Инициативной Группы защиты прав человека, политзаключенный, муж Ирины Каплун.

но и как автор двух книг воспоминаний о своем муже и той эпохе, в которой ему выпало жить и умереть.

Ей было семьдесят восемь лет, она жила в Черемушках, и меня привел к ней Петя Старчик, который перед ней благоговел и как-то помогал. Надежда Яковлевна была то ли нездорова, то ли просто устала и принимала нас лежа в кровати, без церемоний, но с достоинством. Я изложил ей суть дела — рассказал о приглашении в Америку и нашей идее написать общее письмо. Она отнеслась к этому прохладно, но сказала, что подумает. Заокеанская страна не привлекала ее, на путешествии не было сил, и, мне кажется, жила она больше прошлым, чем настоящим, а тем более будущим.

Я немного стушевался в начале разговора. Да и как было не стушеваться, когда перед тобой живая легенда и свидетельница трагических событий и великих поступков. Она была удивительно откровенна. Меня тогда поразило, что она говорит со мной серьезно и искренне, как с близким другом, хотя видит первый раз в жизни. Теперь я думаю, что она говорила тогда не столько со мной, сколько с воображаемым собеседником, своим вечным оппонентом.

Она ощущала дефицит справедливости в окружающем ее мире. В своих воспоминаниях она написала правду о многих людях, и многие на нее обиделись. У нее не было времени на лукавство. Она спешила. Если она считала нужным выругаться, она материлась — но не потому, что это доставляло ей бравое удовольствие эпатировать окружающих (что так любят делать для пущей «народности» иные русские интеллигенты), а потому, что так было короче, так было проще выразить отношение. Она избавляла свою жизнь от шелухи условностей и вежливой лжи. Она была беспощадна к другим, к себе и даже к покойному мужу.

Мы заговорили о Мандельштаме, о судьбах писателей в России, об искуплении грехов революции — чужих грехов. В какой-то момент, помолчав, Надежда Яковлевна сказала со вздохом, что не может простить Мандельштаму его последних верноподданнических стихов Сталину. Я пробовал возразить, что теперь эту вину взвешивают на других весах, а мы судим о поэте по его гениальным стихам, а не по расчетли-

вым. Она этот аргумент не приняла. (Да и слаб он был, честно говоря, но хотелось ее успокоить.) Для нее Осип Мандельштам был не только поэтом. Близкому человеку трудно простить несовершенство.

Она разговаривала со мной, а была устремлена в себя, в свое прошлое, и там спорила с Мандельштамом, с друзьями и недругами, которых уже давно не было на свете. Такой она мне и запомнилась — прямой, резкой, страстно обращенной к прошлому, спокойной к настоящему, равнодушной к будущему.

Больше я с ней не встречался. Надежда Яковлевна умерла в декабре 1980 года, когда я был уже далеко на Севере.

Писательский зуд

Слова завораживали меня. В самом раннем детстве, когда мама читала нам на ночь стихи Пушкина и Маршака, а папа — «Без семьи» Гектора Мало, меня увлекал не столько даже сюжет, сколько музыка слов, мелодия выражений. Это был будто бы отдельный мир, в котором разные слова имели свое предназначение и свой вес. Были слова важные, а были — простые, и их переплетение составляло странную и красивую картину, когда они складывались во фразы, как цветные огоньки в моем чудесном картонном калейдоскопе.

Мне было четыре года. Папа писал кандидатскую диссертацию по медицине — крохотные букочки ложились ровными экономными рядами на лист белой бумаги. Я был зачарован этим процессом. Как-то я взял бумагу и написал несколько строк бессмысленных закорючек. Получилось здорово, я был горд и попросил отправить это Маршаку, поскольку Пушкину, как мне объяснили, отправить было почему-то невозможно. Папа положил мое письмо в конверт, написал на нем «Москва, Союз писателей СССР. С.Я. Маршаку» и на следующий день бросил конверт в почтовый ящик.

Скоро я забыл о своем письме, но однажды вечером в квартиру позвонил почтальон, поговорил о чем-то с папой, и через мгновение мне была вручена бандероль. Мне, персональ-

но, в четыре года! Я чуть не лопнул от гордости. В бандероли была книжка Маршака с детскими стихами и дарственной надписью автора на фронтисписе. С тех пор у меня завязалась переписка с Самуилом Яковлевичем. Я посылал ему свои стихи и рассказы, он мне писал открытки и письма с настоятельными просьбами читать Пушкина, Лермонтова и других русских писателей. Время было советское, в школе велели читать про войну и подвиги героев, а я следовал советам Маршака и старался читать классику. Хотя, признаться, мне это было тогда совершенно неинтересно. Так и переписывались мы с ним до самой его смерти в 1964 году. Мне было тогда одиннадцать лет.

Я хорошо запомнил наставления Маршака, что надо много читать, больше стараться и все у меня получится. Читать я не любил. Зато писать мне нравилось. При этом в школе по литературе у меня всегда были отличные оценки, а по русскому языку — плохие. Я очень долго писал совершенно безграмотно, пока не понял, что грамотность — это часть литературного качества.

В двенадцать-тринадцать лет я начал издавать свой собственный журнал. У папы была пишущая машинка «Москва», на которой он печатал свои научные статьи и готовил уже докторскую диссертацию. Я научился печатать. Поскольку надо мной не было никакого начальства, я печатал, что хотел. Меня привлекала «желтая» пресса, которой в СССР в то время, конечно, не было. Я собирал анекдоты, заметки из разделов «Нарочно не придумаешь» и всякую прочую газетную дребедень. Потом печатал все это на сложенной пополам половинке плотной чертежной бумаги обычного машинописного формата. Если страниц собиралось много, я сшивал их посередине крепкими белыми нитками. У издания даже было какое-то название. Родные и знакомые брали это почитать, но покупать не хотели. Даже по самой умеренной цене. Так я впервые столкнулся с неплатежеспособным спросом. Впрочем, я был доволен уже тем, что мое издание читают.

Школьные сочинения на уроках литературы не давали простора. Я уже понимал тогда, что писать можно далеко не все, что думаешь. В десятом, выпускном классе иные мои со-

чинения разбирали на педсовете, решая, поставить мне пятерку или выгнать из школы. Некоторые учителя за независимость суждений терпеть меня не могли. Зато другие были очень благосклонны, и это меня спасало.

В 1970 году, когда уже всюю была развернута кампания против Солженицына, а я был в последнем классе школы, на уроке английского нам задали домашнее задание: написать отзыв на любимую книгу. Я написал о повести «Один день Ивана Денисовича», которая была когда-то опубликована в журнале «Новый мир» и вышла отдельной книжкой. Английский мой был ужасен, но толстая и добрая наша англичанка Элеонора Наумовна Адлер меня любила, а советскую власть — нет. Она поставила мне четверку. В маленьком нашем городе все хорошие люди друг друга знали, и на следующий день нас троих (папу, Кирилла и меня) срочно позвали к себе в гости две добрые папины приятельницы, преподавательницы русского языка и литературы. Одна из них преподавала в моей школе.

Евгения Львовна Соболева и Жозефина Иосифовна Бельфанд иногда давали нам читать самиздат, полученный от знакомого — новомировского литературного критика Владимира Лакшина. Когда мы пришли к ним домой, они набросились на меня с упреками, что я сошел с ума, подставляю отца и дразню гусей. Они объяснили, что добрая моя англичанка рискует своей работой, поскольку ставит мне за такое сочинение четверку, вместо того чтобы сообщить о нем завучу и парторгу школы. Я был пристыжен и обещал впредь так не поступать.

Страх совершить непоправимую ошибку надолго отбил у меня всякую охоту что-либо писать. Однако годом позже в мои руки попал девятнадцатый номер «Хроники текущих событий», в котором были опубликованы записки Владимира Гершуни* из Орловской спецпсихбольницы. Они потрясли меня. При всем том, что я уже успел узнать о современном ГУЛАГе и психушках, я не предполагал, что медицина может

* Владимир Львович Гершуни (1930–1994) — рабочий, политзаключенный, один из организаторов Свободного межпрофессионального объединения трудящихся (СМОТ).

быть использована таким диким способом. До тех пор я не ощущал реальности этого ужаса.

В 1973 году, когда мне было двадцать лет и я уже оканчивал медицинское училище, у меня созрела решимость написать о карательной психиатрии книгу. Я хорошо помню тот день. Была осень. Я вернулся домой с занятий, сел за старинный письменный стол, достал чистый лист бумаги. Я подумал тогда, что сейчас сделаю нечто, что круто изменит мою жизнь. Круто менять жизнь не хотелось. Самому занести себя в список врагов государства было страшно. Но меня жгли воспоминания Гершуни, который все еще сидел в психбольнице. На будущий год я должен был получить медицинский диплом. Я немного разбирался в психиатрии и много читал о судьбах диссидентов — кто же, как не я, должен написать обо всем этом? Я вывел наверху листа заголовки и написал несколько первых строк. Мне стало неуютно. Теперь надо будет многого опасаться, прятать рукопись, по крайней мере до тех пор, пока не допишу все до конца. Начав писать книгу, я встал на путь сопротивления власти. Я стал врагом государства и потерял часть своей свободы. Игрушки закончились. Жизнь стала приобретать совершенно другие очертания.

С мыслью, что теперь меня есть за что посадить, я постепенно свыкся. Рукопись потихоньку росла, толстела, обзаводилась картотеками и приложениями. Я подолгу сидел в Исторической библиотеке, выискивая документы, касающиеся советского здравоохранения. Покупал нужные книги на книжной толкучке на Кузнецком Мосту. Некоторые старые книги, особенно о психиатрическом деле в дореволюционной России, можно было найти только в медицинской библиотеке на площади Восстания или в Ленинке. Но простым смертным туда было не войти. Свободным вход был только для обладателей ученых степеней или аспирантов. Тогда я просил отца, мы шли вместе: он — как доктор наук, я — как его ассистент. Я говорил ему, какие книги нужны, и он исправно все заказывал.

В то время я уже работал на «скорой помощи» и, используя свои связи, достал копию последней версии секретной инструкции по неотложной госпитализации психически

больных, представляющих общественную опасность. На ней стоял гриф ДСП — для служебного пользования — и номер экземпляра. Я очень радовался, что смогу опубликовать секретный документ.

Постепенно я расширял круг своих знакомств среди диссидентов, обращая особое внимание на тех, кого коснулись психиатрические репрессии. С ними я делал интервью. Надо было не потерять ни одного сказанного слова. Папа помог с деньгами, и я купил за 160 рублей кассетный магнитофон «Легенда», на который записывал свидетельства недавних политзаключенных. Я получил показания от Оли Иоффе, Юрия Айхенвальда, Петра Старчика, Владимира Борисова, Юрия Шихановича, Натальи Горбаневской, Михаила Бернштама, Романа Финна, Владимира Гершуни, Петра Григоренко, Сергея Писарева, Юрия Белова, Михаила Кукобаки, Ирины Кристи, Владимира Гусарова. Они охотно рассказывали мне о своей жизни и заключении в психбольницах. Единственный, кто отказался говорить со мной под запись, был Юрий Шиханович — тогда мне это показалось странным, но причину этого я понял гораздо позже. Зато освободившийся в 1974 году Владимир Гершуни, с которого и начался мой интерес к этой теме, подробно рассказал о своем заточении в Орловской спецпсихбольнице.

Я долго не мог добраться до Натальи Горбаневской, она всегда была занята, а потом вдруг узнал, что она собралась уезжать на Запад. Я пришел к ней в день проводов, накануне ее отъезда. Дом был полон народа, дым стоял коромыслом, и, конечно, ей было не до интервью. Тем не менее я вытащил ее на кухню, и она рассказывала мне под диктофон о своем деле и Казанской спецпсихушке.

Книга писалась легко. Трудность состояла только в поисках материалов и постоянном копировании и переприватывании второго экземпляра. Я опасался обыска. Сначала я делал аудиокопию, наговаривая текст на магнитофон. Бобина с пленкой уходила в тайник. Вскоре стало понятно, что магнитофонная лента не может быть копией рукописи, которую я постоянно дополнял и переписывал. Я стал перепечатывать рукопись на машинке в двух экземплярах. Чаще всего просил

делать это папу, приезжая к нему с очередной порцией рукописного текста. Он печатал с невероятной скоростью вслепую и десятью пальцами. Иногда этот труд брал на себя мой друг пианист Дима Леонтьев, который лупил по клавиатуре хотя и двумя пальцами, но со скоростью пулемета.

Писал я чаще всего в подмосковной Малаховке, где жил тогда у своей подруги Тани Якубовской. Днем она работала литературным редактором в НИИ шинной промышленности, вечером пела в церковном хоре — у нее было изумительное меццо-сопрано. Я, если не дежурил на «скорой помощи», сидел в Малаховке на кухне, обложившись бумагами, сигаретами и бутылками с лимонадом, которого выпивал за день писательской работы неимоверное количество.

Через четыре года книжка была практически готова. В 1977 году, в тот момент, когда в одном московском доме ее перепечатывали начисто, с обыском нагрянул КГБ и все забрал. Слава богу, имелся второй экземпляр, который со многими предосторожностями удалось извлечь из тайника, перепечатать начисто и переправить с дипломатической почтой за границу.

Между тем количество новых материалов о психиатрических репрессиях росло как снежный ком. Это были уникальные свидетельства, их нельзя было оставить без внимания. Вместе с Виктором Некипеловым, врачом-фармацевтом и известным диссидентом, мы составили сборник воспоминаний заключенных психбольниц, который назвали «Из желтого безмолвия...». К сожалению, сборник так никогда и не был опубликован, а его самиздатский вариант многократно забирали на обысках, и в результате у нас не осталось ни одного экземпляра.

Похожая судьба постигла и еще одно мое литературное начинание. Освободившись в якутской ссылке после предварительного заключения и долгих этапов, я решил было написать заметки о новом для меня тюремном опыте. Назывались они — «Ненужная история». Писал молча, с женой в доме ничего не обсуждали. Однако в КГБ каким-то образом пронюхали. Возможно, смогли прослушать на улице. Подосланные «друзья» как бы между прочим интересовались,

не пишу ли я мемуары, а то «очень хочется почитать». Последовали обыски, но рукопись не нашли. Она была спрятана под рубероидом на скате крыши нашего одноэтажного деревянного дома, и, даже догадавшись, найти ее было непросто — пришлось бы снимать с крыши весь рубероид. На такие ремонтно-строительные работы у местного КГБ вряд ли хватило бы запала. Уже когда меня вновь посадили, один из «друзей» пришел к жене с сообщением, что КГБ ищет мою рукопись и у нас дома снова будет обыск. Чекисты рассчитывали, что Алка, как и многие в таких ситуациях, побегит перепрятывать рукопись и на том поймается.

У нее действительно не выдержали нервы. Она решила, что если рукопись найдут, то мне добавят еще один эпизод обвинения. Было лето 1980 года, в Москве гремели Олимпийские игры. В Якутии стояли белые ночи, и в полночь было светло, как в Москве ранним летним вечером. За домом велась непрерывная слежка, и Алка знала это. Во дворе она развела огонь в мангале для шашлыков. Когда дрова разгорелись, она подтащила к дому лестницу, залезла на крышу, вытащила пакет с рукописью и, спустившись вниз, тут же все сожгла. Гэбня ничего не успела сделать, даже добежать до калитки.

Позже, узнав на лагерном свидании об этом аутодафе, я был очень удручен. Я старался не подавать виду, понимая, что жена действовала из лучших побуждений, но переживал это тяжело. Правда, оставалась надежда на копию. Большая часть рукописи была микрофильмирована, а пленку наша московская подруга Ирина Гривнина* увезла из Усть-Неры в Москву и вместе с некоторыми другими моими вещами отдала кому-то на хранение. Освободившись, я пытался найти свои вещи, но Гривнина вскоре эмигрировала из страны, а в том, что мне позже вернули, микрофильма рукописи почему-то не оказалось. Возможно, эта пленка до сих пор лежит где-нибудь в лубянских архивах, а может быть, ее уничтожили за ненадобностью. Увы, рукописи и горят, и пропадают бесследно.

* Ирина Владимировна Гривнина — инженер-программист, член Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, политзаключенная.

Детское увлечение буквами и словами в конце концов привело меня в журналистику. Я стал заниматься ею профессионально, когда начала рушиться советская власть и появилась возможность издавать свою газету. Вместе с тремя моими приятелями — Петром Старчиком, Володей Корсунским и Володей Рябоконе — мы начали выпускать еженедельную газету «Экспресс-Хроника». Начиналась она как классический машинописный самиздат, но скоро превратилась в полноценную многополосную газету. Отношение ко мне и к моим статьям у читающей публики было разное. Я, впрочем, никогда не старался понравиться читателю и дорожил мнением только очень немногих людей.

Одним из них был Солженицын. В 1991 году Александр Исаевич писал мне из своего изгнания, из Кавендиша: «...Как строки личные, охотно скажу Вам: Ваши собственные статьи, иногда попадавшие мне то там, то сям, — всегда радуют меня исключительной точностью и верностью Вашего взгляда, Вашей оценки людей и событий. Многие из них я с Вами разделяю. От души желаю Вам успешных результатов в Вашей неутомимости!»

Его оценка моей журналистской работы значила для меня очень много. Так же много значит и теперь, когда его уже нет в живых. Он будто засвидетельствовал, что наставления Маршака были не напрасны.

Нетерпение

Стояла осень 1973 года, и я закачивал медицинское училище. Все у меня было хорошо — я снимал приличную комнату в центре Москвы, зарабатывал неплохие деньги, общался с интересными людьми. У меня была чудная подруга и хорошие друзья. Но мне казалось, что веду я себя как-то слишком покорно, слишком тихо. Стыдно в такие времена быть тихоней, думалось мне, надо делать что-то яркое и смелое. Я жаждал деятельности, мне хотелось столкнуться со злом лицом к лицу.

Володя Альбрехт рекомендовал меня Андрею Твердохлебову — тогда уже очень известному диссиденту, физику,

одному их соучредителей Комитета по правам человека в СССР. Твердохлебов жил в Лялином переулке, рядом с улицей Чернышевского. Идти до него пешком от моего дома было минут двадцать, и, как-то созвонившись с ним и представившись, я договорился о встрече.

Меня встретил человек лет тридцати, худощавый, подтянутый, с тихим голосом и внимательным взглядом. Мне было трудно объяснить ему, чего я хочу, потому что вопросы и суждения его были очень точны, а мои намерения — совершенно неопределенны. Мне казалось глупым сказать, что я хочу бороться с советской властью. Скажи я такое, он бы, наверное, благожелательно улыбнулся в ответ и сказал: «А почему бы и нет, в самом деле?» — или что-нибудь в этом роде.

Но у меня была припасена идея — мне она казалась отличной, и я изложил ее Твердохлебову. Скоро я получу медицинский диплом и смогу без труда устроиться в любую психбольницу. В том числе и туда, где держат политзаключенных. Это сулит море выгод. Во-первых, я могу стать связующим звеном между политэками и волей. Во-вторых, я, может быть, смогу получить доступ к ведомственной документации, которая регламентирует применение психиатрии к инакомыслящим. В-третьих, при необходимости я смогу стать очень важным свидетелем на каком-нибудь суде. Были и еще какие-то аргументы. «КГБ еще не знает меня, — говорил я увлеченно Твердохлебову в его насквозь прослушиваемой квартире, — поэтому серьезных трудностей не предвидится». Короче говоря, я мог бы стать замечательным шпионом демократического движения в логове врага. Эта мысль меня очень увлекала. Мне было тогда двадцать лет.

Твердохлебов слушал молча, уставившись в пол перед креслом, и было трудно понять, что он думает по поводу моего заманчивого предложения. Когда я наконец закончил свою сбивчивую речь, он спросил, что же мне мешает это сделать. Я честно признался, что работа в таком месте и в таком качестве не есть моя заветная мечта и я готов пойти на это только в интересах демократического движения. Иначе говоря, мне нужна была командировка, направление, свидетельство того,

что я не из шкурных соображений пошел работать пособником палачей.

Андрей Твердохлебов даже не усмехнулся, как, наверное, сделал бы на его месте любой, а начал очень популярно объяснять, как устроено демократическое движение. В нем есть место инициативе, ответственности, жертвенности, взаимопомощи и много еще чему, но нет в нем ни коллективной ответственности, ни партийных заданий, ни конспирации, ни других атрибутов подпольной революционной борьбы.

Я был обескуражен. Мне казалось, что я делаю предложение, от которого невозможно отказаться. Наверное, я не вызываю полного доверия, что, в общем-то, нормально, думал я тогда. Пройдет немного времени, меня признают своим и будут доверять.

Прошло немного времени, и я понял, насколько нелепы были мои конспирологические затеи. Демократическое движение — это не городская партизанщина, не подпольная борьба и не игра в революционную романтику. Это серьезнее. Это открытое противостояние откровенному злу в образе коммунистического режима.

От иллюзий к делу

В двадцать лет кажется, что противостоять откровенному злу надо непременно на баррикадах или героических демонстрациях на Красной площади. Это так смело и красиво! Жизнь, однако, устроена куда прозаичнее. Потерпев фиаско с планом внедрения в психиатрические службы, я стал собирать материалы по репрессивной психиатрии. Замысел книги уже зрел в моей голове, и неотвратимо приближался день, когда надо было сесть за стол и начать писать.

Среди постоянных гостей Александры Вениаминовны Азарх был Женя Кокорин — инженер-энергетик, сильный шахматист и отец очаровательной дочери, вдвоем с которой они и жили тогда недалеко от «Динамо». Мы сдружились, и я частенько заходил к ним. Его Леночке было восемь лет, и я в жизни не видел ребенка красивее. Она была умной,

живой, веселой и очень непосредственной. Мы с ней замечательно дружили. Но случилась беда — у нее обнаружили саркому. Щека ее опухла, глаза погрузнели. Женя сходил с ума в поисках выхода. Леночку лечили в онкологическом отделении Морозовской больницы, потом выписали домой. Улучшения не наступало. Я тогда работал на «скорой помощи» и часто приезжал сделать назначенные онкологами инъекции или просто обезболивающее. Все Женины друзья принимали участие в судьбе Леночки. Среди них был Сергей Ефимович Генкин — математик и активный участник диссидентского движения, Александр Кронрод — тоже математик и автор первой советской шахматной программы для ЭВМ, друзья Жени по шахматному клубу, какие-то люди, которых я мало знал или не знал вовсе. Все пытались что-то сделать. А сделать было ничего нельзя. Наша любимица быстро угасала. Весной Леночка умерла. Она прожила всего восемь лет — такую несправедливо крохотную жизнь. Я потом не раз сталкивался со смертью, пытался удержать чью-то угасающую жизнь, и далеко не всегда это удавалось, но никогда не испытывал я большего отчаяния, чем в тот раз. Это была какая-то вопиющая несправедливость, хотелось бунтовать против Бога и жизни.

Сергей Ефимович Генкин, с которым я познакомился у Жени, имел среди диссидентов репутацию рекрутингового агентства. Он поставлял демократическому движению молодые кадры. Говорят, он брал юные создания как щенят за шкуру, бросал их в самые горячие диссидентские дома, и они оставались в демократическом движении, преисполненные благодарности к своему первому наставнику. Не могу сказать про весь его послужной список, но в нем были Ира Каплун*, Таня Осипова и я.

Да, я вошел в диссидентский круг еще раз, совершенно независимо от того, что уже познакомился через Альбрехта с Андреем Твердохлебовым. Это еще раз доказывает, что не судьба распоряжается нами, а мы сами выбираем себе судьбу. Мы знакомимся с десятками, сотнями людей и сами реша-

* Ирина Моисеевна Каплун (1950—1980) — член Рабочей комиссии по исследованию использования психиатрии в политических целях, жена Владимира Борисова.

ем, куда и с кем дальше идти. Не случись мне познакомиться с Твердохлебовым или Генкиным, я бы наверняка пересекся где-нибудь с человеком, который другим путем привел бы меня в демократическое движение. Надо было только сделать решительный шаг в нужном направлении.

К тому времени освободился из психиатрической больницы генерал Григоренко. Он был слаб, болен и нуждался во врачебном уходе. Сергей Ефимович, видя мое медицинское усердие, попросил по мере сил помогать Петру Григорьевичу. Упрашивать меня было не надо — помогать такому легендарному человеку было делом почетным. Я познакомился с Петром Григорьевичем и Зинаидой Михайловной, стал бывать у них по медицинским делам, а потом и просто так.

Дом Григоренко был одним из открытых диссидентских домов в Москве. Сюда приходило много народу, стекалась информация, здесь принимались многие решения. Постепенно я познакомился здесь со всей диссидентской Москвой. Широкий круг знакомств позволял мне успешно собирать материалы для будущей книги.

Иногда меня просили сопровождать семьи политзаключенных на свидания в лагерь. Женам политзэков нужна была помощь в дороге, особенно когда они ехали с детьми. Главным образом надо было нести тяжелые сумки с запасом продуктов на три дня личного свидания. Я много раз ездил таким образом в Мордовию, в лагерное управление ЖХ-385, бывший Дубровлаг. На саранском поезде до Потьмы, откуда узкоколейка тянется на восемьдесят километров до Барашево, а по обеим сторонам железной дороги бесчисленные лагеря и поселки лагерной охраны. Возвращения со свидания я ждал обычно в домике для приезжих или местной гостинице, томясь от вынужденного безделья.

Сопровождая как-то Любу Мурженко с ее маленькой дочкой Аней на свидание к мужу Алексею Мурженко, я поселился на три дня в домике для приезжающих родственников прямо около зоны. Мурженко, отбывавший четырнадцатилетний лагерный срок по ленинградскому «самолетному делу» (попытка угона самолета), был осужден по политической статье уже не в первый раз и потому сидел в лагере осо-

бого режима в Сосновке. В этой зоне сидела тогда элита политзаключенных — особо опасные государственные преступники, рецидивисты и долгосрочники. Это были люди легендарные, многие из них были известны во всем мире.

От нечего делать я прогуливался днем рядом с домиком, и вздумалось мне увезти в Москву сувенир — кусок колючей проволоки, что валялся рядом с лагерным забором. Я неспешно, с самым обыденным видом, легким прогулочным шагом подошел к забору и поднял обрывок колючей проволоки. Тут же с ближайшей вышки раздался даже не крик, а визг солдата-охранника, который, продолжая орать что-то невразумительное вперемешку с матом, наставил на меня автомат. Инстинктивно я повел себя так, как, вероятно, наши древние предки вели себя при встрече на тропе с опасным хищником — не отводя глаз от солдата, я стал медленно отходить от забора, не поворачиваясь к охраннику спиной. Так я пятился минуты две, а солдат все целился в меня, раздумывая, выстрелить или нет. Наконец я зашел за какую-то постройку и перевел дух. Солдат не выстрелил. Сувенир остался со мной. Он и сейчас висит у меня над столом, напоминая о политическом лагере особого режима в Сосновке и солдате внутренних войск, который хотел в меня выстрелить, но передумал.

От тех поездок у меня осталась еще одна память — шрам на локте. Сопровождая на свидание к Сергею Солдатову его жену Люду Грюнберг, перед самым выходом из поезда в Потье я неловко покачнулся, когда поезд затормозил, и въехал с размаху в стекло двери в тамбуре. Стекло рассыпалось, а из раны захлестала кровь. Ничего страшного не случилось, меня зашили и забинтовали в привокзальном медпункте, но сколько же бдительных милиционеров и оперативников слетелось моментально проверять меня — не сбежал ли я из лагеря, нет ли в моем поведении чего-нибудь криминального! В версию бытовой травмы они верили с большим трудом.

Для эков свидания становятся точкой отсчета лагерного времени. Когда свидание уже разрешено и дата его известна, дни до него отсчитываются тихим шепотом. Оно может сорваться в любую минуту. Нелегко и родным заключенных. После свидания женщины выходили из лагеря в странном

состоянии, которое правильно было бы назвать послесвиданной депрессией. В них удивительным образом смешивалось счастье нескольких лагерных дней и горечь предстоящей вольной жизни. В такие моменты им была нужна помощь. Какое-то время они будто не замечали окружающей жизни, заново переживая часы лагерного свидания. Когда меня просили, я всегда ездил сопровождающим, если удавалось получить на работе свободные дни.

Участие в диссидентском движении подчинялось определенной логике: на этом пути трудно было остановиться. Отсутствие зримых результатов побуждало к наращиванию усилий. После ареста в 1974 году Сергея Ковалева* я впервые поставил свою подпись под открытым обращением в его защиту и с тех пор стал подписывать диссидентские документы по самым различным поводам. Это немного противоречило моей идее «не высовываться», пока я не закончу свою книгу «Карательная медицина», но поступать иначе было уже невозможно.

Сбор материалов для книги тоже не всегда был делом академическим и тихим. В 1975 году я пришел на симпозиум по социальным проблемам судебной психиатрии, который проходил в Москве в Центральном доме Советской Армии. Симпозиум был открытым, и, усевшись в зале, я спокойно фотографировал выступавших с докладами и в прениях. Это были вдохновители и организаторы системы карательной психиатрии в СССР: Г.В. Морозов, Т.П. Печерникова, Д.Р. Лунц, Н.И. Фелинская, Р.А. Наджаров, З.Н. Серебрякова, начальники и главные врачи спецпсихбольниц МВД СССР, судебные психиатры. Во время первого же перерыва, едва я вышел в фойе, меня задержали два милиционера и люди в штатском. В помещении комендатуры здания они долго и упорно расспрашивали меня, почему я сюда пришел и зачем фотографирую. Сначала я что-то наплел им про работу в стенгазете МГУ, где мне дали задание сделать репортаж о симпозиуме. По телефону они тут же выяснили, что в МГУ я не работаю

* Сергей Адамович Ковалев — биолог, член Инициативной группы защиты прав человека в СССР, политзаключенный.

и не учусь. Тогда, в полном противоречии с первой версией, я поведал им о том, что на самом деле работаю на «скорой помощи» и преклоняюсь перед корифеями отечественной судебной психиатрии. Потому и фотографировал их себе на память. Мне не верили. В окно комендатуры я увидел, как подъехала к подъезду машина «скорой помощи», и вскоре психиатр начал расспрашивать меня о жизни и работе. Тут мне было легко, я знал, что отвечать, а потом показал ему свое служебное удостоверение сотрудника «скорой помощи». Психиатр тут же потерял ко мне всякий интерес, сказал что-то тихо одному из людей в штатском и уехал. Меня еще «пробивали» по ЦАБу (Центральное адресное бюро), установили личность и в конце концов отпустили, предварительно засветив все отснятые фотопленки. Видимо, я еще не значился в картотеке КГБ и потому так легко отделался.

Казалось, судьба предупреждала меня: либо книга, либо открытая деятельность. Я понимал, что разумнее было бы не лезть в пекло, но уже не мог остановиться. Тишина библиотечных залов и размеренное изучение истории здравоохранения отступали перед напором реальной жизни. И, увы, не только жизни, но и смерти.

В марте 1976 года при неясных обстоятельствах погиб один из самых видных деятелей демократического движения, геофизик и поэт Григорий Сергеевич Подъяпольский. Его послали в незапланированную командировку на время прохождения в Москве очередного XXV съезда партии. Диссидентов частенько изолировали на время таких мероприятий — кого в психушку, кого на пятнадцать суток, кого в командировку. Подъяпольского спешно отправили в Саратов. Там он скоропостижно скончался, как говорили тамошние врачи, от инсульта.

Гражданская панихида и кремация проходили на Николо-Архангельском кладбище под Москвой. Собрались коллеги Григория Сергеевича, диссиденты, родные и друзья. Вокруг было много чекистов. Панихидой руководил кто-то из бывших коллег Подъяпольского по институту. Все выступавшие говорили о нем как об ученом, о его заслугах перед наукой. КГБ опасался превращения похорон в антисоветскую демон-

страцию и блокировал любые непредвиденные выступления. Тогда слово попросила Зинаида Михайловна Григоренко, представившая своей девичьей фамилией Егорова, которая чекистам ни о чем не говорила. Не поняв, от кого на самом деле исходит просьба, ей дали слово. Зинаида Михайловна сказала все, что мы думали и чувствовали: кем для нас был Гриша Подъяпольский, что он сделал для правозащитного движения, как относился к своим друзьям и как друзья ценили Григория Сергеевича. Чекисты не осмелились лишить ее слова или перебить.

А еще через месяц, в апреле 1976 года, я стоял вместе со всеми у Люблинского районного суда Москвы, где проходил процесс по делу Андрея Твердохлебова. В здание суда не пускали. Я показывал охранявшему вход майору милиции Конституцию СССР и ссылаясь на статью об открытом и гласном судопроизводстве. «Я тебе покажу конституцию!» — рычал мне в ответ майор. Сергея Ходоровича*, который якобы «мешал проходу граждан в суд», милиция задержала и увезла в отделение. Вместе с Верой Лашковой**, Мальвой Ланда*** и Юрием Орловым**** мы ходили в милицию свидетельствовать, что никому Ходорович не мешал. Но кому нужны были наши свидетельства?

У здания суда между тем собрались не только диссиденты, но и западные корреспонденты, дипломаты. Кто-то постоянно ходил звонить из телефона-автомата домой, чтобы узнать, как обстоят дела в Омске. Там в этот же день судили лидера крымских татар Мустафу Джемилева, который уже больше девяти месяцев держал голодовку протеста. Его кормили принудительно через зонд, но состояние его было угрожающим. В Омск полетели Андрей Сахаров и Елена Боннэр. Их тоже не пустили в зал суда и начали грубо выталкивать из здания, из-за чего Елена Георгиевна вlepила пощечину коменданту суда. На нее набросились, а Андрей

* Сергей Дмитриевич Ходорович — политзаключенный, распорядитель Фонда помощи политзаключенным, брат Татьяны Ходорович.

** Вера Иосифовна Лашкова — участница демократического движения, политзаключенная.

*** Мальва Ноевна Ланда — геолог, член МХГ, политзаключенная.

**** Юрий Федорович Орлов — физик, первый руководитель МХГ, политзаключенный.

Дмитриевич, заступаясь за нее, тоже ударил кого-то из ментов. К концу дня стало известно, что Джемилева осудили на два с половиной года лагеря.

На следующий день вынесли приговор и Твердохлебову. По статьям 190¹ и 43 УК РСФСР его приговорили к наказанию ниже низшего предела — 5 годам ссылки. И это при том, что Твердохлебов не признал свою вину и вел себя на следствии и в суде исключительно твердо.

Мы ждали перед зданием суда, надеясь, что сможем увидеть Андрея. Вскоре к подъезду подъехал воронок, из дверей вышел Твердохлебов, махнул всем рукой и исчез в машине. Не сговариваясь, мы начали скандировать «Андрей! Андрей!», и это заглушало недовольные окрики милиционеров и вой милицейской сирены на машине сопровождения. Андрей наверняка слышал нас, и мы все знали, что наша солидарность — это то, на чем держится наше движение, что не позволит нам пропасть поодиночке, не даст сгинуть в тюремной пустоте и лагерной безвестности.

Пройдет всего два года, и я услышу такое же скандирование в свой адрес и буду знать, что друзья не забудут меня ни в глухой ссылке на краю земли, ни в самой безнадежной одиночной камере.

Психиатрия: первые шаги

Идея создания специальной организации, расследующей использование психиатрии в политических целях, родилась у меня давно, а в 1976 году необходимость ее создания стала очевидной. К тому времени я уже практически закончил четырехлетнюю работу над книгой «Карательная медицина» и мне было понятно, что открытая борьба против репрессивной психиатрии требует открытой диссидентской организации, действующей специально по этой проблеме. Последним толчком к созданию такой организации стала принудительная госпитализация в психбольницу Петра Старчика.

Известный диссидент и бард Петр Старчик первый раз был арестован в 1972 году за распространение антисоветских

листовок. Его обвинили по статье 70 УК РСФСР в «антисоветской агитации и пропаганде» и осудили на принудительное психиатрическое лечение в спецпсихбольнице МВД. Он сидел в Казани, потом в обычной психбольнице в Москве — в общей сложности около трех лет. Сидел тяжело, непокорно. Пытался установить в Казанской СПБ контакт с «железной маской», самым таинственным узником того времени — Виктором Ильиным, армейским лейтенантом, стрелявшим в 1969 году в Брежнева во время следования его кортежа в Кремль. Попытки связаться с Ильиным оказались тщетными. Старчика кололи нейролептиками, обещали «вечную койку», но не ломали.

Освободившись окончательно в 1975 году, он связей с диссидентами не порвал, хотя о листовках больше и не помышлял. Будучи музыкально одаренным, он начал перекладывать на музыку стихи Цветаевой, Мандельштама, Волошина, Клюева и других знаменитых или малоизвестных поэтов. По пятницам в его квартире на первом этаже в блочной девятиэтажке в Теплом Стане собиралось до сорока-пятидесяти человек. Старчик пел песни, сопровождая себя на пианино или гитаре; иногда ему подпевала его жена Саида. Здесь же можно было подписать какое-нибудь открытое письмо в защиту очередного политзаключенного или другие диссидентские документы. Все делалось открыто, прятать было нечего. Люди все время менялись, старые знакомые приводили новых, те — своих, и в конце концов этот нескончаемый поток стал бесить КГБ.

Петра начали вызывать в психдиспансер для беседы — он приглашения игнорировал. Потом начали угрожать из милиции — не помогло. Требовали прекратить домашние концерты — он продолжал. В середине сентября 1976 года его задержали и доставили в 14-ю психиатрическую больницу на Каширке. В путевке на госпитализацию указали в качестве причины «сочинение антисоветских песен» и поставили отметку «социально опасен».

Я к тому времени был уже очень дружен с Петром и Саидой, иногда оставался ночевать у них, возился с их очаровательной малышкой Маринкой. Их дом был открыт для мно-

гих, но при этом не терял уюта и не становился проходным двором, как это порой случается с открытыми домами. У Старчиков было много друзей. Одним из них был Феликс Серебров, когда-то отсидевший немалый срок за какую-то уголовную ерунду (в послевоенные годы, будучи подростком, вместе с другими мальчишками украл несколько килограммов соли из железнодорожного состава — получил десять лет лагерей). Мы сблизились с Феликсом и, когда Петра бросили в психушку, начали думать, как ему помочь. Каких действий в его защиту он ждал от нас, точно было неизвестно. Свидания с ним не давали даже его жене. Петр находился в отделении строгой изоляции в психиатрической больнице, куда несанкционированный доступ был невозможен.

Двадцать три года — хороший возраст для авантюрных поступков. Впрочем, Саида и Феликс поддержали мое намерение, хотя, кажется, и считали мой план сумасшедшим. Я исходил из того, что инициатива в советском обществе — явление необычное, поэтому подходящая форма и уверенный вид могут сокрушить все препятствия.

Уже через два дня после Петинной госпитализации я стучался вечером в дверь «буйного» отделения 14-й городской психиатрической больницы на Каширке. На мне был белый медицинский халат, на шее висел фонендоскоп. Все предыдущие препятствия я легко миновал, объясняя бдительному персоналу, что я сотрудник скорой медицинской помощи и мне необходимо поговорить с заведующим отделением о судьбе «моего» больного. Дверь в отделение мне открыла дожевывавшая что-то на ходу медсестра, с которой я разговаривать не стал, а потребовал позвать дежурного врача. Командные интонации сделали свое дело, и, не задавая лишних вопросов, медсестра провела меня в холл, а сама пошла за дежурным.

Дежурный врач, хрупкая миловидная женщина средних лет, выслушала меня внимательно. Если все, что я говорил раньше, было почти правдой, то здесь мне пришлось сочинять. Я объяснял ей, что два дня назад я доставил одного больного в психоневрологический диспансер, а оттуда его привезли к ним, в 14-ю больницу. Но дело в том, что я тол-

ком не успел собрать анамнез этого больного, как там его фамилия, одну минуточку — я смотрю в свои записи — да, Старчик его фамилия. Так вот, я неправильно заполнил карту вызова «скорой помощи», без анамнеза, а здесь ведь такой случай, сами понимаете, надо было тщательно все сделать, и теперь у меня неприятности с заведующим подстанцией. И мне бы надо поговорить с больным, заполнить все правильно и возвращаться скорей на работу, потому что смена моя уже заканчивается. И я показываю ей карту вызова «скорой помощи», которые, между прочим, на улице не валяются, и там крупно написана фамилия больного — Старчик, а на обороте ничего не написано. Ясное дело, молодой и неопытный работник допустил ошибку, с кем не случается? «Ждите здесь, я сейчас его приведу», — говорит мне дежурный врач и уходит по коридору.

Я поворачиваюсь к окну, смотрю на пожелтевшие листья в больничном парке — они срываются с деревьев, кружатся по асфальтовым дорожкам, и какой-то странный человек в телогрейке, надетой поверх больничной пижамы, наверное, «тихий» больной, старательно метет метлой, собирая листья в одну большую кучу. Между тем несколько чем-то очень недовольных ворон каркают и пикируют на кучу листьев, пытаюсь растащить ее по листочку. Я вижу, как человек разрывается между обязанностью мести дорожки и необходимостью отпугивать ворон. Если это действительно больной, думал я, то ситуация может стать для него психотравмирующей. Я увлекся поединком человека с птицами, но узнать, чем он закончился, не удалось.

— Доктор, вот ваш пациент, — раздается сзади голос дежурного врача. Я оборачиваюсь и вижу сначала недоуменный, а затем радостный взгляд Старчика.

— Здравствуйте, Петр Петрович, — спешу я установить дистанцию, но не тут-то было.

— Сашка, это ты? Глазам своим не верю! — все сильнее расплывается в улыбке Петя и идет мне навстречу, широко раскрывая объятия.

Я молча протягиваю руку для пожатия, понимая, что этого мало и мне надо как-то дезавуировать Петин восторг, но

не нахожу слов и не могу не пожать протянутую руку, и уже ясно, что все летит в тартарары и скоро развязка. Дежурная смотрит на нас, ничего не понимая, затем резко поворачивается и быстро уходит. Я успеваю рассказать Пете, что мы делаем в его защиту все возможное, узнаю, что его пока не колуют, не мучают, а он сообщает, что ему принести. Тут на нас налетает целая толпа людей в белых халатах, Петю уводят в палату, а меня приглашают в ординаторскую.

Уже знакомая мне дежурный врач и еще какой-то очень серьезный психиатр с короткими усами и в очках в массивной черной оправе требуют от меня объяснений. Я объясняю, что действительно работаю на «скорой помощи», а Старчик — мой друг и вы сами знаете, за что он сюда попал. Мне дважды неловко — за то, что сначала соврал, и за то, что теперь разоблачен. Поэтому я перехожу в наступление и говорю, что Старчик — совершенно здоровый человек, стало быть, лечить его вовсе не надо, а надо, наоборот, поскорее выписать из больницы от греха подальше. Мои собеседники со мной явно не согласны, но быстро принимают очень разумное решение: скандал не раздувать, а меня выпроводить отсюда вон и как можно скорее.

В самом деле, в случае скандала они окажутся виноватыми в том, что не смогли обеспечить лечебно-охранительный режим и что их одурачили совсем уж по-детски. А кому хочется выглядеть дураком? Дежурная провожает меня до самого выхода из больничного корпуса и просит никогда так больше не поступать.

Между тем скандала избежать не удалось. История моего посещения Старчика моментально разлетелась по диссидентской Москве и через многочисленные жучки и многочисленных стукачей дошла до ушей тех, кто принимает решения. Через день Петра увезли из Москвы подальше, в 5-ю психбольницу на станции Столбовая. А меня с легкой руки Старчика с тех пор среди московских диссидентов стали звать Штирлицем.

Мы вместе с Петиной женой Саидой и нашим общим другом Мишей Утевским еще приезжали к Пете на свидания в Столбовую. Старчик замечательно держался. Свидания проходили в огромном зале столовой, где за каждым столи-

ком сидели больные и их родственники. Раньше здесь располагалась, кажется, гимназия или пансион, а нынешняя столовая была, видимо, актовым залом. Над арочными сводами среди лепнины была едва заметна выполненная из гипса полустертая и покрашенная надпись, еще со старой орфографией — «Съйте разумное, доброе, вѣчное». Как раз то, что надо для психбольницы!

Примерно через месяц в Москве был создан общественный комитет «Свободу Петру Старчику!». Туда вошли известные диссиденты Татьяна Великанова, Алик Гинзбург, Глеб Якунин, Татьяна Ходорович и другие. Комитет рассылал в советские инстанции письма с требованиями освободить Старчика, обратился за поддержкой к президенту Франции. Я помогал комитету с черновой работой: находил нужные адреса, печатал и отправлял письма, собирал подписи. Некоторые обращения мне совсем не нравились: соглашаясь с их пафосом и требованиями к властям, я видел явные недостатки в мотивировке как с точки зрения права, так и с точки зрения психиатрии. Деятельности комитета, как мне казалось, не хватало профессионализма. Я шел советоваться к нашему главному адвокату — Софье Васильевне Калистратовой, и она говорила, что нужно создавать специальную комиссию по таким вопросам, привлекать туда специалистов и тогда все встанет на свои места. То же самое говорил и Петр Григорьевич Григоренко.

Идея создания комиссии носилась в воздухе. Мы много обсуждали это с Феликсом Серебровым. Старчик просидел в тот раз всего три месяца, но опыт его защиты показал, что специальная комиссия совершенно необходима. Мы с Феликсом договорились, что обязательно создадим ее. Петр Григорьевич и Софья Васильевна нас полностью поддержали.

«Узнаёшь брата Сашу?»

Я всегда был легок на подъем. А тут еще репутация Штирлица! В конце ноября 1976 года Петр Григорьевич Григоренко попросил меня съездить в Могилев и навестить в психболь-

нице политзаключенного Михаила Кукобаку, с которым он то ли где-то встречался, то ли был знаком по переписке. Петр Григорьевич, человек суровый и несколько замкнутый, вообще редко обращался к кому-либо с просьбами. Я был рад удружить ему. К тому же мне это было интересно, и я любил приключения. Фонд помощи политзаключенным выделил мне деньги на поездку, продукты для передачи, и я поехал. Поезд привез меня в Могилев на следующий день.

Я без труда нашел областную психиатрическую больницу и записался на свидание с Кукобакой, представившись его братом. Однако тут же выяснилось, что в списке его родственников никаких братьев нет, и мне пришлось на ходу присочинить, что я не просто брат, а двоюродный.

Была одна проблема: я не знал его в лицо. Фотографий его ни у кого не было. Еще в Москве я обратил на это внимание Зинаиды Михайловны Григоренко, но она, посмотрев на меня укоризненно, ответила: «Ну и что, ты не решишь эту проблему?» Я был пристыжен и вопрос этот больше не поднимал. Однако проблема оставалась. Я ничего не придумал и решил импровизировать на ходу.

Михаил Кукобака, которому в то время было уже сорок лет, попадал в психбольницу не один раз. В 1970 году он был арестован за «распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй», обвинен по статье 190¹ УК РСФСР, заочно судим и помещен в Сычевскую спецпсихбольницу МВД СССР, одну из самых страшных в стране. Года через три его перевели в обычную психбольницу во Владимире, откуда выпустили в мае этого года. И вот новая госпитализация.

Кукобака работал электрослесарем на ТЭЦ в Бобруйске, жил в рабочем общежитии. Повязали его в этот раз за то, что он раздавал рабочим Всеобщую декларацию прав человека. Вообще-то Декларация была в СССР один раз опубликована в «Курьере ЮНЕСКО», но достать этот текст было очень не просто. Михаил достал и поделился с товарищами. Кто-то донес.

Поскольку Кукобака был уже третьим зэком, я не особенно беспокоился, что он выдаст перед бдительным медперсо-

налом свое удивление от встречи со мной, совершенно незнакомым ему человеком. Поздороваемся да начнем иносказательный разговор под присмотром какого-нибудь бдительного санитаря. Так я думал. Но не так получилось.

В комнате, где я сидел, ожидая свидания, постепенно стал собираться народ — женщины и мужчины с сумками, кульками и сетками-авоськами, в которых были продукты, одежда, зубной порошок и всякая всячина. Это были родственники больных. Скоро нас всех позвали в один большой зал со столами и стульями. В дальней части зала стояли больные в казенных пижамах и радостно всматривались в пришедших. Тут между больными и здоровыми началось братание, а я не представлял, с кем именно мне брататься, поскольку своего «брата» в лицо не знал. Набравшись решимости и чувствуя на себе взгляды целой толпы медработников, я широко раскинул руки, как бы пытаюсь охватить своими объятиями всех еще не разобранных больных, и с радостным восторгом закричал: «Миша!» Ко мне приблизился человек в больничной пижаме и с тревожным взглядом, которого я уже хотел было обнять как своего любимого двоюродного брата, но в самый последний момент обнаружил, что это была коротко стриженная девушка с нулевым размером груди и шла она к людям, стоявшим за моей спиной. Я сделал вид, что просто покачнулся, и, обращаясь к оставшейся маленькой кучке больных, опустив горестно руки, из последних сил, невольно подражая Сергею Юрскому в роли Остапа Бендера, выдал: «Миша! Кукобака! Ну что же ты, не узнаёшь меня, своего брата Сашу?» Тогда от кучки больных отделился коренастый человек с уверенным взглядом, и через мгновение я нарочито по-братски обнимался с упорным распространителем Всеобщей декларации прав человека.

Мы уселись за стол, и я начал быстрее вынимать продукты, все еще опасаясь, как бы нас не вычислили. Между тем Кукобака вел себя совершенно осмысленно. Дело в том, что среди пришедших на свидание больных был еще один Миша, и Кукобака не был уверен, к которому из них я обращаюсь. Он направился ко мне только после того, как я назвал его фамилию.

А хорош бы я был, обняв в психбольнице сумасшедшую девушку на глазах ее родных и медперсонала! К счастью, все закончилось благополучно, совсем как при первой встрече Остапа Бендера с Шурой Балагановым.

Мы сидели довольно долго. Я рассказывал Кукобаке последние новости, записывал его просьбы, сведения о «лечении» и условиях содержания, новую информацию о неизвестных доселе политзаключенных. Кукобака произвел на меня несколько странное впечатление, но я списал это на тяготы его пребывания в психбольнице.

После свидания я пошел разговаривать с заведующим Мишиным отделением. Доктор Мыльников на мои требования объяснить причину госпитализации Кукобаки отвечал что-то маловразумительное, напирая на то, что у Кукобаки шизофрения, но точные причины знает не он, а направивший сюда Кукобаку психдиспансер. Я возражал, что шизофрения, даже если она у него и есть, сама по себе не может быть основанием для неотложной госпитализации. Наконец Мыльников сдался и, понизив голос, поведал мне:

— Вы же понимаете, его случай особый, мы здесь ничего не решаем.

— Я знаю, — с пониманием отвечал я ему, — но, согласитесь, распространение Всеобщей декларации прав человека — не очень удачный повод для госпитализации. Вы допустили в этом деле грандиозную ошибку.

— Почему вы так решили? — удивился заведующий отделением.

Тут я озвучил заготовку, которую придумал накануне в поезде, просматривая «Правду» с текстом недавнего выступления Брежнева на партийной конференции в Алма-Ате. Речи Брежнева читал только тот, кто их писал, да еще сам Брежнев, и то с трудом. Я исходил из того, что ни один здравомыслящий человек в эту галиматью не вникал.

— Почему я так решил? — переспросил я, разыгрывая удивление. — Но вы же знаете, что Леонид Ильич Брежнев несколько дней назад выступал с докладом в Алма-Ате?

Мыльников напряженно молчал.

— Так вот, в своем выступлении Леонид Ильич отметил большое значение Всеобщей декларации прав человека для нашей страны.

Мыльников не знал, что ответить. На этом я разговор закруглил, оставляя врачу возможность обдумывать услышанное.

От Мыльникова я направился к главному врачу, но того на месте не оказалось. Пришлось ждать. Его секретарша Наташа, юное длинноногое создание с золотистыми, как у куклы, волосами, жадно расспрашивала меня о жизни в Москве и рассказывала о Могилеве. Я попросил ее узнать о местах в гостиницах, она обзвонила все и узнала, что свободных мест нет. На всякий случай Наташа оставила мне свой домашний телефон и велела звонить, если не найду ночлега.

Главврача все не было, и я решил его больше не ждать. Меня принял его заместитель по лечебной части доктор Кассиров. Это был грузный человек лет пятидесяти, он сидел за огромным письменным столом и на всех входящих смотрел снисходительно и устало. Мне он устало поведал, что состояние Кукобаки хорошее, а госпитализацию его в больницу объяснил так:

— В связи с неправильным, антисоветским поведением. Какие-то разговоры, жалобы — точно не знаю.

— Я могу вам сказать. Ему инкриминировали распространение Всеобщей декларации прав человека.

— Ну вот видите, я же говорил вам — больной человек! Я только дух перевел.

Мой рассказ о Брежневе впечатления на него не произвел. Все это было от него слишком далеко. Я решил приблизить источник угрозы:

— Зоя Николаевна будет очень недовольна вашими безответственными действиями.

— Какая Зоя Николаевна?

— Серебрякова.

Кассиров замолчал и смотрел на меня вопросительно. Серебрякова — главный психиатр Минздрава СССР, личность в советском медицинском мире, особенно психиатрическом, известная. Я молчал, ничего более не поясняя.

В голове у Кассирова, надо полагать, образовалась вьюга. Приезжает какой-то непонятный человек из Москвы и открыто требует выписать пациента, госпитализированного по указанию КГБ. Правда, КГБ местный, а приезжий московский. К тому же козыряет короткими отношениями с главным психиатром страны. Скорее всего, блеф. А если нет? Кто их знает, какие там сейчас дела в Москве.

— В отношении Кукобаки мы еще окончательно ничего не решили, — говорит Кассиров. — Нам надо получить дополнительные данные из Бобруйска, где он живет. Завтра будет комиссия, его осмотрят, и будет решение. Думаю, недельки две он полечится и пойдет домой.

— Но я не могу ждать здесь две недели, — возражаю я. — Мне надо завтра возвращаться в Москву.

— Так в чем же дело, возвращайтесь. Вас-то никто здесь не держит.

— Разумеется, — соглашаюсь я. — Но если я вернусь без Кукобаки, начнется скандал, и шум поднимется от Минздрава до Всемирной психиатрической ассоциации. Тут уже никто ничего не сможет сделать.

— Ладно, мы подумаем, — сдаётся Кассиров. — Утром будет комиссия, приходите завтра после обеда.

Остаток дня я шатался по Могилеву в поисках ночлега, старательно убеждая себя, что в каждом городе есть что-то прекрасное. Ночевать на вокзале не хотелось. Я позвонил Наташе и тут же был зван на ужин.

Она жила в деревянном доме на окраине города, недалеко от больницы. За ужином, к которому я подоспел как раз вовремя, собралась ее семья: худой и неразговорчивый отец, в противоположность ему открытая и доброжелательная мать и младшая сестра лет тринадцати, смотревшая на все большими любопытными глазами. После ужина Наташа объявила, что я остаюсь ночевать здесь, потому что в гостиницах свободных мест нет, она сама проверяла. Отец буркнул что-то недовольное, мать засуетилась в поисках постельного белья, но Наташа сказала, что хлопотать не о чем, я буду спать в ее комнате. Постель была уже постлана.

Рано утром нас разбудил грохот в дверь дома. Наташа метнулась к окну, увидела у двери участкового милиционера и, накинув халатик, выскочила из комнаты. Я начал спешно одеваться, понимая, что пришли, скорее всего, по мою душу. Выйдя в гостиную, которую в деревнях обычно называют залой, я увидел молодого милиционера и человека в штатском. «Проверка паспортного режима», — объявил мне участковый и потребовал паспорт. Отдавать паспорт не хотелось — его могли забрать, и мне пришлось бы идти за ним в милицию. Начались обычные препирательства, в которых я апеллировал к закону, а милиционер ссылаясь на приказ своего начальства. Наконец штатскому все это надоело, и он сказал, что если я не дам паспорт, то они заберут меня в милицию. Я ответил, что добровольно не пойду и буду оказывать сопротивление, поскольку их требование незаконно. Их было всего двое, и устраивать в доме свалку им вовсе не хотелось. А может быть, и не было полномочий.

Участковый попробовал уговорить хозяина дома выставить меня на улицу, если я «не родственник и не член семьи». Однако Наташин отец, этот хмурый и не слишком любезный человек, ответил участковому, что я — гость в этом доме, и угрожающе добавил, что ему, участковому, лучше вместе со своим товарищем уйти отсюда, и побыстрее, пока не случилось беды. До сих пор не знаю, что он имел в виду, но угроза подействовала. Видимо, участковый знал об этом человеке что-то такое, чего не знал я. Поладили мы с участковым на том, что я показал ему паспорт из своих рук. Он переписал данные, и они ушли.

Мне было неловко перед приютившей меня на ночь семьей. Я извинился. Хозяин дома в обычной своей манере пробурчал, что менты его уже зае...., а если они за мной гоняются, то мне надо быть осторожнее. Наташа стояла молча и смотрела в окно.

От этой истории остался неприятный осадок. Было непонятно, сообщила ли Наташа специально своему начальству, что я ночую в их доме, проговорила ли или менты узнали об этом каким-то другим способом. Скорее всего, верно было первое, но думать об этом было грустно, а выяс-

нять и вовсе не хотелось. Да и нужды в том особой не было. Я поблагодарил за гостеприимство, попрощался со всеми и ушел. Наташин отец вывел меня через огород на другую улицу, так что если менты и ждали меня у калитки, то напрасно. Наташа по-прежнему стояла у окна и грустно смотрела вслед.

Второй разговор с Кассириным состоялся опять в его кабинете, но на этот раз был совсем коротким. Не приглашая садиться, он сообщил мне, что в виде исключения «под свою личную ответственность» выпишет Кукобаку, и добавил: «Ваш приезд здесь ни при чем, просто подошел срок выписки. Но хочу предупредить, что если он будет и впредь заниматься тем же самым, то опять попадет сюда, но тогда уже месяцем не отделается». Затем Кассиринов, как бы призывая войти в его положение, объяснил, что выписывают больных они только по будним дням до двенадцати часов, а сегодня пятница и полдень давно прошел, поэтому выписать Кукобаку они смогут теперь не раньше понедельника. Я настолько не ожидал, что Михаила действительно отпустят, что не стал упираться, великодушно согласившись на понедельник.

В тот же день я уехал из Могилева и без приключений добрался до Москвы. Кукобаку не освободили в понедельник. Чтобы не будоражить международное общественное мнение, его на всякий случай выгнали из больницы еще в воскресенье.

1977. Таллин. Новый год

Вероятно, у каждого в жизни есть свой звездный год. У меня таким был 1977-й. Знатки нумерологии утверждают, что ключевые события в жизни человека происходят каждые двенадцать лет, и как-то связывают это со знаками зодиака. Не знаю, но мне в тот год действительно было двадцать четыре. И, как я только недавно заметил, все цифры этого года в сумме тоже давали двадцать четыре. Наверное, с возрастом становишься мистиком. Тогда я об этом не задумывался.

Я встретил Новый год в Таллине в компании наших московских и таллинских друзей. Нас было человек пять-шесть, и мы приехали отмечать праздник к Люде Грюнберг, жене политзаключенного Сергея Солдатова, отбывавшего за антисоветскую деятельность шестилетний срок в мордовских лагерях. Таллин — волшебный город, особенно в новогоднюю ночь. Мы гуляли всей компанией до утра. Мягкие пушистые снежинки падали в бокалы с шампанским, которое мы пили прямо на улице, как и многие другие. Старинный город с древними стенами и внушительными башнями смотрел на нас дружелюбно. Мы валяли дурака, играли в снежки, катались с ледяных горок. Когда Гуля Романова подвернула ногу, мы все пошли домой, а на следующий день уже садились в поезд до Москвы. Нога у нашей подруги разболелась, и в Москве от вагона до такси мы везли ее на тележке, взятой у носильщика.

В тот же день мне позвонил Алик Гинзбург*, и мы договорились встретиться завтра утром, чтобы обсудить предполагаемую мою поездку в Сибирь к нескольким политссыльным. Идея эта возникла у Алика еще в конце прошлого года, и я согласился поехать с миссией Фонда помощи политзаключенным.

Беляевский треугольник

4 января в десять утра я уже звонил в дверь квартиры Гинзбургов на улице Волгина, в микрорайоне Беляево на юго-западе Москвы. Звонить пришлось долго, никто не открывал. Наконец я уловил за дверью какой-то шум, затем раздался нарочито громкий голос Арины, жены Алика: «А почему вы не разрешаете мне открыть дверь?» Я кубарем скатился с лестницы. Ясно — у Гинзбургов обыск. Надо было всех предупредить. Я бросился к ближайшему телефону-автомату. Он съел двухкопеечную монетку, но работать отказался. Я побе-

* Александр Ильич Гинзбург (1936–2002) — журналист, составитель поэтического альманаха «Синтаксис», первый распорядитель Фонда помощи политзаключенным, член Московской хельсинкской группы, политзаключенный.

жал через дорогу к другой будке. Телефон, к счастью, работал. У Орлова к телефону никто не подходил. У Григоренко телефон вовсе не отвечал. Наконец мне удалось дозвониться до Татьяны Михайловны Великановой*, но сказать ничего не удалось — после первых же моих слов связь прервалась. Монеток больше не было, пальцы на морозе закоченели, и я решил пойти к Орлову, благо жил он в двух шагах. Возможно, у него просто отключен телефон, решил я.

Юрий Федорович Орлов жил со своей женой Ириной Валитовой, маленькой и очень энергичной женщиной лет тридцати, в двухкомнатной квартире на первом этаже в обычной пятиэтажной панельной хрущевке. От Гинзбургов это было минутах в пяти ходьбы; примерно столько же от них обоих было и до дома Валентина Турчина**. Среди московских диссидентов это место называлось «Беляевским треугольником», хотя до поры до времени там никто бесследно не исчезал.

Я позвонил в квартиру, потом увидел, что дверь приоткрыта, и, подивившись рассеянности хозяев, толкнул ее и вошел в прихожую. Навстречу мне вышел незнакомый человек, лицо которого я в полумраке прихожей не разглядел. Вежливо осведомившись, не к Орлову ли я, он предложил пройти, а сам пошел закрывать за мной дверь. Я прошел. Квартира была полна незнакомых людей, и среди них вдруг появилась Ира, всплеснувшая руками:

— А, Саша, это вы? Заходите. Видите, что у нас тут делается?

У Орлова тоже шел обыск.

С тоской я подумал, что сейчас заберут записную книжку и мне придется доставать из зачатки дубликат и снова все переписывать. Решив ее спрятать, я ринулся было в туалет, но был перехвачен доблестными оперативниками и тщательно обыскан. Записную книжку изъяли.

* Татьяна Михайловна Великанова (1932–2002) — математик, член Инициативной группы защиты прав человека в СССР, один из редакторов «Хроники текущих событий», политзаключенная.

** Валентин Федорович Турчин (1931–2010) — физик, председатель советской секции «Международной амнистии».

Меня все не оставляла идея предупредить об обысках остальных, и я засобирался уходить. Однако не тут-то было. Руководивший обыском старший следователь по особо важным делам прокуратуры Москвы Александр Иванович Тихонов велел никого из квартиры не выпускать. Мышеловка захлопнулась. «Ну что ж, — подумал я, — предупредить никого невозможно, будем получать удовольствие от события. В конце концов мне повезло — я попал на обыск к самому Юрию Орлову!»

В те времена среди диссидентов считалось делом чести прийти на обыск к друзьям и поддерживать их в почти неизбежной склоке со следователями и операми. Однако в квартиру не всегда впускали. Уже часа через два к Орлову начали приходить узнавшие обо всем друзья, но у дверей их встречал специально выставленный милиционер, который тупо повторял, что входить нельзя. Я был единственным гостем на этом празднике!

Обстановка на обыске сложилась напряженная. Дверь в квартиру была открыта не по рассеянности хозяев, как я подумал сначала, — она была выломана по приказу следователя, поскольку в квартиру их не пускали. На взлом ушло минут пятнадцать, за которые Юрий Федорович и Ира смогли хоть как-то подготовиться к визиту ненужных гостей.

Сломанная дверь задавала тон всему обыску, который длился до позднего вечера. Подошедшие на обыск друзья кричали в форточку слова приветствия, рассказывали, что обыски идут еще в трех домах: у Алика Гинзбурга, его матери Людмилы Ильиничны и у Людмилы Алексеевой*. Опера то пытались отогнать на улице наших друзей от окон, то закрывали форточку, после чего Ира устраивала им форменный скандал из-за того, что ей «нечем дышать» и вообще «не фигу здесь командовать», и форточку снова открывали.

Следователь Тихонов в отместку не разрешал Ире сходить в магазин за продуктами, и мы довольствовались тем, что есть в доме, — пили чай с печеньем и какими-то конфетами. Юрий Федорович, человек на редкость уравновешенный и доброжелательный, говорил:

* Людмила Михайловна Алексеева — историк, член Московской хельсинкской группы.

— Ирочка, а может, мы и им чаю нальем? Все-таки без еды целый день.

На что бойкая Ира отвечала весело и громко, чтобы было слышно во всех комнатах:

— Еще чего! Обойдутся, им это полезно. Посмотри, какие ряшки себе отрастили!

Проводившие обыск сотрудники прокуратуры действительно были весьма упитанными, кроме разве что самого Тихонова — человека холеного, желчного и явно чем-то недовольного. Они все кривились, но молча выслушивали Ирины эскапады, делая вид, что они профессионалы столь высокого класса, что им на эти мелочи реагировать не пристало.

Ира между тем отрывалась как могла. В какой-то момент один из оперативников решил обыскать люстру, висевшую в гостиной почти над самым роялем — прощальным подарком уехавшего на Запад Андрея Амальрика*. Сдвигать подаренный рояль в сторону Ира категорически запретила, заявив, что инструмент сразу расстроится и Тихонову придется настраивать его за свой счет. Тихонову эта идея не понравилась. Притащили с кухни стул, и самый молодой оперативник только собрался было на него залезть, как Ира закричала на него, что нечего пачкать приличный стул своими грязными чекистскими подошвами. Оперативник попросил какую-нибудь газету. Однако советских газет в этом доме не держали, а иностранные уже были изъяты в качестве вещественных доказательств антисоветской деятельности Орлова. В какой-нибудь тряпке им тоже было отказано. Следователи маялись. Послали самого молодого в киоск за газетой, и в конце концов опер, аккуратно постелив свежую газетку, забрался на стул, изогнувшись при этом вопросительным знаком. В такой неудобной позе он обыскал люстру, убедившись, что там не спрятаны ни валюта, ни самиздат, ни оружие. Да и как все это можно было бы упрятать в самой обычной люстре?

Ближе к вечеру мы включили радиоприемник и узнали из новостей «Голоса Америки», что у Гинзбурга во время обыска изъяли столовое серебро и подкинутую следователем ва-

* Андрей Алексеевич Амальрик (1938–1980) — историк, писатель, политзаключенный.

люту. Мы решили удвоить внимание, хотя и так с самого утра контролировали каждый свою территорию: Юрий Федорович — кабинет, она же спальня, Ира — гостиную, а я — кухню, ванную и туалет.

Обыски у Орлова и Гинзбурга еще шли, а западные радиостанции уже передавали эту информацию на весь мир. Следователи и оперативники слушали новости с вытянутыми лицами, не понимая, как это диссидентам удастся так быстро распространять информацию, которую они, следователи, считают закрытой и не подлежащей распространению.

Между тем терпение у них истощилось. Открытое прослушивание западных «голосов» в их присутствии они считали личным оскорблением и унижением их профессионального достоинства. Советскому народу было велено бояться, и все боялись или по крайней мере делали вид. Слушать западное радио открыто, в присутствии следователей прокуратуры — это был вызов системе, и мириться с этим они не могли. Ира же на требование выключить приемник заявила, что она у себя дома и будет слушать то радио, которое ей заблагорассудится. Тихонов вызвал наряд милиции, чтобы те увезли Иру в участок. Менты приехали. Юрий Федорович и я сказали, что вслед за Ирой им придется увезти и нас, ибо в этом случае мы будем вести себя точно так же. Тихонов подумал и пришел к выводу, что такой скандал ему брать на себя не стоит. Милицейский наряд отпустили.

Около десяти вечера обыск закончился. Юрию Федоровичу оставили повестку в прокуратуру Москвы на следующий день. Формально его вызывали как свидетеля по делу № 46012/18, которое тянулось с 1976 года и было известно как «дело Хроники текущих событий».

Как только следователи и оперативники покинули дом, в квартиру ввалилась толпа друзей и западных корреспондентов. Кто-то принес еды и вина. За общим ужином обменивались впечатлениями и обсуждали дальнейшие действия. Было решено провести на следующий день пресс-конференцию для западных журналистов.

Между тем обыск у Гинзбургов все еще шел. Он закончился только около четырех часов утра. Валюту им действи-

тельно подкинули. Когда начался обыск, Алика дома не было. Он ехал из Тарусы, чтобы быть дома к десяти утра, как мы с ним и договаривались. Арина была в квартире одна с двумя маленькими детьми. Гэбэшники ввалились в дом и рассыпались по всей квартире. Проводивший обыск следователь Боровик открыл дверь в туалет и закрыл своим телом дверной проем, чтобы не было видно, что он там делает. Затем он открыл дверцы настенного шкафа и «достал» оттуда зеленую пачку — 400 долларов. Настенный шкаф в протоколе обыска назвали «тайником». Дальше во время обыска Боровик сам уже ничего не искал, а только записывал в протокол. Свое главное задание он выполнил.

Через полчаса после начала обыска в квартиру пришли Алик Гинзбург и Юрий Мнюх*. Больше туда уже никого не впускали. В магазин за продуктами выходить не разрешали. Друзья приносили что-то для детей, клали под дверь и уходили. После этого следователь отворял дверь и отдавал хозяевам дома принесенные продукты. Помимо подкинутой валюты и различных документов у Гинзбургов забрали на обыске 4700 рублей, принадлежащих Фонду помощи политзаключенным (тогда это было по «черному» курсу около 1200 долларов) и 300 рублей отдельно лежащих их собственных денег. После ухода следователей в квартире осталось на жизнь 38 копеек.

Обыск у Людмилы Алексеевой закончился в тот же день в семь вечера. Во время обыска к ней пришли и остались до его окончания Лидия Воронина** и Толя Щаранский***. Когда обыск подходил к концу, Ворониной предъявили постановление об обыске у нее дома и увезли на машине. Щаранского в машину не пустили, как он туда ни рвался. Обыск продолжался недолго, до часа ночи. В это время к Ворониной, как бы случайно, заглянул Володя Слепак — еврейский активист, человек серьезный, но с хорошим чувством юмора. Он пришел с огромным чемоданом, и его, конечно, сразу пустили.

* Юрий Владимирович Мнюх — физик, член Московской хельсинкской группы.

** Лидия Вячеславовна Воронина — активистка еврейского движения за выезд, участница демократического движения.

*** Анатолий Борисович Щаранский — активист еврейского движения за выезд, член МХГ, политзаключенный.

Проводивший обыск следователь Пантюхин хищно ринулся на добычу в предвкушении большого оперативного успеха и открыл чемодан. Он был абсолютно пуст...

Я остался ночевать у Орлова. Назавтра предстоял большой день. Вечером я позвонил Петру Григорьевичу Григоренко, и мы договорились, что больше не будем тянуть с объявлением о создании Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. Завтрашняя пресс-конференция группы «Хельсинки» — самый удачный случай для такого объявления. Это будет ответ Московской Хельсинкской группы на репрессии против нее.

Друзья постепенно разошлись, договорившись встретиться здесь утром. За окном стояла облепленная снегом «Волга» с гэбэшниками, им предстояло дежурить здесь всю ночь. Юрий Федорович писал в своей комнате проект завтрашнего пресс-релиза группы «Хельсинки». Я потушил в гостиной свет, лег на диван не раздеваясь и мгновенно уснул.

Наш ответ Чемберлену

5 января нас ожидали великие дела. С утра у Юрия Федоровича начал собираться диссидентский народ, в основном члены группы «Хельсинки». Пили на кухне чай, обсуждали вчерашние обыски и предстоящую сегодня пресс-конференцию. Проводить ее решили у Валентина Турчина — в одной из вершин «Беляевского треугольника». Идти было совсем близко, но путь оказался непрост.

Из дома мы вышли компанией человек в десять и шли так, чтобы Орлов оставался в центре. Сразу вслед за нами тронулись кагэбэшники — всего несколько человек и на почтительном расстоянии. Многократный численный перевес был на нашей стороне, и мы не беспокоились. Шли заснеженными московскими дворами, но, когда до дома Турчина оставалось метров триста и мы уже решили, что все обойдется, нас внезапно окружила приличная толпа чекистов. Прорвав без особого труда наши нестройные ряды, они протиснулись к Орлову и потребовали, чтобы он ехал с ними в про-

курутуру. До начала допроса оставалось еще много времени, и было понятно, что КГБ просто хочет не допустить Юрия Федоровича на пресс-конференцию. Орлов ехать отказался. Они схватили его под руки, но тут же в него вцепились и мы. Налетевшие со стороны чекисты начали отдираТЬ нас. Заявzалась потасовка. В какой-то момент я увидел перед собой искаженное яростью круглое лицо невысокого мужика в пальто и кроличьей шапке. Мужик дико закричал мне в лицо что-то злобное, глаза его побелели от ненависти, а затем он с размаху огрел меня по голове неведь откуда взявшимися в его руках книгами. В голове у меня зазвенело, и я выпустил Орлова. Помню, я еще удивился, откуда у гэбэшника книги. Чекисты между тем довольно быстро отодрали Юрия Федоровича от друзей и уже тащили его к машине. Полноценной драки не случилось, но несколько человек с той и другой стороны все же повалились в снег. Орлова увезли.

Разумеется, текст заготовленного выступления Юрия Федоровича на пресс-конференции был не в единственном экземпляре. Мы продолжили путь к дому Турчина, и тут я с удивлением обнаружил, что огревший меня книгами мужик идет рядом с нами. Не успел я возмутиться наглостью гэбэшников, как выяснилось, что человек с круглым лицом — это Женя Николаев*, с которым мы до сих пор не были знакомы и взаимно приняли друг друга за чекистов. Он долго извинялся и чувствовал себя неловко. Я был на него не в обиде и только жалел, что он ошибся в выборе цели.

Петр Григорьевич Григоренко и остальные члены будущей Рабочей комиссии уже были у Турчина. Я сделал последнюю и безуспешную попытку уговорить Петра Григорьевича и остальных членов комиссии изменить длинное и неудобоваримое название «Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях» на короткое и выразительное «Психиатрический контроль». Некоторые со мной соглашались, но спорить с Григоренко никому не хотелось, да и времени на это уже не было.

* Евгений Борисович Николаев — участник демократического движения, политзаключенный.

Приехали Андрей Дмитриевич Сахаров с Еленой Георгиевной Боннэр, другие члены Хельсинкской группы. В оставшееся перед пресс-конференцией время они решили обсудить подготовленные документы, в частности, заявление от имени группы ее руководителя Юрия Орлова. Дальнейшее если и не повергло меня в шок, то вызвало крайнее изумление.

Дело же было в том, что Орлов в своем заявлении обращал внимание мирового сообщества не только на опасность нарушений прав человека в СССР, но и на исходящую от СССР военную угрозу. Эти две проблемы в заявлении Орлова увязывались воедино очень логично и совершенно естественно. Всем было понятно, что так оно и есть на самом деле (а три года спустя советская интервенция в Афганистане это подтвердила). Но против выступил Сахаров. Он предложил исключить из заявления слова о военной угрозе, потому что «это не наша тема». Андрей Дмитриевич считал, что не наше дело лезть в международную политику и военные вопросы. Меня покорила не столько сама по себе странная точка зрения Сахарова, сколько предложение изменить текст Орлова без его согласия. Тем более что он в это время не прогуливался где-нибудь в свое удовольствие, а был на допросе в прокуратуре. Я даже что-то робко возразил, но меня никто не услышал.

Сахаров не был членом группы «Хельсинки», но с его мнением считались. К тому же Елена Георгиевна Боннэр членом группы была и точку зрения Сахарова вполне разделяла. Я с ужасом смотрел, как кромсают текст в отсутствие автора. Остальные, как ни странно, не возражали.

Западных корреспондентов пришло много. В квартире стало тесно и душно. Советские журналисты на домашние пресс-конференции диссидентов никогда не приходили, хотя ТАСС и АПН мы, как правило, извещали.

В конце пресс-конференции журналистам сообщили о создании сегодня в рамках Хельсинкской группы Рабочей комиссии по психиатрии. Это был красивый жест. В ответ на репрессии Хельсинкская группа создает специальную организацию по животрепещущей теме. Клин клином, ударом на удар!

В комиссию вошли четыре человека — Слава Бахмин*, Ира Каплун, Феликс Серебров и я. Кроме того, было объявлено о трех консультантах: по правовым вопросам — Софья Васильевна Каллистратова; консультант от Хельсинкской группы — Петр Григорьевич Григоренко и консультант-психиатр — тут все застыли в напряженном внимании, и в комнате повисла пауза — его фамилия не объявляется. Это было очень необычно для диссидентского движения, но согласившийся консультировать Рабочую комиссию психиатр Александр Волошанович не был тогда готов к публичному противостоянию с властью.

Создание Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях было замечено зарубежной прессой. Об этом сообщили все вещающие на русском языке зарубежные радиостанции. Мы стартовали под аккомпанемент сочувственных сообщений западной прессы — в ответ на обыски и допросы московские диссиденты усилили свою активность.

Поле такого вдохновляющего старта предстояло многое сделать. Многое — и за короткий срок. Каждый из нас уже тогда понимал, что времени на свободе нам отпущено, скорее всего, совсем немного.

Поездка в Сибирь

Я разрывался. Как можно бросить новорожденное дитя — только что созданную Рабочую комиссию — и ехать куда-то в Сибирь? Хотелось немедленно приступить к работе. Но ничего не поделаешь, обещал — надо ехать. На работе я поменялся кое с кем дежурствами, уговорил старшую медсестру изменить мне график и таким образом освободил себе две недели.

С Аликом Гинзбургом мы обговорили поездку, он снабдил меня деньгами на дорогу, отдельно дал деньги, продук-

* Вячеслав Иванович Бахмин — программист, член Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях, политзаключенный.

ты и теплую одежду для ссыльных. Получился внушительных размеров 25-килограммовый рюкзак и еще сумка через плечо. Кто-то дал мне на время унты и меховую куртку, так что я был экипирован по полной программе. Мне предстояло навестить Юрия Белова в психбольнице в Поймо-Тине Красноярского края, Александра Болонкина в ссылке в Бурятии и несколько ссыльных в Томской области: Вячеслава Петрова в Среднем Васюгане, Андрея Коробаня и Юрия Федорова в Каргаске, Владимира Гандзюка и семью Виктора Чемовских в Подгорном, Павла Кампова в одном из поселков тоже в Томской области. Всех надо было успеть повидать за десять дней, поэтому темп моей поездки обещал быть бешеным.

Вечером 6 января я вылетел из Москвы и через пять часов полета на Ту-154 был в Красноярске. Еще час полета на местном самолете до Канска. Оттуда до психиатрической больницы, где находился Юра Белов, еще сто километров, из них семьдесят — по Московскому тракту, и дальше автобусом, который ходит точно не по расписанию. Местные жители объясняли мне так: «Если не пьян шофер, если не сломана машина и если не замело дорогу, то очень может быть, что автобус и поедет». Зависеть от стольких случайностей не хотелось, и я взял такси. Дорогу местами действительно замело, но таксист попался опытный, и через пару часов я уже просил дежурную медсестру приемного покоя психбольницы вызвать на свидание моего брата Юру. Дежурная привела Белова, который, мгновенно сориентировавшись, даже как бы с некоторым раздражением начал громко меня упрекать, что я так редко его навещаю. Мы поговорили весь вечер.

Юра Белов был тертый волк, за его плечами было две судимости за антисоветскую деятельность, мордовские политзоны, Владимирская тюрьма, Сычевская спецпсихбольница. Здесь, в Поймо-Тине, его не гнобили, врачи не зверствовали. Тем не менее на следующий день я все-таки поговорил с его лечащим врачом, а затем и с главным врачом больницы. Разговор был натянутым, говорить о Белове они со мной не хотели и всячески порывались прервать беседу. Чуть позже вы-

яснилось, что с утра к ним приезжал сотрудник местного КГБ, который предупредил, чтобы они со мной не откровенничали, потому что я «оппозиционер из Москвы и сторонник Сахарова».

Вечером ехать было некуда, и я остался в психбольнице. В таком положении я был не один. Администрация больницы выделила для родственников пациентов одну огромную палату с множеством больничных коек, каждую из которых сдавала на ночь за 30 копеек. В этой палате спали все — мужчины, женщины, дети. Бедлам стоял невероятный, пока все не угомонились и не уснули.

Спустя много лет я совершенно случайно узнал, что у Юры Белова есть тезка и однофамилец с похожей в чем-то судьбой. Удивительное совпадение! В конце 50-х — начале 60-х годов Юрий Андреевич Белов был популярным советским киноактером. Он играл в основном комедийные роли в советских фильмах, таких как «Карнавальная ночь», «Королева бензokolонки» и многих других. Он был успешен. Его узнавали. Его ждало большое будущее. Однако его жизнь разрушила одна неосторожно сказанная им фраза.

В 1964 году, когда он снимался у Эльдара Рязанова в фильме «Дайте жалобную книгу», на каком-то банкете Белов сказал, что Хрущева скоро снимут. Кто-то донес. Белова поместили в психиатрическую больницу. Хрущева между тем осенью действительно сняли. Через полгода Белова выпустили. После психушки его уже не приглашали на главные роли, он лишь изредка снимался в эпизодах. Кинематографическая карьера его рухнула.

Странная судьба. Одна фраза перевернула всю жизнь. Про моего Юру Белова, политзаключенного и убежденного антисоветчика, такого, конечно, не скажешь. Свою судьбу он выбрал сам. Забегая вперед, скажу, что скоро он освободился, мы с ним еще успели повидаться, прежде чем он эмигрировал на Запад. Тогда же в красноярской краевой газете появилась большая разоблачительная статья, в которой утверждалось, что я «англо-американо-израильский шпион-сионист».

На следующий день, оставив Юре приготовленные для него продукты, одежду, деньги и маленький коротковолно-

вый радиоприемник, по которому он мог бы слушать западное радио, я поехал дальше на восток.

Не буду описывать подробно эти сумасшедшие дни в Сибири. Аэропорты, самолеты, поезда превратились в одну бесконечную карусель. Я спал там, где мог присесть; ел, когда было время; отогревался в каждом помещении, где была печка или батарея. За 15 дней этого сумасшедшего мотания по Сибири я сменил 14 самолетов, посетив семерых человек, опекаемых солженицынским Фондом помощи политзаключенным.

Из Красноярского края я направился в Бурятию, где в поселке Маловск отбывал ссылку Александр Болонкин. Покинув Белова, я проторчал всю ночь на маленькой сибирской станции Тинская, а утром сел на поезд, идущий на восток, и через сутки был в Улан-Удэ, бывшем Верхнеудинске. Оттуда можно было добраться до Маловска по льду Байкала и затем по зимнику на попутных машинах, что заняло бы пару недель и минимум денег, либо самолетом до Романовки, а оттуда до Багдарино, что заняло бы пару часов и стоило дорого. Я выбрал самолет и улетел в Багдарино. Самый последний отрезок пути до Маловска был совсем небольшой — километров семь-восемь. Автобус задерживался неизвестно на сколько, унылые сибиряки сидели на автостанции, не решаясь преодолеть этот смешной путь своими силами. Я решил не терять времени и пойти пешком. Через полчаса я понял, что совершил ошибку. На улице было минус 40, поднялась метель, и моя шикарная зимняя экипировка перестала что-либо значить. Самонадеянность — плохой спутник в сибирской жизни. Меня спасла проезжавшая мимо машина.

Преподаватель математики из Московского авиационного технологического института Александр Болонкин получил срок за тиражирование самиздата. Отсидев, он вышел на ссылку и работал, конечно, не по специальности, но в свободное время писал монографию. У каждого человека свои недостатки. Александр Александрович Болонкин страдал тщеславием. В машинописный текст его монографии по математике надо было от руки вписать формулы. Почему-то он не хотел сделать это сам и настаивал, чтобы формулы вписал

своей рукой непременно Андрей Дмитриевич Сахаров. Я пытался отговорить его от этой глупой затеи, доказывая, что совершенно не обязательно академику делать ту работу, которую может выполнить лаборант. Болонкин стоял на своем. Казалось бы, тщеславие — не самый страшный из человеческих пороков, но оно привело Болонкина в бездну. Через несколько лет он сыграл скверную роль в демократическом движении, да и в моей личной судьбе тоже.

Через день я уже улетал из Багдарино в Улан-Удэ. У меня был билет, но в самолет не пускали. Возвращавшийся с гастролей цыганский танцевальный ансамбль занял в самолете все места. Человек двадцать законных пассажиров, размахивая билетами и выражаясь непечатно, атаковали трап, пытаясь прорваться в салон, но безуспешно. Я обошел самолет с другой стороны и, дождавшись экипажа, попросился до Улан-Удэ. Меня взяли за 15 рублей и посадили в кабину на место второго штурмана. Очень довольный тем, что попал на рейс, я сначала не придавал значения алкогольному перегару, распространившемуся по кабине. Однако скоро я сообразил, что все летчики, включая командира корабля, находятся в разной степени опьянения. Покидать борт было уже поздно, самолет взлетел. Оставалось положиться на судьбу. Через некоторое время я обнаружил, что весь экипаж спит, а второй пилот даже похрапывает. Оба штурвала мерно покачивались сами по себе. Самолет летел на высоте нескольких километров, и через лобовое стекло было прекрасно видно, как легко он пронизывает насквозь облака, вылетая время от времени на яркое солнце. В эти светлые моменты солнечный свет заливал кабину, освещая грустную картину в стельку пьяного экипажа. Наконец, не выдержав, я растормошил штурмана единственным вопросом, который смог придумать: «Улан-Удэ не пролетим?» Штурман тупо уставился на меня мутными глазами, пробормотал что-то про автопилот и, от души потянувшись, со счастливым выражением лица склонил пьяную голову к иллюминатору. К счастью, все обошлось. Неведомая сила пробудила экипаж ровно в то время, когда надо было начинать снижение.

Из Бурятии самолетами, поездами и автобусами я добирался до Томской области. Сильное впечатление на меня

произвел самолет, которым я летел из Томска в Средний Васюган. У самолета не было шасси. То есть, конечно, оно было, но вместо колес к нему были приделаны лыжи. Взлетно-посадочные полосы маленьких сибирских аэродромов не расчищались от снега, которого всегда было много, а рабочих рук и снегоуборочной техники — мало. Самолеты взлетали на лыжах и на них же садились.

Я посетил всех политссыльных, кроме Павла Кампова, к которому уже просто не успевал. Понятно, что все ссыльные встречали меня с распростертыми объятиями, как посланца Фонда помощи политзаключенным и уже легендарного тогда Алика Гинзбурга. Каждая встреча сопровождалась застольем. Каждое застолье — водкой, а чаще спиртом. Я легко пил и то, и другое.

У меня никогда не было тяги к алкоголю, но выпить я мог много, особенно спирта, который пил, не разбавляя водой. Да и моя, если так можно выразиться, алкогольная биография началась со спирта, стакан которого, правда разбавленного, я впервые выпил, когда мне не было еще шестнадцати лет. В летние каникулы я тогда работал рабочим в проектно-изыскательской экспедиции на Южном Урале, и повод для выпивки был самый достойный — американцы высадились на Луне, и Нил Армстронг сделал по ней первые шаги. Помню, как мы ликовали, даже те, кому по партийной принадлежности это было не положено. Старшие товарищи налили мне полстакана спирта, долили до верха водой, и мы все выпили за здоровье Армстронга и покорение землянами спутника нашей планеты.

Здесь, в Сибири, тосты были не столь торжественные, но не менее искренние. Первый — за встречу и знакомство, второй — обязательный — за тех, кто не с нами, за сидящих и погибших, а дальше как бог на душу положит, в зависимости от настроения и количества спиртного. Пить приходилось с каждым. Наконец наступил кризис. С бывшим майором МВД Юрием Федоровым, организовавшим в Питере «Союз коммунистов» — «подлинно ленинскую партию» и получившим за это срок и ссылку по 70-й, мы долго и отчаянно спорили. Потом, чтобы смягчить идеологическое противостояние,

пошли пить и выпили бутылку водки на двоих. Расставшись с Федоровым, я пошел ночевать в общежитие к другому политссыльному, Вячеславу Петрову, и с ним мы выпили еще столько же. Про закуску не помню, но помню, что ночью я осознал, что значит допить до чертиков.

Нет, их не было много. Он был один. Не уверен, что у него были рога и хвост, но что это был черт — несомненно. Я не спал. Он выпрыгивал откуда-то из угла комнаты и кружился около моей кровати, издевательски повизгивая и строя гримасы. В ужасе я накрывался с головой одеялом, понимая, что это, конечно, не спасет. Однако когда он исчезал из виду, ко мне возвращались остатки рассудка, и я объяснял себе, что все это просто чертовщина, что мне это мерещится, что чертей нет, а я допился до «белочки» и пора с этим завязывать. Но как только я вылезал из-под одеяла, он снова откуда-то выпрыгивал, паясничал и угрожающе приближался. Наконец после долгой ночной борьбы чертовщина отступила, и я заснул.

К счастью, больше мне в эту поездку пить не пришлось. Владимир Гандзюк боролся с тяжелым лагерным туберкулезом, и ему было не до водки. Люда Чемовских, жена вновь арестованного в ссылке Виктора Чемовских, не была любительницей выпить. Мы с ней весь вечер играли в шахматы и говорили о жизни. Она уложила меня на шикарной перине, и я за всю эту поездку первый раз спал крепко и спокойно. Перед тем как лечь, около полуночи я вышел на улицу. Домик стоял на пригорке, и отсюда было видно все село Подгорное. Низкие яркие звезды освещали дома, кое-где в окнах еще горел свет, и из каждой трубы шел дым. Поднимаясь вверх ровными белыми столбиками, он терялся где-то, чуть-чуть не доходя до звезд. Подвывали и перелаивались друг с другом дворовые собаки. Казалось, весь мир был укутан пушистым белым снегом и освещен голубым сиянием звезд. Картина, которая не менялась столетиями. Как же хорош мир, в котором нет тюрем, ссылок и неожиданностей!

Из Томска улететь в Москву было невозможно. Билетов не было на много дней вперед. Я ринулся на железнодорожный вокзал и через пять часов был в Новосибирске. С неко-

торами усилиями, но все же удалось достать на вечер того же дня билет до Москвы. Полдня я шатался по аэропорту и привокзальной площади, отмечая постоянное присутствие вблизи себя одних и тех же людей. Первый раз в этой поездке я заметил слежку еще в Улан-Удэ, где за мной настойчиво следовала голубая «Волга» и газик. Было понятно, что о каждом моем посещении политссыльного сразу узнавал местный КГБ. Я относился к этому спокойно, понимая, что в такой поездке этого не избежать. В качестве меры предосторожности из крупных городов я звонил в Москву друзьям, чтобы они знали, где я нахожусь и где меня искать в случае исчезновения.

Я действительно опасался провокаций, которые КГБ так любил устраивать диссидентам. Но у меня было одно большое преимущество — я передвигался по Сибири так стремительно и неожиданно, что КГБ трудно было бы устроить мне провокацию, на подготовку которой требовалось время и знание предполагаемого маршрута. КГБ не знал, когда и куда я поеду. Более того, я и сам этого точно не знал, сознательно принимая решение в последний момент. У них совсем не оставалось времени на подготовку сколько-нибудь серьезной операции. О том, кого я должен был посетить, не знал никто, кроме Алика Гинзбурга и меня. Отзваниваясь периодически в Москву, я эту тему по телефону ни с кем не обсуждал, да меня никто и не спрашивал. Инициатива была в моих руках, мой ход всегда был первым и быстрым, а чекистам оставалось только зарегистрировать мои передвижения и ждать указаний из Москвы.

Они дождались их в Новосибирске. Сидя на скамейке в зале ожидания аэропорта Толмачево, я заметил некоторое оживление среди людей в штатском, которые весь день оставались у меня в поле зрения. Вскоре подошел милиционер, попросил документы, а затем предложил пройти в аэропортовское отделение милиции. Там меня обыскали, перетряхнули все вещи и очень веселились, когда я требовал присутствия понятых и составления протокола, как того требует закон. Однако они нашли у меня только то, что я им приготовил: какие-то незначительные бумаги, устаревший самиздат,

ненужные письма. Проглотив наживку, до самого важного они не добрались. Найденное они куда-то унесли и часа два изучали. Затем с изъятыми бумагами пришел гэбэшник и попробовал со мной поговорить. Я не возражал, но требовал составления протокола, чего гэбэшник себе позволить не мог, поскольку мне ничего не было предъявлено. Таким образом, разговор не состоялся. Я между тем сообщил ему, что если не прилечу своим рейсом, то Петр Григорьевич Григоренко, который уже знает про мой билет на этот самолет, поднимет такой шум, что московские товарищи из КГБ вряд ли будут рады действиям своих новосибирских коллег.

Однако время шло, а меня все не выпускали. Уже давно закончилась регистрация, затем прошло время вылета, и я понял, что самолет улетел, а я застрял в Новосибирске и, может быть, надолго.

Прошло шесть часов с момента задержания, когда вдруг дежурный офицер неожиданно вернул мне все изъятые бумаги, попросил проверить, всё ли на месте, а затем неведомыми темными коридорами вывел в забитый какими-то тележками внутренний двор аэропорта. Там стояла самая обычная салатového цвета «Волга», в которой сидели шофер и два молчаливых человека в штатском. Меня посадили в машину, и мы поехали. Удивительно, но поехали мы не в город — в тюрьму или областное управление КГБ, — а по территории аэропорта. Я недоумевал, однако не прошло и пяти минут, как машина подъехала к стоящему одиноко на отдаленной стоянке лайнеру «Ил-62», остановилась перед трапом, и один из двух молчунов произнес единственную за все это время фразу: «Идите». Я выскочил из машины, поднялся по трапу и зашел в салон самолета. Он был полон пассажиров. Это был мой рейс. Его задержали на два с лишним часа, чтобы Петр Григорьевич не поднимал шума. Понимая, что именно я виновник задержки рейса, одуревшие от неизвестности пассажиры смотрели на меня кто с ненавистью, как на виновника их мытарств, а кто с почтением, как на очень важного человека. Объяснить всем, что произошло, было невозможно.

Через четыре часа я был в аэропорту Домодедово, где меня встречали друзья.

Империя наносит ответный удар

Жизнь в Москве кипела. Через два дня после того, как я укатил в Сибирь, в Москве произошли теракты. 8 января в полшестого вечера в вагоне метро на перегоне между «Первомайской» и «Измайловской» взорвалась бомба. Погибли семь человек. Через полчаса взрыв прогремел в популярном у москвичей продуктовом магазине № 15 на улице Дзержинского, прямо напротив знаменитой Лубянки — здания КГБ СССР. Еще через десять минут взорвалась бомба у продуктового магазина на улице 25-летия Октября. При последних двух взрывах никто не погиб, но всего в этот день от терактов пострадали тридцать семь человек.

Власти переполошились. Скрыть теракты не удалось, сообщения об этом появились в западной прессе. После этого короткие сообщения напечатали и в советских газетах. Неофициально в терактах начали обвинять диссидентов. На допросах — формальных и непротокольных — некоторым диссидентам предлагалось подтвердить свое алиби на 8 января. Известный своими тесными связями с КГБ московский корреспондент английской газеты *London Evening News* Виктор Луи в своей статье связал деятельность диссидентов с терактами в Москве. В западной прессе началось обсуждение этой «интересной» темы.

11 января бывший политзаключенный Леонид Бородин сделал заявление для печати, в котором писал: «Запад должен понимать, что то, что для него является материалом для сенсаций, для нас, как и в данном случае, есть вопрос нашего существования».

На следующий день Андрей Сахаров заявил, что взрывы в метро могли быть провокацией советских репрессивных органов. Этому власть стерпеть не могла — 25 января в Прокуратуре СССР Сахарову было сделано официальное предупреждение. В ответ на это Андрей Дмитриевич обвинил КГБ в возможной причастности к убийствам диссидентов, упомянув два последних случая — убийства переводчика Константина Богатырева и юриста Евгения Брунова.

Конфронтация между диссидентами и властью стремительно нарастала. В «Известиях» появилась статья, в которой евреи, желающие репатрироваться в Израиль, обвинялись в шпионаже. Ситуация накалялась, и было понятно, что должно что-то произойти. После январских обысков можно было не гадать, кто главный кандидат на посадку.

Однако жизнь шла своим чередом. Алик Гинзбург свалился с воспалением легких, и его положили в больницу. Именно туда, в 29-ю больницу на Госпитальной площади, я и приехал к нему, вернувшись из Сибири, с рассказом о своей поездке. Алик был, как всегда, весел и оптимистичен, несмотря на болезнь и очевидную угрозу ареста. Я отчитался по финансовым вопросам, а еще через несколько дней написал обстоятельный «Отчет о поездке в Сибирь». Позже этот «Отчет» забрали у кого-то на обысках и пытались обвинить Фонд помощи политзаключенным в антисоветской деятельности.

Гром грянул 2 февраля. В «Литературной газете» появилась статья Александра Петрова-Агатова «Лжецы и фарисеи». Это был грязный, полный выдумок и грубой лжи донос на фонд и персонально на Алика Гинзбурга и Юрия Орлова. Сам А. Петров — бывший политзаключенный, многолетний узник мордовских лагерей. На чем его сломало КГБ, до сих пор точно не знаю. Вероятно, на угрозе нового срока.

В тот же день уже выписавшийся из больницы Алик Гинзбург устроил на своей квартире пресс-конференцию для западных корреспондентов. Объяснив ситуацию, Алик впервые рассказал некоторые подробности о работе фонда. О том, как приходили деньги и что приходили они только в рублях. За три последних года было получено и распределено 270 тыс. рублей (тогда в Советском Союзе это было эквивалентно 68 тыс. американских долларов). Основная часть была получена от Солженицына с его доходов от публикаций «Архипелага ГУЛАГа». Семьдесят тысяч принесли советские граждане, примерно тысяча человек. Сотни политзаключенных и их семей получили за эти годы спасительную для них материальную поддержку. Алик говорил о трудностях работы фонда, о том великом значении, которое имеет солидарность

с арестованными диссидентами. Это было его прощальное выступление, последняя пресс-конференция.

Гинзбург был исключительно мужественным человеком, он не жаловался на власть, на судьбу, на трудные обстоятельства. Он говорил о том, что необходимо для продолжения дела. «Если меня теперь арестуют, — говорил он собравшимся журналистам, — я прошу вас отнестись к работе тех, кто меня заменит, с большим вниманием, в чем они, безусловно, будут нуждаться». Корреспонденты, часто присутствовавшие на диссидентских пресс-конференциях, на этот раз были заметно взволнованы. Шведская корреспондентка Диса Хостад плакала. Друзья Гинзбурга стояли понурые. Алик между тем был спокоен и собран. Хотелось как-то ему помочь, но помочь было нечем. Я и позже не раз сталкивался с этим проклятым ощущением беспомощности, когда от ареста или смерти невозможно было ни спасти других, ни защититься самому. После пресс-конференции мы еще долго сидели, пили чай на кухне, и уже за полночь я уехал домой.

Телефон у Гинзбургов давно был отключен. На следующий день вечером Алик вышел во двор позвонить из автомата. Здесь его и арестовали.

Узнав про арест, я примчался к Гинзбургам. Там уже собирались все друзья. Человек семь или восемь, мы вместе с Ариной поехали в приемную КГБ на Кузнецком мосту. Шли от дома пешком до Профсоюзной улицы, мелкий колючий снег бил в лицо, было зябко, ветрено и противно. Долго ловили такси, потом еще одно и наконец уехали. Арина пошла в приемную, а мы остались на улице. Ждали долго. В КГБ Арине подтвердили, что ее муж задержан, но никаких подробностей не сообщили. Домой вернулись совсем поздно. На Арину было страшно смотреть. Первый шок прошел, и теперь ей надо было привыкать к мысли, что Алик в тюрьме. Она не плакала, не суежилась, но от этого не было легче. Я еще с кем-то остался у Арины ночевать, надеясь поддержать ее и, может быть, чем-то помочь.

3 февраля должны были арестовать и Юрия Орлова. Но тут случилась накладка — Орлов исчез. Никто не ожидал та-

кой прыти от члена-корреспондента Академии наук! Исчезнуть из-под наружного наблюдения КГБ, особенно перед арестом, не так-то легко. Но ему удалось. Орлова не было неделю, и для меня эта неделя оказалась непростой.

Поскольку в последнее время я часто бывал у Юрия Федоровича и даже попал к нему на обыск, в КГБ решили, что именно я помог ему сбежать от наружки. Они устроили мне веселую жизнь. Первый раз я заметил слежку в метро. Они держали большую дистанцию и старались оставаться незамеченными, что свидетельствовало об их намерении проверить мои контакты. Причины слежки были мне поначалу непонятны. Чего они хотят? Что проверяют? Не грядет ли арест? Я занервничал и начал делать ошибки. Этому способствовал и Володя Борисов, с которым мы ездили в тот день по каким-то делам, — он нагнетал обстановку, объясняя слежку самыми невероятными причинами, и предлагал немедленно от слежки сбежать. Мы стали проверяться на эскалаторах и перронах, чем дали понять чекистам, что обнаружили их. Это и было ошибкой. Пока они думали, что я не знаю о слежке, у меня было больше возможностей. Но для Борисова все это было просто занятной игрой, и я на нее поддался.

Дистанция между нами и чекистами сократилась, они следовали от нас в нескольких шагах. С их стороны посыпались угрозы, с нашей — насмешки. Началась словесная перепалка. Обстановка накалялась. Доехав до станции «Курская», мы поднялись по эскалатору наверх. Трое чекистов шли по пятам. Мы вышли на улицу. За углом здания метро, во дворе, находилось линейное отделение милиции Курского вокзала. Мы зашли туда. Я заявил дежурному офицеру, что неизвестные люди преследуют меня. «Люди» тоже зашли в отделение и стояли в дверях. Дежурный вопросительно посмотрел на «людей», те молчали.

— Ну-ка, ребята, давайте их всех сюда, — обратился дежурный к нескольким сержантам, покуривавшим в коридоре. Сержанты встали сзади чекистов, загородив выход из милиции и недвусмысленно показывая, куда тем следует пройти. Дежурный офицер был полон решимости разо-

браться с непонятными людьми. Это не было простым служебным рвением. Я работал на «скорой» как раз в этом районе, мне часто приходилось сталкиваться с ними на криминальных случаях, а еще чаще — приезжать в отделение милиции оказывать помощь задержанным или сотрудникам. Так что все, включая дежурного офицера, были мне хорошо знакомы.

— Ну, так в чем дело? — обратился дежурный к «людям», охватывая сразу всех троих одним недобрим взглядом.

Один из чекистов, видимо, старший по смене, наклонился к дежурному и насколько мог тихо попросил поговорить с ним отдельно.

— Зачем? — удивился дежурный. — Говорите здесь.

Старший выразительно молчал.

Вероятно, что-то необычное в поведении этих людей насторожило дежурного офицера. Он вышел с чекистом в соседнюю комнату, а через несколько минут вернулся на свое место и с совершенно каменным лицом начал перебирать бумаги на своем столе, будто ничего не случилось и в отделении не было ни чекистов, ни нас с нашими проблемами.

— Что будем делать? — спросил я его через некоторое время, прервав уже слишком затянувшуюся паузу.

— Я ничего не могу сделать, — ответил он и добавил тихо, как бы про себя: — Ты же сам знаешь, кто они.

Последняя фраза могла стоить ему работы. Я это оценил. Мы с Володей попрощались и направились к выходу. Дежурный смотрел нам вслед, и, повернувшись в дверях, я увидел, что он вздохнул и покачал головой, сочувствуя то ли мне, то ли своему двусмысленному положению.

Надо сказать, милиция вообще не любила кагэбэшников, считая их выскочками и белоручками. Конкуренция чувствовалась на всех уровнях, вплоть до отношений между союзным МВД и КГБ СССР. В данном случае к ведомственной неприязни добавились и личные мотивы, но открыто сделать что-либо против указаний сотрудников КГБ ни один милиционер не решился бы.

Слежка не отпускала меня. Возвращаться в свою съемную комнату в Астаховском переулке я не мог — узнай КГБ, где

я живу, я бы быстро лишился своего жилья, а у хозяйки были бы проблемы. Засвечивать Танину квартиру в Малаховке тоже не хотелось. Приходилось ночевать у друзей, благо с ними никогда никаких проблем не возникало.

Сложности ждали меня и на работе. Наружное наблюдение я заметил за своей машиной с первого же вызова, но никому из коллег ничего не сказал, чтобы не нервировать людей понапрасну. Однако той же ночью весь персонал 21-й подстанции «скорой помощи» на Яузском бульваре переполошился: около наших ворот стоит машина, набитая людьми. Все решили, что на подстанцию готовится налет за наркотиками — такое случалось в Москве в то время. Я объяснял коллегам, что эти люди сопровождают меня, что это слежка. Мне не поверили и попросили не рассказывать на ночь шпионские истории. Начали звонить старшему дежурному врачу на центральную подстанцию, тот, в свою очередь, в ГУВД дежурному по городу. Там обещали выяснить и принять меры. Но коллеги выяснили всё раньше начальства. Ночью заметили, что машина стоит у ворот не все время, а иногда уезжает. К утру сообразили, что уезжает за мной. Пришлось поверить мне. Все успокоились, поняв, что налета наркоманов на подстанцию не будет.

В следующее мое дежурство был день аттракционов. Когда я уезжал на вызов, все высыпали на улицу смотреть, как гэбэшная машина послушно поедет за мной. Многие были в восторге. Мой шофер — молодой парень, с которым каждое лето мы резались во дворе подстанции в настольный теннис, устраивал шоу на дороге. Когда мы спешили на вызов, включив мигалку и сирену, что было вполне законно, он выезжал на Таганскую улицу, где было одностороннее движение и встречная троллейбусная полоса. По этой встречной мы и мчались на вызов, а сзади нас ехала единственная машина — набитая людьми «Волга» салатového цвета. Как-то на перекрестке ошарашенный гаишник, размахивая полосатой палочкой, пытался остановить наглого нарушителя правил дорожного движения, но из машины ему подали знак и он мгновенно отступил. Знак мы засекали — салатовая «Волга» мигала ему одной фарой.

Скоро работать стало невозможно. У «скорой помощи» есть свои «хроники». Как правило, это астматики или сердечники, вызывающие «скорую» по несколько раз на неделе. Выезжал к ним, разумеется, и я. Вскоре больные начали рассказывать другим врачам и фельдшерам, что после моего приезда их стали навещать участковые милиционеры и люди в штатском, проверяющие режим прописки и возможное присутствие в квартире посторонних лиц. Больные, может быть, и не соотнесли бы эти визиты со мной, но люди в штатском расспрашивали их о работе «скорой помощи» и персонально обо мне.

Стало понятно, что КГБ ищет Орлова, полагая, что под видом выезда к больному я навещаю его для обмена информацией и получения указаний. В принципе, идея неплохая, если забыть, что слежка давно перестала быть тайной и что такой хвост к Орлову я бы все равно не привел. Не знаю, как оперативники наружки докладывали о своей бессмысленной работе начальству. Вероятно, говорили, что слежку я не замечаю и очень скоро выведу их на нужный след.

Между тем какими бы пустыми хлопотами ни занимались чекисты, подвергать риску здоровье людей было невозможно. Непонятный визит милиции не сулит сердечнику ничего хорошего. Я пересел с линейной машины на перевозку больных, а затем и вовсе перешел временно на работу диспетчером городской рации на Центральной подстанции. Чекистские машины больше не гоняли за мной по всей Москве, а мирно паслись в Коптельском переулке около Института скорой помощи им. Склифосовского.

Чекисты — люди упертые, но без фантазии и аналитических способностей. Если они решили, что Юрия Орлова спрятал от ареста я, то, значит, так и должно быть. Надо только пошире раскинуть сети. Они начали ходить в поисках Орлова по квартирам всех моих знакомых, которых смогли обнаружить. Папа к тому времени работал врачом в санатории под Ногинском. Они пришли в его санаторий и обследовали все номера — с больными и без, разыскивая, как они сказали, особо опасного государственного преступника.

Между тем все это время Юрий Орлов гостил у матери своего друга в Туле. Доблестные чекисты его там не искали.

Примерно через неделю он вернулся в Москву. 9 февраля пришел на квартиру Людмилы Алексеевой, понимая, что там «засветится» и будет арестован. Вечером провели пресс-конференцию. На следующее утро его арестовали.

Двумя месяцами позже взяли Анатолия Щаранского. Московская Хельсинкская группа начала нести потери. Для некоторых это стало сигналом. Самые расчетливые засобирались на Запад. Самые упертые — на Восток.

Запад — Восток

1977 год был урожайным на эмиграцию диссидентов. Однако дело было не столько в количестве уехавших, сколько в эффекте их отъезда. Впечатление было тяжелое. Разумеется, никто не давал обязательств бороться за права человека до последней капли крови. Каждый сам распоряжался своей судьбой, по крайней мере до тех пор, пока ею не распорядится КГБ. Никто никого не упрекал, но отъезд за границу известных диссидентов воспринимался как удар и оставлял в обществе чувство горечи. Каким бы индивидуалистичным по своей сути ни было демократическое движение, а количество этих индивидуумов все же играло роль. Достаточно заметна была разница между единицами отчаянно смелых первых диссидентов конца 60-х годов и сотнями активных и тысячами открыто сочувствовавших в середине 70-х. Демократическое движение росло и набирало силы. Эмиграция публичных фигур диссидентского сообщества воспринималась болезненно.

У этой проблемы не было черно-белого решения. Много зависело от обстоятельств. Никто не посмел бы осудить диссидентов, уезжавших на Запад после срока в лагерях, ссылках или психушках. У каждого человека свой предел сил, и полезно осознать его вовремя. Так, в 1977 году уехали на Запад Петр Григорьевич и Зинаида Михайловна Григоренко. Они уезжали по временной визе, для лечения Петра Григорьевича, но было понятно, что обратно они уже не вернуться. По дороге в аэропорт Зинаида Михайловна, прожившая всю

жизнь атеисткой, убежала в стоящий рядом с домом храм Св. Николы в Хамовниках поставить свечку. Кому и за что — не сказала. Я тяжело расставался с ними. В аэропорту я сказал маме Зине, что мы, наверное, никогда уже не увидимся, чем очень расстроил ее. До сих пор сожалею о своей глупой несдержанности. К тому же я оказался неправ — с Зинаидой Михайловной мы встретились лет через пятнадцать в Нью-Йорке, когда рухнула советская власть и я смог приехать туда. С Петром Григорьевичем мы в тот день распрощались действительно навсегда.

Годом раньше из Советского Союза выслали Владимира Буковского, имя которого уже хорошо было известно во всем мире. За его освобождение велась мощнейшая кампания, и закончилась она тем, что при американском посредничестве чилийское и советское правительства договорились выпустить из тюрьмы и дать выехать из страны соответственно Буковскому и генеральному секретарю чилийской компартии Луису Корвалану. Смутные слухи о предстоящем обмене ходили всю осень 1976 года, и в середине декабря стало известно, что обмен действительно состоится.

18 декабря несколько десятков человек, пожелавших проводить Буковского, приехали утром в аэропорт «Шереметьево», из которого только и вылетали самолеты за границу. Несколько часов мы ждали, когда привезут Буковского, но его всё не везли. В пустынном зале вылетов «Шереметьево-2» было много западных корреспондентов и сотрудников КГБ. Все ждали приезда самого известного советского политзаключенного. В конце концов стало известно, что его повезли на военный аэродром «Чкаловский» под Москвой и оттуда под конвоем офицеров спецназа КГБ «Альфа» на отдельном самолете вывезли в Цюрих. У Буковского остался не до конца отсиженный срок и неотмененный приговор. С формальной точки зрения офицеры «Альфы» устроили ему побег за границу!

КГБ по-своему отсалютовал высылке Буковского. У диссидентки Мальвы Ланда, которая тоже приехала на проводы в «Шереметьево», в это время дома произошел пожар. Пожар, конечно, потушили, но против Мальвы возбудили уго-

ловное дело. Ее не арестовали, и дело тянулось довольно долго, закончившись приговором к двум годам ссылки.

Добровольный отъезд заметных фигур диссидентского движения воспринимался в сочувствовавшем нам обществе как бегство от тюрьмы. В сущности, это так и было. Хорошо это или плохо, правильно или неправильно – вопросы во многом личные. Но неприятный осадок оставался, потому что публичные фигуры знаменовали собой сопротивление режиму, а их отъезд закономерно выглядел как сдача позиций.

Как только в 1977 году в Московской Хельсинкской группе начались аресты, спешно эмигрировала в США Людмила Алексеева (и вернулась только в 1993 году уже в новую и безопасную Россию). Впрочем, не все уезжали так легко и быстро. Некоторые выдерживали длительную кампанию угроз, травли и провокаций со стороны КГБ. В октябре 1977 года покинул Советский Союз отсидевший 5 лет в мордовских лагерях и Владимирской тюрьме Кронид Любарский*. В том же году уехали в эмиграцию видные участники демократического движения — объявившая себя легальным распространителем «Хроники текущих событий» лингвист Татьяна Сергеевна Ходорович и председатель московской группы «Международной амнистии» доктор физико-математических наук Валентин Федорович Турчин.

Турчина как-то схватили на улице сотрудники КГБ, захватили в машину и часа два возили вокруг Лефортовской тюрьмы, обещая ему, что скоро он будет там. Турчин был не из пугливых, но те бесцеремонность, грубость и показное беззаконие, с которыми действовал КГБ, побудили его в конце концов подать документы на выезд.

В 1977 году стало окончательно понятно, что КГБ намерен расправиться с диссидентским движением, сажая самых его активных участников в тюрьму или спроваживая за границу. У некоторых мечтателей об эмиграции появилась мысль, что громкое участие в демократическом движении может стать путевкой на Запад. Правда, неверно рассчитав и чуть-чуть пере-

* Кронид Аркадьевич Любарский (1934–1996) — астрофизик, распорядитель Фонда помощи политзаключенным, член советской группы «Международной амнистии», политзаключенный.

борщив, можно было загреметь на Восток. И все же некоторые рискнули испробовать Московскую Хельсинкскую группу в качестве трамплина для прыжка в свободный мир.

Классический прыжок продемонстрировал член-корреспондент Академии наук физик Сергей Поликанов. Он был вполне успешным советским ученым с правительственными наградами и Ленинской премией и даже был «выездным» — работал в Швейцарии. Но тут ему вдруг не разрешили выезд, и осенью 1977 года он написал возмущенное письмо Л.И. Брежневу. В ответ на это в феврале 1978 года его исключили из КПСС. В июле того же года он торжественно вступил в МХГ, в сентябре его лишили ордена Ленина и всех званий, а уже в октябре он получил разрешение на выезд и эмигрировал из СССР. Это была стремительная и точно рассчитанная кампания, в которой демократическое движение послужило подручным средством для эмиграции.

С большим или меньшим успехом использовали МХГ для выезда на Запад и некоторые другие члены группы. Демократическое движение, конечно, не было подорвано этим, но репутация его в известной мере пострадала. Уезжающие между тем часто просились представлять на Западе интересы диссидентских групп, чтобы отъезд их из СССР выглядел не столько бегством, сколько командировкой. Иногда им такие полномочия предоставлялись, хотя никакой нужды в том не было. Зато, выехав на Запад, они рассказывали, что из СССР их «выжали», «выдавили», «выставили», «заставили уехать» или даже «выслали».

На самом деле из участников демократического движения по-настоящему были высланы из страны только семь человек. В 1974 году арестовали и выслали в Германию Александра Солженицына. В 1976 году принудительно вывезли из СССР и обменяли на Луиса Корвалана Владимира Буковского. В 1979 году выслали из СССР в обмен на двух попавшихся в США советских шпионов пятерых политзаключенных: Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Георгия Винса и Олега Мороза. Вот и всё. Все остальные уехали добровольно — либо дав согласие на выезд, либо ходатайствуя о нем самостоятельно.

Cherchez la femme

Как водится, самый большой провал был связан с женщиной. Впрочем, с женщинами связаны и самые крутые взлеты, как и вообще большая часть всего, что происходит с мужчинами. Я не был исключением.

Была весна 1977 года. Все ее звали Ёлка, и она жила в большом доме с немыслимым количеством подъездов на развилке улицы Косыгина и Ленинского проспекта. Нас познакомили в доме Дрожжиных, старых, еще довоенных папиных друзей, и вскоре я узнал, что она работает машинисткой и классно печатает на машинке. «Карательная медицина» была практически готова, надо было перепечатывать ее набело, попутно внося последние исправления. Ёлка взялась за эту работу. Все складывалось удачно. Мы договорились, что на ту пару недель, что она будет занята этим делом, в ее доме никого, кроме нас, бывать не будет. Никаких друзей и подруг, никаких гостей. Она легко согласилась.

Ёлка была старше меня лет на пять. У нее был четырехлетний сын, отдельная квартира и большой опыт в отношениях с мужчинами. С первых же встреч она стала проявлять откровенный интерес ко мне. Меня это нисколько не тяготило. Она была настойчива и обаятельна, энергична и обольстительна — и как же устоять перед соблазном, если надо всего лишь уступить? Работа тем временем шла. Я часто приходил к ней проверять напечатанное, расшифровывал свой корявый почерк на черновике и вносил правку. Иногда оставался у нее ночевать.

Как-то вечером мы вместе возвращались к ней домой и на лестничной площадке столкнулись с выходящей из ее квартиры парой. Это была ее подруга и с ней молодой человек в военной форме. Девушки о чем-то пошебетали и мы разошлись. В квартире на кухонном столе между тем стояла пишущая машинка, рядом лежали аккуратные стопки напечатанных листов, машинописный черновик и картотека политзаключенных психбольниц. Все, что осталось с прерванной днем работы. Я немедленно высказал Ёлке свое возмущение. Она оправдывалась сочувствием к подруге, которой негде

было уединиться со своим любовником — слушателем Академии Генерального штаба. «Не беспокойся, — убеждала меня Ёлка, — они свои ребята и никому ничего не скажут. Иди лучше сюда». Она меня словно гипнотизировала, и я повиновался ей, как кролик удаву. Я еще вяло соображал, что на всякий случай надо бы все унести из дома, что осторожность не помешает и лучше перестраховаться. Но Ёлка была так убедительна, время было позднее, а постель уже постелена. Я решил, что утро вечера мудренее и завтра все непременно увезу в другое место.

Прошло часа полтора, и мы еще не успели уснуть, как в дверь позвонили. Это был длинный, настойчивый и очень нехороший звонок. Часы показывали полночь. Ёлка, выскочив из постели, побежала спрашивать, кто там, и ей ответили, что милиция. «Подождите, я оденусь», — отвечала Ёлка через дверь. Я заметался, пытаюсь в темноте найти свою одежду. «Не открывай! Не открывай!» — кричал я ей из комнаты. Ёлка зажгла в прихожей свет, набросила на себя что-то, а в квартиру звонили все настойчивее и уже начали колотить в дверь, требуя, чтоб открыли. Будто не слыша меня, Ёлка начала быстро открывать дверь. Подозрительно быстро. Я еще не успел надеть брюки, как в квартиру ввалилась целая ватага людей в штатском и милиционеров, которые моментально рассыпались по всей квартире. Никогда я не одевался в столь некомфортной обстановке. Все-таки врагов надо встречать если уж не во всеоружии, то хотя бы в штанах!

Старшему следователю Следственного отдела Московского УКГБ капитану Яковлеву в тот день несказанно повезло. Счастье свалилось на него в виде телефонного звонка дежурному по управлению с доносом, что по такому-то адресу на Ленинском проспекте находится антисоветская литература. Да, Ёлкина подруга Г.Н. Жабина и ее любовник В.Г. Введенский не замедлили донести в КГБ обо всем, что они увидели дома у приютившей их подруги. Санкцию на обыск дал дежурный прокурор Москвы Огнев. Яковлев срочно подхватил еще двух сотрудников, понятых, милиционеров, и все вместе они с полуночи до половины шестого утра изымали и описывали мое детище. Забрали все, что было: черновик книги,

несколько экземпляров почти готового чистового варианта, картотеку, записные книжки, электрическую пишущую машинку. Обыск проводился по неизвестному тогда делу № 474 УКГБ. Позже выяснилось, что это дело Юрия Орлова.

Утром, очень довольные собой и своей ночной работой, чекисты ушли, оставив мне повестку на допрос вечером того же дня. То ли решили дать мне выспаться после бессонной ночи, то ли отсыпались сами. Выйдя утром из дома, я обнаружил слежку. Они шли за мной на значительном расстоянии, на пятки не наступали.

Я всегда знал, что за эту книгу меня когда-нибудь посадят. Поэтому на допрос вечером шел с легким сердцем, заранее зная, что говорить. А говорил я на допросах всегда одно и то же: «На этот вопрос отказываюсь отвечать». Следователь особо и не настаивал — книга, по его мнению, избличала мою антисоветскую сущность настолько убедительно, что никаких других доказательств и не требовалось.

В этот же день арестовали Толю Щаранского. Днем позже на квартире у Григоренко состоялась по этому поводу пресс-конференция, в конце которой Петр Григорьевич рассказал западным корреспондентам о написанной мной книге, о вчерашнем обыске и о том, что судьба моя теперь очень неопределенна. Корреспонденты порасспрашивали меня немного, посокрушались и все не могли понять, будет все-таки книга издана или нет. В насквозь прослушиваемой квартире я туманно отвечал, что рукопись утрачена и теперь придется ее восстанавливать, что займет, конечно, уйму времени.

Но внутренне я ликовал — имелся второй экземпляр черновика, запрятанный так далеко и так надежно, что даже я не знал, где именно. Месяца через два мой брат Кирилл прошелся по этой неведомой цепочке и извлек рукопись из тайника. В ознаменование этого события мы в тот же день пошли в фотоателье и сфотографировались на память о том, как нам удалось перехитрить КГБ.

К рукописи я больше не приближался. Это был последний экземпляр, рисковать им было нельзя. Правку внесли без меня под руководством Славки Бахмина, а затем с дипломатической почтой переправили в Лондон.

Генеральная репетиция

Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях стремительно набирала обороты. Информация стекалась к нам через диссидентские дома, по каналам «Хроники текущих событий», с освобождающимися из психушек и лагерей заключенными. Благодаря западному радио теперь все знали, кто занимается в нашей стране борьбой со злоупотреблениями психиатрией, к кому надо обращаться. И к нам обращались.

В начале апреля у нас попросили помощи московские баптисты. Точнее, та часть этой конфессии, которая не соглашалась на контроль государства над ней и поэтому не была зарегистрирована. Их единовеца из Горьковской области Александра Волощука посадили в психушку.

История его была по тем временам довольно обычной. Семью их мелочно и назойливо преследовали за веру. Над детьми с одобрения педагогов издевались в школе. Восемилетнего малыша заставляли вступать в октябрята и носить значок с изображением Ленина. Мальчик отказывался. Его нещадно ругали одноклассники и учителя и однажды попытались надеть значок силой. Побили, разорвали рубашку, но своего не добились. Мать на седьмом месяце беременности уволили с работы. Вместе с тремя своими детьми они решили переехать в другой город, но, когда все формальности были соблюдены, в обмене квартиры им отказали. Из старой они уже выехали. Семья оказалась на улице. Они приехали в Москву, пошли в приемную Верховного Совета СССР с просьбой либо оставить их в покое, либо разрешить уехать в Канаду. В течение недели они каждый день приходили в приемную за ответом. На восьмой день им дали ответ — милиционеры, люди в штатском и в белых халатах скрутили отца семейства и увезли в психбольницу, а одиннадцатилетнего сына, заломив ему руки, доставили в милицию.

Петр Григорьевич попросил меня заняться этим делом. Александр Волощук оказался в той же 14-й психбольнице, где недавно находился Старчик. На этот раз я туда не пошел. Необходимо было сначала собрать всю информацию, встре-

титься с его родными и единоверцами. Я договорился с баптистами, что приду к ним на собрание в ближайшее воскресенье, и мы обо всем поговорим.

Летом, когда была хорошая погода, незарегистрированные баптисты обычно проводили свои собрания в лесу. В непогоду — на своих квартирах. Чудесным весенним днем, в воскресенье, 3 апреля, я приехал на Шоссейную улицу в Печатниках, где дома у баптиста Позднякова было назначено молитвенное собрание. В стандартной московской трехкомнатной квартире собрались человек сорок самого разного возраста — от детей до стариков. Было много молодежи, больше девушек. До начала службы я собрал всю нужную информацию по делу Волощука, а подписать общее письмо в его защиту решили по окончании собрания.

Служба началась. Пресвитер читал Евангелие, молящиеся подхватывали его слова, повторяли что-то, пели псалмы. Я никогда не понимал церковной службы, полагая, что вера — чувство интимное и присутствия других людей не терпит. Я сидел в углу, разглядывая молящихся, и жалел, что теряю время, которого, как всегда, не хватало. Но долго скучать не пришлось. Служба еще продолжалась, когда в квартиру ворвалась милиция и комсомольцы оперативного отряда АЗЛК (автомобильного завода им. Ленинского комсомола). Они начали расталкивать присутствующих, фотографировать их, требовать показать документы и прекратить «незаконное сборище». Я, как самый незанятый в этом доме человек, просил милиционеров самим предъявить документы и объяснить, почему они врываются в частную квартиру без санкции прокурора. Короче, начал качать права. На некоторое время мне удалось переключить внимание ментов на себя.

Баптисты присутствия милиции будто не замечали. Они продолжали службу. И как продолжали! Я чужд коллективной религиозности, но это было нечто необыкновенное. Чем больше бесновались менты, тем восторженнее становилось пение верующих. Они явно отвечали молитвой на государственное насилие. Одного за другим баптистов начали вытаскивать из квартиры и сажать в милицейские машины. Сначала выводили мужчин. Оставшиеся продолжали петь,

не обращая внимания на милицию, и по мере того как уводили мужчин, голос хора становился все выше и пронзительнее. Он звучал так, будто над нами был не потолок на высоте двух с половиной метров, а купол огромного храма или целый мир, который сверху взирал на то, что делается на жалком пятачке стандартной московской квартиры. Происходящее захватило меня своим неподдельным ликованием, которое ощущалось в голосах поющих, читалось в глазах молящихся. Будто столкнулись в чистом виде добро и зло, вера и власть. Эта была самая впечатляющая служба, которую мне приходилось когда-либо слышать. Вскоре она для меня закончилась — мне заломили руки за спину и повели в милицейский газик. Кто-то из баптистов сфотографировал меня из окна, и этот снимок позже стал широко известен и неоднократно публиковался.

В 103-м отделении милиции все баптисты снова собрались вместе. В одной компании с ними оказался и я, грешный. Мы сидели довольно долго на скамейке в дежурной части. Рядом со мной сидел ангел. Я заметил ее еще на собрании. У нее были белокурые локоны до плеч, светлые глаза и необыкновенно нежные черты лица. Я даже замер на месте, боясь спугнуть видение. Но это было не видение, а вполне реальная девушка. Мы познакомились. Миссионерское начало очень развито у протестантов, и ангел начала рассказывать мне о правильной вере в Бога. Я не возражал, но, когда она слегка выдохлась, я попытался повернуть беседу в светское русло. Баптистов между тем по одному вызывали в кабинет начальника, там с ними беседовали, отдавали паспорта и выпроваживали вон. Пока я соображал, как лучше развить с ангелом знакомство — поддаться на религиозную проповедь или соблазнить светскими удовольствиями, ее тоже вызвали к начальнику. Уходя, она шепнула мне на ухо, что подождет меня около милиции. Я обрадовался, но скоро выяснилось, что напрасно. Всех баптистов выпустили, сделав предупреждение или наложив штраф, а меня оставили для суда. Своего ангела я так больше и не видел.

Ночь я провел в отделении на деревянной скамейке, поживаясь от весеннего холода и сожалея о своем пальто, оста-

вленном в квартире баптистов. Утром меня привезли в Люблинский народный суд, тот самый, в котором проходили выездные заседания Мосгорсуда по большинству политических процессов. В коридоре меня встретили друзья и папа. Суд, однако, отложили из-за неявки свидетелей-милиционеров. Это был предлог — меня хотели судить в пустом зале, без публики. Однако когда днем меня опять привезли в суд, друзья и папа снова были здесь.

Странно, но я волновался на этом никчемном суде больше, чем когда-либо на других судах впоследствии. Мне грозило за неповиновение милиции всего 15 суток административного ареста. Казалось бы, о чем беспокоиться? Не знаю, что на меня нашло. Я был очень выдержан и законопослушен. Заявлял ходатайства о вызове свидетелей — судья говорил, что это ни к чему. Говорил о праве на гласность и законность — судья кричал мне: «Уезжай на свой Запад!» Девятнадцать баптистов написали в суд заявления, свидетельствуя, что я не оказывал милиции сопротивления. Суд заявление не принял. Генерал Григоренко и священник Глеб Якунин обратились к министру внутренних дел СССР и прокурору РСФСР с просьбой отложить суд до прихода адвоката и всех свидетелей. На их обращение судья просто не обратил никакого внимания. Процесс занял минут пятнадцать, и решение судьи было — 15 суток ареста.

Потом мне было неловко за свое поведение в суде. Не надо было суетиться и играть с ними в правосудие. Не надо было отвечать на их глупые вопросы и доказывать свою очевидную правоту. Это было мне уроком на всю жизнь. В суде надо быть веселее, не тушеваться и держать инициативу в своих руках.

Гораздо позже один веселый уголовник в «Матросской Тишине» рассказывал мне, как его судили по какой-то мелочной статье со сроком до года, и ему, отсидевшему под следствием уже месяцев девять или десять, было совершенно все равно, какой будет приговор. На последнем слове он встал и, понуро опустив голову, начал говорить, что очень виноват перед законом и советским народом. Судья смотрела на него благосклонно. Он долго и с удовольствием каялся, а потом

поднял голову, улыбнулся и очень громко закончил свое выступление так: «Ну так дуньте же мне теперь, гражданин судья, в х.., чтоб я взлетел и лопнул!» Ему все равно дали год, больше не могли.

На следующий день из милиции меня повезли в райисполком Дзержинского района Москвы, где сделали официальное предостережение об антисоветской деятельности. Секретарь исполкома Гладкова в присутствии кого-то со «скорой помощи», где я работал, и гэбэшника в штатском заявила, что им хорошо известно о моей «длительной и многогранной антисоветской деятельности» и что если я «не прекращу заниматься деятельностью, враждебной советскому государственному и общественному строю, то буду предан суду». Я не удивился. Мне было 23 года, и я уже несколько лет находился в эпицентре демократического движения. Удивительно, скорее, было то, что мне до сих пор еще не вынесли официального предостережения по известному указу Президиума Верховного Совета СССР от 25 декабря 1972 года.

В милиции я сказал, что работать «на сутках» не собираюсь, и меня повезли отбывать пятнашку в 71-е отделение милиции. Это было обычное КПЗ, куда привозили задержанных, держали их там три дня, а потом развозили по тюрьмам. Кто-то из друзей передал мне теплую куртку, пару раз сделали продуктовую передачу. Народ в камере постоянно менялся, все рассказывали свои истории и делились впечатлениями о лагерях и тюрьмах. Приобретая свой первый тюремный опыт, я быстро научился чистить зубы пальцем, умываться известкой со стен, причесываться спичками и делать острые бритвы из сигаретных фильтров. В тюрьме быстро всему учишься, даже в такой облегченной, как КПЗ.

За четыре дня до истечения пятнадцатисуточного срока мне объявили, что за отказ от работы мне добавят еще 15 суток ареста. Я начал голодовку. Если бы пару лет спустя мне предложили объявить голодовку из-за 15 суток карцера, я бы долго смеялся. Но тогда мне все это казалось очень серьезным. Меня сразу перевели в одиночную камеру. Приезжали из прокуратуры, интересовались причиной голодовки. Я отвечал. Через четыре дня, в положенный срок меня выпустили.

У КПЗ меня встречал только Сашка Левитов. Я очень удивился, но, как потом оказалось, Зинаида Михайловна Григоренко распорядилась, чтобы к отделению милиции никто не ездил и демонстраций не устраивал. Мы с Сашкой поехали к Спартакам*, где меня накормили, предварительно напив изрядным количеством настоя сенны. Даже из четырехдневной голодовки выходить надо аккуратно. Через несколько часов меня начали разыскивать друзья и требовать, чтобы я немедленно приехал к Григоренкам. Полчаса спустя я уже был в их доме на Комсомольском проспекте. Там собралось много наших друзей, все меня обнимали, и я был тронут их вниманием.

Улучшив момент, я спросил Зинаиду Михайловну, почему она попросила никого не приезжать к отделению милиции. Она посмотрела на меня долгим взглядом и потом ответила ласково: «А чтоб не зазнавался!» Она любила меня как сына и боялась, чтобы меня не занесло. Наверное, это было правильно. Но все равно я чувствовал себя победителем и с удовольствием рассказывал о своих первых «сутках». Юра Grimm сделал несколько фотографий, на которые я теперь смотрю с некоторой грустью. Тогда я еще по-настоящему не осознавал, что это была генеральная репетиция моего полноценного тюремного срока.

Прощай, оружие!

Предостережение об антисоветской деятельности было для КГБ, вероятно, некоторым рубежом, после которого оперативные мероприятия переходили на другой уровень. Я почувствовал это сразу.

Пока я сидел под арестом, на работе провели общее собрание. Заведующий подстанцией, парторг и пара их прихлебателей единодушно осудили мое антисоветское поведение. Но отношение ко мне остальных врачей, фельдшеров, медсестер и шоферов не изменилось. Большую часть

* Спартак Николаевич Дрожжин – военный летчик, друг детства П.А. Подрабиника.

коллектива составляла молодежь, к тупой советской пропаганде уже не восприимчивая. Мы по-прежнему время от времени собирались большой компанией и шли куда-нибудь в парк Горького, пили после работы на скамейках Яузского бульвара кофейный ликер с «Байкалом» или устраивали вечеринки на чьей-нибудь квартире, а утром с головной болью шли на работу. Жизнь текла своим чередом и вне политики тоже.

Вскоре я получил повестку из военкомата. Не надо было ходить к гадалке, чтобы понять, что меня во чтобы то ни стало решили забрать в армию. С вооруженными силами у меня отношения не заладились с самого начала. Они страстно хотели принять меня в свои ряды, а я от этого так же страстно уклонялся. Они убеждали меня, что это мой священный долг и почетная обязанность, а я приносил им справки о болезни. Так тянулось довольно долго. Зная медицину и некоторые особенности человеческого организма, я умел создавать кратковременное патологическое состояние, которое стопроцентно фиксировалось при инструментальном обследовании. Осматривавшие меня врачи призывных военных комиссий только разводили руками и ставили диагноз, освобождающий от службы в армии. Так бы я благополучно и протянул до окончания призывного возраста, если бы в дело не вмешался КГБ.

В те годы, как, впрочем, и сейчас, от армии можно было избавиться двумя основными способами — откупиться или симулировать болезнь. Про первое не могло быть и речи, оставалось второе. Я знал многих ребят, получивших белый билет по придуманному заболеванию. Некоторым помогал советами.

С любопытной ситуацией я столкнулся однажды на «скорой помощи». Получив вызов «человек без сознания, на улице», я приехал на Солянку, где около дома, прислонившись спиной к стене, сидел молодой человек, а возле него хлопотали две девушки. Со слов этих девушек, у их приятеля внезапно случился припадок, он упал, бился в судорогах, ударился головой об асфальт. Мне рассказывали картину эпилептического припадка. Я осмотрел парня. У него действительно был фингал на затылке, но никаких признаков недавнего эпилеп-

тического припадка не было — ясное сознание, узкие зрачки, хорошие рефлексы, никаких следов прикуса языка — ничего, что объективно подтверждало бы эпилепсию. Я спросил у молодого человека, был ли он в армии, и краем глаза заметил, как многозначительно переглянулись его подруги. Мне все стало ясно: парень симулировал. Ему повезло, что он попал на меня. Всю дорогу до больницы я сидел в салоне машины и, закрыв окно в кабину водителя, читал «эпилептику» и двум его подругам лекцию о симптоматике, течении, возможных причинах и последствиях эпилепсии. Мы ни о чем не договаривались, но по их благодарным глазам я видел, что они всё поняли. Я сдал его в больницу с диагнозом «эпилепсия», что на девяносто процентов гарантировало ему подтверждение диагноза в стационаре, где его вряд ли стали бы держать больше двух-трех дней.

До очередной медицинской комиссии мне было еще далеко, значит, вызов в военкомат связан с внеочередной комиссией. Военкомат направит меня в «свою» больницу, где меня признают здоровым и годным к службе, что бы ни говорили сами врачи и показания их приборов. Следовало их опередить.

Я лег в электростальскую городскую больницу для обследования, но не по направлению военкомата, а по собственной инициативе. Мне протезировала посвященная во все мои обстоятельства папина знакомая — врач, которая знала его уже лет двадцать пять, а меня — так просто с пеленок. Потянулись томительные больничные дни. Я притворялся больным, вводил в заблуждение врачей, мне делали инъекции, и все это было непривычно и весьма противно. Но деваться было уже некуда, приходилось терпеть.

Мои дела между тем поворачивались не лучшим образом. К счастью, в отделении работала хорошенькая рыжая медсестра Галка, с которой в ее ночные смены мы запирались в санитарной комнате, пили сухое вино и нежно проводили время до утренней раздачи лекарств. Она рассказала, что военкомат оказывает давление на больницу, с тем чтобы меня перевели в другой стационар, который им укажут. Я срочно выписался и через день, благодаря знакомым врачам, лег в больницу в дру-

гом подмосковном городе, так что ни КГБ, ни военные ничего об этом не узнали. Через две недели я вышел оттуда с подтверждением диагноза.

Все было напрасно. Явившись по очередной повестке в электростальский горвоенкомат, которым командовал подполковник с замечательной фамилией Долбня, я принес заключение врачей, но от него отмахнулись и велели через два дня явиться снова для направления на новое обследование. Все мои ухищрения, лавирование и попытки переиграть армейскую систему ни к чему не привели. Стало понятно, что меня признают годным и осенью заберут в армию.

Я решил больше не хитрить. Симулировать было не только противно, но и бесполезно. На одной из ближайших пресс-конференций для иностранных журналистов я объявил, что категорически отказываюсь служить в Советской армии, даже если за это против меня будет возбуждено уголовное дело. Я стал отказником.

И они отстали! Мне перестали приходить повестки, военкомат про меня словно забыл. Так я попрощался с армией, даже толком с ней и не познакомившись.

Искусство допроса

Следователей обучают искусству допроса в школах милиции и КГБ. Искусство противостоять следователям мы постигали на собственном опыте. Конечно, у нас были наставники и даже учебники — великая русская тюремная литература. Но по существу обучение начиналось прямо с «производственной практики».

В июле меня вызвали на допрос в УКГБ по Москве и Московской области. Следственный отдел находился на Малой Лубянке в доме 12а, рядом с костелом. Меня допрашивали в качестве свидетеля по делу Юрия Орлова. Идти на допрос не хотелось — днем у Григоренко намечалась пресс-конференция, на которой должны были быть представлены в том числе и материалы Рабочей комиссии. Но не ходить на допрос тоже было бессмысленно — в нарушение всех моих

планов они могли на законных основаниях задержать меня в любую минуту и привезти на Лубянку.

Я пришел в следственный отдел к десяти утра. Допрос вел похожий на Шуру Балаганова следователь Капаев, кажется, в чине старшего лейтенанта. С самого начала Капаев начал не допрос, а беседу. Он очень старался. Говорил о чем-то совсем незначительном, чуть ли не о погоде, рассказывал анекдоты. Вероятно, так их в школе КГБ учили создавать непринужденную, доверительную обстановку. У меня еще не было опыта общения со следователями КГБ, но был чужой опыт, накопленный за десятилетия советской жизни и в последние годы диссидентской деятельности.

В демократическом движении не было стандарта общения со следователями, но правилом хорошего тона считался отказ от дачи показаний. Этому нас научила сама жизнь — чем меньше говоришь, тем меньше навредишь другим и себе. Между этой позицией и полноценным сотрудничеством со следствием существовало множество градаций, и каждый был волен выбирать то, что ему по вкусу. Одни пытались отвечать только на «безобидные» вопросы. Другие, как, например, Володя Альбрехт, придумывали головоломную систему отношений со следователем, которая, как им казалось, должна была уберечь их от ошибок. Третьи откровенно врали, надеясь запутать следствие, сбить его с толку. Впрочем, таких было немного. И уж совсем мало было тех, кто по трусости и малодушию шел на сотрудничество со следствием и давал откровенные показания. Это были предатели, их тогда были единицы.

Я выбрал правило хорошего тона — отказ от дачи показаний. Но я не стал заявлять об этом в начале допроса — хотелось выслушать все вопросы следователя, узнать, что его интересует. Вопросы были самые незатейливые: где, когда и при каких обстоятельствах познакомился с Орловым; получал ли от него антисоветскую литературу; что знаю о группе «Хельсинки», о Фонде помощи политзаключенным и т. д. На каждый вопрос я аккуратно отказывался отвечать, а на вопрос «почему?» сообщал, что по морально-этическим соображениям.

Не знаю, кто придумал эти «морально-этические соображения», но действовало это безотказно. Получалось, что они задают вопросы, неприемлемые с морально-этической точки зрения. То есть мы — люди моральные, а они — нет. Все это очень выводило следователей из себя. Это была блестящая формулировка, и большинство диссидентов ею широко пользовались.

Допрос тянулся медленно. Капаев печатал протокол на пишущей машинке, но очень медленно, подолгу выискивая на клавиатуре нужные буквы и старательно стуча по ним указательными пальцами. Я скучал, прислушиваясь к звукам городской жизни за окном. На улице стояло жаркое лето, а в кабинете следователя было серо, прохладно, бездушно и уныло, как это почти всегда бывает в казенных кабинетах. Часа через четыре он с тоской посмотрел в окно и предложил устроить обеденный перерыв. Я с удовольствием согласился. Договорились продолжить через час.

Выйдя из здания КГБ, я бегом пустился к метро. От «Дзержинской» до «Парка культуры» вела прямая ветка, и уже минут через двадцать я был у Григоренко, где как раз заканчивалась пресс-конференция для западных корреспондентов. Журналисты ценят свежую информацию, и мой рассказ о том, что полчаса назад интересовало следователя, ведущего дело Орлова, был выслушан с большим интересом. Я ответил на много разных вопросов.

Ровно к назначенному времени я снова был в кабинете Капаева. Допрос продолжился. Вопросы не отличались разнообразием, а уж мои ответы — тем более. Капаев время от времени куда-то выходил, потом возвращался, и допрос шел дальше. Так продолжалось до восьми часов вечера. Наконец он решил поставить точку и дал мне протокол, чтобы я его подписал. Я ознакомился с нехитрыми вопросами следователя и своими незамысловатыми ответами, но подписывать отказался.

— Такова моя позиция, — объяснил я Капаеву.

— Но почему? Ведь мои вопросы и ваши ответы записаны правильно?

— Правильно, — соглашался я, — но подписывать все равно не буду.

— Но почему? — кипятился следователь.

— Потому что я ставлю свою подпись только на тех бумагах, которые мне нравятся, — отвечал я. — А эта бумага мне не нравится, — счел я нужным уточнить дополнительно.

Капаев нахмурился и пододвинул мне отдельно напечатанный бланк.

— Это вы обязаны подписать.

На бланке было напечатано мое обязательство не разглашать материалы предварительного следствия и, в частности, содержание допроса. Я уведомлялся об уголовной ответственности за разглашение этой информации. «Обязан подписать». Что он понимает в моих обязанностях?

Можно было подписать или отказаться «по морально-этическим соображениям», но я был в том возрасте и настроении, когда хочется шутить. Я внимательно прочитал бланк и с невыразимым сожалением и даже как бы некоторым испугом сказал, что подписать, увы, не могу.

— Это уголовная статья, — предупредил меня Капаев.

— Но почему вы не ознакомили меня с этой бумагой раньше, хотя бы в начале допроса? — сокрушался я.

— А какая разница? — недоумевал следователь.

— Как какая? — горячился я и, вероятно, уже переигрывая, хватал себя за голову. — Я уже все рассказал.

— Как рассказал? Кому рассказал? Когда?

— Ну как же, во время обеда. Я поехал обедать к Петру Григорьевичу, а у него как раз была пресс-конференция для западных журналистов, я им все и рассказал.

Капаев ошарашенно молчал, уставившись в пишущую машинку. Получилось, что он отпустил меня с допроса на пресс-конференцию к Григоренко. Что скажет начальство? Следователь поднял на меня тяжелый взгляд. До него наконец дошло, что я над ним издеваюсь. На лице у него заходили желваки, и он смотрел на меня так, будто раздумывал, выпустить в меня сразу всю обойму из своего табельного пистолета или просто оторвать мне голову собственными руками.

Психовать, однако, было не в их правилах. Выдержка была их фирменной маркой. Капаев молча вышел и через несколько минут вернулся в кабинет с двумя сержантами из

охраны, которые выполнили роль понятых. Мой отказ подписывать протокол допроса и предупреждение о неразглашении были оформлены отдельным актом.

Они вызывали меня на допрос в том июле еще два раза. Не знаю, какой был в этом смысл. Я все так же отказывался от дачи показаний. Капаев стал вести себя жестче, иногда ему помогал меня допрашивать кто-нибудь из сотрудников отдела. Они начали угрожать мне 70-й статьей, если я не стану давать показания, жалели мою теперь уже навсегда загубленную молодость и советовали не упрямиться, пока они такие добрые. Я тоже стал вести себя жестче, перестал говорить с ними о чем-либо и перестал ссылаться на «морально-этические соображения». Теперь я просто отказывался отвечать на все вопросы.

В какой-то момент ситуация стала даже забавной. Капаев спросил меня что-то о взаимоотношениях Орлова и Гинзбурга.

— Отказываюсь отвечать, — ответил я как обычно.

— Почему отказываетесь? — так же протокольно спросил он меня.

— Отказываюсь отвечать на этот вопрос, — ответил я, следуя своей новой методе.

Капаев вдруг посмотрел на меня задумчиво и спросил:

— Ну, а на этот-то вопрос вы почему отказываетесь отвечать?

Мне стало весело, но я удержался, выдерживая строгий тон.

— На вопрос «почему я отказался отвечать на ваш вопрос о том, почему я отказался отвечать?» я тоже отказываюсь отвечать.

Капаев хмыкнул и заносить мой последний ответ в протокол не стал.

Пока следователь печатал свои вопросы и мои ответы, я сидел и размышлял, что им от меня надо. Они, конечно, поняли, что никаких показаний им от меня не получить. Тогда зачем все это? Либо они выполняют план по количеству допросов, решил я, либо изучают меня, чтобы составить психологический портрет «преступника». Надо бы составить пси-

хологический портрет следователя КГБ, подумалось мне.

На следующий допрос я взял с собой диктофон, благо сумки и портфели при входе не проверяли. Они наверняка записывают меня, а я буду записывать их. Портфель с незаметной дырочкой для микрофона я поставил около стула и, когда в очередной раз полез в портфель за сигаретами, незаметно включил диктофон.

Не скажу, чтобы этот допрос чем-то сильно отличался от остальных, но один час этого бесцельного препирательства я записал на пленку, которую мы потом с друзьями прослушивали, надеясь понять, как все-таки правильно вести себя на допросе.

Потом допросов у меня было несметное количество — и по своим делам, и по чужим. Я уже никогда не менял избранной тактики. Я делал только то, что нужно было мне, а не следователю или закону. Все ухищрения следователей, их обещания, угрозы, выгодные предложения и изошренный шантаж в расчет не принимались. Они враги, и то, что выгодно им, невыгодно мне. Это была точка отсчета. Очень простая и ясная позиция. Она позволила мне избежать многих ошибок, и я ни разу не пожалел об избранной тактике.

Лишь два раза я отступил от принятой тактики. В тюрьме «Матросская Тишина» годом позже меня допросили по делу Вадима Коновалихина — подопечного нашей Рабочей комиссии, бывшего политзаключенного психбольницы, которого вновь арестовали по статье 190¹ и которому снова грозило принудительное лечение. Я отказался отвечать на вопросы следователя, но собственноручно записал в протокол, что Коновалихин прошел у нас психиатрическую экспертизу, был признан психически здоровым, а экспертное заключение по нему лежит в настоящее время в английском Королевском колледже психиатров в Лондоне. Оно будет предано огласке, написал я, если против Коновалихина будут применены психиатрические репрессии. Все это была чистая правда, и в КГБ понимали, что я не вру. Не скажу, помогло это или что-то еще, но Коновалихина признали здоровым и дали пять лет ссылки в Коми.

Другой раз я дал показания на допросе в Краснопресненской пересыльной тюрьме в Москве очень непростому следо-

вателю и в очень сложной ситуации, пытаюсь выгородить «Клеточникова» — нашего крота в КГБ. Но это отдельная история, о ней позже.

В отношениях со следователем, когда между вами стол, а на нем протокол допроса, всего две трудности: надо перестать видеть в следователе человека и надо перестать надеяться на лучшее. Второе иногда дается даже легче, чем первое. Многие затрудняются говорить «нет», когда следователь так вежлив, предупредителен и чуть ли не заботлив. Они играют на этом, они мастера. Они скажут, что всё понимают и даже где-то вам сочувствуют. Скажут, что во многом с вами согласны и им самим многое в стране не нравится, но надо действовать иначе. Поделятся своими домашними печальми или семейными радостями. Расскажут анекдот о Брежневе. (Какие анекдоты про Брежнева мне рассказывали в КГБ! Я их потом пересказывал в камере — все валялись от хохота.) Следователь будет своим в доску. Предложит хорошие сигареты, угостит плиткой шоколада. Если вы оказались человеком покладистым и идете на контакт, нальет рюмочку коньяка. Передаст привет от жены и расскажет что-нибудь хорошее о ваших детях. Он захочет стать вашим лучшим другом, чтобы помочь вам выпутаться из неприятной истории. И все это только затем, чтобы сделать из вас предателя или надежнее посадить. Не дай бог вы попадетесь на эту удочку — своими же руками выроете себе могилу. Забудьте, что он человек. Он — функция, он — боевой отряд партии. Он — угроза вашей свободе и ничего больше. И забудьте, что вы можете получить срок меньше максимального. Рассчитывайте на всю катушку. Тогда вы станете свободны, страх уйдет, голова прояснится, и вы получите такие силы, о которых и не мечтали. Все ухищрения следователей, все их многолетние навыки и отработанные схемы, познания в криминалистике и теории ведения допроса, весь их палаческий опыт рассыплются в прах при столкновении с вами, если вы свободны и знаете себе цену, если вас невозможно ни купить, ни запугать. Это трудно, особенно поначалу, но это того стоит.

Корреспонденты и дипломаты

Общение с иностранцами в Советском Союзе всегда было делом рискованным. При Сталине за несанкционированные контакты с иностранцами могли просто посадить. В вегетарианские брежневские времена такое общение было поводом для очень серьезных подозрений. Между тем закон общения не запрещал, а врожденного страха советского человека перед властями в диссидентской среде уже не было.

Чаще всего приходилось контактировать с аккредитованными в Москве западными корреспондентами. Они были завсегдатями диссидентских пресс-конференций. Долгое время, соблюдая паритет, мы звали на пресс-конференции и советских журналистов из ТАСС и АПН, но они, разумеется, не приходили. Впрочем, из немалого корпуса иностранных корреспондентов приходили тоже далеко не все. Некоторые боялись.

Власти создали для иностранных журналистов в Москве очень комфортные условия жизни и работы. Низкие цены на аренду жилья в специально охраняемых домах и кварталах, дешевое обслуживание, отдельные магазины, разнообразные бонусы и льготы — все это предоставлялось иностранным журналистам в ожидании политической лояльности от них. Общение с диссидентами было вызовом властям, и от таких журналистов власти старались при всяком удобном случае избавиться. Например, не продлить аккредитацию — без объяснения причин, но ясно давая понять, чем именно это вызвано. Некоторые журналисты дорожили выгодной работой в Москве и не хотели рисковать ею ради контактов с диссидентами. В их оправдание можно сказать, что редакции многих западных изданий считали отказ в аккредитации, а тем паче высылку корреспондента из страны профессиональной неудачей и винили в этом журналиста, а не советскую власть. Осторожные журналисты удовлетворялись официальной версией всех событий и не утруждали себя поиском информации. Я знал корреспондента одного крупного американского новостного агентства, который отправлял материалы в свою редакцию, посмотрев вечером по первому каналу телевидения очередной выпуск программы «Время».

Однако немало было и тех, кто не покушался на московские льготы, не боялся конфликтов и добросовестно выполнял журналистскую работу. К ним относились практически все корреспонденты западных радиостанций, имеющих русскую службу вещания. Честно работали и многие корреспонденты печатной прессы.

Постоянные встречи на пресс-конференциях сблизили многих западных журналистов и московских диссидентов. Иные из них стали друзьями. Как всякие нормальные люди, ценящие свободу и человеческое достоинство, западные журналисты сочувствовали демократическому движению в СССР. Иногда грань между сочувствием и профессиональной отстраненностью от событий естественным образом стиралась.

Однажды во время демонстрации еврейских отказников на Арбате, за которой наблюдали западные корреспонденты, на демонстрантов набросились люди в штатском и стали избивать их. Милиция стояла рядом и не вмешивалась. Пока подонки молотили мужчин, журналисты молча снимали все своими камерами. Но когда очередь дошла до женщин, один из журналистов, кажется, англичанин, отложил свою камеру и ввязался в драку, умело орудуя кулаками. За ним подтянулись и его коллеги. Массовая драка закончилась тем, что на следующий день МИД СССР заявил, будто некоторые западные корреспонденты устроили на улицах Москвы пьяный дебош.

Иные из корреспондентов брались перевезти почту на Запад, хотя это было и рискованно — на границе любого корреспондента могли обыскать и изъять письма или документы. Кто-то покупал продукты в валютном магазине «Березка» и отдавал их Фонду помощи политзаключенным. Корреспондент «Би-би-си» Кевин Руйэн однажды помог мне избавиться от слезки — он увез меня на своей машине прямо из-под носа гэбэшников.

Но главная поддержка, которую они нам оказывали, была информационная. Собранные нами сведения о нарушениях прав человека, преследованиях инакомыслящих, положении политзаключенных в лагерях, тюрьмах и психбольницах бла-

годаря их работе становились общеизвестными. Наша информация печаталась в западной прессе и, что гораздо важнее, через вещающие на Советский Союз западные радиостанции доходила до наших сограждан. Благодаря западным журналистам мы не жили в вакууме. Количество слушателей западного радио в нашей стране было тогда огромным. Их было гораздо больше относительно небольшого количества людей, готовых на открытый политический протест.

Против западных корреспондентов, игнорировавших советы властей, КГБ устраивал провокации. Их пытались втянуть в любовные отношения с сексотками, провоцировали на драки где-нибудь в барах или ресторанах, имитировали уличные ограбления, прокалывали колеса автомобилей. Пакоостили по мелочам и старались сделать их жизнь невыносимой.

Молодому корреспонденту *Financial Times* Дэвиду Саттеру, только приехавшему в Москву и рьяно взявшемуся освещать диссидентское движение, устроили провокацию в поезде, когда он после встречи с литовскими диссидентами ехал из Вильнюса в Ригу. Симпатичная девушка стала его спутницей на одну ночь в купе поезда, и, пока он с жаром отдавался новому знакомству, его чемоданчик с личными вещами и полученными в Вильнюсе правозащитными документами аккуратно перекечевал в распоряжение КГБ. Милиция, в которую он обратился по поводу кражи, разумеется, обещала ему помочь. В Риге на вокзале его встретили по просьбе вильнюсских друзей латышские диссиденты. В плодотворных беседах и новых знакомствах он провел там несколько дней. Только вернувшись в Москву, он через некоторое время выяснил, что настоящих диссидентов в Риге он так и не видел, а общался с подставленными сотрудниками КГБ.

Мы были дружны с Дэвидом Саттером и часто виделись. Уже будучи в ссылке, я как-то прочитал в «Известиях» пасквильную статью о якобы устроенном Дэвидом дебоше в каком-то ресторане. Я написал ему письмо поддержки на адрес московского корпункта, без особой надежды, что письмо дойдет. Удивительно, но оно дошло. Дэвид написал мне в ссылку ответное письмо, которое тоже почему-то дошло, что было и вовсе странно.

Уже давно рухнул Советский Союз, Дэвид написал о России не одну книгу, прошло больше тридцати лет, а мы по-прежнему с интересом общаемся и видимся всякий раз, когда он приезжает в Москву или я в Вашингтон.

Западные корреспонденты надолго в СССР не задерживались: три-четыре года — и на новое место работы. Примерно таким же был и срок активной диссидентской деятельности: два-три года — и в тюрьму или эмиграцию. Я хорошо помню тех, чья работа в Советском Союзе совпала с моей недолгой, но бурной диссидентской жизнью на воле. Вряд ли многим скажут что-нибудь эти имена, но мне хочется вспомнить людей, которые в середине 70-х так деятельно сочувствовали делу свободы в чужой для них стране: Томас Кент и Джордж Кримски из *Associated Press*, Кевин Руйэн из *BBC*, Дэвид Саттер из *Financial Times*, Кевин Клосс из *Washington Post*, Дэвид Шиплер и Сэт Майданс из *The New York Times*, Альфред Френдли из *Newsweek*, Джим Галагер из *Chicago Tribune*, Роберт Тот из *Los Angeles Times*, Пьер Легаль из *France Press*, Диса Хостад из *Dagens Nyheter*. Пусть меня простят те, кого я не вспомнил.

Западные корреспонденты были по большей части людьми творческими и свободными. Тяжелее приходилось западным дипломатам. У них — дисциплина, начальство, протокол и неослабевающее внимание контрразведки КГБ. Тем не менее сотрудники политических отделов некоторых западных посольств поддерживали с нами постоянные отношения. Отчасти это было их работой: анализ политической ситуации в стране включал в себя, разумеется, и понимание того, что представляет собой демократическое движение. И все же, может, не так часто, как корреспонденты, но дипломаты тоже выходили за круг своих служебных обязанностей. С некоторыми у нас установились дружеские отношения, мы бывали друг у друга в гостях, случалось, дружили семьями. Поэтому, когда посол США запретил своим сотрудникам приходить домой к диссидентам и принимать их у себя, не все дипломаты это предписание соблюдали. Посол послом, а друзья друзьями.

Это были времена разрядки, и западные посольства категорически требовали от своих сотрудников выполнять свои

обязанности, но не ввязываться в диссидентские дела. В частности, не брать в дипломатическую почту для передачи на Запад правозащитные документы. Все равно брали! Как можно было какому-нибудь второму секретарю посольства, низшему чину в дипломатической иерархии, реально запретить принимать правозащитные документы, когда он своими глазами видел все преследования диссидентов, знал все обстоятельства этой неравной борьбы и по-настоящему диссидентам сочувствовал?

Секретарь политического отдела одного из западных посольств в Москве упорно игнорировал указания своего шефа и всегда брал у меня различные правозащитные документы для передачи нашим друзьям на Западе. Мы встречались в разных диссидентских домах, договариваясь каждый раз о следующей встрече. Встречаться на улице или где-нибудь в кафе было невозможно — КГБ легко засек бы факт передачи бумаг, и получился бы дипломатический скандал. Приходить к нему домой было опасно — перед его домом меня могли обыскать и забрать всю почту. Единственный вариант — встреча в диссидентском доме. Он приезжал на своей машине с дипломатическими номерами, выходил из нее с демонстративно пустыми руками, заходил в дом и так же с пустыми руками через некоторое время выходил и уезжал. Пакет с документами он прятал под одежду. Обыскивать дипломата, не имея явных улик, КГБ не решался. Так приказы послов исправно нарушались, КГБ кусал локти, а жизнь брала верх над политически выверенной линией западных чиновников и бдительностью советских чекистов.

Впрочем, нельзя совершенно исключить и того, что послы издавали свои грозные распоряжения в расчете на советские компетентные органы, а на проделки своих сотрудников смотрели сквозь пальцы. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь из западных дипломатов, работавших тогда в Москве, выйдя в отставку, напишет мемуары и прояснит этот вопрос.



Фельдшер «скорой помощи» Александр Подрабинек.
Москва, 1976



Пушкинская площадь во время ежегодных демонстраций 5 декабря. 1960–1970-е

«Ровно в шесть вечера диссиденты снимали головные уборы в память о погибших и сидящих сегодня политзаключенных. На декабрьском морозе было сразу ясно видно, кто пришел протестовать, а кто — просто любопытствовать»

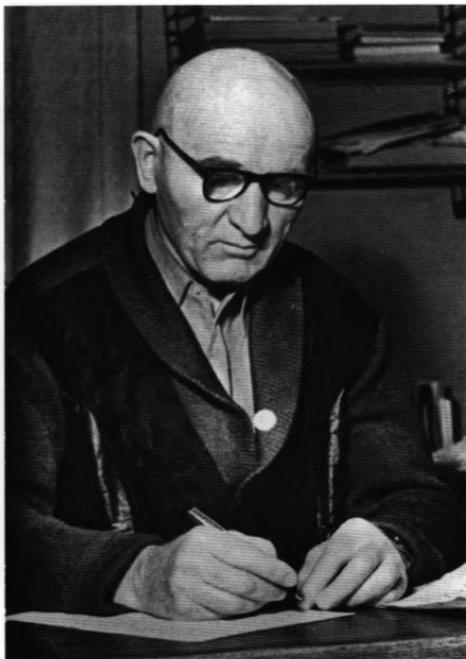


Александр и Кирилл Подрабиньки. Весна 1977



В гостях у Григоренко. 16 октября 1977

**Верхний ряд: Наум Мейман, Софья Васильевна Каллистратова,
Петр Григорьевич Григоренко, Зинаида Михайловна Григоренко,
Татьяна Великанова, о. Сергей Желудков,
Андрей Дмитриевич Сахаров.
Нижний ряд: Генрих Алтунян, Александр Подрабинек**



**Петр Григорьевич
Григоренко.**

«Дом Григоренко был одним из открытых диссидентских домов в Москве. Сюда приходило много народу, стекалась информация, здесь принимались многие решения»

«Авторитет Татьяны Великановой значил для меня очень много»



«Юра Белов был третий волк, за его плечами было две судимости за антисоветскую деятельность, мордовские политзоны, Владимирская тюрьма, Сычевская спецпсихбольница»



Александр Подрабинек. Январь 1977

«За 15 дней этого сумасшедшего мотания по Сибири я сменил 14 самолетов, посетил семерых человек, опекаемых солженицынским Фондом помощи политзаключенным»



В гостях у Серебровых. Москва, 1977

Слева направо: Ляля Голубкова, Алик Григоренко, Зинаида Михайловна Григоренко, Вера Павловна Сереброва, Юрий Гримм, Владимир Голубков, Петр Григорьевич Григоренко, Михаил Утевский, Александр Подрабинек, Саида Старчик, Кирилл Подрабинек



Петр и Саида Старчики

«Последним толчком к созданию Рабочей комиссии стала принудительная госпитализация в психбольницу Петра Старчика. Опыт его защиты показал, что создание специальной комиссии совершенно необходимо»



Татьяна и Валентин Турчины

«Проводить пресс-конференцию Московской хельсинкской группы решили в доме Валентина Турчина – в одной из вершин “Беляевского треугольника”»



Дмитрий Леонтьев. 1978

«Приемный день» Рабочей комиссии проходил еженедельно по средам в квартире Димы Леонтьева, где я тогда жил. К нам приходили ходоки, бывшие политзэки, родственники сидящих, все, кто хотел получить помощь или консультацию»



«Готовые информационные бюллетени Рабочей комиссии я передавал Татьяне Ходорович (справа) или Татьяне Великановой (слева). Для меня участие в работе «Хроники текущих событий» было предметом особой гордости – ведь именно ХТС подтолкнула меня на путь активной диссидентской деятельности»



**Александр Подрабинек, Александр Волошанович,
Гарри Лоубер, Вячеслав Бахмин. 1978**

«Члену английского Королевского колледжа психиатров Гарри Лоуберу было около 70 лет, и он сносно говорил по-русски. Его визит в Москву ознаменовал начало знакомства западных психиатров с Рабочей комиссией»

**Надежда Яковлевна
Мандельштам**

«В 1977 году на Конгресс производственных профсоюзов в Лос-Анджелесе пригласили шесть человек из СССР: Анатолия Марченко, Андрея Сахарова, Владимира Борисова, Валерия Иванова, Надежду Мандельштам и меня. Мне выпало обсудить эту тему с Надеждой Яковлевной»



Фото И. Дроздовой

Фото Ю. Грилья

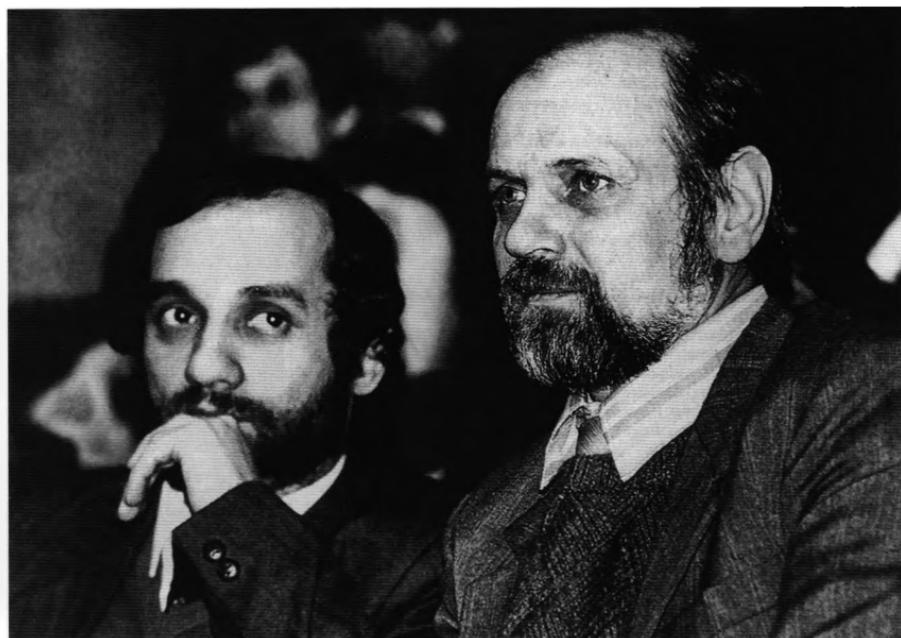


В гостях у Григоренко. Москва, 18 апреля 1977

Слева направо: Пинхос Подрабинек,
Александр Лавут, Зинаида Михайловна
Григоренко, Александр Подрабинек,
Вячеслав Бахмин, Александр Левитов

Капитан КГБ Виктор Орехов

«Орехов слушал западное радио, читал самиздат и изданную на Западе литературу. На допросах, разговаривая с диссидентами, он все больше убеждался в их правоте и решил помочь диссидентам»



**Александр Подрабинек и Виктор Орехов.
Начало 1990-х**



СССР
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

11 декабря 1977 г.

№ 2631-А

гор. Москва

142
Секретно

ЦК КПСС

11.ДЕМ77 43260

ПАЛЛАДИТ ВОЗФ-11/
ОБЩИННЫЙ ОТДЕЛ ЦК КПСС

Ц К К П

См-4

О срыве враждебной акции
антиобщественных элементов

10 декабря с.г. в связи с Днем прав человека группа антиобщественных элементов, подстрекаемая зарубежными антисоветскими центрами, пыталась организовать провокационное собрание на площади Пушкина в Москве.

Подготовка к такой акции активно обсуждалась среди экстремистских элементов из числа снобистов, на квартирах САХАРОВА, жены арестованного ГИЗБУРГА и в других местах. Особенно настойчиво стремился осуществить эту затею активный еврейский экстремист ПОДРАБИНЕК. Обращает на себя внимание тот факт, что одна треть из числа "активистов" замещающегося собрания состоит на учете у психиатров.

Комитетом госбезопасности были приняты меры по срыву готовившихся антиобщественных действий. Наиболее активные экстремисты и лица, склонные к участию в массовых собраниях, были взяты под строгий контроль. В результате никто из инспирированных провокации на площади Пушкина не появился, замещаемого собрания не состоялось.

К памятнику в разрекламированное западным радио время подошли лишь 7-8 праздновавшихся молодых лиц из семей

5665-с
11. XII. 1977г.

- 2 -

143

приспиритских элементов. Их пребывание на площади не вызвало никакого интереса у окружающих. Явно разочарованными остались скопившиеся там иностранные корреспонденты, среди которых находились: КЕНТ (Ассошиэтед пресс), КЛОУС ("Вашингтон пост"), ГАЛЛАГЕР ("Чикаго трибюн"), ШИЛДЕР ("Нью-Йорк таймс"), КОУЛМАН ("Ньюсвик"), РЕЙМОНД (Си-би-эс), МАЙЕР и ПРЕДЕ (ЛПА), БЕРНАРД (радиотелекорпорация БРД), БРЕНЕР и ВОТС (Рейтер), РУЗИН (Би-би-си), ЛЕГАЛЬ (Франс пресс), СЕВБОРТ (Объединенное телеграфное агентство Северных стран) и ХОСТАД ("Дагенс нхтер").

Сообщается в порядке информации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

АНДРОПОВ

«Много лет спустя до меня дошел документ КГБ СССР из архива ЦК КПСС. Назывался он "О срыве враждебной акции антиобщественных элементов", был датирован 11 декабря 1977 года и подписан председателем КГБ Юрием Андроповым»



«Вскоре мне заломили руки за спину, и повели в милицейский газик. Кто-то из баптистов сфотографировал меня из окна, и этот снимок позже стал широко известен и неоднократно публиковался»

«Скорая помощь»

Работать на «скорой» стало тяжело. Начальство, видимо, получило указание избавиться от меня, и придиркам не было числа. По диагностике и лечению ко мне придрататься не могли, но тем упорнее искали другие поводы. На еженедельных врачебных конференциях мне начали ставить на вид, что среднее время обслуживания больного у меня больше часа. Кто-то придумал норматив, что обслуживать больного можно не больше 60 минут. Я говорил, что норматив — это глупость и у постели больного надо сидеть столько, сколько нужно больному, а не чиновникам от здравоохранения.

— Как же это может быть глупость, если норматив утвержден приказом Минздрава? — возражала мне старший врач нашей подстанции пожилая доктор Кац.

— Я и сам удивляюсь, но, согласитесь, это глупо, — уговаривал я ее.

С новой силой на меня накинудись за якобы неоправданное использование наркотиков. Я действительно свободно пользовался ими, но никогда не выходил за границы терапевтических рекомендаций. Бдительное медицинское начальство считало, что применение наркотических анальгетиков стимулирует рост наркомании. У них был подход милицейский, у меня — медицинский. Им было важно положение в стране, мне — самочувствие больного. Наконец мне вынесли выговор за купирование приступа острой печеночной колики омнопном (что клинически совершенно оправданно), и тогда я понял, что ни на медицинские рекомендации, ни на законы о труде они никакого внимания обращать не будут.

Я доставал дефицитные лекарства левым путем и тратил их по мере необходимости, не всегда отражая это в карте вызова, но всегда оставляя пустые ампулы для следующей бригады. Иногда я покупал хорошие лекарства в аптеках, но чаще брал в больницах у знакомых медсестер и врачей. Мне нравилось отрабатывать вызов по полной программе — без лишней спешки, обстоятельно и с хорошим результатом. Некоторых врачей это раздражало. На утренних пятиминутках меня упрекали в том, что после меня трудно ездить на вызов —

больные требуют дать им лекарства, которых нет в штатном чемоданчике «скорой помощи». Так, однажды узналось, что я сделал больному с тяжелой стенокардией инъекцию мощного анальгетика фентанила, а это был препарат особого учета и, по идее, у меня на руках его не должно было быть.

— Откуда у вас фентанил? — подозрительно расспрашивал меня заведующий подстанцией.

Я подумал тогда, что в следующий раз этот вопрос мне может задать следователь. Для КГБ это была бы просто находка — посадить за наркотики или незаконный оборот сильнодействующих лекарств. Главное, даже подкидывать не надо!

Я понял, что пора уходить. Нормально работать не дадут. Какое-то время у меня был защитник в руководстве «скорой помощи» Москвы, но теперь он вряд ли сможет и дальше за меня заступаться. Протекцию эту я получил за пару лет до того удивительным образом.

Как-то я приехал по вызову к женщине, упавшей то ли со стула, то ли с подоконника и повредившей себе ногу. Она жила на третьем этаже в очень старом доме в одном из переулков между Солянкой и Покровкой. Приехав, я обнаружил лежащую на полу почтенного возраста мадам, которая весила далеко за центнер. У нее был перелом голени. Я наложил шину, сделал все, что в таких случаях необходимо, и организовал транспортировку на носилках. Нашел на улице каких-то молодых курсантов военного училища, мобилизовал их на оказание гуманитарной помощи и дирижировал спуском носилок с больной по крутой и узенькой лестнице этого старинного дома. Больная поехала лечиться в больницу, а я забыл об этом случае в тот же день. Недели через две на пятиминутке зачитали от этой больной мне благодарности, которую она направила на имя главного врача «скорой». В тот же день меня попросил заехать на Центральную подстанцию один из заместителей главврача «скорой помощи» Москвы. Я приехал. Он еще раз поблагодарил меня, сказал, что моя больная — очень дорогой для него человек, дал ее телефон и попросил позвонить ей. Я позвонил, был зван в гости, и так мы познакомились.

Это была остроумная, с живыми и веселыми глазами еврейка лет пятидесяти. Она была тронута моим вниманием и сказала, что сколько живет в этом доме, а по этим узким лестницам еще никогда и никого не смогли увезти в больницу на носилках. Мы разговорились. Она была главным администратором киноконцертного зала «Зарядье» в гостинице «Россия» — большим человеком в мире эстрады. А до того, в сталинские годы, она сидела как враг народа по 58-й статье в женском лагере под Воркутой. Мне были интересны ее воспоминания, и она не таясь обо всем рассказывала.

В лагере ей было очень худо, она была близка к смерти от истощения и умерла бы, если бы не лагерный врач — вольнонаемный, но сочувствовавший зэчкам, а может, просто лично ей. Он ей всячески помогал, подкармливал, освободил от тяжелой работы, устроил на легкую. Она выжила. Между ними завязался роман, и длился он все время, пока она сидела в том лагере. Освободившись, она еще некоторое время пожила там, а потом вернулась в Москву и вскоре была реабилитирована. Лагерный врач тоже вернулся в Москву, но только к своей семье. Они остались друзьями. Врач этот пошел работать на «скорую помощь» и в конце концов стал заместителем главврача — именно с ним я и беседовал утром того дня.

Моя добрая знакомая опекала меня изо всех сил. Она гасила один скандал за другим. Прочитав «Жить не по лжи» Солженицына и проникнувшись пафосом гражданского сопротивления, я решил не присутствовать на обязательных для всех сотрудников политинформациях. Как только на пятиминутке заканчивался разбор сложных случаев и начиналась политинформация, я поднимался и выходил из зала. Кем надо это было замечено и оценено. Скандал уже готов был разразиться, как вдруг все стихло и успокоилось. Моя больная использовала свои связи, хотя я, конечно, ее об этом не просил. С моими уходами с пятиминуток начальство даже смирилось. Остальные мне завидовали, но повторять не решались.

Узнав, что я снимаю комнату, моя добрая фея добилась, чтобы мне выделили от «скорой помощи» собственную комнату в коммунальной квартире в доме на улице Горького, между «Маяковской» и «Белорусской». Но тут нашла коса на

камень. Как раз в это время шла кампания по принятию социалистических обязательств. Все должны были пообещать сделать что-то дополнительное для своей Советской родины. Некоторые от этого старались уклониться, но в конце концов соглашались, чтобы только отстали. Я это дело всячески высмеивал и ничего не писал. Многие фельдшера обещали освоить ЭКГ (электрокардиографию), даже те, кто ее давно освоил. Одной нашей глуповатой фельдшернице, интересующейся всем, чем угодно, но только не своей профессией, я в шутку посоветовал написать, что она обязуется пройти курсы ЭКГБ. Она так и написала! Вышел скандал, и, разумеется, я оказался крайним.

Между тем вопрос о комнате для меня решался в ближайшие дни. Самое высокое начальство требовало, чтобы я принял соцобязательства, иначе комнаты не видать. Что и говорить, своя комната — это здорово, но идти на попятный из-за нее было бы слишком позорно. Я уперся. Мой заступник из начальства позвонил моей фее и потребовал, чтобы я немедленно написал соцобязательства. Фея затребовала меня к себе.

— Ну напиши им, от тебя не убудет, — настаивала она.

— Не могу, — отвечал я, — это смешно и глупо.

— Конечно, глупо, — соглашалась фея, — ну и что? Хочешь быть самым умным?

Я молчал. Мне было неловко. Я понимал, как трудно было выбить мне комнату в Москве, да еще в центре, а теперь все летит насмарку из-за моего упрямства.

— Куда ты лезешь, несчастный аид? — покачивая головой, говорила моя фея. — Ты знаешь, как перемалывает людей эта машина? Я тебе скажу, я видела эту систему, поверь мне. Она сделает из тебя бишбармак. Оно тебе нужно?

Нет, мне это было не нужно. Но и отступить было совершенно невозможно. Так и остался я тогда без своей комнаты на улице Горького.

Теперь все было гораздо серьезнее. Спорить с КГБ никто не решился бы. Надо было все решать самому, не надеясь на чье-либо содействие. Я решил, что пора уходить. Меня отпустили сразу, даже не обязывая отработать положенные две недели. Был конец июля 1977 года.

Я еще успел насладиться остатками лета, поехав налегке в Крым. Поездом до Симферополя, на троллейбусе до Алушты, а оттуда пешком и на попутках в Коктебель. Я спал на берегу моря, встречал утром солнце, поднимающееся из воды, знакомился со случайными попутчиками и пил с ними вино, отмечая мимолетное знакомство. Я старался не думать о Москве, о Рабочей комиссии, обо всем, что окружало меня в последние годы. Интуиция подсказывала мне, что следующий летний отпуск будет не скоро. Я чувствовал, что пространство свободы вокруг меня постепенно сжимается все больше и больше и скоро сомкнется наручниками на моих запястьях. Я старался вобрать в себя побольше моря, солнца и благословенного Крыма.

Однако московская жизнь надолго не отпускала. В Коктебеле, до которого я наконец добрался, отдохало множество московских диссидентов. Там были Арина Гинзбург с детьми и Сережкой Шибаевым*, Ира Валитова, Вера Лашкова и многие другие друзья и знакомые. Вечерами собирались на «Киселевке» — в недостроенном доме Юры Киселева** — или шли на Кара-Даг, где разжигали костер и Юлик Ким*** пел под гитару свои бесподобные крымские песни.

В двадцатых числах августа я засобирался домой. В Феодосии сел на московский поезд. Вечером вышел в тамбур покурить и послушать по своему маленькому транзисторному радиоприемнику «Голос Америки». Первое, что услышал, — в Москве арестован член Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях Феликс Серебров.

Под прицелом КГБ

Мы были дружны с Феликсом, несмотря на большую разницу в возрасте — он был тогда вдвое старше меня. Я не думал,

* Сергей Шибаев — приемный сын Гинзбургов.

** Юрий Иванович Киселев (1932–1995) — художник, руководитель Инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР.

*** Юлий Черсанович Ким — поэт, бард, участник демократического движения.

что его арестуют первым. Я был уверен, что первым возьмут меня. Все члены нашей комиссии были люди семейные, обремененные многими заботами и обязанностями, я же был моложе всех, холост, беззаботен и все время посвящал диссидентским делам. Я был самым деятельным тогда и поэтому считал, что КГБ первым выбьет из обоймы именно меня. Так было бы для них тактически правильно. Но первым стал Феликс Серебров.

Его поймали на пустыке. В его трудовой книжке запись от 1957 года об «увольнении с работы в связи с арестом» была переделана на «увольнение в связи с решением медицинской комиссии». В те годы устроиться на работу с записью в трудовой книжке об аресте было нелегко. Феликса обвинили в использовании заведомо подложного документа. Расследование вел следователь с красноречивой фамилией Малюта. 12 октября Феликса приговорили к максимальному по этой статье сроку — одному году лишения свободы.

Той осенью началась атака КГБ на Рабочую комиссию. Мы были к этому готовы, и работа наша не прерывалась. Еще в июле мы начали выпускать машинописный Информационный бюллетень. Он выходил раз в два месяца. В бюллетене отражалась вся публичная деятельность комиссии, печатались письма и заявления в защиту политзаключенных психбольниц, сведения о состоянии их здоровья и положении в психбольнице, адреса, фамилии врачей-психиатров, ответственных за преследования диссидентов, официальные документы и много другой полезной информации. В отличие от «Хроники текущих событий», выходявшей подпольно, мы не скрывались — на первой странице стояли фамилии и домашние адреса всех членов Рабочей комиссии, ответственных за выпуск номера. Бюллетени перепечатывались, как и весь самиздат, расходились по стране, попадали за границу, их читали вещающие на СССР западные радиостанции.

Наши бюллетени, по существу, заменили раздел «Психиатрические репрессии» в «Хронике текущих событий». То есть раздел назывался по-прежнему, но состоял он практически целиком из информации Рабочей комиссии. Я адаптировал бюллетень к требованиям «Хроники», сокращал его и го-

товил к выпуску в ХТС. Чаще всего я передавал готовые материалы Татьяне Ходорович или Тане Великановой. Для меня участие в работе «Хроники» было предметом особой гордости — ведь именно ХТС подтолкнула меня на путь активной диссидентской деятельности. Мне казалось, что я прикасаюсь к самой истории, к легенде и работаю с легендарными людьми, которые эту историю творят.

Пока я переживал соприкосновение с историей, КГБ вновь соприкоснулся со мной. Я по-прежнему снимал комнату в большом доме, одна часть которого выходила на Астаховский переулок, а другая — на Петропавловский. Когда я работал на «скорой», путь от дома до работы занимал у меня пять минут. Это было очень удобно.

В квартире были соседи. Одну комнату занимала бодрая старушка, бывшая заведующая отделом кадров на каком-то московском заводе, а теперь пенсионерка, страдающая гипертонией и сахарным диабетом. Я регулярно измерял ей давление и делал инъекции. В другой комнате жила тихая мать-пропойца с десятилетним сыном — она и сдавала мне свою вторую комнату. Мы жили мирно, как редко бывает между соседями в коммунальной квартире. Все были друг другом довольны. Особенно моя хозяйка, которой без моей квартплаты совершенно не хватало бы денег на водку.

Я берег эту комнату и никогда не шел домой, не проверившись «на чистоту» в замечательных проходных дворах старых домов на Солянке и в прилегающих к ней переулках. 9 октября, вернувшись домой, я заметил, что замок моей комнаты открывается не совсем обычно. У каждого замка свой характер. Каждый замок привыкает к своему ключу. Если сунуться в замок с новым ключом, а тем более с отмычкой, характер замка изменится. Это очень тонкие изменения, но их можно уловить. Я научился этому, когда обивал двери, заменяя попутно и замки. Здесь что-то было не так, ключ поворачивался в личинке замка не так плавно, как обычно. К тому же контрольной ниточки на своем месте не было, она валялась на полу перед дверью. Похоже, в мое отсутствие здесь кто-то был. Я осторожно зашел в комнату. Все было на месте. На письменном столе лежали документы Рабочей комиссии,

в недавно купленной пишущей машинке торчал титульный лист второго номера «Информационного бюллетеня». Я снова попробовал замок. Теперь он открывался вроде бы нормально. Ну, может быть, совсем чуточку не так.

Я прекрасно понимал, к чему может привести постоянное ожидание опасности — мнительность, невроз, паранойя. Случайный взгляд прохожего на улице — следят! Необычный щелчок в телефонной трубке — прослушивают! Замок заедает — был негласный обыск! Так можно незаметно сойти с ума. Я ли не видел таких больных?

Надо взять себя в руки. Замок мог забарахлить сам по себе. Контрольная нитка и раньше иногда падала, если ее плохо закрепить. В комнате всё на своих местах. Я не мог сам привести сюда хвост. Среди моих друзей и близких нет предателей. Значит, у меня развивается невроз, и не надо ему потакать. Все нормально, уверяла меня моя аналитическая половина, не суетись и не паникуй.

Что нормально? — возмущалась в ответ моя скептическая половина. Не будь идиотом, прислушайся к микросимптомам! Уноси все из дома, пока не унесли другие. Потом разберешься, кто здесь параноик, а кто умный.

Что лучше: мнительность или беспечность? Выбирать между дураком и параноиком было непросто. Поэтому я принял половинчатое решение: унесу все самое ценное, остальное оставлю. Так и сделал. В тот же вечер, проклиная себя за излишнюю мнительность, я отвез в безопасное место один машинописный экземпляр «Карательной медицины», материалы к новому «Информационному бюллетеню» и некоторые другие важные документы. Пишущую машинку с заправленным в нее бланком Рабочей комиссии оставил на столе как доказательство того, что я еще не свихнулся окончательно и могу посмеяться над собой и своей болезненной мнительностью.

На следующий день вместе с Ирой Каплун мы шли по улице Дмитрия Ульянова, когда около нас резко затормозила черная «Волга». Из нее выскочили три человека, меня схватили за руки и, не говоря ни слова, втащили на заднее сиденье машины. Двое сели по бокам. Я даже не спрашивал, кто они,

настолько это было очевидно. Иру, которая хотела сесть в машину вместе со мной, так грубо оттолкнули прочь, что она упала на землю.

Дальше для меня началась игра под названием «Угадай, куда едем». Спрашивать у гэбэшников не хотелось, да и было бесполезно. Я смотрел на дорогу. Мы вылетели на Ленинский проспект и через некоторое время уже мчались по осевой, разогнавшись до 160 километров в час. Перед светофорами машина чуть снижала скорость, включалась сирена, и мы мчались дальше в сторону центра. Я думал: черт с ним, с допросом или куда они там меня везут, только бы добраться до этого места живым и невредимым. Дорога была еще мокрая после дождя, на обочинах под порывами ветра от проезжающих машин танцевали желтые листья, и жизнь была бы совершенно прекрасна, если бы не сумасшедшие люди, везущие меня в машине с сумасшедшей скоростью. Проехав за считанные минуты Ленинский проспект, мы повернули по Садовому кольцу направо, и тут мне подумалось, что если меня везут на допрос в управление КГБ на Малой Лубянке, то есть дорога короче. Значит, не на допрос. Тогда куда? Миновали Таганку. Может быть, на шоссе Энтузиастов и в Электросталь? Нет, машина свернула на Ульяновскую и поехала в сторону центра. Проехали Яузские ворота, выезжаем на Солянку, и я еще надеюсь, что они таким кружным путем решили ехать в УКГБ, которое тут уже совсем недалеко. Глупые надежды. Машина сворачивает в Петропавловский переулок, и через минуту мы останавливаемся во дворе моего дома.

Выследили все-таки! Когда? Каким образом? Я так тщательно всегда проверялся. Если выпивал где-нибудь в компании, то никогда не шел домой, боясь, что в нетрезвом состоянии потеряю бдительность. Как же так получилось?

Машина тем временем стояла во дворе, я сидел в ней, а чекисты время от времени выходили куда-то, возвращались, снова уходили. Кому-то звонили. Кого-то ждали. Стоило ли так гнать по мокрым московским улицам, чтобы потом так тупо стоять во дворе и ничего не делать?

Я сидел, пытаюсь понять, как они нашли мое убежище. Собственно говоря, было только два варианта: либо меня вы-

сидели, либо кто-то сдал. И то и другое — невероятно. Кто знал об этом месте? Всех можно вспомнить наперечет. Папа, Кирилл — исключено. Славка Бахмин — исключено. Моя подруга Таня Якубовская — исключено. Один раз здесь был Мишка Кушнир — мой четвероюродный брат из Кишинева, отказник, ожидающий разрешения на выезд в Израиль. Исключено. Еще как-то раз здесь оставалась до утра Лена — медсестра с работы, с которой у нас что-то начиналось, но так ничего и не вышло. Неудачный роман? Ее обида и месть? Невероятно. Не похоже. Еще как-то раз, возвращаясь с чьих-то эмигрантских проводов, я дошел почти до самого дома, но в последний момент понял, что, будучи сильно подшофе, не в состоянии провериться, — я развернулся и поехал спать к приятелю. Неужели именно в тот раз я и довел их до дома? А уж квартиру вычислить совсем не трудно. А может, они до сих пор ее не вычислили, и потому мы стоим здесь уже два часа? Я терялся в догадках. Ни одного нормального объяснения не было.

Наконец приехали какие-то люди в приличных костюмах, и мы пошли в дом. Я открыл замок своим ключом — на середине оборота он по-прежнему непривычно цеплялся за какой-то поврежденный цилиндрок. Все-таки лучше быть параноиком, чем дураком, резюмировал я свои размышления двух последних дней.

Обыск проводили три гэбэшника, прихватившие с собой еще двух понятых, вероятно, своих же сотрудников. В маленькой и уютной моей комнатке было не повернуться, но, несмотря на тесноту, на полу постепенно росли две кучи бумаг — то, что надо было изъять, и то, что можно было оставить. Руководивший обыском старший лейтенант КГБ Каталиков аккуратно писал протокол, а двое его подручных — Орехов и Гавриков — лазали по шкафам и рыскали по комнате, отбирая, чем бы поживиться. Поживились в конце концов «Архипелагом ГУЛАГом», «Информационными бюллетенями», материалами «Международной амнистии», различными письмами и обращениями, самиздатом и магнитофонными пленками. С последними вышла загвоздка. Магнитофонных кассет было много, и мне было жалко те-

рять все записи — я настаивал, чтобы каждая кассета, как и положено по закону, была описана отдельно. Для этого их надо было прослушать. Каталиков решил не нарушать закон и велел слушать начало каждой кассеты. Таким образом забрали всего Галича, Окуджаву и Старчика. Высоцкого оставили. В какой-то момент дошла очередь и до кассеты, на которой был записан мой летний допрос в КГБ. Я с интересом смотрел, что сейчас будет. Сначала вытянулось лицо у следователя Каталикова. Затем к нему присоединились Орехов с Гавриковым, которые замерли с какой-то недосмотренной антисоветчиной в руках.

— Ведь это Капаев? — спросил Каталиков у своих сослуживцев. Те утвердительно кивали.

— Что это значит? — обратился Каталиков ко мне.

— Ничего особенного, — отвечал я. — Мы изучаем ваше поведение, психологию следователя при ведении допроса. Так сказать, на практике, на собственном опыте. Вы не против?

Как ни странно, взрыва негодования, которого я ожидал, не последовало. Каталиков усмехнулся. Его подручные довольно улыбались. То ли у них были неприязненные отношения с Капаевым (по постановлению которого, кстати, проводился этот обыск), то ли они оценивали своего противника как профессионалы.

Я же об их профессионализме был невысокого мнения. Один из помощников Каталикова показался мне абсолютным кретином. Он откладывал в стопку ненужных следствию бумаг именно то, что могло бы железно быть использовано против меня. А в стопку ценных для КГБ документов клал какую-то ерунду, которую можно было найти в каждом интеллигентном московском доме. В какой-то момент он даже вытащил из кучи для изъятия тетрадку с моими стихами и со словами «ерунда какая-то» переложил ее в кучу ненужных следствию бумаг. Ну просто свой игрок в чужой команде! Я недоумевал и тихо радовался. Я слышал, что в 5-е управление КГБ (борьба с диссидентами) попадают в основном из ЦК ВЛКСМ, стало быть, люди не шибко профессиональные, но чтоб до такой степени...

В одиннадцать вечера обыск закончился приятным для меня сюрпризом — чекисты нашли за шкафом банку крепкого бельгийского пива, которую я несколько месяцев назад потерял и никак не мог найти, о чем очень жалел. Баночное пиво, надо пояснить, было у нас в те времена большой редкостью. Я испугался, что его заберут как доказательство моей антисоветской деятельности, но пиво оставили. Зато забрали фотоаппарат и недавно купленную для Рабочей комиссии импортную пишущую машинку *Unis TBM de luxe* с двухцветной лентой. Все изъятое упаковали в мешки, опечатали и собрались уходить. Я уже думал, не проводить ли мне их на прощание чем-нибудь вроде «Заходите в гости, как будет время», но следователь Каталиков объявил, что я еду с ними. В одиннадцать вечера? Значит, арест.

— Вещи брать? — спросил я следователя на всякий случай.

— Как хотите, — ответил Каталиков.

Как я хочу! Остряк. Я вообще не хочу ехать, ни с вещами, ни без.

— Можно не брать, — тихо буркнул мне один из помощников следователя, тот дурной, что изымал не то, что надо.

Значит, может быть, и не арест. А если вдруг арест, так не пропадать же банке пива, которую я не мог найти столько месяцев! Я быстро вскрыл ее и выдул, прежде чем кто-то успел что-либо возразить.

Около полуночи приехали на Малую Лубянку в областное управление КГБ. Допрос вел капитан Яковлев, изымавший у меня весной «Карательную медицину». Я отказался отвечать на вопросы, ссылаясь на то, что уже поздно и хочу спать. Меня здорово развезло после банки крепкого пива, выпитого на голодный желудок, — целый день я ничего не ел. У меня было бесшабашное настроение. Вскоре на допрос прискакал лейтенант Капаев, и вместе с Яковлевым они слушали магнитофонную запись моего летнего допроса. Они были настроены уже не столь миролюбиво.

— Да вы знаете, чем вам это может грозить? — злобно глядя на меня, спрашивал Капаев.

— А мне все равно, — отвечал я, прекрасно понимая, что ничем это грозить мне не может.

— А патрон, найденный у Якубовской, — это вам тоже все равно?

Тут я моментально протрезвел. Значит, у Тани тоже был обыск. Они и ее отследили. Что за патрон? Подкинули всего один патрон? Странно. У кого еще были обыски?

Через полчаса меня отпустили. Было полпервого ночи. Метро еще работало, и я успел на электричку до Малаховки. В два часа ночи я был у Тани. Она была обескуражена обыском, поскольку я обещал, что неприятности ее не коснутся. Уже давно я увез из ее дома все запрещенное, но в моей старой куртке оказался патрон от автомата, оставшийся с давних времен, когда, работая в МГУ, в рамках обязательной военной подготовки я ездил на учебные стрельбы в Таманскую дивизию. Это было единственное, что они забрали.

Я вздохнул с облегчением. Еще в электричке, обливаясь холодным потом, я вспоминал, что в малаховской квартире лежит несколько ампул морфия и омнопона, не нужных мне с того времени, как я ушел из «скорой помощи». Ампулки лежали, аккуратно укутанные в вату, в металлической коробочке из-под бульонных кубиков, а коробочка мирно стояла в холодильнике. Чекисты ничего не обнаружили. В холодильник они на всякий случай заглянули, но открывать коробочку поленились. От греха подальше мы тут же избавились от этих ампул. Хорош бы я был, если бы они нашли их! Незаконный оборот наркотиков. Чистая 224-я статья и до 10 лет лишения свободы. И иди потом доказывай, что ты морфий не продавал и не употреблял, а когда-то колол больным по мере надобности.

Однако неприятности этого дня не ограничились одним случайным патроном. В тот день, 10 октября 1977 года, КГБ провел семь обысков: у Иры Каплун, Славы Бахмина, у папы дома в Электростали, у Кирилла дома и на работе, у Тани Якубовской в Малаховке и у меня в Москве. Все обыски проводились по делу № 474, которое уже было известно как «дело Орлова». Однако во всех постановлениях на обыск указывалось, что проводятся они «с целью изъятия документов, принадлежащих А. Подрабинеку». Фактически КГБ собирал доказательства для моего дела, против меня. Стало быть, близится развязка.

Никто не хотел уезжать

Один из обысков 10 октября имел далеко идущие последствия. Тучи сгустились над моим братом. Кирилл уже давно подписывал различные протесты и петиции, печатался в самиздате, строил планы активной диссидентской деятельности. Он и так был на виду, а тут, к несчастью, некоторые из его планов по распространению листовок стали известны КГБ.

Несколько лет назад Кирилл, отслужив в армии, вернулся в Электросталь к жене и маленькому сыну. Он устроился на тихую и удобную работу — дежурным по железнодорожному поезду. Зарплата маленькая, зато голова всегда свободна, рабочее время практически ничем не занято, к тому же работа была сменной, что позволяло ему часто ездить в Москву.

Будка его стояла посреди леса на каком-то вечно пустынном переезде, от которого до ближайшего жилья было не меньше получаса ходьбы. Место было глухое, безлюдное и, учитывая реалии советской жизни, небезопасное. У Кирилла с детства хранился гарпунный пистолет для подводной охоты, работавший на воспламенительных капсюлях «Жевело». Их калибр точно соответствовал калибру патронов тозовки — спортивно-охотничьего малокалиберного ружья, только точки боя у них были разные. Немного переделав боёк, Кирилл превратил гарпунный пистолет в мелкокалиберный, хранил его под полом на работе и чувствовал себя в безопасности.

10 октября пришедшие с обыском оперативники подняли полы точно в нужном месте и извлекли пистолет из тайника. По их поведению было понятно, что они всё знали заранее. Откуда? На работе у Кирилла никто не бывал. Правда, один раз его навестил наш кузен из Кишинева, и Кирилл даже показывал ему пистолет. Однако Мишу Кушнира мы знали много лет, и подозревать его было невозможно. Могли случайно узнать сменщики Кирилла и донести в милицию.

Через четыре дня у Кирилла дома провели еще один обыск и «нашли» патроны, которых там никогда не было. Над Кириллом нависла реальная угроза 218-й статьи — незакон-

ное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Увы, угроза уголовного преследования была не единственной.

Недели через две после обыска Кирилл по какой-то необходимости поменялся с напарником сменами. В эту ночь в будку дежурного постучались два прилично одетых молодых человека. Это было чем-то из ряда вон выходящим. В этих пустынных местах и летним днем встретить кого-нибудь было трудно, а уж в глухую осеннюю ночь... Они попросили стакан. Это единственное вменяемое объяснение в России для такого визита: выпить есть, а стакана нет. Когда дежурный повернулся за стаканом, его ударили сзади по голове чем-то тяжелым. Он потерял сознание и упал. Очнулся только через семь часов, весь в крови. Дождался помощи, и его отвезли в больницу. Еще несколько сантиметров в сторону — и удар был бы смертельным.

Кирилл уволился с работы. Перспективы были безрадостные: или уголовное дело за оружие, или физическая расправа. Встал вопрос об отъезде. Эта палочка-выручалочка всегда маячила где-то на горизонте. Первым об эмиграции заговорил папа.

Когда-то мы все хотели уехать. Нас всегда манили дальние края, нам всегда хотелось побывать там, где мы еще не были. В детстве каждое лето во время наших каникул и папиного отпуска мы брали рюкзаки и пускались в путь. Чаще всего без палатки и с очень небольшими деньгами. Мы облазили весь юг России, Украины и Молдавии, были в Поволжье и на Кавказе, не раз переваливали через Большой Кавказский хребет и, конечно, обожали Черноморское побережье. Папа воспитывал в нас выносливость, неприхотливость, презрение к усталости и ироничное отношение к удобствам. Мы могли проходить по 20-30 километров в день, обходиться сухим пайком, молча страдать от жажды, разводить костер под проливным дождем и спать под открытым небом. Хныкать не разрешалось. Мы никогда не ночевали в гостиницах, редко ездили на поезде и никогда не летали на самолетах, а чаще всего добирались до нужных мест на попутных машинах. Мы не любили слово «турист» и называли себя бродягами. Даже надувную резиновую лодку, на которой мы как-то спустились

по Днестру от Тирасполя до Черного моря, мы называли гордым именем «Бродяга». Не знаю, сознательно папа готовил нас к трудной жизни или нет, но мы были к ней готовы.

Чем старше мы становились, тем больше нам хотелось уехать из страны. Хотя бы для того, чтобы увидеть весь мир. Мы понимали, что где-то есть настоящая свобода, которая стоит того, чтобы распрощаться с нашей не слишком ласковой родиной. И мы уже готовы были подать заявление на выезд в Израиль, но тут Кирилла забрали в армию. Потом он вернулся, но плохо чувствовала себя наша бабушка, папина мама, и папа не мог оставить ее. Потом у него была на носу защита докторской диссертации. А потом я влился в демократическое движение, и мысли об эмиграции угасли сами собой.

Теперь все вспомнилось. Был теплый осенний вечер, когда, отложив все свои нескончаемые дела, мы встретились втроем на юго-западе Москвы. Мы решили обсудить нашу ситуацию. То есть ситуацию с Кириллом. Было очевидно, что на сегодняшний день он в самом угрожающем положении. Надо было что-то делать. Несколько дней назад Арина Гинзбург попросила меня передать Кириллу, что ему надо уезжать. Я честно передал, и у нас родилась идея пойти и поговорить с Ариной. Но сначала мы хотели обсудить всё втроем и поэтому решили прогуляться до «Беляевского треугольника» пешком.

Мы продумывали всевозможные сценарии развития событий, но все сводилось к одному — только немедленный отъезд из страны спасал Кирилла от тюрьмы. Логически все с этим были согласны, но к практическому решению это не вело. Спасти от тюрьмы можно было с самого начала, просто не занимаясь правозащитной деятельностью. Это не было решением проблемы. Решение проблемы было не в выборе между тюрьмой и свободой, а в выборе между свободой и внутренним согласием. Это мы и обсуждали той длинной дорогой от Университетского проспекта до улицы Волгина.

Зашла речь обо мне и об отъезде втроем. Я сказал, что не уеду ни при каких обстоятельствах, это не обсуждается. Но у меня другое положение — я занят публичной деятельно-

стью, кроме того, одним из условий членства в Рабочей комиссии был отказ от намерения эмигрировать. Я не мог нарушить договоренности, тем более что сам же на них больше всех настаивал. Кирилл же был свободен от таких обязательств.

Папа оказался в гипотетической ситуации выбора между Кириллом за границей и мною здесь. «Я не могу уехать с тобой, — говорил он Кириллу. — Я должен быть здесь, когда Саню посадят в тюрьму». То, что меня посадят, само собой разумелось и даже как-то не очень обсуждалось. Это было в порядке вещей. Посадка же Кирилла, да еще по уголовной статье, в наши планы не входила.

У Арины мы пробыли недолго, она убеждала Кирилла уезжать и обещала помочь с выездом и устройством жизни там. Кирилл из вежливости кивал и отмалчивался. Обратный путь мы тоже проделали пешком и в разговорах об эмиграции. Точнее, в уговорах уехать.

Мы приводили Кириллу веские аргументы в пользу отъезда: он останется на свободе, он сможет наконец окончить университет и заниматься своей любимой квантовой физикой, он уберезет от многих лишений жену и сына, в конце концов, он будет оттуда помогать нам. А какие просторы откроются для него! Он сможет объездить весь мир, все посмотреть, всюду побывать — да ведь это просто удача, мы же с детства мечтали об этом! Слушая это, Кирилл только отстраненно улыбался, как мечтательно улыбаются, думая о несбыточном.

Наконец мы пустили в ход тяжелую артиллерию: разрешением на эмиграцию власти докажут политический характер его уголовного дела, признают, что оно высосано из пальца. Наверное, для Кирилла было большим искушением принять этот аргумент. Как и все диссиденты, попадающие в подобный переплет, он тяжело переживал обвинение в уголовщине. Я советовал ему плюнуть на все и признать публично, что пистолет его и он вправе защищать свою жизнь любым способом, раз государство его защитить не может. А тем более если оно само посягает на его здоровье и жизнь. Но Кирилл опасался бросить тень на демократическое движение. Он просил друзей и доброжелателей не комментировать

ситуацию с пистолетом до тех пор, пока сам не сочтет нужным это сделать. В своем заявлении от 23 октября 1977 года он написал: «Возможность возбуждения против меня уголовного дела по обвинению в незаконном хранении оружия и боеприпасов может бросить тень на все демократическое движение и, в особенности, на моего брата, хотя совершенно очевидно, что в основе дела лежит политическое обвинение».

С получением разрешения на выезд это становилось еще очевиднее — уголовников не выпускают за границу. Всё сходилось на том, что уезжать надо, и всё упиралось в то, что это будет не отъезд, а бегство.

Увы, этот маленький, сидящий глубоко в нас комочек иллюзий под названием «совесть» оказывается иногда сильнее доводов рассудка и даже разумного страха смерти. Мы все мечтали о свободном мире, но никто из нас не хотел спасаться бегством. Никто не хотел уезжать.

Наружка

Человека можно посадить. Это легко. Можно убить или терроризировать угрозой убийства. Тоже нетрудно. Можно достать обысками, допросами, лишением работы, склоками с соседями или проработкой на собраниях. На кого-то действует, на кого-то нет. Арсенал средств у КГБ велик. Среди них есть способ, который не имеет специального названия и применяется относительно редко из-за его дороговизны.

По виду это наружное наблюдение, слежка. По сути — конвой, круглосуточное психологическое давление. Чекисты ведут слежку не скрываясь, не пытаясь остаться незамеченными. Наоборот, всячески демонстрируют свое присутствие. Двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю, без праздников и выходных, много недель подряд.

Впрочем, тут кому как. Это редко бывает больше нескольких недель, но мне они устроили такую наружку почти на полгода — за вычетом примерно недели по каким-то своим оперативным соображениям и тех счастливых дней, когда я от них сбегал.

Они установили за мной конвойную слежку через несколько дней после обысков 10 октября. Как я узнал позже, мне досталась бригада, следившая перед арестом за Толей Щаранским. Это именно они вшили ему в дубленку жучок, когда он был то ли на чьем-то многолюдном дне рождения (а дубленка беззащитно висела в прихожей), то ли на допросе, перед началом которого ему любезно предложили раздеться. С тех пор и до самого своего ареста Толя был как на ладони, даже когда наружки не было рядом. Мастера!

С этими мастерами мне и предстояло вести многомесячную дуэль — соревнование в хладнокровии, выдержке, психологической стойкости, интеллектуальных способностях и физической подготовке.

Начало, как всегда, было в их пользу, потому что инициатива принадлежала им. Я нервничал. Не так, конечно, как в первый раз, но все же. Что может означать такая слежка? Самое вероятное, что вот-вот возьмут. Это только где-то через месяц начинаешь понимать, что они затеяли игру на психологическую выживаемость, а в первые дни думаешь только о близком аресте.

Казалось бы, что с того, что рядом идут какие-то люди? Их в Москве миллионы, все время кто-то идет рядом! Всегда кто-то сидит в метро напротив тебя и скользит по тебе скачущим взглядом. Но нет, эти — одни и те же, они идут именно за тобой. Тебе от них не отделаться. Человек с нормальной психикой натурально начинает психовать!

Через некоторое время к этому привыкаешь. Помимо психологического дискомфорта такая слежка создает некоторые неудобства. Невозможно предпринимать никаких действий, которые по каким-то соображениям надо скрыть от КГБ. Ничего особо секретного, но нельзя подставлять других людей. Я, например, доставал в больших количествах остродефицитную тогда красную икру в гастрономе, что был в первом этаже высотки на Котельнической набережной. Там работала моя знакомая продавщица, которой я когда-то оказывал скорую помощь. Икра всегда была под прилавком и почти никогда — в продаже. Каждый месяц я брал десятка два-три банок для посылок политзаключенным психбольниц.

Отправкой посылок у нас в Рабочей комиссии занималась целая группа людей, а деньги на это давал солженицынский Фонд помощи политзаключенным. Но не мог я при слезке идти в тот гастроном за красной икрой. Для решения подобных проблем приходилось от слезки сбегать.

Сначала это был просто спорт, а затем — целое искусство. Нет ничего примитивнее, чем пытаться сбежать от них в метро или уговаривая таксиста прибавить скорость.

Первый раз я сбежал от них по причинам совсем не диссидентским. После осенних обысков я обещал своей подруге Тане, что не буду приводить к ней хвосты и афишировать наши отношения. Я и сам не хотел этого, чтобы не давать КГБ лишний козырь — возможность давить на человека, который мне дорог. Но совсем отказаться от встреч с ней я тоже не мог.

На одной из пресс-конференций у Григоренко собралось, как всегда, много журналистов и диссидентов. У подъезда паслись мои хвосты и еще чьи-то. Пресс-конференция закончилась вечером, когда было уже темно. Двор освещался плохо, и чекисты ослепляли светом фар своей машины всех, кто выходил из подъезда. Так они искали свой «объект». Мой брат Кирилл надел мою куртку, максимально натянув на голову капюшон, и так, мирно беседуя с кем-то из наших друзей, вышел из подъезда. Мои хвосты признали в нем меня и пошли следом. Так они дошли до метро «Парк культуры», и Кирилл откинул капюшон только тогда, когда подошел к кассе менять деньги на пятаки. Наверное, они убили бы его, если бы рядом не было свидетелей. Но они предусмотрительно были! Чекисты припустились обратно, да было поздно. Как только Кирилл скрылся из виду, я вместе с корреспондентом «Би-би-си» Кевином Руйэном вышел из подъезда и на его машине уже через несколько минут был вне досягаемости моей наружки.

Для меня мой первый побег из-под конвоя обернулся еще более жесткими условиями сопровождения. Дистанция сократилась до минимума — они шли нога в ногу со мной или даже рядом, по бокам, иногда переговариваясь между собой через меня. Если я брал такси, они втискивались в маши-

ну, а если нас было много и места в машине для них не было, они предупреждали таксиста не ехать быстро или вставляли перед машиной, не давая ей тронуться с места. Обращаться к милиции было бесполезно. Чекисты были озлоблены, и понятно отчего.

Впрочем, через некоторое время режим наружки постепенно смягчился и все вернулось к прежнему. Самим чекистам тоже не нравилось находиться в постоянном напряжении и собачиться со мной. Я решил тогда, что побег от них — оружие серьезное и пользоваться им надо только по делу.

Вскоре я узнал оперативников КГБ поближе. Ежедневно я видел их рядом с собой и вскоре с некоторым удивлением обнаружил, что они разные. Для большинства из них это была просто работа, служба, за которую они получали деньги. Никакой идеологической ненависти или личной неприязни, просто работа. Разумеется, они бы выполнили любой приказ начальства, но по своей инициативе не ударили бы и палец о палец. Это были младшие офицеры, лейтенанты и лейтенантки, числясь за 7-м Главным управлением КГБ, они работали по «пятой линии» (борьба с диссидентами) не потому, что рвались разоблачить идеологических врагов, а потому, что их туда поставило начальство. Я это постепенно понял из общения с ними, которое им было строго-настрого запрещено, но запрет ими же и нарушался.

Работали они посменно, по восемь часов, меняясь в 7 утра, 3 часа дня и 11 вечера. Новая смена приезжала на новых машинах, и в момент пересменки их собиралось шестнадцать человек. Они очень не любили передавать смену на ходу, когда я еду в метро или в машине. Как-то они даже попросили меня задержаться на десять минут до пересменки, но я им таких льгот не давал.

В конце декабря 1977 года за моим братом Кириллом несколько дней перед его арестом ходила такая же наружка. Нам нужно было повидаться, и мы договорились встретиться на автобусной остановке на улице Чайковского в три часа дня. Это было аккуратно напротив американского посольства, на другой стороне Садового кольца. Мы не собирались устраивать демонстрацию для дипломатов, но именно так

и получилось: больше трех десятков гэбэшников высыпали на тротуар, передавая смену, пока мы с Кириллом о чем-то договаривались.

Случалось, их было трудно понять. Иногда в течение одной смены они зачем-то переодевались. Служка уже очевидно не была тайной, но, видимо, у них существовала инструкция, обязывающая их переодеваться в целях конспирации. Наверное, большинство начальников смен эти требования разумно игнорировали, но некоторые, похоже, соблюдали. Мы с удивлением видели иногда, как женщины из наружки меняли в машине юбки на брюки и наоборот. Мужчины меняли пальто и куртки.

В XIX веке, в царствование Александра Второго, в III отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии (политическая полиция) филеров одевали в одинаковые пальто. В форму их одевать было нельзя, потому что конспирация, но для порядка должна была быть одинаковая казенная одежда. Легенда гласит, что всем им давали пальто горохового цвета, благодаря чему тогдашние революционеры — землевольцы и позже народовольцы — легко обнаруживали служку за собой. А филеров так и звали: «гороховые пальто». Впрочем, может быть, это только миф, сочиненный революционерами для унижения полиции.

В КГБ формы у оперативников не было, но отличительные признаки все-таки были. Почти все мужчины носили зимой хорошие ондатровые или пыжиковые шапки и мохеровые шарфы в красную клеточку. Вряд ли это было указание начальства, скорее мода и признак состоятельности. Но главное их отличие — пустые руки. У них в руках никогда ничего не было, кроме разве собственных перчаток.

Есть и еще один способ проверить их — попробовать сфотографировать. Они боятся фотоаппарата как черти лада-на. Свое лицо они берегут от фотокамеры, как честная девушка невинность, понимая, что если их хоть раз сфотографируют для публики, то на оперативную работу они могут больше не рассчитывать.

Мы этим однажды воспользовались. Один чекист повадился ходить в палисадник перед нашим домом по малой

нужде. На замечания он, выражаясь языком милицейского протокола, не реагировал. На прохожих внимания не обращал. Милиции не боялся. Тогда мы сфотографировали его через окно, и его как ветром сдуло. Больше он туда писать не ходил.

Иногда случались с ними стычки. Как-то в одно декабрьское воскресенье мы с друзьями решили отвлечься от диссидентских дел и пошли кататься на лыжах в Орехово-Борисово. Пока мы шли по дороге, чекисты следовали за нами на небольшом расстоянии, но когда мы, остановившись на краю заснеженного поля, стали надевать лыжи, они оказались рядом. У них лыж, разумеется, не было. Но разве это наши проблемы? Едва я надел лыжи, они встали на них сзади, не давая мне тронуться с места. Назревала драка, к которой я был готов. Нас было семеро, их — трое. Друзья приготовились поддержать меня, но в этот момент я сообразил, что за драку мне, скорее всего, не будет ничего, а у друзей моих будут крупные неприятности — на них могут завести административное, а то и уголовное дело. Поэтому я от своего намерения отказался, но известил чекистов, что в наказание я от них сбегу. Именно от них, в их смену. Они только усмехались.

Все пошли кататься, а мы с Аллой Хромовой вернулись в дом жившего неподалеку Юры Ярым-Агаева* варить глинтвейн, писать письмо Андропову и ждать наших друзей с лыжной прогулки. Письмо получилось веселое: я просил председателя КГБ СССР снабдить своих сотрудников лыжами, чтобы они могли поддерживать свою спортивную форму и не мешали диссидентам вести здоровый образ жизни. Позже парижская газета «Русская мысль» напечатала это письмо под заголовком «КГБ и спорт».

Обещание свое я вскоре сдержал. Именно в их смену я скрылся от слежки. Жил я тогда у моего друга пианиста Димы Леонтьева на Новоалексеевской улице рядом с метро «Щербаковская». Я переехал к нему экстренно сразу после обыска у меня в Астаховском переулке. Моя квартирная хозяйка-алкоголичка смущенно и испуганно попросила меня

* Юрий Николаевич Ярым-Агаев — физик, член Московской хельсинкской группы.

съехать, а соседка, бывшая кадровичка, которую я регулярно лечил от гипертонии, была оскорблена тем, что я оказался несоветским человеком.

Квартира у Димы была в первом этаже дома-башни, окна выходили во двор. Они были забраны решетками, как это принято делать для защиты от воров во многих московских квартирах на первых этажах. Гэбэшники ездили тогда за мной на одной машине, которую ставили во дворе носом к подъезду. Они понимали, что выйти я могу только отсюда. Но они не учли разницу наших габаритов. Решетки на окнах представляли собой частые стальные прутья, выходящие «лучами» из «солнышка» в нижнем углу окна. Через решетки было не протиснуться, но однажды я попробовал просунуть голову в полукруг, и у меня получилось. Правда, обратно я втянул ее с большим трудом, оцарапав уши. Как-то вечером, когда стемнело, я снял с себя верхнюю одежду, благополучно просунул голову в «солнышко», сложил насколько возможно плечи, а с остальным уже не было проблем, тем более что Димка усиленно выпихивал меня сзади. Выпав из окна головой вперед, я быстро оделся, выбрался дворами на соседнюю улицу и был таков. С тех пор за мной стали ездить две машины, одну из которых ставили перед подъездом, а другую — во дворе напротив окон.

Побег из-под слежки считался в КГБ событием чрезвычайным. Один из чекистов позже признался мне, что у оперативников, упустивших «объект», начинаются серьезные неприятности — им объявляют выговоры, переводят на усиленный режим несения службы, лишают квартальных премий, могут притормозить очередное повышение по службе. Пока объект в бегах, все опера КГБ усиленно ищут его по всей Москве, задействовав все возможности наружного наблюдения, квартирных и телефонных прослушек. Короче говоря, у них аврал — оперативники не справились со служебной задачей, КГБ не выполнил поручение партии.

Поняв, что у меня есть способ наказать их, чекисты перестали досаждать мне по мелочам. Они даже пытались установить короткие отношения — поговорить о погоде, о настроении, спрашивали, куда сегодня поедет. Как-то, демонстрируя

свою осведомленность (прослушали только что мой телефонный разговор с Каллистратовой), на выходе из подъезда они спросили меня весело: «Ну что, Александр, к Софье Васильевне поедем?» Я и в самом деле договорился к ней приехать. Я, впрочем, их попытки упростить отношения всячески пресекал. Никакой фамильярности, никакого взаимопонимания. Извольте соблюдать дистанцию. Правда, иногда я делал исключения.

Мне нужно было в Электросталь. Наружка понимала, что я поеду туда на электричке. Им это было крайне неудобно. Машины едут в Электросталь по Горьковскому шоссе, но оно проходит далеко от железной дороги. Стало быть, всем чекистам надо сидеть со мной в трясущемся вагоне, а не в уютной машине. Кроме того, возможностей скрыться у меня становится больше. Если, например, на какой-то станции меня ждет машина и они не успеют помешать мне сесть в нее, то их собственные машины ничем помочь не смогут. Поэтому, нарушая все свои правила, они предложили мне ехать в Электросталь на их машине. Это было бы, конечно, удобнее и дешевле, но сокращало дистанцию отношений между нами. Я этого не хотел. Однако это была «хорошая» смена, беззлобная и неагрессивная. Я сказал им, что сегодня они могут не волноваться. Они успокоились, зная, что я им никогда не вру. Со мной поехали только трое — два мужика и одна женщина.

В полупустом вагоне электрички мы сидели рядом. Они решали кроссворд, иногда спрашивая меня то или другое слово. Я как мог подсказывал. Как-то незаметно зашел разговор о политике. Один из них, маленький и толстенький, которого мы с друзьями между собой звали Пончиком, спросил, что же я не уезжаю на Запад, если здесь все так плохо, а там все так хорошо. Я отвечал, что это моя страна, и я хочу, чтобы здесь было так же хорошо, как там. Они помолчали, обдумывая мой ответ, а затем Пончик, вздохнув, сказал: «Ну и правильно делаете». Остальные с ним согласились. Потом они поведали мне, что тоже слушают западное радио и в курсе всех событий, в том числе и моих дел. Они признались, что знают мою фамилию, хотя им положено было знать меня только по оперативной кличке.

Не сказать, что я был ошеломлен, но, безусловно, очень сильно удивлен. Это не была «разработка», попытка вывести меня на искренний разговор и получить нужную информацию. Они просто разговорились.

Однако не все были так милы. Ту смену, что помешала мне кататься на лыжах, возглавлял отвратительного вида тип лет тридцати пяти — полный, холеный, с маленькими злобными глазками на заплывшем жирком лице. Мы звали его Свин. Он смотрел с презрением и неудовольствием не только на меня — объект своей работы, но и вообще на всех окружающих.

Однажды он стал для нас причиной грандиозного веселья. Мы ехали с Таней Осиповой в метро. Сидим на скамейке. Рядом со мной Свин, у двух дверей по бокам — другие чекисты. Свободных мест больше нет. На остановке в вагон заходит старушка и останавливается со стороны Свина. Старушка смотрит на него выжидательно, остальные пассажиры — вопросительно. Свин делает вид, что к нему все это не относится, и продолжает сидеть, развалившись и вытянув ноги на середину прохода. Делать нечего, я встаю и уступаю старушке свое место. Свин довольно улыбается. Перед следующей остановкой я шепотом велю Тане сидеть, а сам иду в другой конец вагона, как бы собираясь выходить. Чекисты срываются вслед за мной, но я делаю крутой вираж, возвращаюсь обратно и благополучно сажусь на место, освобожденное Свином. Таня просит старушку подвинуться, садится рядом со мной, и мы начинаем хохотать так безудержно, что пассажиры вокруг смотрят на нас с улыбкой и некоторым недоумением. Чуть успокоившись, мы снова смотрим на стоящего рядом разъяренного Свина и начинаем хохотать пуще прежнего. Мы просто не могли остановиться. Редко в жизни я смеялся так безудержно! Никто ничего не понял. Изящество комбинации смогли оценить только мы и чекисты. Когда мы вышли на своей остановке, Свин перегородил нам дорогу и, нависнув над нами, зашипел, что в следующий раз сбросит меня на рельсы. Я ответил ему какой-то грубостью и пообещал уйти в его смену.

Скоро опять возникла необходимость избавиться от слезки. Мне надо было лететь в Запорожье к политзаключенно-

му Вячеславу Миркушеву. В 1968 году он был осужден на десять лет по статье «Измена Родине» за попытку перехода границы. С середины срока его отправили из мордовских лагерей в Днепропетровскую спецпсихбольницу, а недавно перевели в психбольницу общего типа в Запорожье. Надо было встретиться с ним, сделать передачу, узнать о его нуждах и получить последние известия о Днепропетровской СПБ.

Я специально дождался утренней смены Свина и поехал к Алене Арманд*, которая жила со своей взрослой дочкой Машей в Беляево, на юго-западе Москвы. Квартира их была на последнем этаже девятиэтажного дома. Наружка проводила меня до двери Алениной квартиры, некоторое время потопталась на лестничной площадке, а затем все пошли в машину, где тепло, можно сидеть и играть в карты. На это я и рассчитывал. Обе машины они поставили перед подъездом, понимая, что с девятого этажа иначе, чем через дверь подъезда, мне никак не выбраться. И это был бы совершенно правильный расчет, если бы на первом этаже этого подъезда не жил добрый Аленин знакомый — археолог, с которым они по утрам вместе выгуливали своих собак. После недолгих разговоров Аленин приятель любезно согласился выпустить меня через окно своей квартиры в противоположную от подъезда сторону. Решеток на окнах не было, и я вышел на улицу через открытую створку окна так же просто, как выходил бы через парадную дверь. Через пару часов я уже сидел в самолете, летящем в Запорожье.

В Москве меня усиленно искали. Алена Арманд весь день изображала мое присутствие в квартире — что-то говорила мне, переспрашивала, сообщала, что она уходит и еда в холодильнике. Прослушки исправно работали, и чекисты были удачно введены в заблуждение. Однако к концу следующего дня они заподозрили неладное. К Алене пришел участковый милиционер с проверкой паспортного режима, долго бродил по квартире, заглядывая во все помещения, спрашивал про посторонних. Посторонних в доме не было. Убедившись в этом, милиционер убрался восвояси, а скоро снялись со сво-

* Алена Давидовна Арманд — педагог, участница демократического движения.

его поста и чекисты. Два дня меня искали по всем московским знакомым, проверяя паспортный режим. Вернувшись из поездки, я нашелся сам. На квартире у Наума Натановича Меймана* проходила пресс-конференция группы «Хельсинки», я туда заявился и был подхвачен своей наружкой.

На этот раз никаких ужесточений не было. Более того, даже Свин со своей сменой стали вести себя аккуратнее, больше не задирались и не провоцировали на конфликты. Они сообразили наконец, что при желании я всегда скроюсь от них, а лишние неприятности по службе им ни к чему. Они больше не наступали мне на пятки, держались от меня на расстоянии нескольких метров и только в метро не отходили ни на шаг.

В метро им работать было сложно. В толкучке они легко могли меня потерять. Машины следовали по верху и не всегда успевали к моему выходу из метро. Так, я, например, убедился, что в будний день во время пробок я всегда приезжаю раньше их на «Преображенскую», если еду со стороны «Сокольников». Также они никак не могли меня встретить на машине, если я ехал на метро от «Фрунзенской» на «Ленинские горы». Для того чтобы сбежать от них, достаточно было, чтобы около выхода из метро меня ждала своя машина, а еще лучше — мотоцикл. Все эти варианты и некоторые другие я запланировал на будущие побег.

Метро было неудобно им еще и тем, что радиосвязь у них работала только на станциях. В перегонах между остановками они никак не могли координировать свои действия. Видимо, не работали и прослушки. Как-то в перегоне между двумя станциями рядом со мной встал Пончик и, странно помявшись, поглядывая искоса на напарника и немного смущаясь, спросил, нет ли у меня почитать Солженицына.

Я задумался. Это не было похоже на провокацию. К тому же после стольких обысков изъятие у меня еще одной книги Солженицына вряд ли считалось бы большой оперативной удачей. Я поверил Пончику. Мы договорились, что я прине-

* Наум Натанович Мейман (1911–2001) — математик, активист еврейского движения за выезд, член Московской хельсинкской группы.

су ему что-нибудь в следующую его смену. Через день, когда я в его смену ехал в метро, я обнаружил, что за мной следует только Пончик. Не знаю, под каким предлогом он уговорил своих коллег остаться в машине, но он был один, и на перегоне между двумя станциями я передал ему «Раковый корпус» Солженицына. Он тут же спрятал ротапринтное издание под пиджаком. Примерно через неделю при таких же точно обстоятельствах он вернул мне книгу обратно. Сказал, что понравилось и он не понимает, почему она запрещена, «ведь в ней нет ничего такого».

Я обещал ему другие книги, но обещание выполнить не удалось — слежку за мной вскоре сняли, а месяца через полтора арестовали. С Пончиком мы виделись еще один раз. Он был в группе захвата, которая меня задерживала. Что делать, книги книгами, а служба службой. Наверное, так говорил он сам себе, конвоируя меня в КПЗ.

Устроенная за мной конвойная слежка была хорошим испытанием на психологическую устойчивость. Со стороны это выглядело, конечно, дико. Меня показывали иностранцам как достопримечательность. Один профессор, юрист из США, увидев все это своими глазами, сказал, что в США такого никто не потерпел бы.

— А что бы вы сделали на месте Подрабиника? — спросили его.

— Я бы обратился в полицию.

— А если бы это не помогло?

— Я бы достал револьвер и стал отстреливаться, — не раздумывая ответил профессор права.

У меня револьвера не было. Наше сопротивление было ненасильственным. Может быть, поэтому таким долгим.

Ко всему постепенно привыкаешь, через какое-то время и слежка перестает сильно беспокоить. Иногда мы пытались жить «обычной» жизнью. Как-то Зинаида Михайловна Григоренко, когда я был у них дома, предложила Петру Григорьевичу и мне пойти в кино. Это было так необычно, я даже не помнил, когда был в кино последний раз. «Нельзя же все время бороться за демократию», — пошутила Зинаида Михайловна. Мы пошли на какой-то фильм в кинотеатре «Фи-

ть» на Фрунзенской набережной, поблизости. Моя слежка — за нами. На обратном пути разыгралась чудесная сцена. Петр Григорьевич вдруг остановился, повернулся к чекистам и, безошибочно определив среди них старшего, начал отчитывать его с совершенно генеральскими интонациями. «Ну вот что ты ходишь за ним? — кивая головой на меня, выговаривал чекисту Петр Григорьевич. — Кусок лентяя! Ты себе работу поприличнее не можешь найти?» Оперативник, почувствовав начальственный голос, мялся и глупо улыбался, как школьник, вышедший отвечать к классной доске, но не выучивший уроков. Петр Григорьевич еще что-то бурчал всю дорогу до дома, а гэбэшники шли на почтительном расстоянии и генералу не перечили.

Последний раз КГБ устроил за мной такую навязчивую слежку весной 1988 года, когда мы уже издавали газету «Экспресс-Хроника», а коммунизм зашатался по всей Восточной Европе, где до его окончательного крушения оставалось полтора года.

Они появились у меня за спиной 27 марта — в тот день, когда в газете «Советская Россия» была напечатана большая пасквильная статья обо мне под заголовком «Оборотни не любят света». Двумя неделями раньше в той же газете было напечатано антиперестроечное письмо Нины Андреевой «Не могу поступиться принципами». До 5 апреля, пока в «Правде» не была опубликована ответная статья А.Н. Яковлева, все затаились, ожидая сворачивания перестройки. Тут-то КГБ и подсуетился со своими инициативами. Как и десять лет назад, гэбэшники не скрывали своего присутствия. В тот день мы раздавали очередной выпуск «Экспресс-Хроники» около метро «Кропоткинская». В общественном туалете на Гоголевском бульваре два чекиста вломились следом за мной в кабинку и устроили драку. До чего же неудобно драться в кабинке общественного туалета, особенно когда одет не по форме! Сопровождавший меня специально на случай чего-нибудь непредвиденного молодой сотрудник нашей газеты Дима Пергамент стоял, парализованный от страха, — он тупо смотрел, как я отбиваюсь от двух чекистов, и ничем мне не помог.

В тот же день я показал слезку своему восьмилетнему сыну Марку, который пришел в восторг от того, что за нами идут люди, которые поворачивают не туда, куда нужно им, а туда, куда нужно нам. Перед каждым поворотом он оборачивался и приманивал их, как собачек, безмерно радуясь их послушанию. Закончился этот чудесный день дракой с чекистами на лестнице дома, в котором жил московский журналист Володя Пименов. На этот раз я был выше их на половину лестничного пролета и успешно отмахался ногами, тем более что из квартиры на лестничный шум выскочил помогать мне и сам Володя.

С тех пор прямых столкновений с чекистами у меня, кажется, не было. Они еще не раз пакостили мне по своему обыкновению, но ни конвойной слежки, ни brutальных сцен больше не устраивали. Хотя и насовсем из виду не пропадали.

Забавно: идет время, меняется облик страны, а судьба не отпускает. Я сижу у себя дома в Сокольниках, пишу эти строки, а по иронии судьбы в это время во дворе моего дома опять стоят две машины. Первая — у одного выезда со двора, вторая — у другого. Всё как и тридцать лет назад, будто ничего не изменилось. Разве что машины у них стали получше — не закамуфлированные под такси салатового цвета «Волги», а крутые тачки с тонированными стеклами — «мерседесы» и *BMW*.

Впрочем, как выяснилось после несложной проверки, «стоят» они сейчас не за мной, а за Володей Буковским, который обычно останавливается у меня, когда ненадолго приезжает в Москву. Ему уже под семьдесят, у него диабет, он много курит, и ему тяжело ходить. Он живет в Англии, но поддерживает своим авторитетом демократическую оппозицию, и его все время зовут в Москву. Обычно ФСБ не проявляет к нему назойливого внимания, но тут, возможно, из-за ожидаемого на днях приговора Ходорковскому и Лебедеву, они вдруг засуетились. Они едут за нами на приличном расстоянии, но вычислить их нетрудно, особенно вечером на пустынных Лучевых просеках Сокольнического парка.

Потом мы с Володей сидим у меня дома на кухне, смотрим в окно, вспоминаем навеянные наружкой диссидент-

ские времена и забавные истории из прошлого. Нас уже давно не волнует эта слежка, нам смешна их чекистская суе-та, и только немного грустно, что ничего не изменилось за эти годы.

Впрочем, нет, изменилось. Раньше соседи чаще всего шарахались от нас в таких случаях, теперь же ко мне пришел сосед сверху и говорит:

— Саня, ты у нас самый опальный в доме, не тебя ли па-сут в нашем дворе круглосуточно две машины с тонирован-ными стеклами? На бандитов не похожи.

— Почти меня, — отвечаю я соседу. — Точнее, моего го-стя. Но ты не волнуйся, через два дня он вернется к себе в Лон-дон и все снова будет спокойно.

— Да я не волнуюсь, — обижается сосед, — я тебя по-соседски предупреждаю, может, ты расслабился и ничего не за-мечаешь.

Нет, я замечаю. Это стало привычкой. Дурной и необхо-димой одновременно, от которой хочется избавиться, да все еще нельзя. Потому что мы слишком недалеко ушли от на-шего прошлого и возвращается ветер на круги своя.

Первое испытание

Когда-то мне казалось, что главным в жизни испытанием на стойкость будет первый допрос или первый суд. Что-нибудь в этом роде, какое-нибудь столкновение с врагом. Как же я заблуждался! Все эти столкновения были цветочками. Главное испытание мне уготовили близкие.

Еще в октябре мы с папой и братом пришли к общему решению, что никто из нас не хочет эмигрировать и мы оста-емся, несмотря ни на что. Уже в декабре наш семейный мир взорвался, разлетевшись на множество мелких осколков вза-имного непонимания, подозрений, недомолвок, горьких об-винений и затаенных обид. Натянулись как струна отноше-ния с братом, совсем испортились — с отцом. Разделились мнения в демократическом движении; трещина прошла и че-рез Рабочую комиссию. Никогда в жизни мне не приходи-

лось принимать более трудных решений. Уезжать или оставаться? Если бы все было так просто.

Теперь, многие годы спустя, я могу по-иному оценить события тех лет. Я смотрю на себя как бы немного со стороны, и такой отстраненный взгляд добавляет картине ясности и объективности. Почему бы в таком случае, подумалось мне, не предоставить слово тому, кто смотрел на меня со стороны еще тогда — не очень, может быть, объективно, даже пристрастно, но искренне и, несмотря ни на что, с любовью. Пусть эту историю расскажет мой отец, расскажет так, как он увидел и понял ее тогда, в декабре 1977 года.

Заложники*

В самом конце ноября мы возвращались с женой с последнего сеанса кино. Едва успели раздеться, как раздался звонок.

— Здравствуйте, Пинхос Абрамович, можно к вам?

Незнакомый молодой человек не пожелал пройти в комнату, но шапку снял.

— Вам повестка. Пожалуйста, распишитесь.

Это было предложение гражданину Подрабинеку П.А. явиться на следующее утро в приемную УКГБ при СМ на беседу к товарищу Белову Ю.С. «В случае неявки Вы будете подвергнуты приводу». Так, беседа под угрозой.

— Под документами КГБ я не расписываюсь, но приду.

— Как же?.. Я же... Мне же отвечать...

— Это ваша забота.

— Но я могу доложить, что вы будете? Вы даете честное слово, что придете?

— У меня все слова честные.

— А вы не передадите такую повестку Александру? Я не застал его дома.

— Нет, не передам. Если застану его дома, скажу.

Поутру еду в Москву, звоню Подьяпольским, Саша у них. К двенадцати мы на улице Дзержинского. Ждем. Курим. Беседуем. Таня [Осипова], между прочим, одобрительно замечает:

* Из воспоминаний П.А. Подрабинека; с сокращениями.

— Итак, Пинхос Абрамович, вы принимаете боевое крещение?

— Я принял его, Таня, когда вас не было на свете, сорок лет назад.

У нее хорошие побуждения — подбодрить меня, отдать дань уважения тому, что ей кажется «вступлением на путь», — и я ее огорчил. Но какого рожна эти зеленые стручки отсчитывают историю с момента собственного произрастания, словно до них было голое поле? Неловкую паузу прерывает подошедший толстяк.

— Прошу извинить, товарищ Белов болен. Пожалуйте ваши командировки отметить.

Скорее всего, финт, нервы вздернуть. Разъезжаем по домам.

Через два дня, 1 декабря, поздно ночью заявляется Кирилл, он получил повестки на себя и меня, опять к товарищу Белову. Едем в Москву, звоню Саше.

— Передай, пожалуйста, Белову, что я очень занят и, если он хочет со мной повидаться, пусть приходит ко мне в среду, это мой приемный день.

— Хорошо, передам.

Восхитительное нахальство сына оправданно, беседа предполагает обоюдное желание встретиться, но за вызовом мне чудится нечто серьезное, которое не терпится узнать. К тому же я с неудовольствием отдаю себе отчет в том, что не хочется обострять отношения с Лубянкой. В приемной ждем всего несколько минут. Появляется человек выше средней упитанности, лет сорока, с грузной, но упругой походкой. Предлагает раздеться, любезно открывает дверь.

— Прошу, — пропускает нас, подходит к своему столу, указывает на кресла.

Садимся.

— Здравствуйте, — приветливо здоровается он.

— Здравствуйте, — возвращает ему Кирилл.

— Спасибо, — отвечаю я.

В спокойных глазах мелькает досада.

— Ваши документы!

Кирилл протягивает паспорт, я — военный билет. Паспорт у меня с собой, но не хочу его отдавать. Вдруг после беседы обнаружится, что отныне живую, скажем, в Вологодской области.

— Вот мое удостоверение, можете с ним ознакомиться.

— Мы и так верим, что вы — это вы и здесь работаете. — Мелкими грубостями пытаюсь возместить покорный приезд.

Формальности завершены. Он торжественно встает. Так и тянет тоже встать для какой-то, видимо, важной церемонии, но удерживаюсь.

— От имени Комитета государственной безопасности предлагаю вам в течение трех дней подать заявление о выезде и в течение двадцати покинуть пределы Советского Союза. Можете ехать вместе с семьями в любую страну через Израиль. На вас, Кирилл Пинхосович, заведено уголовное дело. Вы, Пинхос Абрамович, также известны своей антиобщественной деятельностью. Советую вам воспользоваться актом гуманности Советского государства.

Сел и уже буднично:

— Вопросы есть?

— К Саше тоже относится? — спрашиваю.

— Разумеется. Почему не пришел Александр?

Передаю дерзкие Сашины слова.

— Скажите ему, чтобы перестал в игрушки играть. Мы серьезная организация. Пусть приходит, если не хочет неприятностей. Еще вопросы?

— Мы не кресты, денег на дорогу нет и не предвидится.

— Пусть это вас не беспокоит, — с широтой богатого покровителя отмахивается он. — Еще что?

Молчим. Беседа окончена. Переглядываемся с Кириллом, встаем и уходим.

На миг отдаюсь сладостному видению: блистательный Париж, милый Льеж, весь мир перед нами за распахнувшейся дверью. Прочь, соблазн, это не про нас, одергиваю себя.

Сашу привели-таки в тот же день на беседу к Белову. Это было нетрудно, вот уже месяц его, как знатную особу, сопровождает кортеж из двух машин с личной охраной. Днем и ночью восемь топтунов следуют за ним по пятам, наступая на пятки. Он к друзьям, они в подъезд, он в такси, они за ним, пренебрегая правилами уличного движения. Он спит, они посменно бодрствуют.

— А, значит, Саша здесь, — говорю я, увидев их у дома Спартак-ков, куда мы являемся с Кириллом.

— Здесь, здесь, недавно приехали, — подтверждает стража.

Застаем у Спартаков Лидию Алексеевну (папина жена. — А.П.) и Сашу. Засиживаемся допоздна за столом, обсуждая предложение Белова. Выясняется, что ехать никто не собирается, но это не мешает нам побывать за границей, переругаться там за несхожестью вкусов и благополучно вернуться обратно к концу ужина. Затем между мной и Кириллом начинается турнир благородства: каждый убеждает другого, что именно тому следует ехать.

— Я в безопасности, мало материала. Тебя могут посадить за «Несчастных», Сашу — за «Карательную медицину», скорее всего, его и возьмут первым, сразу обоих едва ли решатся — слишком много шума. Поэтому я остаюсь его защищать здесь, ты для того же едешь туда. Тем более что вслед за ним тут наступит твоя очередь.

Кирилл ссылается на мой возраст, знание языков, западного образа жизни. Логика на моей стороне, но он упрям как мул и не уступает. Прекращаем спор, он отводит Сашу, о чем-то шепчется с ним, потом вообще перестает говорить об отъезде. Время позднее, выходим во двор.

— Саша, машина подана, — приглашает главный топтун. Тоже пытаюсь в нее сесть, меня выталкивают, а Кирилл, перехватив Сашин «дипломат», бодрой рысью пускается наутек.

Его за углом нагоняют, отнимают «дипломат», прощаемся с Сашей, которого увозят. Уезжаем с Лидией Алексеевной домой, утром на работу, Кира остается узнать, чем кончится у Саши разговор с Беловым. Ночью он привозит известие — предложено ехать и ему, но — существенная подробность — ехать мы должны все вместе.

До меня тогда не дошел зловещий смысл этого обстоятельства. «Что же, никто не может остаться, выбора нет, вместе и поедем». С тем в субботу и прибываем в Москву, Лидия Алексеевна и я. Узнаем, что Кирилл у Смолянских*, идем к ним. Оказывается, Кирилл разговаривал с Сашей и не будет давить на брата, предоставив тому решать вопрос об отъезде.

«Разумеется, не будешь, странный ты, право», — думаю я, но эти «не буду давить», «сам решит вопрос» меня неопределенно тревожат.

Много лет спустя Кирилл мне передал этот ночной разговор на квартире у Димы Леонтьева.

* Мэри Львовна и Аида Львовна Смолянские — мать и тетя Ирины Каплун.

Саша: Ты знаешь условие? Мы должны ехать вместе.

Кирилл: Ты едешь?

Саша: Нет. А ты?

Кирилл: Вопрос бессмысленный, раз ты не едешь, не могу уехать и я.

Саша: А ты хотел бы уехать?

Кирилл: После твоего ответа мое желание остается сугубо личным моим делом и делиться им с тобой я не буду.

Впрочем, мою неясную тревогу вытесняет другая, вполне понятная: Кирилл сообщает, что собирается скрыться.

Оказывается, он пришел к выводу, возможно, после разговора с Сашей, что первым возьмут его, причем под предлогом хранения огнестрельного оружия. Перспектива посадки по уголовной статье его не устраивает, есть и другие мотивы, один мне очевиден тотчас, другой я узнаю позже. Его пытались убить, почему бы не повторить попытку, на воле или в лагере? Не могу не согласиться, такая возможность мне представляется маловероятной, тем не менее она обоснованна... И последнее, решающее обстоятельство: Саша категорически отказывается уезжать. «Только вместе», — сказал Белов, и это значит: один не едет — не выпустят остальных, вместе и сядете.

В этой ситуации идея на время скрыться — здравая: можно будет растянуть два дня, предоставленные Беловым на размышления, и спокойно оценить спасительные шансы, если они есть. Прогуливаясь по аллеям Ленинского проспекта, обсуждаем некоторые детали, и Кирилл отправляется в свое добровольное заточение, у него есть припасенное местечко. Обещает завтра известить меня, как устроился. Заходим к Спартакам, застаем у них Сашу и Сусанну*.

— Надень, надень это кольцо, — твердит она, всхлипывая, пытаясь насильно просунуть в него Сашин палец. — Возьми, дурак, и эта матрешка, они там дорого стоят. И этот коллекционный коньяк, за него любой армянин тебе выложит кучу денег. Я еще достану денег на первое время... Возьми же, — и снова старается водворить на согнутый его палец золотое кольцо.

Бедная Сусанна, братья ей всего дороже на свете, нет жертвы, которую бы она не принесла для их спасения! В отчаянии она трога-

* Сусанна Леонидовна Ключихина — старшая сестра братьев Подрабинеков.

тельно пытается навязать его Саше простейшим образом, обручить его с судьбой: наденет кольцо, значит, согласился на отъезд.

«О, братец! Стало быть, ты еще раздумываешь!» Внимательно смотрю в обычно веселое, приветливое, а теперь замкнутое, настроенное лицо сына. Другим, видно, приходит та же мысль, потому что наступает неловкое молчание, словно каждый остерегается лишним словом вызвать Сашу на поспешный ответ. Так и не справившись с собой, в слезах уходит Сусанна, вскоре — Саша.

— Сегодня я устраиваю прощальный вечер, приходите. — Это же и мне. Не сказано где и когда, остается гадать, по какому поводу, отъезда или посадки. Мы не спрашиваем, он не уточняет, с тем и расстаемся.

Томительно течет время... Иду к Смолянским.

— Ну как, едет? — повисают на мне три женщины.

— Не знаю.

— А ваше мнение?

— Не хочу его высказывать, оно до него дойдет и может обернуться давлением, пусть решает сам. Думаю, он хочет посоветоваться с друзьями. Вы пойдете, Ира? Скажите ему, пусть позвонит о своем намерении, мы все в напряжении.

Возвращаюсь к Спартакам, и в разговоре постепенно выясняется план товарища Белова, простой, как все гениальное.

От Александра нужно избавиться, он стал наконец невыносим. Ему мало, что книгу написал, переправил ее за границу. Мало, что она сыграла роль в решении Международного конгресса психиатров осудить применение психиатрии в политических целях. Он все активнее вмешивается в налаженную систему заключения инакомыслящих в психлечебницы, разъезжает по стране, просит, угрожает, шумит, и, несмотря на арест Феликса Сереброва, комиссия действует. Убрать его, и конец его бурной деятельности! Да, но как убрать? Посадить — поднимется страшный шум. Уже и так нет спокойной жизни с Орловым, Гинзбургом, Руденко, Тихим. Несколько человек, и такой гвалт, а со Щаранским прямо-таки в лужу сели... Нет, сажать нельзя. Выслать? Уже предлагали уехать, отказался: сажайте, говорит. Ненормальный, только псих не соглашается уехать из этой страны. Не посадить ли его в дурдом? Невозможно, член комиссии по психиатрии, слишком похоже на отместку, хлопот не оберешься. Так мы, дорогой, возьмем тебя с тыла. Не поедешь — по-

садим брата, отца, близких, в отличие от нас совесть-то у тебя есть, как ты на это посмотришь? Ай да Белов! Нашел-таки сильный ход, ай да поганец. Это ведь шантаж, верное, испытанное средство. Я уточняю: заложничество!

Честим на все корки КГБ. Ясно, первым пострадает Кирилл. Ему припишут 218-ю статью за хранение оружия. Неважно, что это пистолет для подводной охоты и он отказался признать его своим, неважно, что было покушение на его жизнь, несущественно, что ему подбросили в пиджак два патрона — материала хватает. Мальва Ланда и Серебров пострадали за меньшее. Саша, конечно, понимает, что такое для Кирилла пять лет лагерей, а не поймет, мы, ГБ, доведем до его ума посредством Кирилловой шкуры. Уедешь, дорогой, деваться некуда!

Устрашенные нарисованной картиной, приходим в возбуждение, словно Кирилл через пять минут начнут резать. Что же Саша молчит, мотает нам нервы, вызвать его, пусть наконец выскажет. Звоню на «Щербаковскую», к Диме Леонтьеву, Саша обещает приехать. Спартак берется произнести речь и уходит сосредоточиться в соседнюю комнату. А вот и Саша!

— Мы хотим с тобой поговорить, — внушительно начинает Спартак.

— О чем?

Спартак взмывает короткие густые брови, отчего его глаза круглеют.

— Конечно, об отъезде, о чем же еще!

— Удобно ли здесь? — Саша обводит пальцем потолок, что означает: нас прослушивают.

— А где же еще, когда всюду за тобой прихвостни!

Усаживаемся на полу и слушаем Спартака.

— Мы, — говорит он, — твои друзья и желаем тебе самого лучшего, ты это знаешь. Мы с уважением, даже с восхищением следим за тобой, засранца, деятельностью. Не раз и не два выручали тебя, а секли, мать-перемать, всегда за дело, чтобы не заносился. — Голос его крепчает, в бархате появляются стальные нотки. — Мы любим и Кирилла, твоего недоношенного брата, и этого мужественного старпера, твоего отца, взрастившего таких соколов, и жену его Лидочку, — чмок ее в руку. — У тебя трезвый ум, — подносит палец к виску, — и доброе сердце, — опускает руку к желудку, — ты пони-

маешь, что е-дин-ствен-ный выход для вас — это уехать, иначе беда, иначе Кириллу хана, он в лагере загнется, а нет, так получит финку в бок в порядке последнего тебе предупреждения. Так скажи свое благородное слово, и мы, мать-перемать, подбросим тебя до потолка и станем страшно пить.

Все головы повернуты к Саше, дюжина глаз вперилась в его лицо. Оно немного расстроено, когда он тихо произносит:

— В этой ситуации, Спартак Николаевич, навязанной нам КГБ, каждый должен решать за себя. Я остаюсь.

— Позволь, позволь, как это «каждый за себя», когда вы все связаны?

— Но решает каждый за себя.

— Что ты хреновину (сказано сильнее) порешь? — в голосе Спартака ни ворсинки бархата, он колюч. — Сказано: всем вместе; одному в лес, другим по дрова не получится. Либо всем ехать, либо тебе с братом садиться.

— Я готов, — твердо заявляет Саша.

— А Кирилл? — спрашиваю я.

— Это его дело.

— Как же его? — срывается с голоса Люда (дочь Спартака. — А.П.). — Как же его, когда хочет он, не хочет, а садиться придется, если ты откажешься ехать?!

— Мы еще давно решили втроем идти до конца, так ведь, папа? Вспоминаю. Верно, решили, но...

— Кто же мог предвидеть такое положение? Мы его не предусмотрели, не предполагали возможность заложничества.

— Значит, ошиблись и надо платить за ошибку. Или теперь трусим? За трусость тоже приходится расплачиваться.

Я растерян. В самом деле, внушал мальчишкам и себе стойкость, а как дошло до опасной черты, пасую.

— В этом есть логика, — нерешительно замечаю, — но логика...

Выражаюсь туманно, и вряд ли он, да и другие меня понимают, мне трудно дается то, что хочу высказать. Что на логику следует опираться с оглядкой, она оформляет наши желания, порой неосознанные, охотно подбирает аргументы, столь же несокрушимые, как и противоположные. Как обычно, я ненаходчив, говорю неубедительно.

— Какого хрена (сказано сильнее) тут логика! — свирепеет Спартак. — Посылает брата на смерть и толкует про логику!

Лида порывается что-то сказать, но из деликатности не может нас прервать. Тихий голос ее тонет в перепалке, и она только берет за руки то одного, то другого.

— Тише, — орет Павлик (сын Спартака. — А.П.), — Лидия Алексеевна скажет!

Умолкаем.

— Ты вот, Саша, говоришь, что решили идти до конца, — Саша подтверждает кивком головы. — Но скажи, — продолжает она, — выясняли вы, что каждый считает своим концом?

— Ве-е-ерно! — восторженно кричит Павлик. — Вот вам и логика!

— Для тебя, возможно, концом представляется расстрел, для Кирилла — семь лет политического лагеря, для отца — еще что-нибудь. Если уж ты такой логик, то почему не уточнил заранее понятие конца?

— Конец — это предельный конец, — уточняет Саша.

— Извини, — вмешиваюсь я, — если бы при вступлении в демократическое движение подразумевалась готовность к смертной казни, в нем бы участвовали раз-два и обчелся человек. Лида верно говорит о том, что такое конец, мы не договаривались. Я подразумеваю тюрьму, ссылку, лагерь, эмиграцию. А Кириллу грозит гибель. Это, возможно, твой конец, но не его.

— Почему гибель? Через уголовные лагеря прошли сотни политических, по 190-й их сажают с уголовниками и ничего, выходят.

— А кто недавно говорил мне, что на Феликса Сереброва уже было два покушения, не ты ли? Он осторожный, опытный, сильный боец и опасается за свою жизнь. Сереброву осталось полгода, Кириллу предстоят пять лет. Он физически ослаблен, возбудим, самолюбив, и на него уже было покушение на воле.

— Н-ну, преувеличено, преувеличено, вы хотите из Кирилла сделать идиота.

Еще немного продолжается вялый обмен мыслей и чувств. Устали, нужен перерыв. Саша уходит, и мы погружаемся в унылые размышления. Я думаю о том, что предпринять.

Саша поехал к друзьям. Он расскажет, что здесь произошло, повторит свои аргументы, но изложит ли наши, сомнительно. А друзья деликатны, а друзья не захотят ему докучать, они его любят и, скорее всего, поддержат его героическую позицию, что им Кирилл.

И это укрепит Сашу, заглушит остатки сомнений, придаст силы для неправого дела.

Я не хочу на него давить, но имею ли я право молчать, если он собирается прибегнуть к недомолвкам, вывертам? А на это он, кажется, способен, ушел же он только что от серьезного обсуждения.

— Джентльменство, — говорю я, — отличная вещь, но только с джентльменами, все с этим согласны?

Через каких-нибудь два часа вопрос решен: плевать на джентльменство, не дать ходу дезинформации — это и есть истинное джентльменство. Уже девять вечера, но Спартак выводит из сарая свою механизированную савраску, втискиваемся вчетвером и мчим на Щербаковку. Как петарда, врываюсь в тихую музыку, звон бокалов и спокойный разговор.

Прошу Володю Борисова, Иру Каплун и Славу Бахмина уделить мне немного времени по серьезному делу. Они покидают компанию, предлагаю им набиться в Спартаков драндулет, и, взревав от нагрузки, он рвется вперед. За нами — встревоженные топтуны. Отъехав две сотни метров, останавливаемся. Топтуны успокаиваются: диверсии не будет, людям просто нужно поговорить, пусть потреплются. Спартак кратко излагает нашу позицию, просим ее довести до сведения собравшихся и, освободившись от лишнего груза, несемся домой, обдав шарахнувшихся топтунов жидковатым серобелым снегом. На сегодня, кажется, хватит, но день завершается телефонным звонком Иры.

— Это страшно, — говорит она и обещает завтра раскрыть, что именно.

Воскресенье, 4-е декабря. Встал бы поздно, да Рэд не дает. Он по утрам обходит спящих, лижет их в лицо. Это значит — доброе утро, мне одному скучно.

«Это страшно!» — сказала вчера Ира; собираюсь к ней за разъяснениями.

Иду к Ире, повторно завтракаю, пью кофе. Чем ощутимее его исчезновение из обихода, тем ожесточеннее его потребляют. Снова общий разговор о Саше, какой он хороший, какой нехороший, наконец остаемся с Ирой вдвоем.

Вчера они собрались на Щербаковке втроем: Ира, Слава и Саша, вся психиатрическая комиссия, за час до вечеринки. Обсуждали свои дела, немного поспорили, даже поругались.

— У Саши, — жалуется Ира, — последнее время обозначился весьма неприятный стиль работы. У него много времени, он деятельнее других и потому взял тон руководителя.

У Иры, как и у Саши, склонность к лидерству. Оба любят нести большую часть общего бремени и вести за собой других. Ничего худого в этом не вижу, но понимаю, что в маленькой группе двух лидеров много. Ни одному не хочется уступить другому, но Саша действительно свободнее, он не работает, не учится, как Ира, не связан домашними заботами, ему, так сказать, карты в руки.

— И меня сбивает. Брось, говорит, работу, дел невпроворот, а ты цепляешься за материальное благополучие! Не могу я так, Пинхос Абрамович, верно?

— Вам виднее, статус профессионального диссидента не учрежден, а за тунеядство могут наказать. Впрочем, Саше сейчас не до того, он сжигает себя со всех сторон. Но вы начали о стиле его работы, мне это интересно. — Я подозреваю, что ее самолюбие ущемлено Сашиной «Карательной медициной». Мне любопытны высказывания Иры на эту тему, но она не решается. По-видимому, чувствует мелочность своей обиды. — Понимаю, внутренние дела комиссии не для посторонних, я чужак.

— Я так не думаю, — сердится она и бьет кулачком по ладони.

— Но придерживаетесь правил демократии для внутреннего потребления, — поддразниваю ее.

— Ничуть, я сама против, это не мое, а Сашино правило, какое-то высокомерие. Слушайте, какая недавно вышла история. Встречается он на днях с Егидесом*, много лет просидевшим в психушках и собравшим по ним большой материал. «Мне советовали обратиться к вам, когда мы могли бы потолковать?», — «Приходите туда-то в среду, это мой приемный день», — отвечает Саша. Каково?

— Да, бюрократические испарения трудненько развеять. Впрочем, Саша ведь так же ответил Белову, может, у него действительно приемный день? Но что означает ваше вчерашнее «страшно»?

Оказывается, они с полчаса посовещались, подошли гости, сели за стол. Естественно, гвоздем вечера было Сашино решение остаться. Ни восторгов, ни громких фраз не было, сдержанное одо-

* Петр Маркович Егидес (1917–1997) — член редколлегии самиздатского журнала «Поиски», политзаключенный.

брение поступка редкого мужества. Столькие уехали и уезжают, предпочитая благополучный Запад гибельному Востоку, и вот решительно: Нет, остаюсь! — С теми, кто за проволокой и в застенках, с нами, кому завтра предстоит выбор. Пример малодушным, прекрасное начинание.

В этой атмосфере высоких чувств странно прозвучал Ирин вопрос.

— А Кирилл?

На нее смотрели кто с недоумением, кто с досадой за неуместное снижение тональности. Как потом выяснилось, многие были уверены, что отказ уехать согласован в семейном кругу — редкое единодушие людей, связанных общей волей. Ира с Володей пытались объяснить ситуацию, сослаться на меня, представить проблему заложничества, при котором единоличное решение — безнравственный, а не возвышенный поступок. И тут началось и поехало. С Ирининых слов представляю себе картину этого сборища, людей, настроенных на героический лад и внезапно стянутых с облачных высот в плоские расчеты обыденщины. Много пафоса, фимиама, воскуренного благородству и мужеству духа, и одинокие робкие попытки спокойно, разумно обсудить вопрос. Кстати, за победу духа над бренной плотью больше всего ратовали те, кому не довелось серьезно проявить непоколебимость своей натуры. Убедившись в бесплодности своей попытки, Ира с Володей ушли. Неспособность друзей разобраться в таком простом вопросе, взглянуть на него с нравственной позиции и резюмировала Ира словом «страшно».

С горечью убеждаюсь, что оправдались мои предчувствия: у Саши не достало сил отказаться от героической позы и передать друзьям возражения, которые он выслушал от нас. Он скрыл от них правду.

Возвращаюсь к Спартакам. Звонок. Беру трубку. Кирилл.

— Позовите, пожалуйста, к телефону Катю.

— Здесь такой нет.

— Это 135-01-14?

— Вы ошиблись, 135-01-34.

— Извините.

Значит, ему не удалось скрыться. Полвторого, свидание в два, беру такси, чтобы не опоздать. Эх, думаю, горе-конспиратор, твоя романтика таки влетает мне в копеечку. В условленном ме-

сте жду еще полчаса, собираюсь уходить, подходит Кирилл. Оказывается, присматривался, не следят ли за мной, — это удобнее, когда я двигаюсь.

— А если бы я столбом ждал тебя еще два часа? Ну, идем, как дела?

Он знает, кто ему подберет новую квартиру, — Володя Борисов, но идти к нему он не может, тот слишком засвечен. Не возьмусь ли я выяснить у Володи детали? Кирилла мне тоже хочется отправить в какой-нибудь век, но я соглашаюсь.

Следующие три часа провожу так: записка от Кирилла, обошновавшегося в шляпном отделе универмага «Москва», на дом к Смолянским. Разбор, согласование и с запиской от Володи — к шляпам. Новые соображения Кирилла, записка к Володе. Курсирую как челнок, тку сыну убежище. Тошнит от шляп, Кирилла, Володи, от непрерывной ходьбы, голода, но тку, тку. Наконец улажено. Кирилл снова скрывается, будем надеяться, надежно. Плетусь к Спартакам. Есть новости. Стало известно, что Саша собирает пресс-конференцию, на которой огласит свое письмо к мировой общественности. Теперь уже ясно, что он скажет. Две-три ни к чему не обязывающие фразы о Кирилле и — трубите, фанфары, бейте, литавры, — я, Александр, остаюсь.

С разрешения Ляли (Адели Семеновны, жены Спартака. — А.П.) приглашаю к Спартакам Иру, знакомлю ее с домочадцами и спрашиваю, что делать.

— Составить собственное заявление, — решительно заявляет Ира.

Садимся и пишем. Ничего компрометирующего Сашу. Изложение фактов и призыв к людям доброй воли протестовать против государственной системы заложничества. Уже поздний вечер, я адски устал, самое время завалиться спать. Вместо этого выпиваю кофе, тупо смотрю на заявление, соображая, что же дальше.

— А дальше, — подсказывают мне, — довести до сведения Саши, чтобы не вышло разночтений и не сбить с толку корреспондентов.

Сказано не без задней мысли: вдруг его еще удастся уговорить. Я тоже соблазняюсь, все соблазняются, одна Адель Семеновна коротко отрезает:

— Бесполезно.

Люда звонит Саше на Щербаковку. Начинает она девически-трогательной просьбой, кончает верстовой бранью.

— Отказывается приехать, говорит, время позднее, спать хочет.

Меня охватывает гнев. Что это, в самом деле, за хамство! Мы тут шестеро сидим как на углях, деликатничаем, стараемся его не задеть, прийти хотя бы к видимости общей формулы, а он, видите ли, спать хочет! Нам, что ли, не хочется?! Беру трубку, слова подбираются сами, побольнее.

Через полчаса Саша является с двумя адъютантами — Таней Осиповой и Ириной Гривниной.

— Знаменосцы при знамени, — ехидничает Люда.

Проходят на кухню, усаживаются рядом у стенки, мы — напротив них. Здесь и подошедший недавно Володя Борисов.

— Объясни, Саша, по каким мотивам ты решил остаться?

— Я уже сказал, Володя.

— Меня тогда не было, пожалуйста, повтори.

— Нельзя поддаваться шантажу КГБ, Комитет бросает нам кость, поднять ее — значит отступить, стать ренегатом.

— Можно яснее?

— Еще до того, как нас связали, мне и Кириллу грозило близкое заключение, папе — более отдаленное, и каждый был к нему готов. Что же изменило предложение Белова? Угроза та же, но появилась возможность ускользнуть. Это и есть кость, подброшенная КГБ. Схватить ее можно только из трусости.

Его аргументация производит на меня впечатление, так как я охотно становлюсь на точку зрения противника, пока не подберу контраргументы, а нахожу их обычно не скоро.

— Мы много подбираем косточек, — замечает Володя, — зарплату, квартиру, возможность жить. Может, и от них отказываться?

— Всему есть мера.

— Почему согласие уехать не входит в эту меру?

— Новая ситуация, новый подход, — добавляет Саша Соболев, муж Люды. — Доводы при одной непригодны для другой, сейчас ситуация заложничества.

И они правы, все по-своему правы, но я не могу разобраться, кто правее; наверное, не с того конца подходим.

— Есть и другие доводы, — говорит мой Саша. — Отказавшись ехать, мы обрываем цепь заложничества. КГБ не решится больше прибегнуть к нему, и тем, чья очередь за нами, будет легче.

— Та-та-та, — насмешливо возражает Ира Каплун, — заложничество вечно, это слишком прекрасный прием, чтобы КГБ от него отказался. Учет опыт и станет хитрее изощряться.

— И так изощренно, все мы заложники у государства. Мужа сажают, жену гонят с работы, детей не пускают в институт...

— Не те примеры берешь, к этим лишениям мы всегда готовы.

— А вот другие. Солдатов в лагере, он болен. Его сына тоже посадили, отцу обещали отпустить сына, если он, отец, подаст прошение о помиловании. Небольшая уступка, но он на нее не пошел, не подобрал кость.

— Как это «небольшая уступка»? — не сдается Ира. — Ходатайство о помиловании — это отречение от своих убеждений. От тебя это разве требуется? Уехать по принуждению — не отказ от убеждений.

— Но отказ от себя.

Опять все правы, и опять они не о том. У меня мелькнула мысль, но я ее упустил.

— Не понимаю, при чем тут Кирилл? — тихо вставляет Ляля.

А, вот она, моя мысль, теперь я вооружен, ибо проник в суть проблемы!

— Иногда приходится отступать, Саша, и жертвовать собой ради других, — продолжает Ляля.

— Это именно то, чего добиваются господа из КГБ, Адель Семеновна. Если они сейчас подслушивают, то аплодируют вашим словам.

Я оскорблен за Лялю: сблизать ее с КГБ! Скоро к таким сопоставлениям я привыкну, но сейчас возмущен.

— Бесстыдник ты говорить такое, сын мой. И вы все, извините, говорите не по сути, Адель Семеновна ближе всех подошла к ней. КГБ создал ситуацию заложничества, невыносимо тяжелую, подлую ситуацию. Знаете, из какого расчета? Что мы люди, а не мразь. И по-твоему, чтобы воспротивиться КГБ, мы должны перестать ими быть? Мы должны игнорировать КГБ и выбрать собственное решение, не смущаясь его совпадением с расчетами КГБ. Ты дышишь, как и эти господа, воздухом, так что же, в пику им ты должен повеситься?! Что тебя держит тут? Стойкость, мужество... Честь тебе и хвала, но здесь они неуместны, их покрывает иной образ мыслей и чувств. Знаешь, почему ты не можешь сойти с привычной колеи? Поддался

тщеславию. Как же, весь мир будет греметь, эфир сотрясаться: вот он, настоящий герой, необыкновенная личность! — Я задел Сашу за живое, но он не успевает мне ответить.

— Вы оскорбляете Сашу, Пинхос Абрамович! — возмущенно вскакивает Таня Осипова.

— Я знаю, что говорю, я знаю сына двадцать четыре года.

— А я всего год, но лучше вашего!

— Пожалуй, лучше, — соглашается с ней Саша. Вмешательство Тани позволило ему сдержаться, и он спокойно продолжает: — В конце концов, у вас с Кириллом есть еще выход.

Еще выход? О чем он?

— Ну да, вы можете от меня отказаться. Ты — от сына, он — от брата, и оба — от демократического движения. Как Петров-Агатов.

Поднимается такой шум, что вбегает Рэд навести порядок. Крики, покрасневшие лица, сильные жесты. Сашины слова меня не задел, он просто ответил мне зубом за зуб, я его оскорбил, он пытался отплатить тем же.

— Успокойтесь, он так не думает, хотя сказал свинство. Давайте без лишних эмоций!

Призыв в конце концов действует, водворяется тишина.

— Мы слишком глубоко копаем, — начинает Саша Соболев, — все на самом деле проще. Кириллу грозит гибель, ты, Саша, решаешь его судьбу. Берешь ты ответственность за его жизнь?

— Больше всего вас заботит жизнь, есть ценности выше.

— Жизнь — такая мелочь? — мельком вставляет Володя.

— Заботит не только его, но и твоя жизнь. Тебя совесть замучает, если с ним что-нибудь случится и ты поймешь, что по твоей вине. Я борюсь против тебя за тебя, — замечаю я.

— Не будем уклоняться, — предлагает Соболев. — Так вот, берешься ты отвечать за Кирилла?

— Он сам за себя отвечает, и, кстати, не понимаю ваших волнений, Кирилл согласен отсидеть, и я не вижу, почему должен ему мешать.

Кирилл? Сидеть? С чего он взял, что за чушь!

— Не далее, чем несколько дней назад, Кирилл мне недвусмысленно сказал, что предпочитает визу заключению, — говорю я.

— А мне не далее, чем в те же дни, и тоже недвусмысленно, что предпочитает заключение визе.

— Ты передергиваешь, Саша, он предпочитал визе политический лагерь, а уголовному — визу. С тех пор прошла вечность, он сидеть не хочет, потому что понял: предъявят 218-ю статью, в лучшем случае 190¹, но не 70-ю, по которой попадают в политический лагерь.

— Он был уверен, что перекует уголовную статью на политическую.

— Возможно, но со мной он об этом не говорил.

— В любом случае неизвестно, что он думает сейчас, и наши разговоры бессмысленны.

Трое из нас знают, что Кирилл сидеть не хочет, иначе бы не скрывался, но сказать не можем, это его секрет. Остальные несколько ошарашены: выходит, напрасно драли глотки.

— Саша! — Это Соболев будто выстрелил в тишину. — Сейчас полночь, но я беру такси, еду в Электросталь, через два часа Кирилл будет здесь. Если он скажет, что хочет ехать, ты согласишься?

— Нет! — отрезает Саша не раздумывая. Говорить больше не о чем, Кирилл заложник не только у КГБ, но и у него. Я не забуду это «нет», Саша готов распорядиться судьбой брата.

Встает Володя, его худое лицо каменно.

— Защищать тебя буду, но руки не подам!

— Минуточку! — задерживает Ира готовую удалиться троицу. — Мы ведь хотели согласовать наши заявления.

— Я не признаю коллективных решений, — обрывает Саша.

— Что же, сами справимся, — убираю наше в карман.

— Нет, что там все-таки? — любопытствует Ира Гривнина.

— Вам что за забота?

— Мы можем отойти, скажите Саше наедине, — поддерживает подружку Таня.

Вот эта игра в их манере, до нее они доросли: тайны, интриги, разоблачения, победы и поражения...

— Нет уж, раз коллективные решения отменены, будем действовать каждый на свой вкус.

— Когда пресс? — спрашивает Володя.

Саша медлит ответить.

— Завтра.

— В смысле, сегодня? Уже третий час утра. Где? — Саша мнет. — Что это, и на прессу запрет, мне нельзя присутствовать?

— Понимаешь, не я хозяин, не я приглашаю...

— Кто же?

— Андрей Дмитриевич, но я не знаю...

— Не волнуйся, с Андреем Дмитриевичем я как-нибудь договорюсь. Во сколько?

— Позвоните сами.

Троица уходит, а вскоре и Ира с Володей. Ложимся спать.

Через час — телефонный звонок.

— Доставляйте Кирилла! — Совсем как в «Золотом теленке»: «Запускайте Берлагу!»

— Что ты, Саша, уже четвертый час.

— Соболев обещал.

— Но не знал, что это неосуществимо.

— Почему неосуществимо?

— По техническим причинам, Кирилл не дома, понял?

— Понял, но зачем вы мне морочили голову?

— Ты сам себе ее заморочил. Проще отложить пресс-конференцию.

— Это невозможно.

— Как угодно, спокойной ночи.

В тот же день утром, 5 декабря, встречаемся, Володя и я, с Таней и Сашей. Берем такси и едем к Сахаровым. Наш таксист предупрежден топтуном:

— Папаша, держи скорость не больше сорока километров!

В машине показываю Саше наше заявление, прочитываю его заявление. Оно мне не нравится, но толковать об этом поздно.

У Андрея Дмитриевича — несколько корреспондентов и своих. Он открывает пресс коротким вступлением и предлагает слово Саше, но беру его я.

— Я — отец Саши и отсутствующего здесь Кирилла. Полагаю, первенство за мной. Зачитываю «Заявление для Белграда и прессы».

«1 декабря сотрудник КГБ Белов заявил мне, Подрабинеку Пинхосу Абрамовичу, и моему сыну Кириллу: "От имени Комитета государственной безопасности предлагаю вам уехать за рубеж Советского Союза через Израиль в течение двадцати дней вместе со своими семьями. Против вас, Кирилл Пинхосович, имеется достаточно материалов для возбуждения уголовного дела. Вы, Пинхос

Абрамович, также нам известны своей антиобщественной деятельностью. К вам проявлен акт гуманизма, советую им воспользоваться". В тот же день приводом по повестке к Белову был доставлен Подрабинек Александр. Ему Белов предложил в тот же срок покинуть Советский Союз, иначе КГБ даст ход уже заведенному на него уголовному делу. При этом Белов подчеркнул, что выехать Подрабиники могут только вместе.

Деятельность Александра Подрабиника достаточно известна.

Кирилл Подрабинек, автор самиздатовского очерка "Несчастные", в котором документально-биографически описываются условия службы рядовых в Советской армии, неоднократно подписывал правозащитные документы, подвергался преследованиям со стороны КГБ, в том числе задержаниям, обыскам. А в ночь с 27 на 28 ноября 1977 г. было совершено и покушение на его жизнь, закончившееся тяжелым ранением человека, который случайно замещал Кирилла Подрабиника на ночном дежурстве. У нас есть все основания полагать, что покушение было организовано КГБ. Открытое заявление об этом было сделано как Подрабинеким, так и группой его друзей.

Подрабинек П.А., член редакции намеченного к изданию независимого научного журнала, также подписывал обращения к мировой общественности и подвергался преследованиям (обыскам, задержаниям).

Особенность данного случая заключается в применении органами КГБ системы заложничества. Ни один из нас не может распорядиться своей судьбой самостоятельно, и решение судеб трех людей возложено КГБ только на Александра Подрабиника, в чьем отъезде больше всего заинтересованы власти.

Мы категорически отказываемся принять такие условия и настаиваем на своем праве самостоятельно делать выбор. Мы призываем мировую общественность и участников Белградского совещания помочь нам отстоять это свое естественное человеческое право: решать свою судьбу и не быть заложниками».

Корреспонденты кое-что записывают, но особенного интереса не проявляют — не та фигура. Зато с большим вниманием и симпатией слушают Александра. Он хорошо им знаком и пользуется их благосклонностью. Он читает:

«Ответ

Вечером 1 декабря сотрудники московского КГБ втолкнули меня в машину и отвезли в свою приемную на улицу Дзержинского для "беседы". Начальник одного из отделов КГБ Ю.С. Белов от имени Комитета государственной безопасности предложил мне в течение двадцати дней покинуть пределы СССР. Вместе со мной могут уехать мой отец со своей женой, мой брат с женой и ребенком.

Выезд должен быть оформлен через Израиль, причем мне дали понять, что отсутствие вызова от родственников и денег на визу и дорогу не будут служить нам препятствием. Мне также было объявлено, что если я не уеду, то буду арестован и против меня будет возбуждено уголовное дело. Более того, в этом случае будет возбуждено дело и против моего брата Кирилла. Однако мне сказали, что ему разрешено выехать только вместе со мной. Таким образом, он стал заложником. Я бы хотел привлечь внимание мировой общественности к тяжелому положению моего брата и к подлой тактике КГБ — тактике запугивания и террора. Несмотря на то что весь мир осуждает практику угона самолетов и захвата пассажиров в качестве заложников, КГБ использует в отношении моего брата такой же метод — метод, принятый у террористов. В осложнившейся ситуации самое тяжелое для меня — судьба брата.

В КГБ мне настоятельно советовали воспользоваться этим, как они выразились, "гуманным актом советского правительства". Я рассениваю это предложение как откровенный шантаж.

Мне дали на размышление четыре дня, 5 декабря я должен дать ответ. И я отвечаю:

Я не хочу сидеть в тюрьме. Я дорожу даже тем подобием свободы, которым пользуюсь сейчас. Я знаю, что на Западе я смогу жить свободно и получить наконец настоящее образование. Я знаю, что там за мной не будут ходить по пятам четверо агентов, угрожая избить или столкнуть под поезд. Я знаю, что там меня не посадят в концлагерь или психбольницу за попытки защищать бесправных и угнетенных. Я знаю, что там дышится вольно, а здесь тяжело, и затыкают рот, и душат, если говорить слишком громко. Я знаю, что наша страна несчастна и обречена на страдания.

И поэтому я остаюсь.

Я не хочу сидеть за решеткой, но и не боюсь лагеря. Я дорожу своей свободой, как и свободой своего брата, — но не торгую ею.

Я не поддамся никакому шантажу. Чистая совесть для меня дороже благополучия. Я родился в России. Это моя страна, и я должен остаться в ней, как бы ни было тяжело здесь и легко на Западе. Сколько я смогу, я буду и впредь пытаться защищать тех, чьи права так грубо попираются в нашей стране. Это мой ответ. Я остаюсь».

Заканчивает он свое выступление словами, которые не внес в заявление: «Если брат меня попросит, я соглашусь уехать». Тут до меня доходит смысл этой маленькой хитрости. В письменном тексте этих слов нет, и перед миром он остается Александром Несгибаемым, а друзья теперь знают, что у него и доброе сердце, готовое на жертвы. Ну и ну. Смотрю на него и дивлюсь: многому же он научился за последнее время. Кстати, уловка не удалась, не сбылись и мои упования. Мое заявление просто нигде не прозвучало, кроме этой комнаты. Оно и в самом деле бесцветно, даже не совсем грамотно, было не до того. Его «Ответ» блистателен по форме, я даже порадовался, что он так хорошо пишет и говорит, энергия, страсть проникают в душу. Жаль лишь, что злоупотребляет личным местоимением: у меня — ни одного «Я», у него — двадцать два. А не повезло потому, что корры таки ввернули заключительные слова. Ни он, ни я, да и никто из присутствующих не подозревал в то утро, насколько они пагубны, в какой скверный узел стянулась опутавшая нас веревка. Только несколько дней спустя мы поняли, что этими словами Саша принял личную ответственность за решение проблемы, тогда как в моем заявлении она обозначилась как общая в равной степени для каждого.

10 декабря собираюсь утром на работу и остановлен у порога квартиры тем же молодым человеком, который несколько дней назад предлагал проехаться на Дзержинку.

— Опять повестка?

— Пинхос Абрамович, в ваших интересах провести сегодня день дома.

— Какая трогательная забота. Это что, домашний арест?

— Нет, просто так, не советую выходить.

— А если выйду?

— Будем вынуждены вас проводить обратно.

С ним еще один, постарше, они устраиваются на лестничной площадке. Лида выносит им стулья, предлагает шахматы. От шахмат отказываются, один стул на двоих с благодарностью принимают.

Следовало бы заставить их водворить меня в квартиру, но я не чувствую злости и водворяюсь сам.

На Лиду запрет не распространяется, она идет за покупками, оповещает знакомых, чтобы не заходили, звонит в Москву и узнает, что под арестом двадцать два человека. Ясно, хотят сорвать сегодняшнюю демонстрацию. В восемь вечера арест снят, едем к Спартакам.

На следующий день звонок Кирилла. Просит встретиться «где обычно». Где это «обычно», не знаю, но, выйдя на улицу, вижу его у остановки.

— Так ты скрываешься?

— Ты же хотел повидаться!

— Верно, чтобы ты при всех на пресс-конференции заявил о своем желании уехать. Момент упущен, но мы должны об этом поговорить.

Предвижу нелегкую борьбу. Он хочет уехать, но просить об этом Сашу не будет, а тот без такой просьбы не согласится на наш отъезд. Он готов остаться, если 218-ю статью можно сменить на 70-ю, но кто же ему ее обеспечит! Ему очень трудно, от меня требуется много терпения, чтобы распутать узел противоречий, а у меня оно на исходе. Начинаю издали, с времяпрепровождения в укрытии, и то, что он рассказывает, меня раздражает. Соседская бабка знает, что он племянник хозяйки квартиры, на столе у него телефон, по которому он отвечает.

— Это не конспирация, а игра в нее.

— Что я могу поделать, если мне звонят сама хозяйка из санатория и девушка, которая приносит еду? Кто позвонит, заранее не знаю, приходится всем отвечать.

Не то досадно, что нет конспирации, а то, что он сам это понимает, следовательно, не отдохнул, так же тревожен. Оглядывается по сторонам, выбирает глухие переулки, говорит шепотом и меня одергивает. При этом уверен, что полностью владеет собой и просто осторожен.

— Я вчера приходил на демонстрацию, смотрел издали, с Тверского бульвара.

Смешно и досадно, полная утрата чувства реальности — конспиративная квартира и... демонстрация!

— Кирилл, что будем делать?

— Пока что скрываться.

— Хорошо, но почему бы тебе не подать заявление о выезде? Может быть, нас только запугивают и, если упрямо делать вид, что нет заложничества, его уберут? Без всякого согласия Саши.

— Его я просить не буду ни в коем случае! — Одна мысль о разговоре с ним выводит Кирилла из себя. Он останавливается, крепко сжимает мне локоть и с болезненной усмешкой, кривящей губы: «Вот где у меня Саша!» — свободной рукой тычет себя в кадык. — Порядочный человек не спрашивает у заложника его согласия на отъезд, а эгоиста незачем просить!

— А мой план?

Молчит, проходим квартал, другой... уже думаю, что он забыл мой вопрос.

— В этом что-то есть, — медленно произносит он.

— Так позвони Белову.

— Сегодня воскресенье.

— Передай дежурному и попроси доложить Белову.

Он звонит из телефонной будки по коммутатору КГБ, узнает телефон дежурного, затем настаивает на автобусе, проезжаем несколько остановок, выходим, звоним дежурному. Тот советует обратиться к самому Белову, бежим к станции метро, проезжаем под землей три станции. Звоним Белову, которого нет на месте, и новая пробежка. Звонок дежурному, и бежим от будки.

— Обещал передать мое заявление, завтра узнаю ответ и сообщу тебе.

На следующий день от Кирилла ни ответа, ни приветя. В час ночи от него звонок в дверь, в Электростали.

— Ну, что Белов?

— Предложил оформить документы, о совместном отъезде ни слова.

— Вот видишь, может, обойдется.

— Тогда зачем мне скрываться?!

— И я так думаю.

Он идет домой, и я вижу наконец какой-то порядок в его поведении. Конечно, он не торопится, это не в его привычках, но заявление подано, анкета получена и заполнена, справка о нашем с Любой (жена Кирилла. — А.П.) отказе от материальных претензий оформлена, ждем.

С женой Любой у него тяжелые переговоры. Она категорически отказывается с ним ехать, но обещает присоединиться, когда он устроится с жильем и работой. Делаем вид, что верим ей.

Рассказываю ему о битве с Сашей, о том, что Спартак просил его не бывать в его доме. Кирилл сообщает, что диссидентский стан разбит на Монтекки и Капулетти. Ведем длинные разговоры, так как мы изрядные трепачи.

Я стараюсь подготовить его одновременно к двум испытаниям: отъезду и лагерю.

— Что бы ты стал делать за границей?

— То же. Дел, папа, везде хватает. Попутешествовал бы и взялся...

— За работу и учебу, — вставляю я.

— ...за какое-нибудь правое дело. Познакомился бы...

— С русскими эмигрантами.

— Нет, я довольно наслышан об эмиграции, недавно перечел Герцена. В каждой стране нужно заниматься ее делами.

Вдруг он вспоминает:

— Не понимаю, что они на меня взъелись?

— Кто, Кирилл?

— Понимаешь, странный мне упрек бросили в Сашиной компании. Стыдно, говорят, уезжать. — Так я же, отвечаю, не в космос, на земле остаюсь, с людьми! — Ты покидаешь свою страну! — Для меня своя всякая страна, где нахожусь, контрактов не подписывал, обязательств оставаться здесь навечно не давал. — Но в такое тяжелое время покидать единомышленников, друзей... хорошо ли? — Покинуть, говорю, все равно придется, так лучше на Запад, чем на Восток! Как думаешь, я прав?

— Имеешь право так думать и поступать. Что же они?

— Всё свое, стыдят: не имеешь права. Меня наконец разозлило: «Что же вы молчали, когда уезжали Турчин, Ходорович, Любарский, почему их не порицали?» Так знаешь, нашлись такие, которые их признали отступниками. Твое мнение?

— Думаю, что они правы.

— Вот это мило, ты сам себе противоречишь... и зачем меня уговариваешь, если ты с ними заодно? — Он с силой выталкивает носом воздух — признак большого неудовольствия.

— Не фыркой и успокойся. Те, кого ты перечислил, лидеры. Они связаны с людьми обязательствами. Неважно, что они их не давали,

обязательством была их общеизвестная деятельность, на них надеялись, их отъезд ослабил движение, подточил силы оставшихся, посеял сомнения и колебания.

— Что же, лидерам загибаться в тюрьмах и лагерях?

— Тюрьмы и лагерь — тоже поле боя, и более суровое, при мужестве — более плодоносное. Прежде чем брать ответственность за других, нужно, наверное, рассчитать свои силы. Это ведь не то что вскочить в другой автобус: «Ах, извините, ошибся». У тех, что ты назвал, был другой, более пристойный выход. Делидировать, отступить в тень, смешаться с рядовыми, после этого — скатертью дорога!

— А рядовому можно?

— Конечно, даже хорошо, как форма протеста. Ты как, еще не метишь в лидеры? — Он отмахивается руками и головой. — Вот и хорошо, тебе можно ехать, а учитывая обстоятельства, так даже необходимо.

— А Сане?

— Лидер, не лидер, но что-то вроде, фигура видная. Ехать он обязан по другим соображениям, но ему для отъезда не хватает мужества. Что так удивленно смотришь? Чтобы оставаться порядочным наперекор общему мнению друзей, требуется больше мужества, чем для сопротивления противникам и эффектного геройства.

— Что же ты скажешь о тех, кто метит в лидеры, чтобы уехать?

— Ничего хорошего. Я бы отказников в Хельсинкскую группу не допускал. Хочешь в Израиль — валяй, но при чем тут демократическое движение? Хельсинкская группа все-таки не эмиграционное агентство!

— Ну, это ты слишком... и почему не скажешь им прямо?

— Ты забываешь, что у отказников много свободного времени, и нет ничего плохого, если они используют его на общее дело.

— Вот бы и образовали собственную группу, нечего путать божий дар с яичницей. Занимая представительное место в Хельсинкской, они оставляют после себя дыру.

К лагерю, увы, подготовить его не могу, я и сам не верю, что ему там будет хотя бы сносно. Да и собственного опыта нет. Ограничиваюсь общими советами не позволять себя третировать, но и в бутылку не лезть. Кончаю так:

— Пойми, Кирилл: либо требуй у Саши отъезда, либо готовься к лагерю.

Молчит, видимо, надеясь на еще какой-нибудь выход. Тщетность этой попытки подтачивает его силы, просить Сашу уехать он не хочет и не будет, это уже вопрос самолюбия. Каждому трудно отступить от занятой позиции, изменить сделанным заверениям, и потому братья ожесточены друг другом, а я мечусь между ними, стараясь что-то сгладить, примирить, одинаково страшась потерять каждого из них, хотя умом и совестью на стороне Кирилла. Я знаю, что они встречаются, и мне инстинктивно не нравятся поездки Кирилла в Москву, я догадываюсь, зачем он видится с Сашей. Он еще не отказался от идеи перебраться с уголовной статьи на политическую, кто же ему лучше поможет, чем брат? Кирилл пишет и раздает заявления, проталкивается в печать, ему хочется пресс-конференции.

Сейчас для этого на редкость неудачное время. С тех пор как переговоры с США по разоружению обрели перспективу или видимость перспективы, интерес к инакомыслящим значительно упал. Корры попрятались, эфир набрал воды, и через нее пробулькивают очень короткие, выдержанные сообщения. Лишнее доказательство конъюнктурного интереса заокеанских поклонников прав человека к нашим делам.

«Если бы я действительно совершил уголовное преступление, разве мне предоставили бы возможность эмигрировать на Запад? Разве уголовников когда-нибудь принуждали покинуть страну? Эта инсценировка с патронами, этот шантаж с выездом за границу явно показывают политическую подоплеку моего дела», — писал Кирилл еще 7 декабря, вот что ему хочется довести до общего сведения. Совершенно справедливо и абсолютно бессмысленно, однако он упорствует, и я догадываюсь, что Саша поддерживает в нем эту надежду. Но как я могу врываться в их секрет? Так Кирилл и живет в эти дни, раздираемый несовместимыми желаниями: получить с помощью Саши политический статус и от него же — добровольное соглашение на их совместную эмиграцию.

Я держал письмо, написанное ему в те дни Сашей. Кирилл показал мне его в минуту отчаяния, не выпуская из рук, а справившись с собой, тут же убрал. Начиналось оно обращением «Дорогой Кирюша!» Так Саша редко его называл. Он объяснял, что отъезд для него «смерти подобен», убеждал быть с ним заодно, предупреждал, что в случае совместного отъезда они расстанутся еще в Вене. Он, Александр, возненавидит брата, никогда его не простит и не будет

с ним иметь ничего общего. Такую угрозу, кстати, он как-то и мне предъявил. Я ответил, что предпочитаю ненависть одного сына, чем смерть другого.

Как унылы эти дни, как тягостно ожидание печального конца! Судьба, в порядке развлечения, посылает нам небольшой подарок: у нас объявляются в США родственники!

Получаем, преимущественно в адрес Саши, сначала по две-три телеграммы в день. На английском, со всеми знаками препинания простыни. Первым телепроходцем выступает Даниэль Робисон из Нью-Джерси: «Из значительной части радиопередач и газетных сообщений относительно Вас мы узнали здесь, в США, что мы имеем чудесного родственника в СССР, которого мы горячо желаем пригласить сюда со всей семьей. Твое имя было изменено, когда твои предки прибыли в Балтимор, иммиграционными властями. На английском оно звучит как Робисон. Знайте же, что большая и крепкая семья родственников, чьи деды были Подрабинеками из Вильно, горят желанием сердечно тебя приветствовать со всей семьей с искренним восхищением и уважением. Мы рассеяны по всей территории США и владеем многими профессиями, включая юристов, медиков, психиатров, ученых и гуманитариев. Пожалуйста, свяжитесь с нами. Здесь, в США, ты можешь быть чрезвычайно полезными расширять Права Человека в духе Хельсинки». И в чисто американском стиле: «Хорошо бы сделать удачную радиопередачу или очерки в газетах, это даст нам возможность в своей стране сказать, что у нас в СССР замечательный родственник. Только нашего поколения существует более 40 преемствующих Подрабинек».

Занятое, до глупости наивное послание. И ведь какой размах, поистине американский: сотни долларов не пожалел Даниэль Робисон из Нью-Джерси на телеграммку! Знал бы он, как относится «чудесный родственник из СССР» к идее «быть чрезвычайно полезным и расширять права человека в духе Хельсинки» за пределами своей страны! Саша хмуро отбросил телеграмму и на вопрос, будет ли отвечать, пожав плечами, разрешил мне поступить по моему усмотрению, такой ерундой ему заниматься некогда.

Приходят телеграммы и от Эммануэля, Леонарда, Джойс, Морриса, Роберта Робисонов, от Джонатана Робисон-Подрабинек-Броди, увешанного фамилиями, как испанский гранд именами, от

Бетти Робисон-Мюллер, Говарда Кана, Джона Фелстинера. Особенно трогательны две телеграммы.

«Пожалуйста, приезжайте и дайте нам всем возможность познакомиться друг с другом, может быть, как родственники и уже наверняка как люди», — пишет Бетти.

Что же, ее чаяния сбылись. Несколько дней спустя из письма одного из Робисонов мы узнаем, что в честь своих родственников в СССР человек двести клана съехались в Вашингтон, где лучше узнали друг друга и устроили посвященную нам маленькую семейную демонстрацию перед Капитолием. Поистине, красиво жить не запретишь!

А вот другая: «Желание выжить действительно сильно, но желание служить другим может быть еще сильнее. Я приглашаю Вас, дорогой друг, и родственников приехать в Америку, где Ваша свобода даст Вам неограниченные возможности служить всему человечеству. Контакт — с Даниэлем Робисоном. Моррис Робисон, бакалавр». Думал было ответить: «Дорогой Моррис! При неограниченных возможностях и стараться незачем. Приезжайте служить человечеству к нам и лучше поймете коллизию между желанием выжить и служить другим. Бакалавр Пинхос». Да вот денег нет на телеграмму, и цензура не пропустит.

Была даже телеграмма на испанском от профессора Аниты Робисон-Фальк, которую я себе немедленно вообразил хорошенькой и с гитарой.

По мере накопления телеграмм Кирилл передавал их Саше, тот оставался к ним равнодушен, а я, считаясь с долгом вежливости, отгрохал общую ответную телеграмму, изрядно облегчив свой карман. Ответа я на нее не получил, КГБ позаботился, чтобы она до родственников не дошла.

В один из последних дней декабря, кажется, заходит к нам Люба. На имя Кирилла пришла повестка из городского управления милиции.

— Не застали меня дома, приходили снова и снова, пока не вручили.

— Машины, топтуны были?

— Нет, ничего такого.

Кирилл в Москве, даю ему знать. Приезжает, обсуждаем и приходим к выводу, что нужно идти. А что еще делать, опять «скрывать»

ся»? Не пойдешь добровольно — приведут, себе дороже. Кирилл спокойно отправляется домой, получает повторную повестку и на следующий день отправляется в милицию. Знакомится со следователем Рацыгиным, который составляет первый протокол допроса и вручает ему подписку о невыезде. Тут же появляется Белов, не поленившийся приехать из Москвы. Он стоит в сторонке и приглашает Кирилла подойти.

— Что, разрешен отъезд? — шутит Кирилл.

— Какой же отъезд, когда начато расследование уголовного дела... Впрочем, — добавляет Белов, садясь в свою черную «Волгу», — уговорите брата уехать, и наше соглашение остается в силе. Срок — три дня.

Кирилл тоже едет в Москву, но не один — он тоже обзавелся механизированной охраной. Встречается с друзьями и Сашей. Пока братья беседуют, их топтуны знакомятся, совсем как лакеи знатных господ. Играют в снежки, охрана на охрану, отстаивая цвета своих вельможных подопечных. В тот же день Кирилл возвращается в Электросталь и приглашает меня на пресс, который наконец состоится 26 декабря.

Он опять тревожно возбужден и вместе с тем в какой-то мере удовлетворен: гэбисты уголовников не пасут! Тешься, сын, скоро знаки различия с тебя сорвут, и дай Бог, чтобы воспоминания о них согревали тебя в заключении.

На предполагаемом прессе малолюдно, шесть-семь человек молодежи, но не по-молодому тихо, какая-то неловкость. Это я ее принес с собой, я, противник доблести и славы, трусоватый отец, портящий великолепный сценарий посадки двоих отважных сыновей.

Юра Гримм, хозяин квартиры, старается разрядить [обстановку]. Усаживает всех за стол, предлагает закуски, вина. Намеченный час миновал, корров нет. Выходим с Ирой им звонить. Один занят, другой отдумал, третьего не разыскать — понятно, дело не сенсационное, чего ради на него тратить время. В общем, пресс сорван, Кириллу и в этом отказано.

— Обойдемся без пресса, суть, в конце концов, довести заявление до органов информации, а не в церемониях, — бодрится Ира и отправляется с Кириллом в обход пресс-центров. Идти с ними отказываюсь, у меня непреодолимая неприязнь к профессионалам от пера и политики. Вам нужно — пожалуйста, приходите, получайте

информацию, которой я сочту полезным поделиться, но просителем я не буду.

На следующий день узнаю от Иры, что один из них тотчас повернул, когда увидел сопровождающую их машину. Другой оказался храбрее и принял заявление.

— Вы хотите уехать? — спросил он, не вдаваясь в объяснения. Кирилл, поколебавшись, ответил:

— Да!

На следующий день, 28-го, прямо с работы захожу к нему домой. Встреча без радости, без надежд. Разговор не получается, игра в шахматы не получается. Сидим, молчим. Назавтра — то же. Идем в детский сад за Ильюшей.

В холле просматриваются с одной стороны улица, с другой — двор. Среди топтунов подозрительное оживление. Смотрим с Кириллом друг на друга. Он делает несколько шагов к окну во двор.

— Бесполезно, Кирилл, дом несомненно оцеплен.

Выходим, он с Ильей в сопровождении топтунов идет на почтамт. Он оглядывается, машу ему рукой, он мне. Забирать его будут, когда он отведет Ильюшу домой. Через полчаса, в семь вечера 29 декабря 1977 года Кирилл арестован.

Следователь Рацыгин объясняет, впрочем, что это пока не арест, а задержание, Кирилл в КПЗ. Видеться с ним нельзя, передать можно только сигареты.

— Тем более, — добавляет Рацыгин, — что он объявил голодовку. На работе меня вызывают к телефону. Саша.

— Андрей Дмитриевич просит тебя вечером приехать к нему.

Мне уже то не нравится, что просьбу Сахарова передает он.

— Чего ради, Кирилл уже сидит. Разговоры опять разговаривать?

— Ты неправ, еще не все потеряно, он только задержан. Хочешь, поедем вместе.

Нас ждут Татьяна Михайловна <Великанова>, Наум Мейман, Ира <Каплун>, еще кто-то, не помню.

— Наверное, я должен сказать, как представляю себе случившееся, — и без задержки выпаливаю, что на душе и в мозгах. Не щажу Сашу, осыпаю его упреками. Понимаю, что в доме академика уместна сдержанность, но, черт возьми, я не диссертацию защищаю, а второй день голодающего сына. Не знаю, как далеко бы зашел, но неожиданное обстоятельство остужает мой пыл.

Андрей Дмитриевич сидит, прикрыв лицо рукой, — признак сосредоточенности, как я мельком подумал. Вдруг, еще раз взглянув, замечаю, что между большим и указательным пальцами выглядывает его глаз. Он внимательно, со спокойным любопытством меня разглядывает. Продолжаю говорить, но возвращаюсь к этому взирающему на меня без всякого смущения одинокому глазу, отвлекаюсь этой странностью и вскоре умолкаю.

Бывает, много наслышан о человеке, его словах, поступках, и вдруг мелочь раскрывает его перед тобой полнее, чем долгое знакомство. Мое с Андреем Дмитриевичем — самое поверхностное. Как всем, разумеется, мне известна его правозащитная деятельность, но в отличие от многих, если не большинства, единомышленников я от него не в восторге, и чем дальше, тем меньше он мне нравится, и потому не ищу сближения с ним. Но об этом ниже, не хочу сбиваться с темы, речь о задумчиво уставившемся на меня глазе.

Все мы не прочь украдкой отметить выражение чьего-либо лица, но, застигнутые врасплох, отводим взор, словно провинились. Только малые дети нестеснительно разглядывают лица, и эта непосредственность у взрослого меня подкупает, хотя необычностью сбивает с толку.

Саша кратко повторяет свои аргументы. С большим достоинством игнорирует мои нападки и выглядит как отец, дающий сыну предметный урок выдержки.

— Не понимаю, — говорит Елена Георгиевна <Боннэр>, — никогда не понимала и не пойму такую позицию. Мы прилагаем массу усилий, большей частью бесплодных, чтобы выволить из заключения людей, а вот появляется возможность предупредить посадку и — не воспользоваться ею! — Она говорит медленно, словно размышляя вслух. — И потом, — продолжает она, — мы что, по-большевистски смело в бой идем и как один умрем? .

— Знаем, Елена Георгиевна, вы бы всех спровадили на Запад! — вставляет Саша.

— Верно, всех бы прогнала, — смеется она. — Ты напрасно ждешь поддержки Запада, Саша, он тебя не поймет, я тоже.

Елену Георгиевну Боннэр я недолюбливаю. Ее важные манеры, снисходительно уверенный тон скрывают, мне думается, скудость мышления. Для меня она только жена Сахарова, и я удивлен значе-

нием, которое ей придают в Хельсинкской группе. То, что она сказала с таким апломбом, — цинично и за тридевять земель от проблемы, которую она действительно не понимает и не поймет.

«Всех на Запад» как цель демократического движения?! Она явно путает ее с собственной, а взаимопонимание с Западом мне представляется образцом холуйства.

— Вы, Саша, словно выбираете, между тем выбора у вас нет, отъезд — единственно достойный для вас выход, — говорит Андрей Дмитриевич с определенностью бесспорной мысли. Он, очевидно, приписывает упрямство Саши недоразумению, которое рассеется. — Совершенно неважно, что Кирилл, которого я, кстати, не знаю, не просит вас уехать. Вы обращаете внимание на несущественное и отвлекаетесь от сути проблемы. Она в том, что, как человек нравственный, вы теперь обязаны согласиться на отъезд.

— Почему «теперь»? — спрашивает Саша.

— Потому, что связали себя заключительными словами своего заявления. Помните? «Если Кирилл меня попросит, я уеду», — писали вы. Пока брат колебался, можно еще было медлить, но поскольку теперь он определенно хочет ехать, вам невозможно оставаться, дожидаясь его просьбы к вам.

Саша мрачнеет, аргументация Сахарова ему не нравится.

— Почему же, Андрей Дмитриевич, вы согласились с моим заявлением, когда я Вам его зачитал перед пресс-конференцией?

— Ваше заявление и тогда не понравилось, но мне казалось, решение полностью согласовано в семейном кругу. Теперь я в этом сильно сомневаюсь.

Саша немного медлит, затем спрашивает:

— Андрей Дмитриевич, к вам обращались люди, которые, выйдя от вас, не возвращались домой, они исчезали, их убивали. Разве это мешает вам продолжать свою деятельность?

Ошеломительной дерзости удар. Ждем, затаив дыхание. Жесткий вопрос, нисколько не оправдывая Сашу, ставит под сомнение моральное право Сахарова судить об его нравственности. «О, Саша, на сильные же ты способен приемы!» — думаю я.

Андрей Дмитриевич взволнован, он тоже такого не ожидал.

— Саша, мне больно это объяснять. Когда я понял, что могу невольно быть причиной несчастий, то категорически отказался от посещения незнакомых людей. Это вам известно.

— Вас шантажировали внуком, Андрей Дмитриевич, это же вас не остановило.

— Я выпроводил его, Саша, это вам тоже известно.

— А если бы потребовали вашего отъезда, взяв внука заложником?

— Ни минуты не раздумывая, уехал бы.

После всего сказанного трудно оставаться на своем, тем не менее Саша говорит:

— Я остаюсь.

Напрасно Мейман взывает к логике, выстраивая ряды и блоки доказательств.

— Неужели вы не видите, что все доводы разбиваются об его эгоизм? — выходит из терпения Ира. — Ему вскружила голову слава, и он от нее не откажется!

— Я знаю, как тебя манит Запад, ты без оглядки бы туда помчалась.

У Иры от обиды розовеют носдри и глаза, она вскакивает и будто хочет ударить нахала, и тот будто пугается и заслоняет рукой лицо, я будто удерживаю занесенную Ирой руку.

— Не знаю, Саша, как вы сможете жить, — говорит Андрей Дмитриевич, — если с Кириллом случится несчастье, вам останется только в петлю влезть!

— Саша прав! — Поворачиваюсь на голос Татьяны Михайловны. — Кирилл не ребенок, он знал, на что идет, и нам незачем за него домысливать. Я лично благодарна Саше за его решение.

На этом расходимся.

Иду к Спартакам, ищем возможности помочь Кириллу. Прошу Иру составить протест против его ареста, соберем, как водится, под ним подписи. Проку мало, но ничего другого не остается.

Еду домой, нужно передать Кириллу сигареты, узнать, как он там. Сигареты принимают, говорят, продолжает голодовку, от теплых вещей отказывается. На следующий день — то же, в первый день нового года — то же. А вечером узнаем, что нам ввали, Кирилл не в КПЗ, его перевели в городскую больницу: что-то с сердцем. Он только что, в минувшем году, лежал в ней с миокардитом, последнее время плохо себя чувствовал, голодовка и холод в КПЗ его доконали.

Пока Лидия Алексеевна прощупывает обстановку в больнице, продельваю то же за ее стенами. Вспоминаю расположение палат.

Ну да, вот эти крайние, одна над другой по этажам, — это бельевые кладовки, соседние — изоляторы, не в общую же палату его поместили!

Крикнуть ему? Взбаламучу народ. Забраться по водосточной трубе на один балкон, на другой, третий? А дальше? Прыгать на виду, дотягиваясь до окон? Спокойнее, хорошенько подумаем. По всей вероятности, он в терапевтическом отделении, на втором этаже. Снимаю пальто, бросаю плотный комок снега, попадаю в окно кладовки. Оглядываюсь — никто не заметил? Повторяю попытку. Есть, попал! Как чертик из коробки, над подоконником подскакивает Кирилл. Приветствуем друг друга, пожимая собственные руки, затем он тычет себе пальцем в рот и качает головой. Не ем, мол, голодаю. Мотаю своей, но не поворотами, а наклоном от одного плеча к другому: ай-ай-ай, плохо делаешь, брось! Потом накидываю на себя пальто и под прикрытием куста пытаюсь объясняться с ним известной азбукой пальцев. Оно бы и пошло, но он их не различает в моей темноте; находясь на свету, сам подает знаки, путается, и я ничего не могу понять. Приглашаю его ладонью успокоиться, но тут кто-то возникает рядом со мной и я убираюсь. Ничего, контакт налажен, завтра приду с фонарем, побеседуем по азбуке Кропоткина. Теперь, если он захочет, постараюсь ему устроить побег.

Как потом выяснилось, весь следующий день он проторчал у окна. Рехнулся, что ли, стану я на виду у честного народа конспирировать! Вечером, едва снежок хлопнулся о стекло, над подоконником появляются двое: Кирилл и страж, оттаскивающий его от окна. Все, побег провалился, замысел удушен в зародыше собственными руками!

Лидия Алексеевна узнала, что голодовку он продолжает, от лекарств отказывается, его сторожат круглосуточно, даже врач его осматривает под их бдительным надзором. В больнице распространяется слух, что Кирилл — крупный шпион.

На следующий день у Рацыгина узнаю, что Кирилл переведен в Москву, в «Матросскую Тишину», где его будут насильственно кормить и лечить предынфарктное состояние.

«Матросская Тишина»... Как странно возвращение на круги своя... Сорок лет назад мы приходили сюда с мамой узнавать о судьбе отца. Выстаивали в мороз длинные очереди родных «врагов народа», чтобы услышать в окошко «Нет» и «Зайдите через месяц».

Опять зима, и я снова здесь. Как в больном бреду, повисло над Россией остановившееся время, пожирая поколение за поколением отцов, сыновей. Впрочем, есть и перемены: тогда камни мостовой гулко внимали шагам невесть откуда явившихся и неведомо куда исчезающих призраков, сейчас они забраны асфальтом, кругом тюрьмы — застройки, и она прячется среди них как скромная особа без претензий.

Заботу о передачах Кириллу берут Сусанна и Люда, а мы с Ирой начинаем сбор подписей. Это неспорное дело, Ира больна, ее лихорадит, она осунулась, ей бы лежать на полученном больничном, но она, пересиливая, ходит, ездит, и мы разговариваем, разговариваем с людьми, потому что ведь надо объяснять, в чем суть необычного заявления. Не помню его подробностей, в памяти осталось лишь, что оно прямое изложение фактов, краткая аннотация истории одного заложничества. Пока она была изустной, она ни к чему не обязывала, каждому было вольно ее размазывать, сдабривать, подслащать. На бумаге она сурово глядит в глаза, и многие перья, готовые опуститься, нерешительно замирают, так и не оставив следа в виде подписи.

Круг знакомых правозащитников ранее медленно у меня расширялся, я не искал новых лиц. В эти дни охоты за подписями мне пришлось встречаться со множеством новых, Ира хорошо знала правозащитную Москву. Предложенное заявление иногда подписывалось или отклонялось с ходу, но большей частью приходилось объясняться. Я избегал полемики, но, отвечая на вопросы, поневоле втягивался в нее, приходилось много говорить. Что делать, взял авансом недельный отпуск, авось справлюсь с разговорами.

Коллебания, как я понял, большей частью вызывались опасениями оказаться в меньшинстве, по ту сторону мнения авторитетов. Люди, без оглядки подписывающие резкие протесты властям, не осмеливались самостоятельно решить вопрос предельной, на мой взгляд, ясности. Конечно, было выгодным сначала заручиться подписями хоть нескольких известных правозащитников, но мне претила эта мысль, и мы придерживались адресного удобства. Отказ часто аргументировался нежеланием нарушить единство движения, разбивки на Монтекки и Капулетти, по словам Кирилла. «Мы недостаточно сильны, чтобы позволить себе роскошь расслоения, иначе говоря, я мысленно с вами, но подписываться под своим мнением не буду».

— Но не о нравственности ли мы постоянно толкуем, как основе нашего единения? Чего же стоят заверения, если конкретный вопрос этики упирается в сомнения политического свойства? — недоумеваю я.

Арина Сергеевна Гинзбург решительно откладывает ручку.

— Не могу, что-то не так, — она перечитывает заявление, пробует придаться к одному, другому, но понимает, что не к чему. Ее гнетет факт: любимец Саша не едет, а Кирилл сидит, и потому она расстроена. — Я должна с ним еще поговорить!

Кое-кто предлагает расширить заявление, изложить его во всех подробностях.

— Тогда оно будет с книгу, — отвечаю я, и у меня зарождается мысль о ней.

Заезжаем к Зиновьеву. Особой надобности нет, он коллективных заявлений не подписывает, но хочется знать мнение автора знаменитых «Зияющих высот».

Александр Александрович принимает ванну, нас занимают его жена, изящная молодая женщина, и дочь пяти лет. Из ванны врывается в разговор фыркание и плеск воды, словно там купается морж. Александр Александрович выйти не торопится, зато появляется в роскошном домашнем халате. Он выглядит гораздо моложе своих лет. «Я тоже, когда помоюсь», — утешаюсь я.

Ира с ним знакома и представляет нас, Лидию Алексеевну и меня. Просим его высказаться.

— Я думаю, завершается период значительный и плодотворный, но, как всё на свете, имеющий конец. Нынешняя форма демократического движения себя пережила и разумно не упорствовать, а по возможности сберечь силы. Их не так много, и каждая жизнь драгоценна. Это, если хотите, логический подход к вопросу.

— А нравственный? — спрашиваю.

— Он совпадает с логическим. Для меня несомненно, что поступок Александра аморален, так как бесцелен.

Я настолько ошеломлен словами мэтра, что вырубаясь из разговора.

Конечно, нравственность со временем меняет формы, но чтобы так, в зависимости от текущей обстановки, — это вовсе не признавать ее, в лучшем случае, ее приоритета. «Ты еще циничнее своих блестящих произведений», — неприятно думаю.

Он же между тем развивает систему эшелонированного отступления. «Небось наострился на Запад, — приходит в голову, — вот откуда твои сиюминутные убеждения», — продолжаю мысленно шпынять его. Я не ошибся: он вскоре отвалил в Западную Германию.

— Я сам по себе, — объясняет он. — Когда капитан Солженицын обслуживался денщиком, я уже был знаком с Лубянской, неприятности не обходили меня и в дальнейшем, так что, видите, я практически доказал свою позицию правозащитника. Слабые связи дают мне духовную свободу, я не теряю скованности и хорошо себя чувствую один.

Опять собственная свобода, сиречь своеволие, а справедливость?

Иначе складывается с Георгием Николаевичем Владимовым. У этого человека, видимо, неистощимое терпение. Когда я звоню ему от Спартаков, на кухне обычный гвалт, и, сбиваясь, я кричу в трубку, что его хочет видеть сын Александра Подрабиника. Раздавшийся хохот мешает мне расслышать ответ, прошу в трубку заткнуться, что, понятно, усиливает общее веселье, и я раздражаюсь бранью все так же в трубку. Владимов вежливо молчит. Когда наконец водворяется тишина, объясняю ему инцидент и прошу меня принять, на что получаю любезное приглашение. Нам пришлось с Ирой трижды менять день встречи, и всякий раз мы получали вежливое согласие. Прихожу к нему один, Ира окончательно выбилась из сил.

Я читал «Три минуты молчания» и «Верного Руслана», книги превосходные, что и высказываю Георгию Николаевичу.

— Не знаю, кем вы себя считаете, но, по-моему, вы убежденный романтик.

До сих пор не знаю, разделяет ли он мой взгляд, но горячность тона не могла не прийтись ему по вкусу. Внешность романтика меня, напротив, разочаровала: простое мужицкое лицо, сырой кладки нос, далекий от героики, к тому же большое, во всю щеку, родимое пятно. Понадобилось время, чтобы оно перестало заслонять писателя и человека.

Георгий Николаевич прочитал заявление, тут же его подписал, и не успел я заикнуться, как он вызвался помочь в сборе подписей. Прощаясь, сказал, что ему хотелось бы поговорить с Сашей. Пожелание застаёт меня врасплох, очень не хочется сейчас встречать-

ся с сыном, тем более о чем-то просить, но обещаю и обещание выполняю. Навестив Арину Сергеевну по ее звонку, застаю у нее Сашу. Выслушиваю двухчасовой разговор, не вмешиваясь в него, пока не доходит до предложения Саши просить у Белова свидания с Кириллом. Пусть Кирилл наконец скажет, хочет он сидеть или ехать. Упорство, с которым Саша отстаивает, что это ему неизвестно, меня обескураживает: не могу я доказывать, что черное не белое, а черное.

— Хватит трепать Кириллу нервы бесплодными разговорами! Ехать он хочет, но просить тебя об этом не будет.

— Почему?

— Боюсь, эта тонкость выше твоего понимания.

— А все-таки?

— Он считает, что ты должен предложить отъезд по собственной воле, без его просьбы.

— Тогда повидайся ты с ним.

— Незачем, мне его точка зрения ясна, а для тебя она, видишь, не пробивается.

В итоге соглашаюсь на письмо Кириллу. Пишу его, преодолевая внутреннее сопротивление. Нелепо запрашивать Кирилла о том, что мне, да и всем известно, кроме Саши. Противно, что он не верит мне на слово и не смущаясь дает это понять. Постыдно, что он знает, но знать не хочет истину и вовлекает нас в бумажное крючкотворство. После нескольких попыток получается записка.

«Дорогой Кирилл,

Саша осознал наконец, что поступил по отношению к тебе эгоистично, не считаясь с остальными. Я хочу и прошу тебя уехать, считая это единственно разумным и человеческим выходом из нашего положения. Учти, что ты ничего не просишь от Саши, но просто соглашаешься на отъезд. Твое мнение и желание? Но, пожалуйста, четко.

Папа. 9. 1. 78».

Безобразно и по форме, и по содержанию, но ничего лучшего я из себя выдавить не могу и это последняя уступка Саше. Получим ответ «Ехать хочу», и вопрос будет решен.

На следующий день едем к Белову. Тот же кабинет, Белов любезен и тверд.

— Мы хотели бы получить свидание с Кириллом, — начинает Саша. Что это он, мы же договорились свидания не просить! Он со мной обращается как с неразумным ребенком, которого приходится обманывать для его собственного счастья.

— К сожалению, это невозможно, мы не можем вмешиваться в порядки прокуратуры.

Бедный КГБ, такой беспомощный... Саша настаивает, Белов отказывает. Саша, понятно, из упрямства, но Белов-то почему не соглашается, это же пустяк. Неужели тоже из мелкого самолюбия? Он мне казался умнее.

Пройдет немало времени, пока я пойму, что глупы не эти двое, а я сам, скучливо слушающий пустое, как мне кажется, препирательство.

— Простите, — прерываю их, — у меня к вам просьба. — Белов поворачивается ко мне, весь внимание и предупредительность. — Прошу передать Кириллу эту записку. Она отражает мою позицию, вам известна ведь моя позиция? — Он не отрицает — еще бы, ему известно, что я знаю, что он знает. — Записка соответствует и вашим чаяниям, так что возражений, полагаю, не будет.

— Мы обдумаем вашу просьбу, позвоните дня через три, я дам вам ответ.

Странно, почему не тотчас? Торопил с выездом, назначал обидно короткие сроки, а теперь, когда исполняется его желание, медлит, оттягивает. Мне бы спросить себя, а действительно ли он еще желает нашего совместного выезда? И я понял бы то, что Саше ясно, а мне невдомек. Вопрос не приходит мне в голову, настолько она проросла идеей заложничества. «Ты, папа, простодушен», — недавно обрадовал меня Саша. Сомнительный комплимент — у меня та простота, что хуже воровства, родная сестра глупости.

— Еще одна просьба, начнешь просить, так трудно остановиться. У меня воспитанник, я тревожусь за его судьбу, отпустите его со мной.

— Кто таков?

Мы продумали со Спартакими мое ходатайство, и все-таки я с запинкой отвечаю:

— Александр Соболев.

— Хорошо, ответ получите тогда же. А теперь вот что. Вы подадите заявления в ОВИР...

— Я уже подавал.

— Вы оба подаете заявления в ОВИР, получаете разрешение и в считанные дни все улетаете.

— Где гарантия, что с нами улетает Кирилл?

— Вы получаете его визу на руки.

— Как, он получил разрешение?

— Получил. Едете с его визой в аэропорт, куда из изолятора будет доставлен и он.

Неплохой план. Вижу нас всех на аэродроме в нетерпеливом ожидании Кирилла. А вот и он. Выходит из воронка, изумленно оглядывается, не веря своим глазам: ему не сказали, куда везут. Наконец понимает, пошатываясь с голодухи, спешит нам навстречу... в общем, картина счастливого исхода. Ее обрывает сухой голос Саши:

— Сначала получаем согласие Кирилла, потом я подаю заявление!

— Вы, Александр, в три дня оформляете документы, а мы за это время решаем вопрос о письме!

— Но если Кирилл не хочет ехать?

— Как же не хочет, он подал заявление и получил разрешение.

— Сначала ответ, потом оформление!

— Сначала оформление, потом записка, перестаньте играть!

— Я с вами не играю. Если Кирилл даст письменное согласие, я уеду. Оформить документы можно за день, за два часа. Это мое окончательное, последнее слово!

— Вы свободны, — повелительным жестом Белов указывает на дверь.

Иду к Спартакам, Саша к своим друзьям.

Обсуждаем беседу с Беловым, вертимся у очевидной истины и не можем ее осмыслить. Друзья, как и я, проникнуты идеей заложничества, спор о том, что раньше, оформление или письмо, представляется нам несущественной деталью. Отмахнувшись от нее, мы безнадежно отдаляемся от сути дела и теряемся в догадках, которые невозможно разрешить потому, что они надуманны. Истина же проста, но, как уже сказано, я лишь много лет спустя до нее добрался.

Думаю, первоначальным намерением Белова действительно было выставить нас всех за пределы страны. С посадкой Кирилла план его изменился, ему пришла счастливая мысль оставить Кирилл-

ла за решеткой, а нас с Сашей спроводить на Запад. Покричите там, братцы, и успокойтесь, а нет, вздумаете всерьез нас тревожить, Кирилл в наших руках — так стиснем, что придется одуматься.

Белова можно понять. Битый месяц бьется с тремя паршивцами и не может с ними справиться. Нарекания начальства, язвительные замечания коллег, приостановка блестящей карьеры, которой он, уравновешенный, сметливый гэбист, вполне достоин. Задача в том, чтобы удачно их обмануть. Отца, доверчивую курицу, нетрудно, но эта язва, Александр, путает карты.

— Сначала письмо, потом визы, — требует он, а это значит: очередной их пресс, демонстрация письменного согласия Кирилла на отъезд, доведенного до сведения мировой общественности, и необходимость выполнять взятое обязательство. Это то, собственно, что первоначально намечалось, но теперь Белову этого мало; чтобы обелить себя, ему нужно более значительное достижение, и жидется оно на формуле «Сначала визы, потом письмо». В этом случае двух с домочадцами сажаем в самолет, хотя бы и насильно, инцидент нетрудно замять, и прощай, растреклятый Александр, поди доказывай, что не удрал, оставив брата гнить на Родине!

Думаю, Саша раскусил Белова и потому не поддался на его провокацию под видом упрямства. Но почему он меня не предостерег, почему за все минувшие годы не обмолвился об этом? Никогда его не спрашивал; возможно, когда он прочтет эти строки, мы объяснимся. Моя версия его размышлений такова.

При папиной склонности советоваться с друзьями нет твердой уверенности, что он сохранит вверенную ему информацию втайне. Она может дойти до ушей Белова, и тот придумает иную, еще более подлую каверзу. Пусть остается в неведении о моей проницательности и приписывает мне ослиное упрямство. Конечно, папа может клюнуть на удочку и проглотить наживку, но до тех пор, пока я вожу Белова за нос, ситуация не осложнится. Папа, конечно, негодует, но лишь потому, что не разобрался в ней и продолжает думать, что я топлю Кирилла. Пусть, моя совесть чиста, я сделал попытку поступиться своими принципами, она едва не привела к более страшным последствиям. Игры с КГБ опасны, когда-нибудь поймет и папа, до тех пор — молчание.

Ничего подобного, повторяю, мне тогда в голову не приходило, между тем Сашины прогнозы об удочке и наживке уже через несколько часов сбылись.

Мы в этот вечер долго возимся с продуктовой посылкой, едем с Сусанной в тюрьму, делаем передачу, и лишь поздно вечером мы с Лидией Алексеевной возвращаемся домой, в Электросталь.

— Смотри, — говорит она, — какая прекрасная машина перед дирекцией завода — не иначе министр приехал.

Рассеянно подтверждаю, в автомобилях до сих пор не разбираюсь. Только добрались домой, разделись — звонок.

— Кто там?

— Белов.

— Открывать? — спрашивает жена.

— Конечно, — отвечаю из туалета.

Недели три назад я познакомился с Юрой Беловым, однофамильцем нашего гэбиста. Его выпустили из Красноярской психушки, я пригласил его погостить у нас. Лида открывает, и заходит... Белов, начальник отдела КГБ, с которым я недавно расстался на Лубянке. Ночью (уже первый час!). Что случилось?

Не раздеваясь, он проходит на кухню, садится за стол, закуривает мою «Столичную», мы тоже садимся, закуриваем — ну впрямь дорогой родственник, какие церемонии.

— Пинхос Абрамович, с запиской ничего не выйдет, нам нужно самим решать свои дела.

Ого, ты явно встревожен, с чего бы? Эта спешка, это «нам», непринужденные манеры, тон... Фантастика! Он живет нашими интересами, у нас общая цель, еще немного, и я могу просить у КГБ жалованье... Неприятный холодок пробегает по спине, и я должен сделать усилие, чтобы отгородиться от его навязчивой близости. «Полно, что за вздор, — говорю я себе, — цель у нас общая, но мотивы-то разные. Ты, подлец, нас шантажируешь, мы, твои жертвы, вынуждены с тобой считаться, вот ты и расселся по-домашнему, в душу лезешь, в друзья набиваешься. Нет, с зарплатой подождем... только бы не сорваться, не переступить ненароком грань... или уже переступил? Не попросить ли тебя выйти вон?». Но он такой свойский и самоуверенный, и потом, я же его впустил, хоть и по ошибке, приняв за другого Белова, так пусть выговорится.

— Вам необходимо уговорить Александра уехать, через два-три дня будет поздно, необратимо поздно, не сегодня-завтра Кириллу предъявят обвинение, и я буду бессилён помочь. Поэтому я и приехал к вам.

— Хорошо, завтра я буду в Москве и скажу Саше о ваших опасениях, но уверяю вас, это бесполезно, помните его последнее слово?

— Завтра может оказаться поздно, — в голосе неподдельная тревога, разумеется, за себя, видно, нагоняй получил. — Всего бесполезно, Александр уже многое понял, его можно убедить, уверяю вас.

Понятно, куешь железо, пока горячо; первый шаг мы сделали: просили передать письмо, значит, надломлен Саша, надо добивать.

— Вы плохо знаете Сашу. Слово, данному мне, он еще может изменить, данному вам — никогда. Зря вы ему отказали в передаче письма. В сущности, безделица, но он оскорблен, и на этом точка. Впрочем, завтра уже наступило, утром поеду.

— Пожалуйста, сейчас!

Что он, рехнулся?

— Электрички не ходят, летать не умею, к марафонскому бегу не расположен.

— Что вы, разве я... моя машина к вашим услугам.

Он мне надоел, не могу от него отвязаться, с утра все равно в Москву.

— Хорошо, везите.

Жена поспешно одевается.

— А ты куда?

— И я с вами, можно? — Разве она упустит случай прокатиться на легковой машине, да еще ночью, да еще при таких интересных обстоятельствах.

— Конечно, — соглашается Белов, и вот мы уже глотаем километры.

Стрелка спидометра на 100-110, черная машина, та самая, что стояла у дирекции, злобно рвется вперед, едва замедляя ход у красных светофоров. Лидия Алексеевна ушла в быструю езду, а я смотрю в затылок Белова и с удивлением думаю, что не чувствую к нему ненависти и не желаю ему, к примеру, свернуть себе шею на крутом повороте.

«Он мерзавец, презренный шантажист», — подогреваю я себя и, напрягая воображение, заставляю его шею вывернуться, но едва расслабляюсь, она вскакивает на место. Есть люди, которым я охот-

но набил бы морду, а ему вот не хочется, хотя он причинил мне больше зла, чем все они вместе. Или мы с ним действительно породнились в треволнениях и он стал «моим» мерзавцем? Черт его знает, загадка. Промелькнула Балашиха, Москва, доехали за пятьдесят минут.

— Мне на Дзержинку, вам куда?

— Сами знаете, на Щербаковку.

Машина делает крюк и высаживает нас неподалеку от знакомого дома. Два топтуна, зашедших в подъезд погреться, встречают нас удивленно. В самом деле, два часа ночи!

— Саша дома? — спрашиваю и давлю кнопку звонка.

Разумеется, разговора не получается. Я, собственно, и не настаиваю, приехал больше выполнить долг. Видимся после того редко, не о чем говорить. Думаю, внутреннего покоя у него нет и тяготит свобода, на которую его обрекла хитроумная ГБ: грубая слежка снята, за ним присматривают на расстоянии. Можно жить, даже что-то успеть сделать до посадки, а она неминуема и, скорее всего, близка.

Я очень устал, нервное напряжение этого злополучного месяца меня вымотало. Все чаще томило желание конца, какого бы ни было, но избавления наконец от безостановочной пытки, в которую я с сыновьями был втянут. А когда кончились суэта, переговоры, попытки уладить, разом навалившаяся пустота ударила едва ли не сильнее — слишком резок был переход к бездействию.

Недели две восстанавливал день за днем минувшие события, впечатления, стараясь разобраться в них. Так появилась «История одного заложничества», горькая, колючая повесть, исполненная страсти и лишенная малейших художественных достоинств. Отпечатал ее в трех машинописных экземплярах, один вручил Саше, другой оставил на хранение Спартакам. Надписал ее «Спартакам посвящая с благодарностью. Без права размножения и передачи. При обыске сжечь и проглотить. Подпись».

— Твоя писанина останется, а мне некогда ее опровергать, — бросил мне Саша.

Дал прочитать Татьяне Михайловне <Великановой>. Ее мнением я дорожил больше, чем чьим-либо другим. Она человек высокой честности и предельной правдивости.

— Написана искренне, — сказала она, и в этих двух словах было осуждение моей позиции. Я застал у нее Сашиных друзей: Славу

Бахмина, Юру Ярыма, Иру Гривнину, Таню Осипову, Леонарда Терновского. С «Историей одного заложничества» их, видимо, ознакомил Саша. Взяв у Татьяны Михайловны свой экземпляр, я собрался уйти, как они дружно, перебивая друг друга, набросились на меня с обвинениями. Я не успевал отбиваться, каждый спешил нелюбезно выложить свое порицание. Громкие выкрики, возмущенные лица моих оппонентов, а пуще злобный тон меня ошаршили. Даже тихо-елейный Леонард Терновский лягался. Корректнее других держался Юра Ярым, но его с лихвой перекрывали трескотные выпады девиц. Ира Гривнина, та едва ли не плевалась. Я не был готов к грызне и после тщетных попыток перевести ее в русло спокойной дискуссии ретировался.

Перескачу годы. Юра Ярым-Агаев вскоре благополучно эмигрировал в Штаты, откуда защищал репрессированных друзей. Думаю, его осторожный нейтралитет в вопросе «ехать, не ехать» в значительной мере объяснялся уже зревшим, если не созревшим намерением покинуть страну.

Иру Гривнину отправили в ссылку. Вела она себя и тут шумно, однако утомившись, внезапным вольтом изменила решение, запросила прощенья и согласилась эмигрировать. Не говоря уж об отказе от собственного принципа «бесстрашно идти до конца», она ухитрилась свой отъезд сопроводить балаганным эффектом. Тщеславие не позволяло ей покинуть страну тихо, как другие, ей хотелось, наперекор очевидности, превратить отступление в победу. Она долго добивалась визы в Голландию: в Израиль, видите ли, — обычная малодушная уступка КГБ, тогда как в Голландию — арьергардный бой. Больше того, она домогалась у друзей согласия представиться за рубежом полномочным лицом Комиссии по [расследованию] злоупотреблений психиатрией, делегатом с деловым заданием. Махинация не удалась, она, как тысячи других, но с меньшим достоинством, отбыла по израильской визе в свою Голландию, где представляла лишь себя.

— Как вы себя чувствуете на свободе? — спросил ее корреспондент, когда она вышла из самолета.

— Я всегда свободна! — возразила Ира.

Таня Осипова мужественно держалась в политическом лагере. Сочувствуя ее тяжелой участи, я был рад, что она на деле следует принципу «идти до конца». Увы, судьба уготовила ей испытание, кото-

рого она не выдержала. Муж ее, Ваня Ковалев, в тюрьме сломался, в разрешенной переписке объясняя Тане, что приносит себя в жертву ей, и склонял на уступки КГБ. Она, в свою очередь заботясь о нем, сострадая ему, вняла его советам. Они вышли с обязательством вести себя смиренно. Перед их отъездом за границу Саша, только что вышедший из тюрьмы, навестил супругов. На столе лежало открытое письмо Вани, в котором он признавал свое сотрудничество с КГБ в зоне. Представляю себе удар, который получил Саша, — Таня была его близкой соратницей, он верил в ее непоколебимость.

Со Славой Бахминым он не только был дружен, он любил его. «Вот кто мой настоящий брат», — как-то сказал он, уязвив и Кирилла, и меня. Слава отсидел, как говорится, нормально, без героизма, но и без постыдного малодушия. Однако по глупости жены уже на свободе он подтвердил ее обязательство жить спокойной семейной жизнью и трудовой, отстранившись от политической деятельности. Саша с ним порвал.

Леонард Терновский подписал обязательство той же спокойной жизни, чтобы не схлопотать второй срок.

А Кирилл между тем, преодолев предпосадочный страх, чем дальше, тем больше воевал со своим тюремным начальством, получил второй срок, который провел в «крытке» на строгом режиме, показал себя настолько бескомпромиссным, что никому и в голову не пришло предложить ему обязательство, уступки. Он ждал третьего срока, но был выпущен. На свободе он немедленно вернулся к правозащитной деятельности. Отлично вел себя и Саша, оба вышли, в отличие от многих других, без малейшего пятнышка, я ими горжусь, не скрывая ни от себя, ни от них свойственных им недостатков.

Братья упрямо отстаивают до сих пор некогда занятые ими позиции. Время смягчило остроту разногласий, былая враждебность исчезла, но, к моему сожалению, они не столь близки между собой, как мне бы хотелось. Рана зажила не первичным натяжением — остался шрам, который, видимо, не исчезнет. Слишком различны они по характеру, будучи в некотором отношении удивительно схожими.

Прошло десять лет со времени истории с заложничеством. Я забрал у Спартакос свою повесть, выбросил из нее то, что не относится непосредственно к сути дела, и представляю эту главу «Заложники».

Минута слабости

Ах, все было не так, не так. Я шел навстречу там, где надо было стоять насмерть. Я отступал и поддавался. Легко враждовать с КГБ, но противостоять отцу и брату куда труднее. Я был сражен этим открытием и самим фактом такого противостояния.

Я вышел тогда от Сахарова совершенно сломленным. Это была последняя капля. Необходимость защищаться не только от власти, но и от обвинений в своей же диссидентской среде подорвала мои силы. Те, кто сочувствовал мне, в основном деликатно молчали. Те, кто осуждал, делали это громко, не стесняясь подслушек, а некоторые, может быть, и в расчете на них. Даже самые близкие друзья не решались мне что-либо советовать, а только признавали мое право решать вопрос самостоятельно, не поддаваясь давлению со стороны.

Ситуация разрешалась единственным способом — отказом признать за КГБ право назначать одного из нас заложником, а другого — вершителем его судьбы. Тогда мы оба оставались бы по одну сторону, независимо от того, что для нас напридумывал КГБ. Кирилл стал заложником не тогда, когда КГБ объявил, что я могу за него решить его участь, а когда он с этим согласился.

Я шел пешком в сторону дома. Стоял слякотный декабрь, на улицах было темно и пустынно. Падал мягкий вечерний снег и тут же таял на мокрых мостовых. Я шел не спеша, переживая разговор у Сахаровых и все события последних дней. По другой стороне Садового кольца медленно ехали обе гэбэшные «Волги». Позади меня тащились мои топтуны, знавшие, конечно, все перипетии этой истории и, возможно, слышавшие все разговоры в сахаровской квартире. Чекисты шли на приличном расстоянии, понимая, что мне сейчас не до них и побега можно не опасаться.

В тот вечер КГБ ненадолго победил меня руками моих родных и единомышленников. Хорошо, что никто об этом не догадался и никогда об этом не узнал — я ни единой душе до сих пор этого не рассказывал. Меня дожали. Я внутренне

сдался. «Черт с ними со всеми, я уеду, у меня нет больше сил на эти дразги», — думал я, и мне становилось легко оттого, что решение принято, и погано оттого, что оно было неправильным.

Не надо было уступать с самого начала. Не надо было ничего обсуждать в прослушиваемых квартирах. Я понимал это — любой конфликт в диссидентской среде на руку КГБ, и они умеют извлекать из него выгоду. Но ведь разговор с родными или диссидентами — это не допрос в КГБ, тут не скажешь «отказываюсь отвечать на ваши вопросы». И я уступал давлению близких и ухуждал этим наше общее положение.

Не надо было уступать отцу, когда по дороге к Сахарову на пресс-конференцию он настаивал, чтобы я тут же, в такси, дополнил свой «Ответ» строчкой о том, что окончательное решение за Кириллом. «Я не буду от руки дописывать в двадцать экземпляров», — отговаривался я. «Значит, ты хочешь решить за него?» — возмущался папа, и я возражал, что нет, и все споры снова шли по одному и тому же кругу. «Ну, тогда хотя бы скажи это на пресс-конференции, раз ты действительно оставляешь за ним окончательный выбор», — требовал папа. Я малодушно согласился, хотя понимал, что делать этого не следует. Нельзя сваливать ответственность друг на друга и, какие бы решения между нами ни были приняты, нельзя показывать перед КГБ свою слабость — это дает им в руки дополнительное оружие.

Мне не хватило сил пренебречь обвинениями в безразличии к судьбе брата, и я сказал, что требовал от меня отец. И дал тем самым КГБ лишний повод оказывать на Кирилла все возрастающее давление.

Не надо было вообще обсуждать эту проблему ни с кем, кроме Кирилла. Всех остальных это не касается. Но столько вокруг оказалось доброхотов, пекущихся о нашем благе по своему разумению! Столько оказалось любителей посплетничать и навязать свое решение как единственно верное! Столько нашлось желающих поучаствовать в драматической истории, ничем не рискуя и ни за что не отвечая! И какие, наконец, силы бросил КГБ на создание склочной атмосферы — я до сих пор могу об этом только догадываться.

Обстоятельства сложились так, что, связанный обещаниями, я не мог всем всё рассказать. Кирилл, например, задумал доказать политическую подоплеку своего дела тем, что получит разрешение на выезд, что для обычного уголовника немислимо. Идея вполне здравая и доказательная, хотя, на мой взгляд, чересчур игровая. Уже получив выездную визу, он намеревался публично от нее отказаться. Однако об этом его намерении знали только он и я. Говорить об этом вслух было невозможно. Дать понять даже в иносказательной форме, что намерения Кирилла вовсе не таковы, какими они видятся, я не мог. Приходилось молча терпеть наскоки тех, кто давно сделал для себя выбор в пользу эмиграции.

Большинство из диссидентского круга отнеслись к сложившейся ситуации корректно, не пытаясь оказывать на нас давление. Но это было молчаливое большинство. Только три человека выказали мне свою поддержку ясно и недвусмысленно: Таня Осипова, Игорь Шафаревич и Александр Солженицын. Таня при всех заявила, что позицию мою полностью разделяет и на моем месте поступила бы так же. Игорь Ростиславович Шафаревич передал мне короткую записку со словами поддержки и одобрения. Александр Исаевич Солженицын, бывший к тому времени уже за границей, прислал мне большое письмо, в котором одобрял мое решение остаться в стране. Он возражал мне, что на Западе вовсе не так хорошо и не так вольно, как это кажется мне из Советского Союза; приводил примеры взятия коммунистами заложников во время гражданской войны в Испании; рассказывал о своем отношении к этой проблеме.

Письмо Солженицына очень поддержало меня. Но мало кто решился бы дать такой совет: выбрать не вольный Запад, а тюремный Восток.

Забегая вперед, скажу, что Солженицына потом мучила совесть за то его письмо. Вернувшись в 1994 году из эмиграции в Москву, он через несколько дней позвонил мне и, сокрушаясь, говорил, что очень переживал за свой совет, что его много лет мучила совесть, потому что он как бы подтолкнул меня в лагерь. Я возразил ему, что все было бы так же и без его письма, но он в свое время очень укрепил мой дух

и я ему за это был и остаюсь благодарен. Все действительно так и было. Александр Исаевич, это, конечно, понимал, но ведь совесть — явление иррациональное, ее укоры объяснениям не поддаются.

В тот декабрьский вечер 1977 года, возвращаясь пешком с улицы Чкалова к себе домой на Новоалексеевскую, я был раздавлен. И письмо Солженицына, и записка Шафаревича пришли позже, когда я вновь обрел уверенность в правильности своего выбора. А тогда я шел по слякотной ночной Москве, опустошенный, сдавшийся, и заново переживал разговор у Сахаровых.

Не надо было туда ходить. Ведь понятно же, зачем это было устроено. Я и не хотел идти, но папа требовал моего присутствия, чтобы публично расставить все точки над «и». Меня решили доломать, и никому ничего объяснить было невозможно. Володя Борисов, игрок и позер, упивался ролью прокурора в придуманном им спектакле. Ира Каплун, узвненная своим постепенным отходом от Рабочей комиссии, злилась на себя, на меня и искала повод для разрыва.

Очень настойчива была и Елена Георгиевна Боннэр, возмущенная нарушением уже сложившегося стройного порядка, когда вслед за угрозами репрессий непременно следует эмиграция. Андрей Дмитриевич Сахаров был по обыкновению спокоен и выдержан, но все его аргументы сводились к одной нелепой идее, что главное — чтобы не посадили. Наум Натанович Мейман, еврейский отказник и член Хельсинкской группы, весь вечер качал головой и мягко уговаривал меня: «Надо ехать, Саша, вы понимаете, надо ехать». И только Татьяна Михайловна Великанова сидела молча, а когда все мои обличители слегка выдохлись, сказала, что я прав по той простой причине, что решать должен я и никто другой.

Я шел, не столько размышляя, сколько переживая все услышанное. На Колхозной площади я вдруг обнаружил, что метро уже закрыто. Я этому даже слегка обрадовался — не хотелось домой, не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать, ничего объяснять. Я был рад оттянуть время неизбежной встречи с друзьями. Ведь придется рассказать о но-

вом решении. Я свернул на проспект Мира и медленно побрел в сторону ВДНХ.

Я знал, что никто из диссидентов меня не осудит. Разве что кто-то из тех, кому мы обещали помощь и защиту, усмехнувшись, скажет: «Ну вот, и этот уехал, как только представилась возможность». Но все мыслимые слова осуждения были ерундой по сравнению с тем, какое чувство унижения и беспомощности испытывал в тот вечер я сам. Как не хватало мне Зинаиды Михайловны и Петра Григорьевича, которые, я знал, наверняка бы поддержали меня! Но они уехали и вряд ли уже когда-нибудь вернуться.

Я ясно понял тогда, почему сорвался первый разговор в КГБ и его перенесли на несколько дней спустя, на 1 декабря. 30 ноября Григоренки покинули Советский Союз. КГБ боялся их влияния на меня и на всю придуманную ими операцию с заложниками. Мнение Петра Григорьевича было весомо в диссидентской среде.

Между тем прогулка пошла мне на пользу. Свежий воздух проветрил голову, замороченную в сахаровской квартире, и я постепенно успокоился. Я долго стоял на Крестовском мосту, глядя на теряющиеся в темноте рельсы железной дороги, и думал, что жизнь не кончается, какое бы решение я ни принял. На этой приятной неопределенности я остановился в своих раздумьях и заспешил домой.

На Новоалексеевской царил тихая паника. Друзья не знали, где меня искать. Я вышел от Сахарова, попросив меня не сопровождать, а домой не вернулся, хотя уже прошли все разумные сроки. Все знали, что за мной ходит наружка, поэтому решили, что я, скорее всего, арестован. Никто не предполагал, что я поплетусь через пол-Москвы пешком. Я не стал никому ничего объяснять, сказав, что расскажу все утром.

Наутро я проснулся другим человеком. Сон — лучшее лекарство от малодушия. Рассказывать было нечего. «Что это на меня нашло вчера? — удивлялся я сам себе. — Чего это я так раскис и согласился эмигрировать?» Ведь не авторитет же Сахарова на меня подействовал — я относился к нему с уважением, но отнюдь не восторженно, часто во многом с ним не соглашаясь. В конце концов, авторитет Татьяны Ве-

ликановой значил для меня, как, собственно, и для всех, гораздо больше, а она меня поддержала. Я сам себе дивился, но, разумеется, о своей вчерашней слабости никому ничего не рассказал. И никогда никому до сих пор не рассказывал. Чем меньше госбезопасность будет знать о нашей внутренней жизни, тем целее мы будем. Это важное правило, нарушить которое можно только за очень солидной давностью лет.

Наш человек в КГБ

В детстве у нас дома всегда было много книг. Папа тщательно собирал библиотеку, и после его полочки мы обычно заходили в книжный магазин за покупками. Среди прочих книг стоял у нас на полке двухтомник Николая Морозова «Повести моей жизни». Я зачитывался воспоминаниями этого народовольца — смелого, искреннего, немного наивного и абсолютно героического. Меня тогда восхищали мужество народовольцев и та непринужденность, с которой они жертвовали своими и чужими жизнями ради светлого будущего. Что делать, очарованию зла поддаются даже взрослые люди, чего же требовать от юности? Но как-то, в десятый, наверное, раз перечитывая мемуары, я вдруг обратил внимание, что при покушении на царя, устроенном Степаном Халтуриным в Зимнем дворце, погибли одиннадцать военнослужащих — солдат и нижних чинов российской армии, пятьдесят шесть человек были ранены. Вопрос о ценности жизни смутил меня: стоят ли эти жертвы жизни одного человека, пусть даже и царя?

Прозрение было быстрым, но один персонаж из террористической организации «Народная воля» еще долго волновал меня. Николай Клеточников, скромный чиновник из провинции, в 1879 году устроился писарем в Третье отделение Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, будучи агентом исполнительного комитета «Народной воли». Имея доступ к секретной полицейской информации, он полтора года предупреждал народовольцев о предстоящих обысках, арестах, слежке и других акциях полиции про-

тив революционеров. Закончилось это все арестом, судом и скорой смертью в тюрьме.

Героическая история XIX века повторилась столетие спустя. Свой осведомитель появился у диссидентов в КГБ — аналоге Третьего отделения. Примерно с середины 1976 года в московской диссидентской среде начала распространяться информация о предстоящих арестах и обысках. Приносил эти сведения Марк Морозов — лет пятидесяти математик с грустными глазами за невероятно толстыми стеклами очков. Был он маленький, суетливый, многословный, со скрюченными от полиартрита пальцами и очень болезненным видом. Особым доверием у московских диссидентов он не пользовался. Некоторые шарахались от него, как от стукача или двойного агента, — откуда, в самом деле, у Морозова могла быть такая информация, как не от КГБ? А если у него тесные отношения с КГБ, то от такого человека лучше держаться подальше. Источник своей осведомленности Морозов не раскрывал. Двери некоторых диссидентских домов закрылись перед ним.

Между тем предсказания его удивительным образом сбывались. Предупрежденный об аресте Юрий Орлов в феврале 1977 года сбежал от слежки и целую неделю скрывался от КГБ, прежде чем его арестовали. Предупрежден об аресте был и Алик Гинзбург, но информацией этой он не воспользовался. И так поступал не он один. Надо сказать, диссидентское движение меньше всего походило на революционное. В шпионские игры диссиденты не играли, дорожили открытостью протеста и законностью своих требований. Такова была общая позиция. Поэтому информацию, приходящую от Морозова, чаще всего учитывали, но никаких специальных мер предосторожности не предпринимали. Встречались, разумеется, и исключения. Некоторые азартные и не слишком занятые в открытой диссидентской деятельности люди с восторгом относились к инсайдерской информации. Они чувствовали себя серьезными игроками в захватывающей и острой борьбе с КГБ.

Я некоторое время колебался. Образ Клеточникова все еще стоял у меня перед глазами. Мне казалось совершенно

неразумным не воспользоваться преимуществами, которые давало владение достоверной информацией из госбезопасности. С другой стороны, почти все наши действия были настолько открытыми, что игры в разведчиков совершенно не соответствовали стилю нашей деятельности — публичному противостоянию государственной системе. К тому же интуиция подсказывала, что игра с КГБ может иметь непредсказуемые последствия, а утечкой секретной информации можем воспользоваться не только мы, но и они. Вдобавок ко всему Марк Морозов казался человеком, с которым нельзя иметь серьезных дел.

Он и в самом деле был безалаберен. Источник в госбезопасности он называл Клеточниковым и иногда говорил об этом вслух, что мог засечь КГБ. Однажды Морозов пришел к активисту еврейского движения Владимиру Слепаку и в присутствии посторонних сказал, что либо у него будет обыск, либо он будет арестован. Кто-то из присутствовавших был стукачом; он в тот же день позвонил в Комитет, что Слепак предупрежден.

Неосмотрительность Морозова — это было еще полбебды. Другая половина состояла в том, что диссиденты, не доверявшие Морозову, не слишком беспокоились о безопасности Клеточникова. Да и что беспокоиться, если это скорее всего миф? Разговоры о Клеточникове не могли не попасть под прослушки и, конечно, попали.

Клеточников, Клеточников, Клеточников. Миф это, хитроумная чекистская игра или реальный человек — наш крот в КГБ? Никто этого точно не знал.

Информация между тем продолжала поступать. Тот, кто не отказывался говорить с Морозовым или его посредниками, мог что-то узнать о себе. Когда у КГБ сорвался план по выдворению меня из страны, это надо было как-то объяснить своим сотрудникам. Ведь, по официальной версии, все диссиденты были связаны с Западом и мечтали только об одном — уехать туда. Теперь официальная версия нуждалась в объяснении. Клеточников сообщил, что сотрудникам центрального аппарата КГБ и Московского областного управления объясняют, что Подрабинек остался в СССР по зада-

нию эмигрантского Народно-трудового союза, чтобы вести провокационную деятельность во время летней Олимпиады 1980 года в Москве.

В конце декабря 1977 года Клеточников передал, что против меня возбуждено уголовное дело по статье 190¹ УК РСФСР. Следственное дело передано из Московского УКГБ в областную прокуратуру. Новостью для меня эта информация, конечно, не стала и только ясно обозначила мое ближайшее будущее.

Непрекращающийся поток информации от Клеточникова неизбежно вел к тому, что источник в конце концов будет раскрыт. Слишком долго так продолжаться не могло, информация оставляла много следов. Да и сам Клеточников терял осторожность.

В мае 1978 года, за несколько дней до начала суда над Юрием Орловым, Клеточников передал через Морозова пропуск на процесс. Это было ценно само по себе, как зримое доказательство того, что политические процессы по сути закрыты для широкой публики. Однако эту маленькую розовую карточку использовали по-другому.

Восемнадцатилетняя Марина Серебряная, еще не засвеченная в КГБ, прошла по нему в зал суда в первый день процесса, взяв с собой в дамской сумочке диктофон. Некоторое время она слушала процесс, но затем каким-то необъяснимым образом ее все-таки вычислили. Два молодых чекиста вывели ее из зала суда и около часа держали в какой-то комнате под присмотром одного из них. Он обыскал ее сумочку, но не забрал диктофон, не заметить который было совершенно невозможно. Потом вернулся второй, и на его вопрос, откуда у нее пропуск, ничего не зная о Клеточникове Марина ляпнула, что получила его «от одного из вас». Ее спросили, от кого именно, и она придумала фамилию Белов — то ли сочинив на ходу, то ли вспомнив, что слышала краем уха эту фамилию в связи с нашим «выездным» делом.

Чекисты ничего не сказали, но через некоторое время привели в комнату придуманного ею человека! Впоследствии Серебряная так описала этот эпизод: «Через небольшое время возвращаются с дядькой постарше, высоким, толстым,

гладко бритым, коротко стриженным и совершенно от ужаса сизым. Никогда в жизни ни до, ни после этого случая я не видела, чтобы человек весь крупно дрожал и колебался, как кисель в кастрюле. Привели его ко мне, беднягу, и спрашивают: этот, мол? Здесь было легко — никогда прежде этого человека не видела. Его увели, а меня некоторое время спустя просто отпустили. Выходила я из основных дверей, центральных каких-то, и там перед судом толпились люди, некоторые знакомые по всяким диссидентским сходкам, да хоть и гостям. Один такой молодой человек бросился ко мне со всех ног, и я ему успела тихо сквозь зубы сказать фразу совершенно бессмысленную и в то же время ясную: «Не подходите ко мне, я из них». И он послушно отскочил, и, как видно, повторил эту фразу тут же дословно, потому что я через несколько минут услышала из толпы: «Не подходите к ней, она из них». В толпе я не осталась, а отправилась домой. Никто меня никогда по этому поводу не побеспокоил».

Судя по описанию Марины, человек, трясущийся от ужаса «как кисель в кастрюле», был генералом Беловым, начальником следственного отдела УКГБ по Москве и области, который в декабре 1977 года предъявлял мне и Кириллу ультиматум о выезде из СССР. Генералу было отчего трястись: поди-ка оправдайся от голословных обвинений юной девицы!

Не найдя с ходу виновника, КГБ решил не поднимать скандала — провал с обеспечением закрытости процесса и наличие крота в системе перевешивали удовольствие от наказания владелицы незаконного пропуска.

Между тем информация «с той стороны» поступала регулярно и всегда подтверждалась. Становилось очевидным, что Клеточников — не миф и не чекистская игра. Кто-то в КГБ реально пытался нам помочь.

Весной 1978 года Клеточников передал специально для меня, что мою квартиру в Астаховском переулке сдал какой-то мой родственник из Кишинева. Он же, по его словам, выдал и тайник Кирилла, где хранился гарпунный пистолет. Это казалось невероятным, но все сходило. Этим родственником был мой четвероюродный брат Михаил Кушнир. Он ждал разрешения на выезд в Израиль и, по-видимому, таким способом

решил ускорить свой отъезд. Мы с отцом были в шоке. У каждого предательства своя цена. Если для меня еще один домашний обыск мало что значил, то для Кирилла донос Кушнира обернулся двумя с половиной годами очень тяжелого срока, туберкулезом легких и поломанной семейной жизнью.

Числа десятого мая Клеточников передал через Морозова, что меня арестуют 15 мая, во время суда над Юрием Орловым. Я решил устроить накануне ареста прощальный обед в квартире друзей. Наружка уже пасла меня, что было естественно перед арестом. Друзья еще не собрались, когда часов в двенадцать зазвонил телефон.

— Мне нужен Александр Подрабинек, — раздался в трубке приглушенный мужской голос.

— Я слушаю, — ответил я.

— Планы изменились, вас арестуют не завтра, а сегодня, через несколько часов.

— Спасибо, — сказал я в ответ и, сообразив, что это звучит немного издевательски, добавил: — Спасибо, что предупредили.

Надо было вешать трубку, потому что каждая лишняя секунда разговора была опасна для Клеточникова, а что это был он, не оставалось никаких сомнений. Но почему он звонит сам? Ведь он прекрасно понимает, что перед арестом мой телефон прослушивается, и не просто на запись, а напрямую. Он подставляет себя. Ради чего?

Между тем Клеточников продолжал:

— У вас нет возможности скрыться, выпрыгнуть из окна?

— Выпрыгнуть можно, но это десятый этаж. К тому же внизу две машины с наружкой.

— Каким-нибудь другим способом?

— Зачем?

Он некоторое время помолчал, потом грустно попрощался:

— Всего хорошего. Удачи вам.

— И вам тоже, будьте осторожны, — ответил я и положил трубку.

Что делается, думал я. Вот тебе и госбезопасность, вот тебе и Клеточников, вот тебе и конспирация! Ведь разговор наверняка засекли, записали на магнитофон. Так ли уж много

сотрудников КГБ имеют доступ к такой информации? Теперь его найдут по голосу. Ну какая разница, арестуют меня сегодня или завтра? Не надо было так рисковать. Не надо.

Осенью того же года я сидел в Краснопресненской пересыльной тюрьме в Москве, ожидая этапа в Сибирь. Судьба моя была определена, от этого было даже легко, почти весело. В таком настроении я находился, когда меня неожиданно вызвали на допрос. Передо мной сидел среднего возраста коренастый человек в военно-полевой форме с погонами майора. Что за новости, думал я. Почему в военном кителе? Кто такой?

— Трофимов Анатолий Васильевич, старший следователь по особо важным делам УКГБ, — представился майор, поднимаясь из-за стола и жестом приглашая меня садиться.

Надо же, какие церемонии, удивился я. Обычно они сидят как привинченные к стулу.

— Подрабинек Александр Пинхосович, — представился я в ответ.

— Знаю, знаю, — заулыбался Трофимов. — Как вам здесь? Не обижают?

— Что вы, здесь отлично. Хорошее питание, замечательные люди, спокойно. Я бы даже посоветовал вам отдохнуть здесь немного, если вы не так заняты работой.

— Да я, признаться, предпочитаю Черноморское побережье. Мне там как-то лучше отдыхается.

— Но, может быть, в будущем? Вкусы, знаете, со временем меняются.

— Нет, едва ли. Я человек постоянных привязанностей, уж я на море, — отговаривался от моих предложений Трофимов.

— Ну, вот видите, у всех вкусы разные, сколько людей, столько мнений, — развел я руками.

В таком духе разговор продолжался еще минут пять. Трофимов, как я понял, пытался оценить меня и найти слабые места, а я старался понять, что ему от меня надо. Однако взаимное прощупывание затянулось. Пора было переходить к делу.

Трофимов между тем не спешил. Он вел непринужденный разговор о преимуществах вольной жизни, потихоньку

подводя разговор к переломному моменту в моей судьбе — к обстоятельствам ареста. Я уловил его интерес, и, когда он начал интересоваться тем, как я провел свой последний день на свободе, я уже понял, что речь идет о Клеточникове. Они ищут Клеточникова, потому что слышали его предупреждение по телефону. Было бы странно, если бы они не допросили меня по этому поводу.

Наконец Трофимов достал из папки бланк протокола допроса, заполнил паспортную часть и объяснил мне, что при моем задержании 14 мая этого года были некие обстоятельства, которые он должен уточнить и проверить.

— Ну, уточняйте, — согласился я, решив отступить от своего правила не отвечать на вопросы следователя. Мне показалось, что я смогу сбить следствие с правильного пути и помочь Клеточникову избежать ареста. Я не знал тогда, что он уже арестован.

— У нас сложилось такое впечатление, — начал доверительным тоном Трофимов, — что вы, Александр Пинхосович, заранее знали о своем аресте. Я не ошибаюсь? Это не для протокола, — уточнил он.

— Возможно, — предположил я, в надежде выудить у него побольше информации. Что им известно?

— А кто бы мог вас предупредить? — поинтересовался Трофимов как бы между прочим.

— Да кто угодно, — с легкостью отвечал я. — У вас столько сотрудников, могут же среди них быть хорошие люди?

— Это кто как оценивает, — возразил Трофимов. — Что ж, перейдем к делу.

Первый же вопрос совершенно огорошил меня, и я понял, что отстал от жизни.

— Где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Ореховым Виктором Алексеевичем?

— Я не знаком с таким человеком, — ответил я быстро и совершенно честно. Я тогда понятия не имел, как на самом деле зовут Клеточникова.

— Он звонил вам в день ареста с предупреждением, вы разговаривали с ним, — очень жестким тоном продолжал допрашивать меня Трофимов.

— Я ни с кем не разговаривал, — так же резко ответил я. Фигня какая, думал я, меня переменной тона не собьешь. Он что, думает, что я неврастеник?

Трофимов, будто услышав мои мысли, вернулся к мягкому тону и ничего не значащим вопросам.

Так, значит, уже поздно выгораживать Клеточникова, размышлял я, делая вид, что раздумываю над очередным ответом. Фамилия Клеточникова — Орехов, и он наверняка арестован. В противном случае Трофимов ни за что бы не назвал мне его фамилию. А может, это вымышленная фамилия и он сейчас проверяет меня на знание подлинной? Как бы не запутаться в их намерениях и своих ответах. Надо быть очень осторожным и по возможности ни на что не отвечать. Если не получится помочь Клеточникову, то надо ему хотя бы не навредить.

Я стал уходить от вопросов, отвечая, что не помню, не знаю, не видел, не слышал. Следователи, на беду свою, считают себя умными людьми. Когда после десятка ничего не значащих вопросов они, как бы невзначай, задают один важный, им кажется, что изменения интонации их голоса никто не заметит. Поэтому, когда Трофимов с деланным равнодушием спросил меня, какой была телефонная связь в тот день, я насторожился. Они хотят, чтобы я хотя бы косвенно подтвердил его звонок с предупреждением.

— Телефонная связь была очень хорошей, — начал я, — но только до того момента, пока телефон не отключили.

— Кто отключил? — невинно поинтересовался Трофимов.

— А вы, Анатолий Васильевич, и отключили-с, — ответил я, подражая Порфирию Петровичу из «Преступления и наказания». — Ну, может быть, не вы лично, а ваша служба.

— Это только ваши предположения. Во сколько же отключили телефон?

Вот он, момент истины! Здесь я им поставлю мат в один ход нечестным способом. С моей помощью они Клеточникова не осудят. Он звонил около двенадцати. После этого телефон отключили до самого моего задержания на обыске.

— Телефон отключили в девять тридцать утра, и он больше не работал, — ответил я спокойно на вопрос Трофимова.

— Но этого не может быть, — начал нервничать Трофимов. — Постарайтесь вспомнить.

— В девять тридцать утра, — настаивал я. — И больше не работал.

На сделанной КГБ записи наверняка стоит отметка о времени разговора. А я утверждаю, что телефон отключили за долго до этой записи. Нехорошее противоречие.

Еще пару раз за время допроса Трофимов возвращался к этой теме, надеясь сбить меня с толку и выудить правдивые показания. Но это было бесполезно: карты были раскрыты и все позиции ясны.

Так я второй раз в жизни дал показания по политическому делу, к тому же ложные. Врать, конечно, нехорошо, но я до сих пор не жалею, что сделал это.

А легендарным Клеточниковым оказался действительно Виктор Алексеевич Орехов, капитан КГБ, старший оперативный уполномоченный Московского областного управления Комитета государственной безопасности. История его необычна и поучительна.

Виктор Орехов воспитывался в «правильной» семье строителей социализма. После школы он пошел в армию, да не куда-нибудь, а в погранвойска КГБ СССР. Проходя службу, он готовился поступать в Киевский политехнический институт, но армейское начальство, видя его усердие в учебе, направило Орехова в Высшую школу КГБ им. Дзержинского. Параллельно с разведкой, контрразведкой и другими специальными дисциплинами он изучал на Втором факультете школы турецкий язык. Окончив школу КГБ, работал сначала в Москворецком райотделе КГБ в Москве, а потом в областном управлении. Занимался оперативной работой, следил за благонадежностью студентов, сопровождал труппу Большого театра на гастроли за границу. В Японии он вдруг увидел, что жизнь при капитализме вовсе не так ужасна, как о том беспрестанно твердила советская пропаганда. Вскоре он стал работать по «пятой линии», занимаясь диссидентами. Ему поручили разрабатывать Марка Морозова с целью склонить его к сотрудничеству с КГБ. Между тем Орехов слушал западное радио, читал на службе самиздат и изданную на За-

паде литературу. На допросах, разговаривая с Морозовым и другими диссидентами, он все больше убеждался в их правоте. Пример генерала Григоренко вдохновил его на невероятный по тем временам поступок — он решил помогать диссидентам в ущерб госбезопасности.

Единственным человеком, с которым он мог свободно общаться без риска для себя, был Марк Морозов, поскольку Орехову поручили завербовать его, а это предполагало контакты в неформальной обстановке. Именно этим объяснялся его не слишком хороший выбор связника с диссидентским движением. Это был вынужденный, но очень неудачный и в конечном счете роковой для Орехова выбор.

Помимо вербовки Морозова капитан Орехов занимался и текущей оперативной работой. Например, выезжал на обыски. Уже в Краснопресненской тюрьме, через несколько дней после допроса у Трофимова, перед моими глазами вдруг будто всплыл протокол обыска, прошедшего год назад у меня дома в Астаховском переулке. Протокол подписали Каталиков, Орехов, Гавриков. Ну да, точно! Это же Виктор Орехов вместе с другими проводил у меня обыск, откладывая в кучу ненужных бумаг ценные для следствия материалы, а в кучу нужных бросал всякую ерунду! Я-то думал, что это безграмотный чекист, радовался, что в КГБ работают такие олухи, а на самом деле он старался выгородить меня. Мне было стыдно за свою былую самонадеянность.

До чего же причудливы повороты судьбы! Интересно, доведется ли мне когда-нибудь встретиться с ним, думал я тогда.

Виктора Орехова арестовали через три месяца после меня, в августе 1978-го. Его звонок ко мне в прослушиваемую со всех сторон квартиру резко ускорил поиски крота в КГБ. Если раньше на этот счет были только догадки, то теперь появились улики — магнитофонная запись разговора. Это невозможно было скрыть ни от начальства, ни от сотрудников. Следственную группу возглавил заместитель начальника следственного отдела УКГБ майор Анатолий Трофимов.

Много лет спустя, встретившись с Виктором Ореховым, я спрашивал его, почему он так опрометчиво поступил, позвонив мне в день ареста. Он так объяснял: «Ну как? Я нака-

нуне суда над Орловым находился на дежурстве. Дежурный по отделу собирает информацию. Вот я сижу и записываю. Мне с “Татьяны” (кодовое наименование системы прослушивания квартиры. — А.П.) говорят, что те-то и те-то находятся там-то. С “Сергея” (кодовое наименование системы прослушивания телефона. — А.П.) звонят: такие-то и такие-то там-то и там-то. Я все это знал, поэтому знал, что и мой голос записывается. У меня вот записано: “Подрабинец: Сергей, Татьяна”. Все эти сведения у меня на столе лежат — за кем какое мероприятие проводится. Я позвонил девочкам, мне говорят: такой-то там-то, такой-то там-то. В наружку позвонил: едем в такую-то сторону. Скорее всего, к такому-то. Позвонил — куда кто собирается поехать. Знаешь, кто куда движется. Звоню Морозову раз — нет, звоню другой — нет, а Подрабинека вот-вот должны взять! Звонишь хоть куда-то... Я, конечно, не должен был сам звонить в вашу квартиру в день ареста, но я пошел на такой риск, а после приговора Орлову начал действовать в открытую, пошел напролом».

Виктор Орехов понимал, что действовать ему осталось недолго. Но, будучи профессионалом, он, может быть, и уберется бы от тяжелого приговора, если бы не предательство. Орехова арестовали в августе, но материалов на него было крайне мало, доказательств — никаких.

1 ноября арестовали его «объект разработки» — Марка Морозова. Это решило судьбу дела. Морозова обвинили по ст. 70 УК РСФСР («Антисоветская агитация и пропаганда») в распространении листовок и самиздата. Почти сразу после ареста он сломался — начал давать показания и каяться. Он дал показания на всех знакомых, хоть как-то причастных к демократическому движению. Он уличал в антисоветской деятельности своих друзей, знакомых, родственников, близких, включая бывшую жену, родную дочь и ее мужа и даже собственного одиннадцатилетнего сына. Разумеется, он дал исчерпывающие показания и на капитана Орехова.

Марка Морозова, учитывая его сотрудничество со следствием, суд приговорил по ст. 70 УК к 5 годам ссылки. Он поехал отбывать ее в Воркуту. Виктора Орехова судил военный трибунал и по ст. 260 УК РСФСР за злоупотребление

властью и халатное отношение к службе приговорил к 9 годам лишения свободы. Он отбывал свой срок в Марийской АССР, на спецзоне недалеко от Йошкар-Олы.

Жизнь этих двух людей сложилась очень по-разному. Судьба свела их на допросе, и это круто изменило жизнь каждого. Чекист отказался служить тоталитарной системе, встал на путь сопротивления и дожил до крушения коммунизма. Диссидент не выдержал угроз, опустил плечи, стал предателем и потерялся как человек еще задолго до своей смерти.

Следователь Анатолий Трофимов, ведший дело Орехова и допрашивавший меня в Краснопресненской тюрьме, сделал удачную карьеру. Он дослужился уже при Ельцине до должности заместителя директора ФСК (Федеральной службы контрразведки — преемника КГБ) и начальника УФСК по Москве и Московской области. В 1997 году, в звании генерал-полковника, он был уволен в отставку «за грубые нарушения в служебной деятельности». После отставки возглавлял службу безопасности в одной из крупных финансовых структур с сомнительной репутацией и в конце концов, стал жертвой мафиозных разборок. В апреле 2005 года его вместе с женой расстреляли неизвестные около подъезда его дома.

Марк Морозов, уверовавший в свою безнаказанность и особые отношения с КГБ, находясь в ссылке в Воркуте, начал записывать на магнитофон «Архипелаг ГУЛАГ», который читали по западному радио. Затем он перепечатывал магнитофонную запись на пишущей машинке. Вскоре об этом узнал КГБ, и Морозова снова арестовали. Меня допрашивали по этому делу в ссылке в Усть-Нере, но я отказался от дачи показаний. Морозову дали 8 лет, невзирая на его былые заслуги перед госбезопасностью. Он был сначала в лагере, потом его перевели в тюрьму. Я думаю, что, зная его невеселую историю, тюремное начальство пыталось вербовать его. Он был болен и сломлен. В августе 1986 года он повесился в камере Чистопольской тюрьмы, когда его сокамерники ушли на прогулку.

Виктор Орехов отсидел свой срок от звонка до звонка, освободился, встретился со многими из тех, о ком он раньше

только читал в оперативных сводках, служебных донесениях и протоколах допросов. Он занялся бизнесом, и весьма успешно. Но КГБ не простил ему измены. Ему пришлось уже после перестройки отсидеть еще три года за хранение пистолета, без которого в те бандитские времена успешному бизнесмену прожить было трудно. Освободившись, он уехал с женой в США.

Французский кинодокументалист Николас Жалло снял о нем фильм «Диссидент из КГБ». Орехов скромно живет в Денвере, штат Колорадо, работает разносчиком пиццы. Родина не ценит своих героев, чего же ждать от чужбины? Впрочем, он не жалуется на жизнь и просит не считать его героем. «Я просто нормальный человек», — говорит о себе бывший капитан КГБ Виктор Орехов.

Рабочая комиссия

Рабочая комиссия по расследованию использования психиатрии в политических целях при Московской группе содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР (такое было полное ее название) крепла и разрасталась. Становилось все больше подопечных, сочувствующих и помощников. Мы обзаводились картотеками, бланками, бумагами, знакомствами, заботами и еще многим, что сопутствует деятельности организации.

Незарегистрированные адвентисты напечатали нам в подпольной типографии своего издательства «Верный свидетель» бланки, на шапке которых стояло полное наименование нашей комиссии. Письма главврачам психбольниц, напечатанные на этих бланках, производили на получателей впечатление. Они не знали, как к нам относиться: судя по тексту, мы были самозванцы и общественники, судя по бланку — официальная организация.

Чтобы унифицировать процесс обработки данных о жертвах карательной психиатрии, мы придумали анкету в несколько десятков вопросов. Сотни бланков этих анкет нам напечатали те же адвентисты.

Вокруг комиссии образовался круг помощников, без которых мы бы ничего не смогли сделать. Объем работ был слишком большой. В месяц мы отправляли примерно пятидесяти политзаключенным психбольниц по одной пятикилограммовой посылке с продуктами и вещами, денежный перевод на 10 рублей для отоварки в больничном ларьке, письмо и еще поддерживали связи с родственниками, если они были. Каждому несовершеннолетнему ребенку в семье политзаключенных полагалось 40 рублей в месяц. Деньги на помощь нашим подопечным мы получали от Фонда помощи политзаключенным, а руки и время для работы — от наших друзей. Их уже много было к тому времени у комиссии, но в ближайшем кругу были Дима Леонтьев, Ира Гривнина, Володя Неплехович, Леня Аптекарь, Гуля Романова, Алла Хромова, Марина Козлова, Леонард и Оля Терновские, Таня Осипова, Юра Ярым-Агаев. У многих из них были свои помощники. Вообще диссидентское движение было похоже на концентрические круги, и, в принципе, каждый сам выбирал, в каком кругу находиться. Условия выбора были просты: чем ближе к центру, тем опасней.

Даже вчетвером мы не смогли бы справиться со всей работой, которая на нас свалилась. Между тем Феликс Серебров отбывал в лагере год лишения свободы, а Ира Каплун постепенно отходила от Рабочей комиссии. Отношения с ней были подпорчены с самого начала, когда вопреки общим договоренностям она в мое отсутствие в Москве ввела в Рабочую комиссию Джемму Бабич. Я почти не знал ее, а мы договаривались, что в комиссию будем принимать кого-либо только общим решением. Вступление Бабич в комиссию было дезавуировано, и отношения с Ирой нормализовались, но некоторый осадок остался. Ира часто жаловалась, что ей не хватает времени на правозащитную деятельность, и в то же время обижалась на меня, что я занял слишком много места в Рабочей комиссии. Ссориться с ней у меня не было ни сил, ни желания, ни времени.

Отношения резко испортились после декабрьской истории с заложничеством. Возможно, это был больше повод для ссоры, чем ее причина, но у меня не было охоты выяснять от-

ношения. Я принимал всё как есть, стараясь экономить собственное время и минимизировать ущерб для нашей работы. Тем не менее Ира Каплун заявила о выходе из Рабочей комиссии.

Иногда совсем малознакомые люди предлагали нам помощь. Если они не вызывали у нас подозрений, то работа находилась всем: отправить посылку или перевод, купить продукты, взять под опеку семью политзаключенного.

Однажды меня попросила о встрече активистка еврейского движения за выезд Ида Нудель. Она и ее друзья хотели помочь Рабочей комиссии в ее гуманитарной деятельности. Я сразу очень обрадовался: в кругу Иды Нудель было много людей и всем можно было доверять. Мы встретились дома у Вити Елистратова, еврейского отказника и переводчика группы «Хельсинки». Я подробно рассказал, как и что мы делаем, какие возникают проблемы, как их решать. Наконец дошли до главного — сколько людей они смогут опекать. Ида ответила, что человек десять они смогли бы взять, и я чуть не подпрыгнул на стуле от радости. Это была бы очень солидная поддержка. Однако я рано радовался. Как только я начал прикидывать, кого бы из самых нуждающихся передать под опеку Иде Нудель и ее друзьям, она огорошила меня странной просьбой:

— Мы хотели бы помогать евреям.

— Я понимаю, но у нас, к сожалению, нет такой информации, — ответил я, на самом деле еще не понимая, что это не пожелание, а условие. У нас действительно не было сведений о национальности наших политзаключенных, мы считали это несущественным.

— Я была бы вам благодарна, если бы вы определили евреев в вашем списке. Мы готовы помогать им своими силами, не пользуясь средствами Фонда помощи политзаключенным, — продолжала Ида Нудель.

— Послушайте, — пытался я объяснить своей собеседнице, — мы не делаем среди политзаключенных различий по национальности. Мы правда в большинстве случаев даже не знаем их национальностей. В нашей анкете нет такой графы. Больше того, мы не придаем значения даже их идеологиче-

ской принадлежности. Если человек признан узником совести и включен в списки политзаключенных, то мы помогаем ему независимо от любых других обстоятельств.

Увы, все мое красноречие пропало даром. Ида Нудель была непоколебима. Они будут помогать только евреям. На том мы и расстались.

Меня всегда шокировала сложившаяся традиция помогать репрессированным по национальному признаку или по принадлежности к профессиональной корпорации. Особенно это касалось зарубежной поддержки. Евреи помогают евреям, армяне — армянам, литовцы — литовцам. Физики помогают физикам, художники — художникам, писатели — писателям. А кто будет помогать, например, фельдшеру или лифтеру? Заграничные медсестры и консьержи? Все это была какая-то глупость, предвзятость и несуразица. Слава богу, Фонд помощи политзаключенным глупостями не занимался, поддержку получали все без различия нации и профессии.

Между тем в других случаях, когда речь не шла о гуманитарной помощи, корпоративная поддержка была совсем не лишней. В нашей деятельности, например, участие психиатров было очень важным. Нам не хватало профессионального взгляда на проблему. На советских психиатров рассчитывать не приходилось. В лучшем случае они выражали свою поддержку тайком, не рискуя выступать публично. Некоторые, как например, психиатры Марина Войханская или Борис Зубок, бежав на Запад, рассказывали правду об использовании психиатрии в СССР в политических целях. На самом деле нам была важна любая поддержка: и публичная, и негласная, как, например, московского психиатра Марата Векслера.

Частным образом консультировал некоторое время Рабочую комиссию московский психиатр Александр Волошанович. Потом он стал проводить экспертизы нашим подопечным, а в день суда надо мной официально объявил об участии в Рабочей комиссии в качестве психиатра-консультанта. Когда через несколько лет он эмигрировал на Запад, его место в Комиссии занял харьковский психиатр Анатолий Корягин.

Экспертные исследования Волошанович проводил на дому. Чаще всего в квартире Димы Леонтьева, где я тогда жил. Стараясь наилучшим образом организовать нашу работу, мы договорились устраивать «приемный день» Рабочей комиссии еженедельно по средам. В этот день к нам приходили ходяки, бывшие политзеки, родственники сидящих, все, кто хотел получить помощь или консультацию. О «приемном дне» было достаточно широко известно. Найти нас не составляло труда. В этот же день мы решали между собой и другие вопросы, на которые в течение недели у нас не хватало времени. Это был день Рабочей комиссии.

Кое-кто посмеивался над «приемным днем», намекая на склонность к бюрократии. Однако это была правильная организация деятельности в наших условиях. Так было удобнее и нам, и нашим посетителям. Иные из диссидентов недоумевали, когда им предлагали прийти в приемный день, но это был единственный день, когда вся комиссия, включая психиатра-консультанта, была в сборе, когда мы на ходу могли решить любой сложный вопрос.

Некоторые диссиденты важничали и обижались. Петр Егидес, например, сначала был очень недоволен тем, что это ему надо было прийти на экспертизу к нам, а не психиатру приехать к нему домой, а потом он пришел в настоящее негодование, что приехать надо в наш приемный день, а не в тот, который удобен ему. Другие обижались, что на экспертизу надо записываться в общую очередь. Такие скандальные ситуации случались, но, к счастью, не часто.

Квартира была однокомнатная, и Димка, не выносивший длительной суматохи и толчеи, покидал свой дом на целый день. На кухне Саша Волошанович с самого раннего утра открывал свой кабинет и беседовал с очередным испытуемым. Работу свою он делал очень тщательно. Желających пройти экспертизу всегда было много, а на одно исследование уходил как минимум день, а то и два. Оно включало тестирование по каким-то британским методикам, неврологическое обследование, тщательный сбор анамнеза, долгие беседы. Потом Саша писал развернутое заключение, которое занимало не одну машинописную страницу.

Это была самая настоящая экспертиза, а вовсе не легковесное заключение о психическом здоровье и необоснованности применения принудительных психиатрических мер. Такой тщательный подход Волошановича к своей работе многих удивлял, иных настораживал. Некоторые приходили в надежде быстренько получить у психиатра справку о своем психическом здоровье, не рассчитывая, что обследование будет настоящим — детальным и длительным, а результат — непредсказуемым.

Мы, естественно, в работу Волошановича не вмешивались, а он, готовя заключение, руководствовался исключительно медицинскими соображениями. В результате не каждая экспертиза оказывалась положительной. Однако выдавать на руки заключение о психическом заболевании было невозможно — КГБ мог заполучить его и использовать для необоснованной принудительной госпитализации. Поэтому мы выдавали на руки заключение о том, что применение принудительных мер медицинского характера в данном случае необоснованно, так как по своему состоянию здоровья имярек не представляет опасности для себя или окружающих. Не ручаюсь за точность формулировки, но что-то в этом духе. Это, кстати, соответствовало и общим принципам деятельности Рабочей комиссии: мы защищали не только здоровых людей, посаженных в психушки, а всех граждан от необоснованного применения мер репрессивной психиатрии. Не только здоровых, но, может быть, и больных. Хотя больных, конечно, был очень незначительный процент.

Разумеется, в самом тексте экспертизы никаких недоговоренностей не было, но это оставалось медицинской тайной. Вопрос был в том, как эту тайну сохранить. Экспертные заключения ни в коем случае не должны были попасть в руки КГБ. Между тем квартира насквозь прослушивалась, у входа в дом всегда стояла гэбэшная «Волга» и чекисты точно знали, кто к нам приходит и зачем. Мы всех честно предупреждали, что КГБ следит за домом, где проходит экспертиза, и каждый должен был сам для себя решить, готов ли он идти на определенный риск. Большинство соглашались, понимая, что поло-

жительное заключение психиатра может спасти их от следующей психушки.

Все так и было. Больше того, не зная, в отношении кого какое именно заключение вынесено, КГБ предпочитал на всякий случай не сажать в психушки никого из тех, кто прошел у нас экспертизу. Сам факт прохождения экспертизы стал защитой от психиатрических злоупотреблений.

К сожалению, не все это понимали. Владимир Клебанов, пытавшийся создавать независимые профсоюзы, ушел с середины экспертизы, обидевшись на вопросы Волошановича. Он полагал, что получит заключение психиатра автоматически, просто по факту своей биографии, в которой уже были политические преследования и психбольницы. Володя Гершуни, известный диссидент и бывший заключенный Орловской спецпсихбольницы, так и не выбрал время прийти на экспертизу, сколько я его об этом ни упрасивал. В дальнейшем и Гершуни, и Клебанов вновь попали в психбольницы. Больше никого из наших подопечных в психбольницы, кажется, не посадили.

Не попали в руки КГБ и экспертные заключения наших психиатров. Ни одно. Зато все они лежали в английском Королевском колледже психиатров в Лондоне, молча угрожая чекистам, если они вздумают посадить в психбольницу кого-нибудь из наших подопечных.

Западные психиатры поначалу весьма сдержанно реагировали на нашу бурную деятельность. Это было вполне естественно — среди нас не было психиатров и уровень доверия к нам профессионалов не мог быть высоким. Тем не менее положение постепенно менялось к лучшему. Отчасти этому способствовала «Международная амнистия», которая в августе 1977 года представила на VI Всемирном конгрессе психиатров в Гонолулу реферат на английском языке моей книги «Карательная медицина». Психиатры смогли убедиться, что мы — не кучка сумасшедших самозванцев. На конгрессе в Гонолулу много говорилось о репрессивной психиатрии в СССР, были острые дискуссии, а делегация советских психиатров часто попадала в тяжелое положение, не зная, как убедительно ответить на обвинения. В кулуарах конгресса выступали

перебравшиеся на Запад бывшие советские психиатры и жертвы карательной психиатрии. И многочисленная пресса, и сами психиатры могли убедиться, что перед ними выступают здравомыслящие и неглупые люди. Советский миф о том, что находившиеся в психушках диссиденты — психически больные люди, рушился буквально на глазах участников и гостей конгресса.

Закончился VI Всемирный конгресс психиатров неблагоприятно для советской делегации. Было решено создать Комитет Всемирной психиатрической ассоциации по расследованию случаев злоупотребления психиатрией (*WPA Committee to Review the Abuse of Psychiatry*). Кроме того, была принята Гавайская декларация, содержащая этические правила для психиатров и осуждающая страны, использующие психиатрию в политических целях. Советский Союз в декларации не упоминался, но все читалось между строк. Многолетние усилия, начатые еще Владимиром Буковским и Семеном Глузманом* и продолженные нами, принесли наконец хоть и скромные, но все же положительные результаты. Немалый вклад в это внесли американский советолог профессор Питер Реддуэй и австралийский психиатр Сидней Блох, только что выпустившие книгу «Советские злоупотребления психиатрией».

Книга эта вышла в мае 1977 года, за три месяца до конгресса. Я лежал тогда в больнице, пытаюсь увильнуть от армии. Меня подкосила эта новость, когда я о ней узнал. Как, две книги на одну и ту же тему с интервалом в пару месяцев? И это при том, что обстоятельных исследований на эту тему до сих пор не было вообще! Мне показалось, что судьба сыграла со мной злую шутку. Через некоторое время я успокоился. Книги были хоть и на одну тему, но разные. И получилось даже хорошо, потому что был представлен взгляд на проблему как изнутри Советского Союза, так и со стороны.

Большую помощь оказал нам один из авторов этой книги профессор Реддуэй, горячо поддерживавший деятельность

* Семен Фишелевич Глузман — психиатр, участник демократического движения, политзаключенный.

Рабочей комиссии. В частности, по его просьбе к нам приезжал из Лондона английский психиатр профессор Гарри Лоубер.

Члену английского Королевского колледжа психиатров Гарри Лоуберу было около 70 лет, и он сносно говорил по-русски. Его визит в Москву ознаменовал начало знакомства западных психиатров с Рабочей комиссией. Он передал мне письмо от президента британского Королевского колледжа психиатров профессора Риса, в котором сообщалось о твердом намерении сотрудничать с Рабочей комиссией.

Лоубер посмотрел, как мы работаем, как Волошанович проводит экспертизу, и даже сам принял участие в одном или двух обследованиях. Он посетил московскую психбольницу им. Кащенко, где содержался тогда Евгений Николаев — тот самый, что когда-то, при задержании Орлова, огрел меня книгами по голове, приняв за гэбэшника. Вместе с женой Николаева мы сопровождали Гарри Лоубера в психбольницу. Свидание с Женей ему не дали, заменив это беседой с главным врачом больницы Валентином Михайловичем Морковкиным, который с Гарри Лоубером был любезен, а с нами — не очень.

Гарри был веселый и остроумный человек, к тому же прекрасно понимал советскую действительность. Общаться с ним было легко. КГБ предполагал, что доктор Лоубер повезет с собой в Лондон материалы Рабочей комиссии, может быть, экспертные заключения. Мы предупредили Гарри о возможности шмона в аэропорту, и он долго и старательно разучивал незнакомое ему слово «шмон» и все производные от него.

Разумеется, перед возвращением на родину Гарри зашел в английское посольство и оставил там все материалы, которые хотел забрать с собой. Ему потом переслали их в Лондон дипломатической почтой. В аэропорту Щереметьево его действительно подвергли тщательному обыску. Забирать было нечего. Этому чекисты вряд ли сильно удивились, но они были поражены, когда серьезный и даже немного чопорный английский профессор на ломаном русском языке вопрошал их: «Зачем ви меня шмониаете?»

Гарри потом с восторгом писал нам об этой истории, страшно довольный своими познаниями в фене и умением держаться перед чекистами.

К сожалению, не все визиты проходили так удачно. Как-то я зашел по делу к Ире Валитовой. У нее были несколько ее друзей и иностранцев. Когда меня познакомили с ними, один из них, почтенного возраста американец, сначала уставился на меня непонимающим взглядом, затем как-то криво усмехнулся и надолго замолчал. Минут через десять он отвел Иру в сторону и начал ей шепотом что-то горячо объяснять. Ира сначала возражала, а потом обратилась ко мне, несмотря на то что американец тянул ее за руку и отговаривал:

— Саша, он говорит, что ты не Подрабинек.

Сказать, что я удивился, было бы слишком слабо.

— А кто же я? — спросил я.

— Он говорит, что уже встречался с Александром Подрабинек и это не ты.

Американец стоял, не находя себе места от неловкости.

— Он говорит, — продолжала Ира, — что он психиатр и приехал в СССР специально задать ряд вопросов Подрабинек по поводу «Карательной медицины» и Рабочей комиссии. Он встретился с ним, они подробно все обсудили. Он говорит, что Александр Подрабинек — человек солидный и в зрелом возрасте, а не такой мальчишка, как ты!

Я наконец все понял и рассмеялся. Ира смотрела на американца с сожалением. «Я Александр Подрабинек, — представился я американцу еще раз. — Вас обманули. Кто вам дал телефон для связи со мной?»

Американец этого то ли не помнил, то ли не хотел говорить. Он все еще смотрел на меня с некоторым недоверием. Было видно, что тот «Подрабинек» понравился ему больше. Он лучше соответствовал образу автора «Карательной медицины», который сложился у американца в голове.

Однако делать было нечего, ему пришлось поверить, что настоящий Александр Подрабинек — это я. Мы еще успели поговорить, он задал все свои вопросы, на которые получил исчерпывающие ответы. Он не стал рассказывать, насколько мои ответы отличались от тех, что дал ему подставной себе-

седник. Я не настаивал. Умному американскому психиатру, вероятно, было не по себе от того, как легко его обвела вокруг пальца советская госбезопасность.

Последние деньки

Последние полгода на свободе были грустными и торопливыми. Я знал, что в отношении меня расследуется уголовное дело. Знал, чем это закончится. Я торопился сделать как можно больше.

29 декабря арестовали Кирилла. За два дня до того возбудили уголовное дело и против меня, но это считалось тайной. Узнал я об этом от Клеточникова. Я думал, что меня сразу же и арестуют, но этого не случилось. Кирилл оказался первым, я — вторым. Мне было бы легче наоборот.

Год, начавшийся волшебной ночью в Таллине, заканчивался грустным новогодним вечером в Москве. Чекисты из наружки пили в подъезде шампанское, для чего попросили у Димки стаканы. Дима Леонтьев, человек мягкий и до невозможности интеллигентный, дал им бокалы и даже пошел выпить шампанского вместе с ними, а я отказался — позавчерашний арест Кирилла не располагал к братанию с чекистами.

Кирилл между тем держал в тюрьме голодовку, потом лежал в электростальской больнице с миокардитом, но все это уже не могло остановить начавшееся уголовное дело. 14 марта был суд. В зал суда кроме подобранной «публики» пустили только близких родственников и свидетелей защиты.

Кирилл виновным себя не признал, считая дело политическим, и от дачи показаний отказался. Адвокат требовал прекратить уголовное дело и освободить подсудимого из-под стражи. Прокурор напирал на уголовный характер дела, а на утверждения Кирилла, что на повторном обыске 14 октября 1977 года ему подбросили патроны, отреагировал самым непосредственным образом: «Разговор о якобы подброшенных патронах — это детский лепет. Нет оснований ему верить. Какой смысл был подбрасывать патроны на втором обыске, когда это можно было сделать на первом?»

После этого прокурор потребовал приговорить Кирилла к 3 годам лишения свободы.

За несколько дней до суда Клеточников передал нам сугубо конфиденциальную информацию о том, каким будет приговор Кириллу. Его должны были приговорить к двум с половиной годам лишения свободы условно и отправить на «химию» — так называемые стройки народного хозяйства. Решение об этом было принято где-то очень высоко. Это была хорошая новость, у нас ее знали всего несколько человек.

К сожалению, Марк Морозов передал нам эту информацию через Володю Борисова. Это решило исход дела. За день или два до суда Борисов поделился этой информацией с одним западным журналистом, чтобы, как он нам объяснил, показать, что на самом деле приговоры по политическим делам выносятся не в суде, а в высоких кабинетах и исход дела известен заранее. Доказывать эту общеизвестную истину особой нужды не было, а риск утечки информации был велик. Однако желание Борисова продемонстрировать перед западными журналистами свою значительность и осведомленность перевесило все остальное. Говорил он с журналистом на улице, полагая, что их никто не слышит. Как передал нам позже Виктор Орехов, КГБ записал этот уличный разговор. Теперь у властей оставался единственный способ пресечь возможные обвинения в ангажированности суда — вынести другой приговор, а не тот, о котором диссидентам и западным корреспондентам стало известно накануне процесса. Кирилла приговорили к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. К реальному сроку, а не условному.

Позже неумное тщеславие Борисова погубило и еще одно дело. Пару лет спустя, когда я был уже в якутской ссылке, в Рабочую комиссию поступила информация от одного уголовника из Красноярской краевой психиатрической больницы. Он общался, что лет десять назад в этой психбольнице находился немец, сидящий по лагерям и психбольницам с конца войны. Насколько он помнит, звали его Пауль Вулленбург и был он дипломат. Уголовник то ли сидел с ним сам, то ли знал кого-то, кто с ним общался. Мы предположили, что речь может идти о Рауле Валленберге, шведском дипломате, во время войны спасшем от

нацистов более ста тысяч венгерских евреев и арестованном в 1945 году военной контрразведкой «СМЕРШ». Официальная версия гласила, что в 1947 году Валленберг умер от инфаркта во внутренней Лубянской тюрьме. По неофициальным сведениям, его гораздо позже встречали в ГУЛАГе.

Все это надо было проверять, и очень осторожно. Я занялся этим делом и написал письма друзьям в Красноярск и человеку, знакомому с некоторыми красноярскими врачами-психиатрами. Письма ушли, разумеется, не по почте, а с нарочными, и все это заняло немало времени. Предстояло очень аккуратно установить контакт с этим уголовником, встретиться с ним и расспросить обо всем подробно.

Однако об этом деле узнал от Рабочей комиссии Володя Борисов. Сгорая от нетерпения, он устроил в Москве пресс-конференцию для западных журналистов, на которой рассказал все, что нам к тому времени было известно об этом деле. Конечно, это была сенсация, о Валленберге тогда много писали и говорили. Борисов получил свою минуту славы, а тоненькая ниточка, связывающая нас с этим делом, безнадежно оборвалась. Написавшего нам уголовного немедленно этапировали из психбольницы, и разыскать его мы уже не смогли. Да и остался ли он жив после всего этого?

1978 год был богат судебными процессами. 22 марта в городе Василькове под Киевом слушалось дело Мирослава Мариновича и Николая Матусевича, членов Украинской группы «Хельсинки». Я поехал на суд вместе с Таней Осиповой. Мы не надеялись попасть в зал суда, но рассчитывали хотя бы постоять перед зданием вместе с остальными нашими украинскими друзьями. Ничего не получилось. Едва мы подошли к суду, как нас молча и без объяснения причин задержала милиция и повезла обратно в Киев. На железнодорожном вокзале мы некоторое время сидели в линейном отделении милиции, и милицейское начальство требовало, чтобы мы сами оплатили билеты до Москвы. «Мы не собираемся возвращаться сейчас в Москву, с какой стати мы должны покупать билеты на поезд?» — возражали мы с Таней. После долгих и мучительных переговоров с вышестоящим начальством киевские менты все-таки купили нам билеты за свой счет и повели к поезду.

В Киеве на вокзале, чтобы перейти к нужному перрону, надо подняться на несколько пролетов вверх по лестнице и затем идти по крытому переходу. На каждой лестничной площадке встречаются четыре лестницы — две вверх и две вниз. Толкучка там обычная, вокзальная. Несколько ментов прокладывали нам в этой толчее дорогу, при этом, потеряв бдительность, все они с какого-то момента оказались впереди нас. На ближайшем лестничном перекрестке я толкнул Таню в бок, мы переглянулись и не пошли вверх за ментами, а побежали вниз к выходу. Потерялись мы в вокзальной суматохе мгновенно. Через несколько минут мы уже были на задворках вокзала в каких-то переулках, а затем взяли такси и поехали в город по своим делам.

По возвращении в Москву меня снова ждала плотная конвойная слежка. Но она уже не могла произвести на меня никакого впечатления и даже помешать моим планам. По делам Рабочей комиссии мне надо было лететь в Запорожье, чтобы встретиться с переведенным туда в психбольницу политзаключенным Вячеславом Миркушевым. От слежки я избавился с помощью Алены Арманд, попросившей своего знакомого с первого этажа выпустить меня через окно.

Это была незабываемая поездка. Судьба улыбнулась мне перед посадкой еще раз. Я сидел в самолете и думал, что скоро меня арестуют, а как бы славно было еще разок побывать на море, которое я так любил с самого детства. В разгар моих мечтаний командир корабля объявил пассажирам, что в Запорожье мы сесть не сможем из-за плохой погоды и поэтому совершим вынужденную посадку в Адлере — аэропорту города Сочи. Мне показалось, что я творю судьбу силой своего воображения!

В Адлере наш вылет объявили через четыре часа. Я пошел бродить по окрестностям, поднялся в гору, на склоне которой расположились ровные ряды чайной плантации. В Москве была еще слякотная апрельская весна, а здесь светило яркое солнце, было жарко, и воздух напоен сумасшедшими южными ароматами ранних цветов, табака, чая и беззаботной жизни. Между двух рядов чая я лег загорать. С холма был виден аэропорт, за ним море, белые пароходы, маленькие ка-

тера и рыбацьи лодки — какая-то совсем другая, не московская жизнь, будто я вообще попал в другую страну. Я замечтался, задремал и, разумеется, упустил свой самолет. Этим же вечером я улетел следующим рейсом в Запорожье, сделал все запланированные дела и через день вернулся в Москву.

От Клеточникова пришло известие, что по моему делу в специальных и общих психиатрических больницах страны проведено десять совместных выездных комиссий Министерства здравоохранения СССР, МВД СССР и Генеральной прокуратуры. Обвинение мне будет предъявлено по книге «Карательная медицина». Это было неплохой новостью — значит, до Рабочей комиссии руки у них еще не дошли. Но мои дни на свободе, понятное дело, были сочтены.

На понедельник 15 мая было назначено начало суда над Юрием Орловым. Дня за три-четыре до этого Клеточников передал, что меня арестуют в первый день судебного процесса. Арестуют прямо около здания суда, будто на 15 суток, как это часто бывает во время политических процессов.

Я поехал в Малаховку прощаться с Таней. Это было тяжелое прощание. Она смотрела на меня как на обреченного, которому ничем нельзя помочь. В сущности, так оно и было. Утром я ушел и, не дойдя до автобусной остановки, обернулся и долго смотрел на ее дом. Она стояла на балконе, мы помахали друг другу рукой, и я вдруг ясно понял, что теряю ее, что больше ее не увижу, что шестилетней истории наших отношений приходит конец. Мне было грустно, и я пытался успокоить себя тем, что я сам выбрал такую судьбу.

О предстоящем аресте я известил самых близких друзей, и мы решили устроить накануне ареста отвальную. В воскресенье отпразднуем, а в понедельник поедem к суду над Орловым, где меня и арестуют.

Я все еще жил у своего приятеля Димы Леонтьева, но в его холостяцкой квартире не было никаких условий для приема гостей, не хватало даже посуды. Прощальный обед решили устроить у Иры Гривниной, жившей на десятом этаже в доме напротив. В субботу закупили продуктов и выпивки. Вечером появилась слезка — мои старые знакомые, ходившие за мной не один месяц.

В воскресенье с утра Ира Гривнина со своим мужем Володи Неплеховичем и еще кем-то из наших друзей занимались последними приготовлениями к торжественному обеду, который был назначен на два часа дня. В полдень, когда все разошлись, кто за продуктами, кто за посудой, раздался телефонный звонок. Звонил сам Клеточников предупредить, что меня арестуют сегодня.

Ситуация переменялась. Торжественный обед оказался под угрозой. Вскоре, однако, все собрались. Пришел и папа, с которым мы последнее время вовсе не общались. Узнав о предстоящем моем аресте, он пересилил себя и пришел, несмотря на наш разрыв. Уже накрыт был стол и мы даже успели на кухне что-то выпить и закусить, когда в дверь позвонили. Это были они.

Обыск проводила следственная бригада прокуратуры. В постановлении было указано, что проводится он в рамках возбужденного против меня уголовного дела. Статья 190¹ УК РСФСР — распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Ничего нового.

Мы еще успели выпить за мою удачную дорогу и даже попробовать разных приготовленных вкусностей. Однако следователям такая торжественная и в то же время беззаботная обстановка не нравилась. Что это такое — в доме идет обыск, а они пируют? Вдобавок ко всему я начал им что-то объяснять про уголовно-процессуальный кодекс, про свои права и их обязанности. Это было для них чересчур. Следователь распорядился меня увести. Мы с друзьями обнимались, целовались, прощались. С Димкой шутили, что встретимся на зоне. Впервые за долгое время обнялись с папой и пожали друг другу руки. Потом, не дожидаясь окончания обыска, оперативники меня увели.

ЧАСТЬ II

«Матросская Тишина»

Первая тюрьма, как первая любовь — волнует, пугает и никогда не забывается.

Я сидел в крошечном заднем отсеке милицейского газика и через решетку в окне видел уходящую из-под колес дорогу. «Да и черт бы с ним, с уголовно-процессуальным кодексом, — думал я. — Надо было дообедать в нашей замечательной компании. Вот ведь инерция диссидентского поведения!»

Было непонятно, куда мы едем. Проехали кольцевую автодорогу, выехали из Москвы. «Сейчас завезут в лес да тюкнут по голове», — подумал я. Через некоторое время приехали в отделение милиции в Мытищах. В дежурку набилось много народу — местные милиционеры, вся моя наружка — восемь человек. Меня обыскали, забрали ценные вещи, шнурки. Пончик, которому я давал читать Солженицына, смотрел на меня сочувственно и как-то подавленно. Ему было явно не по себе. Наверное, одно дело — пасти объект, совсем другое — сдавать его в тюрьму.

Возникла проблема с паспортом. Его при мне не было. Тогда этому придавали большое значение — арестованный обязательно должен быть с паспортом. Я специально запрят-

тал его у друзей, чтобы мне его потом не испортили штампом об освобождении. Ментов это не устраивало.

— Где все-таки ваш паспорт? — спрашивал меня дежурный офицер.

— Дома, конечно, — отвечал я.

— Но он должен быть с вами, — упрекнул он меня. — Я не могу принять вас без паспорта. Что же делать? — обратился он уже не столько ко мне, сколько ко всем сразу.

— Если вы не можете меня принять, то, наверное, вам следует меня отпустить, — осторожно высказал я свое соображение.

Дежурный посмотрел на меня исподлобья, а бригадир гэбэшной наружки тяжело вздохнул и начал куда-то звонить. Из его разговора можно было понять, что он через кого-то просит следователя, который все еще проводит обыск, найти мой паспорт. «Безнадежное дело», — порадовался я про себя.

Дни в Мытищинском КПЗ тянулись медленно. На деревянном настиле, называемом «эстрадой», спать было жестко. Одеял не давали, и ночью было холодно. Арестованные приходили и уходили, рассказывали свои и чужие истории, стращали беспредельной подмосковной Волоколамской тюрьмой. Через три дня меня забрали «с вещами» и отвезли в тюрьму «Матросская Тишина».

Прием и оформление арестованных описаны в литературе десятки раз, начиная с романа «В круге первом» и кончая многочисленными воспоминаниями зэков. Ничего нового не добавлю. Меня ничего особенно не удивило. Разве что технологичность процесса, абсолютная обезличенность и подчиненность установленной процедуре. Арестованный — как деталь, которая подвергается необходимой обработке то в одних, то в других руках, то на одном, то на другом станке. Ничего личного, никакой ненависти к преступникам, никакой жалости к больным и немощным. Просто работа. Нас швыряли из одной камеры в другую, из одного кабинета в другой. Заполняли какие-то формуляры, анкеты, медицинские карты. Врачиха лет пятидесяти, низенькая, бесформенно толстая и вся какая-то корявая, бесцветным заученным тоном повто-

ряла, наверное, в стотысячный раз: «Снять штаны, спустить трусы, расставить ноги, нагнуться вперед, раздвинуть руками ягодицы». Потом она заглядывала туда и что-то записывала в медицинскую карту. «Боже мой, — думал я, — сколько же арестованных задниц она разглядела за свою жизнь! Вот где беззаветный врачебный подвиг! Вот где настоящая драматическая медицина!»

Дня два я провел с другими арестованными на «разборке» — в камерах первого этажа, откуда постепенно, одного за другим, арестованных поднимают на этажи в постоянные камеры. Подняли и меня. В шестиместной камере спецкорпуса было три человека. Все — серьезные люди, сидевшие за тяжкие преступления и не по первому разу. Все относились друг к другу спокойно и уважительно. Сидеть там было легко, и лишь одна проблема мучила меня первые два дня. Параша, точнее, дырка напольного железного унитаза в полу находилась в углу камеры и была отгорожена только барьером и тряпкой на палке. Я никак не мог решиться пользоваться ею в присутствии остальных. Мне было неловко. Я промучился весь первый день и часть второго. Однако необходимость все же взяла свое, а вскоре моя первоначальная неловкость уже казалась мне смешной.

Долго наслаждаться спокойствием спецкорпуса мне не пришлось. То ли спохватились, что первоходочнику не положено сидеть с рецидивистами, то ли по каким иным причинам, но через несколько дней меня перевели в 111-ю камеру общего корпуса.

Здесь было человек сорок. Шум и гам стояли непрерывно. В одном углу варили чай, в другом играли в карты или нарды, за столом резались в домино, а кто-то еще ухитрялся в этом бедламе дремать. Я нашел себе место на верхней шконке. Соседом моим оказался парень, сидевший за воровство книг из библиотеки. Ему было лет двадцать с небольшим, и он очень любил читать. Но денег на жизнь не хватало. Он брал книги в библиотеке, читал их запоем, а особо полюбившиеся оставлял себе.

Здесь я провел три месяца до самого своего суда. Почти все в камере были такие же, как и я, первоходочники, никто

особенно не пытался взять верх над другими или беспредельничать. Первое время в тюрьме я отсыпался — сказывалась усталость последних месяцев. Я спал ночью и днем, благо дубаки не обращали на это особого внимания. Утренняя поверка, вечерняя поверка да еда — в остальное время я спал.

Через неделю я окончательно проснулся и зажил общей тюремной жизнью. Научился играть в нарды и настольную игру с костями, которая называлась почему-то «мундавошкой». Начал ходить на часовые прогулки, греясь на теплом июньском солнышке. Прогулочные дворики находились на крыше тюрьмы. В сущности, те же камеры, только вместо потолка натянута металлическая сетка, а над двориками — деревянные мостики, по которым ходят надзиратели. Впрочем, чаще ходили надзирательницы, которых в тюрьме было едва ли не большинство. Молодые девчонки из провинции шли на эту службу ради московской прописки и возможности жить в Москве. Для эков это был особый интерес — смотреть снизу на прогуливающихся над ними надзирательниц в форменных юбках. Тех это, как правило, не смущало. Одна из надзирательниц, молодая рыжеволосая девушка с резким хриплым голосом, специально не надевала трусики, чтобы произвести впечатление на эков, прогуливаясь у них над головами. Впечатление было не слабое. Попасть на прогулку в ее дворик и в ее смену считалось большой удачей. Я пару раз попадал.

Все время хотелось есть. Все пришли с воли и еще не успели привыкнуть к скудному тюремному рациону. Черный хлеб, который нам выдавали, 850 граммов каждый день, был не просто плохого качества — он был отвратителен. Я до сих пор не понимаю, как его умели так испечь. Внутри он был сырой и кислый, крошился и разваливался в руках, а съешь его даже немного — скоро начинается изжога. Одни говорили, что его пекут в местной тюремной пекарне, другие утверждали, что в Бутырке. Как и многие в нашей камере, я сушил из него сухари, но в случае обыска в камере надзиратели эти сухари выкидывали. Считалось, что сухари эки сушат для побега.

Днем обычно давали миску баланды — в отменно горячей воде плавало некоторое количество картофельной шелу-

хи и рыбьих косточек. На второе — сечка, приготовленная на техническом гидрожире. Иногда давали синюшную неочищенную перловку — это был праздник. Все замечали, что от баланды клонило в сон. Говорили, что в нее добавляют бром, дабы снизить сексуальную активность арестантов. Некоторые, переживая за свою потенцию, от баланды отказывались.

Раз в месяц можно было купить на десять рублей что-то в тюремном ларьке, если на счету есть деньги. Деньги у меня, конечно, были, друзья об этом сразу позаботились. Я брал настоящий белый хлеб, сахар, сливочное масло, овсяное печенье и курево — несколько пачек сигарет для особых случаев, а на остальное — махорку и табак.

Но что было гораздо интереснее, чем тюремный ларек, так это передача с воли. Впрочем, первую передачу я не взял. Она была от отца, а наши отношения были настолько испорчены, что я от передачи отказался. Офицер, принесший мне ее в камеру спецкорпуса, стоял в полном недоумении — он не сталкивался со случаями, когда зэк отказывается от передачи. Мне даже пришлось написать письменный отказ на перечне принесенных продуктов.

Зато следующую передачу, от Славки Бахмина, я смаковал очень долго. Чего там только не было! Вот знаменитое сладкое суперкалорийное печенье по рецепту Марьи Гавриловны Подъяпольской, его знают все диссиденты — и сидевшие, и еще нет. А вот «соленое печенье» — маленькое, аккуратное, упакованное в заводскую обертку. По виду ничем не отличишь от обычных советских кондитерских изделий. На самом деле — убойной концентрации бульонные кубики с витаминными добавками. Их присылают Фонду помощи политзаключенным из-за границы, а здесь камуфлируют под сладости — переупаковывают в обертки из-под советских конфет. Я знаю все это в деталях, сколько раз сам снаряжал такие передачи и посылки. Теперь сам же и получаю! Вот целая палка финского сервелата — его в Москве днем с огнем не сыщешь, дефицит первого разряда. Мне такой на воле есть не приходилось. Но я-то знаю: политэкам собирают всё самое лучшее. А вот одежда, дорогие сигареты, всякие полезные мелочи. И, наконец, самое главное — овощи и фрукты.

Ах, даже в райском саду не растут такие овощи и фрукты, какие я получал летом 1978 года в московской тюрьме «Матросская Тишина»! Ибо в некоторых из них были упрятаны записки и деньги. Тюремные опера по большей части туповаты и считают, что если продукт цельный, то внутри него ничего постороннего быть не может. Это их счастливое заблуждение мы использовали много лет.

Не буду выдавать все секреты мастерства — расскажу об одном. Берется, например, репчатый лук. Осторожно раздвигается верхушка. Вовнутрь аккуратно пропихивается запаянная в полиэтилен записка или денежная купюра. Затем луковица ставится в стакан с водой на два-три дня. Верхушка бесследно зарастает и даже может дать нежные зеленые побеги. В таком невинном виде ее и надо класть в тюремную передачу. Есть и другие способы, о которых умолчу — ведь жизнь продолжается!

Важно еще, чтобы была предварительная договоренность о передаче записок и денег. Когда посадили Юрия Федоровича Орлова, я как-то помогал его жене Ире Валитовой собрать передачу в Лефортовскую тюрьму. То ли записку, то ли деньги, сейчас уже не помню, я аккуратно упаковал в центр яблока. Ира благополучно сдала передачу, чекистские опера ничего не заподозрили, но Юрий Федорович о наших планах не знал. То ли он поделился с кем-то передачей, то ли ненароком проглотил послание, но, во всяком случае, так его и не обнаружил.

У меня же серьезная проблема состояла в том, что луковиц было обычно штук пять, а в какой из них находилось послание и деньги, установить можно было только опытным путем. Ничего, если бы я сидел в одиночке, но в общей камере часть передачи положено было выкладывать на общий стол, дабы домашних вкусовостей могли отведать и те, у кого нет дома или кому не носят передачи. Допустить, чтобы о записке узнали все, было никак нельзя — в камере обязательно сидело по меньшей мере два стукача. Приходилось исхитряться, вскрывая фруктово-овощные контейнеры после отбоя, когда все спят.

«Если хочешь быть здоровым, ешь один под одеялом», — иронично гласит тюремная мудрость. Я забирался ночью под

одеяло и, обливаясь горячими слезами, потрошил репчатый лук. Зато награда искупала все мучения, и если бы кто-то увидел меня в тот момент, то решил бы, что это слезы радости. По несколько раз перечитывал я мелко исписанные полоски бумаги, узнавая обо всех новостях — о нашей работе, о кампании в мою защиту, о новых арестах, поиске адвоката и других событиях. А еще в каждой передаче была по крайней мере одна туго свернутая десятирублевка. Записки хранить было нельзя, и я уничтожал их той же ночью, до утренней поверки и возможного камерного обыска. А червонцы, разумеется, перепрятывал в своих вещах. На десять рублей у продажных надзирателей (а кто-нибудь видел непродажных?) можно было купить сигарет, чая или две бутылки водки. Или заказать какую-нибудь услугу. За двадцать пять рублей, например, надзиратель мог устроить секс с медсестрой в кабинете санчасти. Я, впрочем, деньги берег и потратил их только один раз на свой день рождения 8 августа, заказав в камеру спиртное.

Лето 1978 года было жарким. В камере стояла духота. Выстроенные на подоконнике «холодильники» со сливочным маслом приходилось все время поливать водой. Тюремный холодильник — это стеклянная банка, обернутая тряпкой и стоящая в шленке (миске) с водой. Тряпка, свисающая в шленку, должна быть всегда влажная, тогда вода испаряется, и банка охлаждается. Чем выше температура воздуха, тем быстрее испаряется вода и тем холоднее банка. В самую изматывающую жару масло в наших холодильниках было твердым и холодным.

Прохладно в камере было только ранним утром, когда все еще спали и не было накурено. Я просыпался по подъему. Будили нас каждый день одним и тем же бессердечным способом — в шесть утра радио начинало играть гимн Советского Союза (так с тех пор его и не переносу!). Но тогда мне это не могло испортить настроение. Я спрыгивал со шконки, умывался и шел гулять по камере от конца стола до двери. Почти все продолжали спать до завтрака.

Частенько ко мне присоединялся для прогулки Виктор Ш., питерский еврей лет сорока, которого арестовали за спекуля-

цию — он торговал книгами на черном рынке. Ш. был умным и интересным человеком, хорошо образованным, начитанным, живо мыслящим и умеющим свои мысли доходчиво излагать. Беседовать с ним было большим удовольствием. Однако вскоре по некоторым его вопросам и излишней настойчивости я понял, что он стукач. Да он и сам давал мне это понять, со значением объясняя, что готов на все, лишь бы выйти из тюрьмы. Наверное, ему было морально легче считать меня своим компаньоном в его игре с ментами. Внешне ничего не изменилось. Мы продолжали беседовать, играть в шахматы и нарды. Он, вероятно, докладывал своим кураторам о собственных успехах, а второй стукач (который обязательно должен быть в камере, чтобы контролировать первого) свидетельствовал о наших особых отношениях. У меня ко всему этому был чисто теоретический интерес. Мне было занятно вычислять и наблюдать стукачей. Впрочем, перед судом я решил воспользоваться ситуацией и сказал Виктору «по большому секрету», что меня более всего страшит ссылка, а в лагерь я пошел бы легко и с удовольствием. И даже чем-то это аргументировал. Он был доволен. Я тоже. Чекисты тем более. Как же немного нужно, чтобы все были довольны!

Малолетки

Народ в камере менялся довольно быстро. Те, кого осудили, в камеру не возвращались, их переводили в осужденку. Следственных и осужденных держать вместе не разрешалось. Иногда из отделения для малолетних в камеру «поднимали» тех, кому исполнилось 18 лет. Они рассказывали о своем житье жуткие вещи. Малолетки — создания буйные и жестокие. Вся их необузданная фантазия направлена на агрессию и подавление друг друга.

В их камерах (впрочем, и во взрослых беспредельных камерах тоже) процветает «прописка». Новичок становится полноправным сокамерником только после того, как успешно выдержит все испытания — «пропишется». Сверхзадача здесь — абсолютно доверять своим товарищам. Например,

новичку завязывают глаза, предлагают встать на край верхней шконки, раскинуть руки и плашмя падать вниз. У шконки между тем незаметно для испытуемого встают сокамерники, готовые поймать его в самом начале падения. В другом случае новичку завязывают глаза, он встает ногами на сплетенные руки двух сокамерников, а руками держится за их головы. Сокатерники отрывают руки от пола сантиметров на десять, а сами медленно приседают, благодаря чему у новичка создается впечатление, что его поднимают на высоту человеческого роста. Затем новичку предлагают прыгать. Он набирается духу, прыгает и сразу плюхается на пол, поскольку оторвался от него всего на несколько сантиметров. Всех малолеток это очень веселит.

Таких испытаний штук десять. Среди них есть одно, не лишенное глубокого тюремного смысла. Его обычно оставляют напоследок. Двум новичкам завязывают глаза и сажают со спущенными штанами на противоположные шконки. К гениталиям каждого из них привязывают длинную тонкую веревку. Игра называется «Кто кого перетянет», хотя каждому новичку между делом говорят, что тянуть вовсе не обязательно. Концы веревок вручают испытуемым. Фокус же заключается в том, что каждая веревка перекидывается через перекладину шконки напротив и новичку вручается конец веревки, привязанной к нему самому. Игра начинается, и новичкам в какой-то момент хочется попробовать, можно ли стянуть со шконки партнера. Каждый увеличивает усилия, не подозревая, что тянет сам себя. Иногда доходит до диких криков, новички истязают сами себя, проклиная друг друга. В конце концов испытание останавливают, и новичкам всё объясняют с неременной моралью: «Не желай зла другому и будешь цел».

Впрочем, мораль — вообще для тюрьмы понятие странное, а уж для малолеток и вовсе чуждое. В их враждебности к взрослому тюремному населению есть, конечно, элемент бравады, но отчасти это и подлинное неприятие взрослых правил и обычаев. Взрослый контингент их тоже недолюбливает. Обычная картина: «Эй, малолетка, в жопе х., во рту конфетка!» — несется из окна взрослой камеры. И из камеры

малолеток раздается на всю тюрьму ответ: «Эй, взросляк, в жопе х.., во рту голяк!»

Малолетки за словом в карман не лезут и вообще весьма изобретательны. Особенно когда это касается насилия или секса. Весной того года, что там был я, в камере малолеток произошел скандальный случай. Молодая лепила (медсестра) совершала ежедневный обход камер, раздавая больным таблетки. В камеру ей заходить не положено, она раздает таблетки через кормушку, которую открывает надзиратель. В камере малолеток один парень пожаловался ей на страшный нарыв на ноге, но в кормушку его видно не было. Чуть не с плачем ее уговорили поглядеть на нарыв — она просунула голову в кормушку, чего делать не следовало. Впрочем, рядом стоял надзиратель. Но он не помог. Ей моментально накинули на шею веревочную петлю, затянули ее, веревку перебросили через батарею на противоположной стене, а конец ее привязали к дверной ручке. Двери в камерах отворяются наружу. Если бы дверь начали открывать, веревка натянулась бы и медсестру окончательно удушило. Она стояла в неудобной позе, с головой, просунутой в камеру, надзиратели бегали вокруг и поднимали тревогу, а малолетки держали у ее горла нож и хохотали. Затем они по очереди подходили к ней, и под угрозой ножа она безропотно делала каждому минет. В конце концов беднягу оставили в живых и освободили от петли.

Малолеток почти не наказывают. Спецсредства, вроде наручников и смирительной рубашки, к ним применять запрещено. Оружие тоже. Безнаказанность и жестокость ведут к разгулу насилия. Впрочем, это относится не только к преступному миру.

Как-то «на следствие» забрали одного нашего сокамерника — парня лет тридцати, огромного роста и могучего телосложения, тренера по легкой атлетике. Не помню, за что он сидел. «На Петровку», — мрачно предположили старожилы камеры. Через десять дней он вернулся. Его было не узнать. Все тело в синяках и кровоподтеках, взгляд потухший, смотрит в пол и молчит. Он действительно был на Петровке, 38, в ГУВД Москвы, в так называемом МУРе. За десять дней цветущий жизнерадостный мужик превратился в немощного

старика. Он постарел лет на двадцать. Там его поместили в «резинку» — камеру, обитую изнутри каучуком, в подвальном этаже МУРа. Его посменно пытали, в основном били резиновыми дубинками и чулками с песком, не давали спать. Если он терял сознание, его обливали холодной водой. Он подписал все, что от него требовали следователи: признательные показания, а заодно и многое другое, к чему он не имел никакого отношения. «Как ты думаешь, — тихо спрашивал он меня, — я смогу отказаться в суде от своих показаний?»

Отказаться от показаний, конечно, было можно, но никогда суд не принимал это во внимание. В Сокольниках, в том же районе, где находилась тюрьма, жила и работала судья, безжалостно выносившая самые жестокие приговоры. Особенно славилась она приговорами по делам об изнасилованиях — тогда по этой статье часто попадали в тюрьму и вовсе невиновные люди. Фактически для осуждения требовалось только заявление потерпевшей, чем многие и пользовались в своих интересах. Как-то на заявление подсудимого, что он отказывается от данных на следствии показаний, потому что его пытали, эта судья ответила: «А, все вы так говорите». И вlepила приговор на полную катушку. В то лето 1978 года по тюрьме разнеслась весть — ей отомстили. Вечером на улице подстерегли, изнасиловали и изувечили ее семнадцатилетнюю дочь. У тюрьмы свои понятия о справедливости, особенно в отношении вольняшек — понятия, далекие от привычных представлений о вине и ответственности.

Следствие

Недели две после ареста следствие меня не беспокоило. Я знал об этом коронном номере — бросить арестованного в камеру и «забыть» о нем на месяц-другой. Неизвестность хуже всякой определенности. Арестант начинает нервничать и беспокоиться, а встречи со следователем ждет как манны небесной. Тут-то следователь его и начинает колоть!

Но у меня было два преимущества, о которых мой следователь не знал. Во-первых, обо всех их приемах я был доста-

точно начитан. Во-вторых, я уже давно знал от Клеточникова о развитии своего дела и было не удивительно, что сам по себе я следствию не очень-то и нужен. Я это понимал. Вся следственная работа велась без меня.

В конце мая меня вызвали на допрос. Дубак повел меня по широкому тюремному коридору, по лестнице, по переходу в административный корпус, снова по лестнице, снова по коридору и, наконец, в кабинет для допросов. Старший следователь прокуратуры Московской области Владимир Михайлович Гуженков был человеком щедушным и суетливым. Он заметно нервничал, перебирая лежащие перед ним бумаги и выискивая что-то в ящиках стола. Я довольно долго сидел на привинченной к полу табуретке, молча наблюдая за этой суетой. Думаю, Гуженкову не нравилось дело № 42434, которое он вел. Он не излучал уверенности и удовольствия от работы, как это всегда бывает с довольными собой следками. И правильно. Какое удовольствие допрашивать человека, который ни на какие вопросы не отвечает?

Этой тактики я придерживался до ареста, не изменил ей и в тюрьме. Никаких показаний, никакого участия в следственных действиях. Всякий раз повторялось одно и то же. В начале каждого допроса заполняем анкетную часть, а затем на каждый конкретный вопрос следует мой ответ: «Отказываюсь отвечать на этот вопрос». Тогда он спрашивал «Почему?», и я говорил, что на этот вопрос отвечать тоже отказываюсь. Отработанная система.

Допросы проходили быстро. Я никогда ничего не подписывал, и поэтому в конце допроса Гуженков звал двух надзирателей в качестве понятых, которые удостоверяли своими подписями, что я отказался подписывать протокол. Отношения со следователем были равными. Стремясь заполучить мое расположение, он разрешил мне курить в кабинете и ходить по нему, даже подходить к окну. Оно выходило на улицу Матросская Тишина. По улице шли женщины в платьях, девушки в шортах — это было так непривычно и красиво. На другой стороне улицы рос тополь, верхушка которого была вровень с окнами. Я смотрел на тополь, на прохожих, на летящий по улице тополиный пух, на проезжающие по улице

машины и думал, что в ближайшие три года мне всего этого не видать.

По моей статье — «Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй» (190¹ УК РСФСР) — три года был максимум. Мое дело было выделено из дела № 474 по обвинению Юрия Орлова в антисоветской агитации и пропаганде, которое вел КГБ. Почему они решили передать мое дело прокуратуре и квалифицировать его по ст. 190¹, мне до сих пор не вполне понятно. Какие-то свои соображения. Возможно, тема карательной психиатрии была настолько болезненна для них, что они не хотели привлекать к ней дополнительное внимание излишне жесткими приговорами. Все члены Рабочей комиссии были осуждены по этой же статье, за исключением одного, который, на свою беду, раскаялся и давал показания.

Я стоял у окна в кабинете следователя, смотрел на улицу и курил в открытую форточку.

— А почему вы все время отказываетесь от дачи показаний? — вдруг совсем миролюбиво спросил меня следователь Гуженков. — Только не говорите «по морально-этическим соображениям», это не для протокола. Просто я хочу понять. Вы ведь себе делаете хуже. В суде вам будет тяжелее.

— Как вам объяснить... — начал я. — Ведь это уголовное дело возбудили вы?

— Прокуратура, — поправил меня Гуженков.

— Да, прокуратура. Но ведь не я сам. На допросы вызываете меня вы?

— Я.

— Вот именно, я сам к вам не прошусь. Вопросы мне вы задаете?

— Да. Ну и что из этого? Это моя работа.

— Вот именно, ваша работа. Вы получаете за это деньги, а я — срок. Зачем мне помогать вам делать работу, за которую меня же и посадят? Поймите, мне это дело не нужно, оно вам нужно. Зачем же я буду для вас стараться?

— В суде вам зачли бы это. Я же не говорю о полном сотрудничестве со следствием и чистосердечном раскаянии.

Речь идет только о том, чтобы давать показания в отношении себя, показания, которые защитили бы вас в суде.

— Ну что вы говорите, гражданин следователь. Мы же без протокола. Какой суд, о чем вы?

— Ну, как знаете, но, по-моему, напрасно, — оставался на своем Гуженков.

Видимо, мое упорное нежелание что-либо говорить и подписывать мешало Гуженкову. Он был старшим следователем по особо важным делам, а следственное дело без единой подписи обвиняемого выглядело непрофессионально. Однажды, когда меня вели по коридору на очередной допрос, я издалека заметил, как стоящий в коридоре Гуженков быстро юркнул в свой кабинет. Мне это показалось странным. Через несколько секунд я зашел в кабинет, сел на табурет, и Гуженков каким-то очень громким и натянутым голосом спросил, буду ли я и сегодня отказываться от показаний. «Разумеется, — ответил я. — А разве что-нибудь случилось?» — «Да, — сказал Гуженков, отчего-то очень довольный, — сегодня у нас будет не совсем обычный допрос». Затем он полез под стол и достал оттуда катушечный магнитофон. Включив микрофон, он стал вслух заполнять паспортную часть протокола допроса, а потом задавать мне вопросы. Дальше все было как обычно, но следователь сиял как победитель. Вероятно, начальство требовало от Гуженкова подтверждений, что он вызывает меня на допросы и пытается допросить. Теперь доказательства у него имеются — есть от чего ликовать! Было бы забавно сидеть молча перед включенным микрофоном, подумал я тогда. Наверное, это предположил и Гуженков, юркнув в кабинет за несколько секунд до меня, чтобы включить магнитофон и записать хотя бы неофициальную часть допроса.

Отказ от любого сотрудничества со следствием не означал отказа от участия в деле вообще. Я собирался дать бой в суде, если он вдруг будет открытым. Вероятность этого была ничтожна, но вовсе пренебрегать ею было нельзя. Тогда мне хотелось сразаться с недругами не только на политическом и правозащитном поле, но и на правовом.

Я решил запастись доказательствами защиты и того, что расследование ведется необъективно. По закону следствие

должно собирать равно как доказательства обвинения, так и доказательства защиты. Этакая социалистическая диалектика. Но если они доказательства защиты не собирают, то я займусь этим сам. Я соберу доказательства не потому, что верю в оправдательный приговор, а для того, чтобы приговор был всем очевиден.

Легко сказать! Как собирать доказательства, если не можешь выйти за пределы тюрьмы, если нет ни телефона, ни свиданий с друзьями, ни адвоката. Я писал ходатайства о приобщении доказательств: «Хроники текущих событий», книг, документов. Следователь Гуженков смотрел на меня с недоумением и даже, кажется, некоторой жалостью. Он не понимал, зачем мне все это нужно. Все мои ходатайства неизменно отклонялись как «не имеющие значения для дела» и «не вызванные необходимостью». Было понятно, что документов, необходимых для защиты, не будет.

В связи с моим делом было создано, кажется, десять специальных совместных выездных комиссий Минздрава, Прокуратуры и МВД СССР. Они посетили спецпсихбольницы и дали совместное заключение об их состоянии. Материалы комиссий легли в основу обвинения. Однако в деле было много нестыковок и ляпов. Оно и понятно: медики не разбирались в правовых вопросах, менты — в медицинских. Получилось так, что в доказательствах обвинения были материалы, подтверждающие мою правоту.

Я старательно всё выписывал, невзирая на ворчание Гуженкова, раздраженного затягиванием дела. В некоторых случаях комиссии сами обнаружили явные нарушения, как, например, несоответствие фактического рациона питания установленным нормам. В других случаях я выискивал противоречия сам. Так, одному убитому при попытке побега заключенному при первичном осмотре трупа выставили причину смерти, которая совершенно не соответствовала заключению патологоанатома. Там никто и никогда не обращал на это внимания, никто ничего не проверял, и любое убийство можно было безнаказанно списать на любую болезнь.

Знакомство с делом затянулось. В деле было всего пять томов, и я не спешил. Помимо материалов, полезных для за-

шиты, я находил там просто много интересного. Особенно занятно было читать доносы. Более всего меня позабавил пространный донос на меня заведующего 21-й подстанцией московской «скорой помощи» врача Станислава Анатольевича Жидкова. Я работал на «скорой» до августа 1977 года, и к тому времени мою фамилию уже довольно часто упоминали по западному радио. Естественно, все на работе были в курсе событий, хотя и относились к этому по-разному. Впрочем, вслух и прямо мне никто осуждения не высказывал. Я ничего не скрывал и отвечал на все вопросы коллег, когда они меня о чем-то спрашивали. Спросил как-то и Жидков. Он вызвал меня к себе в кабинет и с самым приятным выражением лица, чуть понизив голос для пущей доверительности, стал расспрашивать о диссидентском движении, о прошедшем у меня на днях обыске. Я немного удивился, зная, что он старательно делает карьеру и собирается вступать в партию, но коротко рассказал обо всем, что, впрочем, было и так всем известно. Беседа получилась недолгой — меня позвали на срочный вызов, и про обыск я ничего рассказать не успел. Жидков был доволен, благодарил за интересный разговор и был необыкновенно благожелателен, чего раньше за ним не водилось.

И вот, знакомясь с делом в следственном изоляторе «Матросская Тишина», я нахожу его донос — напечатанное на пишущей машинке на двадцати листах великолепной мелованной бумаги подробное изложение той нашей беседы и все его соображения относительно работающего у него антисоветчика и врага советской власти. Когда я прочитал описание обыска, о котором рассказать ему не успел, я сообразил, что информацию для доноса Жидков брал из передач западного радио, все записал, а потом перепечатал и послал от своего имени в КГБ.

Мне стало весело. Вот это инициатива! Вот это находчивость! Я не мог сдержать смеха, читая его строки о том, как ему удалось вытащить меня на откровенность в приватной беседе, и теперь он, как патриот и честный советский человек, спешит поделиться этой информацией с компетентными органами. Гуженков, обычно хмурый и деловой, поинтересо-

вался, что это меня так развеселило. Я рассказал. Он тоже смеялся.

Недели через две после ознакомления с делом сотрудница спецчасти принесла мне в камеру обвинительное заключение, которое выразительный эковский язык именует ёмким словом «объебон».

Обвинительное заключение было утверждено прокурором Московской области. В нем говорилось, что «29 декабря 1977 г. Следственным отделом КГБ по Москве и Московской области из дела № 474 по обвинению Орлова Ю.Ф. были выделены материалы, касающиеся Подрабиника Александра Пинхосовича, для возбуждения против него уголовного дела по обвинению Подрабиника в распространении клеветнической информации, порочащей советский государственный и общественный строй, т. е. преступления, предусмотренного ст. 190¹ УК РСФСР.

30 декабря материалы дела были переданы в Прокуратуру Московской области, а 2 января приняты к производству следователем Гуженковым В.М. Следствием, проведенным по делу, установлено, что Подрабинек Александр Пинхосович в течение 1975-1977 годов изготовил документ под названием «Карательная медицина», в котором грубо искажает события из истории нашего государства, извращает внутреннюю политику КПСС и советского правительства, порочит социалистическую демократию, гражданские права и свободы, отождествляя социалистический строй в нашей стране с тоталитарным фашизмом, лживо утверждает, что в СССР отсутствуют законность и политические права. В своей книге Подрабинек А.П. клеветает на деятельность наших государственных органов и общественных организаций, на представителей советской психиатрии, которых называет «преступниками и карателями», с клеветнических позиций описывает роль профессиональных союзов, убеждает в неконституционности некоторых статей УК и УПК РСФСР и ряда союзных республик. В документе содержатся клеветнические утверждения о якобы имевших место «психиатрических репрессиях», называются имена «жертв карательной медицины».

Изготовленный клеветнический документ Подрабинек адресовал различным организациям на Западе, где этот документ был использован для проведения враждебной пропаганды. Документ был использован империалистической пропагандой для разжигания клеветнической кампании против Советского Союза».

Суд

С судом вышла заминка. Сначала мне показалось, что это забавно, и только потом я понял, насколько мне повезло. Адвокат Евгений Самойлович Шальман, который недавно защищал Юрия Орлова и теперь был приглашен на мой процесс, был в отпуске. Тем не менее он был готов из отпуска вернуться и даже написал об этом заявление председателю коллегии адвокатов Константину Апраксину, но ему велели отгуливать отпуск до конца. КГБ не хотел видеть Шальмана на моем суде, очевидно, сытый по горло его участием в деле Орлова. Мне предлагали взять любого другого адвоката. Я отказывался.

Суд назначили на 10 июля. В этот же день судили Алика Гинзбурга в Калуге, Анатолия Щаранского в Москве, Виктора Пяткуса в Вильнюсе. У них были тяжелые статьи, им грозило до десяти лет лишения свободы, Толе — смертная казнь. Моя жалкая 190¹ с трешкой по максимуму на фоне их приговоров прошла бы легко и незаметно. Но тут вмешалась благоволившая ко мне судьба.

Утром 10 июля меня посадили в воронок и повезли в Электросталь. Московский областной суд, в производстве которого находилось мое дело, располагался, разумеется, в Москве. И судить меня должны были бы именно здесь. Однако в Москве много западных корреспондентов и дипломатов, которые захотят прийти на процесс. Поэтому придумали устроить выездное заседание коллегии по уголовным делам Мособлсуда в Электростали, где я тогда уже не жил, но все еще был прописан.

Часа через полтора машина остановилась около здания суда, и конвойный офицер пошел выяснять, куда меня девать.

Конвоиры открыли наружную дверь, чтобы в камеру шел воздух, и разрешили курить в машине. Было теплое летнее утро. По улице кружился тополиный пух, сбиваясь в кучки и залетая время от времени ко мне в автозак. Я наслаждался созерцанием кусочка свободы и удивлялся, что около суда нет ни родных, ни знакомых. «Такого не может быть, — думал я, — чтобы сразу всех обманули насчет места судебного процесса. Здесь что-то не так».

Дело же было в том, что отсутствие у меня всякого адвоката в планы КГБ не входило. Они хотели соблюсти видимость законности. Поэтому первая часть решения — привезти меня на суд 10 июля — была выполнена военным конвоем, а что делать со мной дальше, они не знали — вопрос этот решался совсем в другом месте. На согласование ушло часа два, а я сидел в это время в воронке, никуда не торопился и пялился на свободу. Затем, ничего не объясняя, меня снова заперли в камере автозака, и мы вернулись в Москву. Я даже успел получить свой законный обед. Суд отложили на неопределенный срок.

Вскоре из очередной продуктовой передачи я узнал, что Гинзбург и Пяткус приговорены к 8 и 10 годам лагерей особого режима, а Щаранский — к 13 годам лишения свободы. Затем на свидание ко мне пришел адвокат Шальман.

Евгению Самойловичу Шальману было около пятидесяти, и он был в расцвете своей адвокатской карьеры. Кроме того, он был заядлый пушкинист и мог наизусть прочитать «Евгения Онегина» от начала до конца — весь роман! Мы с ним хорошо поладили, невзирая на различный подход к предстоящему процессу. Я намеревался устраниться от дела, как только станет очевидна предвзятость суда. Он считал, что надо активно защищаться и в любом случае использовать все возможности правосудия. Он же был адвокатом — что еще он мог предложить своему подзащитному? У него не было особого доверия к советскому суду, но участие в процессе отвечало его профессиональной позиции.

Евгений Самойлович был отличным адвокатом. Он не любил советскую власть и был одним из немногих в московской адвокатуре, кто брался за политические дела. Однако

предыдущий процесс, похоже, надломил его. Он защищал Юрия Федоровича Орлова и столкнулся с таким произволом, которого не мог себе представить. Дело не в том, что его ходатайства немотивированно отклонялись, судья Лубенцова откровенно хамила защите, а приговор Орлову дали по максимуму — семь лет лагерей и пять лет ссылки. И даже не в том, что творилось у здания суда — тройной кордон милиции и сотрудников КГБ, проход в здание суда по специальным пропускам, провокации и задержания. Елену Георгиевну Боннэр милиционер ударил по голове, она в ответ дала ему пощечину, ее скрутили, а кинувшемуся ей на помощь Сахарову заломили руки, обоих бросили в милицейскую машину и увезли в 103-е отделение. Моего друга Диму Леонтьева «за попытку освобождения Сахарова» осудили на 15 суток административного ареста. Иру Валитову, жену Юрия Федоровича, пустили в зал суда, но при первой же попытке выйти из него во время перерыва обыскали, раздев догола в присутствии трех кагэбэшников. Все это было возмутительно и незаконно, но... обычно. Необычно было то, как обошлись с адвокатом.

«Вы представляете, — рассказывал мне на свидании Шальман, — я остался в перерыве в зале суда, а меня выволокли оттуда и заперли в какой-то комнате». Голос его дрожал, он волновался, вспоминая пережитое два месяца назад унижение. С адвокатом, профессионалом и равноправным участником процесса, обошлись как с провинившимся школьником, посаженным в темную комнату под ключ. К счастью, в комнате оказался телефон, Шальман позвонил в коллегии адвокатов, оттуда пошли звонить по инстанциям, и в конце концов Евгения Самойловича выпустили из комнаты и разрешили пройти в зал суда.

Я честно предупредил Шальмана, что откажусь от его услуг, если реальная защита будет невозможна. «Воля ваша», — ответил мне Евгений Самойлович совершенно по-пушкински.

Тем временем на Западе разворачивалась кампания в мою защиту. Вынесенные в июле тяжелые приговоры Орлову, Гинзбургу, Щаранскому и Лукьяненко всколыхнули запад-

ное общество и побудили его к выражению солидарности с советскими диссидентами. Коснулось это и меня.

Президент английского Королевского колледжа психиатров профессор Рис по поручению общего собрания колледжа направил Л.И. Брежневу письмо, в котором, в частности, писал: «Обстоятельства этого дела приводят нас в недоумение. Мы осознаем, что законы наших двух стран различны, но на основании сведений, которые нам известны, трудно понять, что Подрабинек сделал такого, что хоть в какой-то мере можно считать преступлением».

Еще в июне стараниями английского политолога Питера Реддюза и психиатра Гарри Лоубера был создан международный комитет в мою защиту. Позже он разросся, имел представительства в четырнадцати странах и защищал уже не только меня, но и Кирилла. В комитет входили многие известные люди. В европейских столицах они устраивали манифестации в нашу защиту, а в США вместе с многочисленными нашими недавно найденными родственниками устроили большую демонстрацию перед советским посольством в Вашингтоне.

О своем намерении защищать меня заявил английский адвокат Луис Блом-Купер. Я в свою очередь подал заявление в Мособлсуд, в котором писал, что наряду с Шальманом защищать меня на процессе будет и английский адвокат. В уголовно-процессуальном законодательстве РСФСР нигде не уточнялось, что защищать в суде может член только советской коллегии адвокатов. Вероятно, советским законодателям мысль о том, что к делу может быть приглашен зарубежный адвокат, не могла прийти в голову даже в кошмарном сне.

О том, что меня будут судить 10 июля, в один день с Гинзбургом, Пяткусом и Щаранским, было известно задолго до суда. Предполагалось, что сразу же после моего процесса в Англии состоится «параллельный процесс», на котором будут заслушаны показания свидетелей защиты. Слушания были намечены на 13 июля. Благодаря отпуску Шальмана и моему нежеланию приглашать другого адвоката 10 июля суд над мной не состоялся. Однако «параллельный процесс» перенести не стали.

Слушания прошли в Лондоне под председательством Блом-Купера. Были заслушаны показания пятерых свидетелей, в том числе психиатра Юрия Новикова, бывшего сотрудника института им. Сербского, попросившего недавно политическое убежище в Англии. Свидетельства перебежчика из вражеской цитадели дорогого стоили. На слушаниях были исследованы письменные свидетельства и магнитофонные записи.

Советское посольство в Лондоне против приезда Блом-Купера в Москву не возражало. Ему пообещали выдать визу. Обещали неоднократно, но ссылались на бюрократические затруднения и выдачу откладывали. Тянули до последнего дня и, конечно, обманули.

15 августа меня снова повезли в Электросталь, на сей раз в микроавтобусе и опять с военным конвоем. В окна было видно Москву. Проехали Преображенку, дом, в котором жили еврейские отказники Виктор и Шева Елистратовы. Промчались по Щелковскому шоссе, выехали на окружную дорогу, затем свернули на Горьковское шоссе. Никогда не любил экскурсии, но эта стала исключением. Судьба подарила мне вид из окон конвойной машины, и я подумал, что это подарок мне на двадцатипятилетие, которое я отметил со своими сокамерниками неделю назад.

При въезде в Электросталь случилась заминка. На милицейском посту машину остановили. Она не была раскрашена в милицейские цвета, с виду ничем не отличалась от других машин, и ее почему-то не хотели пропускать в город. Некоторое время постовые милиционеры о чем-то препирались с моим конвоем, потом ходили в свою будку звонить кому-то по телефону. Все это было необычно и странно. «Что за блокада? — думал я. — Вот бы здорово было, если бы нас не пропустили!» Увы, этого не случилось. Позже я узнал, что из-за суда надо мной в этот день в городе был закрыт въезд для всех иногородних машин.

В суд приехали задолго до начала. Моросил легкий летний дождик. Здание суда было оцеплено милицией, но машина подъехала прямо к подъезду. Никого из знакомых я не увидел. Меня отвели в конвойное отделение — ма-

ленькую комнатку со скамейкой, где я сидел, дожидаясь своего судного часа.

На улице между тем было интересно. Примерно к половине девятого к зданию суда подошли мои друзья и родные — несколько десятков человек. Все приехали из Москвы на электричке. К подъезду никого не подпускали — милицейское оцепление стояло намертво. На все требования открытого суда офицеры милиции отвечали: «Суд, конечно, открытый, но зал уже заполнен людьми, которые пришли раньше. Не на головы же им вас сажать?».

Славка Бахмин, предвидя сегодняшние фокусы милиции, еще накануне пришел к председательствующему в процессе судьбе Назарову с просьбой пропустить его завтра в зал суда. В подтверждение своего особого положения он показал судье мою доверенность на ведение дел, но это не помогло. «Суд открытый, присутствовать может каждый», — разыгравая недоумение, отвечал судья Р.В. Назаров.

На следующий день Назаров сам стоял рядом с диссидентами под дождем перед милицейским оцеплением и безуспешно пытался пройти в суд. Местные милиционеры московского судью в лицо, разумеется, не знали и в здание суда не пропускали. Ему надо было судить меня, а он стоял и доказывал милиционерам, что он-то и есть судья на сегодняшнем судебном процессе. Менты, вероятно, думали, что диссиденты хотят их облапошить. Пришлось судье под разыгравшимся дождем искать в портфеле свое служебное удостоверение, которое, как назло, никак не находилось.

Толпа перед зданием постепенно росла. Весть о необычном судебном процессе моментально разнеслась по городу. Многие знали о начале суда из передач западного радио. Некоторые приехали из других городов. Осуждение перемежалось с сочувствием, но главным мотивом было любопытство. Некоторые совершенно незнакомые люди подходили к моим друзьям и спрашивали, чем могут мне помочь.

Чем мне можно было помочь? Я сидел в конвойном отделении Электростальского городского суда и, что называется, томился. Камера была маленькая и находилась в подвальном этаже здания. Воняла сыростью, канализацией и мокрой

известкой со стен. Я думал о том, что скажу на суде, и настраивал себя на боевой лад. Так продолжалось часа полтора, а затем по каким-то обшарпанным лестницам и совершенно пустым коридорам обезлюдевшего здания меня повели в зал судебных заседаний.

Я вошел. Давно я не видел такого большого скопления прилично одетых людей в гражданской одежде. Они сидели в зале, человек сорок, и все повернулись в мою сторону, когда я вошел, и уставились на меня. Никаких знакомых лиц, сплошная партийно-советская номенклатура городского масштаба. Я придал своему лицу максимально независимое выражение с легким оттенком презрения и прошел к своей скамье, стоявшей за барьером с красивыми деревянными балясинами. Усевшись и оглядев зал, я обнаружил в первом ряду папу и его молодую жену Лидию Алексеевну. Два с половиной месяца назад у них родилась дочь, моя сестра Маша. Сегодня ее оставили с кем-то из близких, чтобы использовать возможность по-родственному попасть в зал суда. Я помахал им рукой, и папа тоже изобразил руками какой-то замысловатый знак, призванный поддержать меня и укрепить мой моральный дух. В столь враждебном окружении наши с ним испорченные в последний год отношения отошли на второй план.

Прямо перед моим барьером стоял стол, за которым спиной ко мне сидел мой защитник Евгений Самойлович Шальман. Слева от меня была публика, справа — суд, а напротив, около плотно зашторенных высоких окон, восседал за своим столом государственный обвинитель. Я смотрел на их лица. Публика выглядела туповато и производила впечатление недалеких людей, попавших в необычные обстоятельства и еще не знающих, как себя вести. Однако ни государственный обвинитель — заместитель прокурора Московской области В.Г. Суворов, ни судья — заместитель председателя Московского областного суда Р.В. Назаров впечатления кровожадных монстров не производили. По бокам от судьи сидели народные заседатели, которые никогда ничего не говорят и ни о чем не спрашивают, а на любой вопрос председательствующего судьи всегда согласно кивают головой (за что их на тюремном языке зовут «кивалами»). Все они — спокой-

ные люди, занятые своей будничной работой. Именно так, совершенно буднично, судья уточнил мои анкетные данные, справился у секретаря о явке в суд участников процесса и свидетелей, а затем перешел к ходатайствам и отводам.

Настал мой час! Я понимал, что, скорее всего, это будет единственная стадия процесса, в которой я смогу участвовать. Так и получилось.

У меня было припасено около тридцати ходатайств о дополнении материалов дела и исправлении процессуальных нарушений. Идея моя состояла в том, чтобы из моих ходатайств было видно, как односторонне велось расследование и как в угоду обвинительному уклону нарушался закон. После первого же моего ходатайства судья Назаров спросил, есть ли у меня другие, и, узнав, что есть, предложил сразу же их все и огласить. Я понял: он хотел отклонить их скопом, за один раз, чтобы не останавливаться на каждом. Вообще говоря, в судебной практике так и принято — перед началом судебного следствия заявлять одно ходатайство из многих пунктов. Однако закон разрешает подсудимому заявлять сколько угодно ходатайств и на любой стадии процесса. Я этим воспользовался и заявил, что подача следующих ходатайств будет зависеть от судьбы предыдущих. Судье это не понравилось, но он вынужден был согласиться.

Я просил приобщить к материалам дела различные документы — от самых невинных до махрово антисоветских: инструкцию Минздрава о нормах питания, Положение о спецпсихбольницах МВД СССР, Международную классификацию психиатрических заболеваний, информационные бюллетени Рабочей комиссии, сорок восемь номеров «Хроники текущих событий», изданные за рубежом книги, сводки радиоперехвата передач западных радиостанций и многое другое. Каждый документ я оформлял отдельным ходатайством и с интересом смотрел на реакцию суда. Судья Назаров не скрывал раздражения. После каждого ходатайства он наклонял голову сначала к одному народному заседателю и что-то шептал ему на ухо, затем к другому, а потом объявлял, что, посоветовавшись на месте, суд ходатайство отклонил.

— Еще ходатайства есть? — спрашивал он меня поначалу сдержанно, а потом уже вопрошал с раздражением: — Ну, это все или еще есть?

— Есть, гражданин судья, — неизменно отвечал я и продолжал.

Конечно, это было отчасти мальчишество, игра в правосудие, но мне не терпелось показать всему миру, каков на самом деле советский суд. Я требовал допросить в качестве свидетелей диссидентов и психиатров, приобщить к делу истории болезни и акты патологоанатомических экспертиз убитых заключенных, провести судебные-медицинские и психиатрические экспертизы. На всё — отказ.

Наконец я заявил ходатайства, которые нельзя было бы отклонить даже в советском суде: я требовал ознакомить меня со всеми материалами дела, а именно: с магнитозаписями допросов, и сделать перевод с итальянского на русский имеющихся в деле материалов II сессии Сахаровских чтений в Риме. Ну не знаю я итальянского языка! Отказали.

Собственно говоря, не происходило ничего неожиданного. Именно этого я и ожидал. По моему плану, после долгих, утомительных и демонстративных попыток дополнить дело материалами защиты следовали короткие и энергичные заключительные ходатайства и заявления.

Я заявил ходатайства о допуске к делу моего английского адвоката Луиса Блом-Купера и о проведении процесса при открытых дверях. Первое отклонили сразу, а со вторым вышла заминка. Судье было неудобно отклонять ходатайство об открытом судебном процессе — получалось, что он соглашается с тем, что процесс закрытый. Поэтому он попытался меня переубедить.

— Посмотрите, подсудимый, — говорил мне судья, — зал заполнен людьми, вот и ваши родственники сидят, а вы толкуете, что суд закрытый.

— А вы, граждане судьи, выйдите на минуту из зала суда на улицу или хотя бы отодвиньте шторы на окнах и убедитесь, что здание суда оцеплено милицией, дружинниками и людьми в штатском, а за оцеплением стоят мои друзья, которым не разрешают подойти даже к дверям суда.

Отклонив эти ходатайства, судья Назаров в очередной раз поинтересовался, что там еще у меня осталось. У меня было повторное ходатайство, и я увидел, как напрягся Назаров, предположивший, вероятно, что я сейчас начну повторять все ходатайства заново. А их к тому моменту было заявлено уже двадцать пять.

Но я не стал валять дурака и заговорил о гласности судопроизводства. Я ссылался на газету «Советская Россия», в которой был репортаж о суде над браконьерами в городе Нелидово. Чтобы в зале поместились все желающие, судебное заседание проводили в местном Доме культуры, да еще и транслировали ход процесса на прилегающую площадь. «У нас в Электростали есть несколько домов культуры, почему бы не проводить суд там? В ДК все поместятся, а то тут вся публика какая-то специфическая», — убеждал я суд, брезгливо посматривая на зал.

Специфическая публика возмущенно зашипела.

Я обратился к истории: «В 1864 году император Александр Николаевич провел судебную реформу и даровал гражданам Российской империи право на гласность судебного разбирательства...» — начал я. Тут поднялся прокурор, но судья его уже опередил, попросив меня не отклоняться от дела и говорить по существу. «Так вот, — перешел я к существу, — очень жаль, что сейчас, через сто сорок лет, при коммунистическом режиме наши граждане лишены этого права».

Зал зашумел. Им было плевать на реформы Александра II, но словосочетание «коммунистический режим» резало им слух. Мне же было легко и забавно. Единственное публичное место в стране, где можно было безнаказанно излагать свои антисоветские взгляды, был суд, свой собственный судебный процесс!

Евгений Самойлович Шальман до сих пор безропотно поддерживал почти все мои ходатайства, но юридическая часть моей защиты заканчивалась и пора было избавляться от адвоката. Так было между нами договорено: я отказываюсь от защитника, как только убеждаюсь, что все юридические механизмы защиты исчерпаны. Закон предоставлял мне право защищаться самостоятельно.

Но что закон! Хотя с моим заявлением об отказе от защитника прокурор сразу согласился: это мое право, — суд его отклонил. Вероятно, Назаров уже предполагал, что будет дальше. Однако как это возможно, чтобы я отказывался от адвоката, а он тем не менее меня защищал?

Я сделал повторное заявление для суда, объяснив, что если к делу не допускают моего английского адвоката, то я расторгаю с адвокатом Шальманом договор об оказании адвокатских услуг (правда, вовсе не я его и заключал!). Объясняя свою позицию, я заявил суду: «Я не желаю, чтобы адвокат служил прикрытием творимому беззаконию, чтобы его присутствие в суде создавало иллюзию правосудности процесса, в то время как реально он лишен возможности защищать меня».

Я ссылаясь на Уголовно-процессуальный кодекс и говорил, что буду делать заявления об отказе от адвоката непрерывно, пока адвокат не будет выведен из процесса. Шальман изложил свою позицию: если подсудимый отказывается от его услуг, он не вправе их ему навязывать. Прокурор вновь согласился со мной, также сославшись на статью закона и мое право защищаться самостоятельно.

На сей раз сопротивление было сломлено. Судье очень хотелось сохранить красивую картинку приличного суда, но делать было нечего — пришлось согласиться слушать дело без моего защитника. Евгений Самойлович торопливо сложил свои бумаги, оставил мне с разрешения судьи свой УПК, грустно попрощался со мной и как-то очень поспешно покинул зал суда, не пожелав даже остаться в качестве слушателя. Возможно, он опасался, что его опять запихнут в какую-нибудь комнату, как это было во время суда над Орловым.

Я больше не был связан договоренностями с адвокатом и мог делать что угодно, не боясь подвести его. Все-таки странно была устроена советская жизнь, в которой подсудимый должен был думать о том, как бы не навредить своему адвокату.

Моя партия в этом спектакле заканчивалась, и я перешел к самому приятному: мне предстояло хлопнуть дверью. В самом деле, с какой стати участвовать в процессе, в котором нет

никаких шансов доказать свою невиновность? Они превратили суд в фарс, а я доведу его до абсурда. Первый шаг я уже сделал, отказавшись от адвоката, теперь надо попытаться устранить из дела судей и прокурора. Понятно, что не получится, но эта формальность необходима.

«Я считаю, что нарушение вами, граждане судьи, и вами, гражданин прокурор, уголовно-процессуального закона, в частности ст. 18 УПК РСФСР, предусматривающей гласность судебного разбирательства, и ст. 20 УПК РСФСР, вменяющей в обязанность судей и прокурора всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела, может быть вызвано только одной причиной — заинтересованностью в деле. Эта заинтересованность, по моему мнению, — безусловное следствие вашей приверженности коммунистической идеологии, вашей подчиненности руководящим партийным инстанциям и вашей профессиональной недобросовестности. Поэтому вы и не можете судить и исполнять законы беспристрастно и объективно. Заявляю отвод всему составу суда и прокурору».

В зале раздались возмущенное бормотание и выкрики. Судья призвал публику к порядку.

Поднялся прокурор.

— Подсудимый отводит не одну кандидатуру, а весь состав суда. Ни один советский суд не сможет вас удовлетворить, — сказал он, обращаясь ко мне. — У нас все судьи одинаковы.

— Да, именно так, — согласился я с прокурором. — У вас все судьи одинаковы.

На сей раз обсуждать мой отвод суд удалился в совещательную комнату. Минут через десять, вероятно, попив чаю, они вернулись в зал и объявили, что отвод отклонен.

Ничего другого не ожидалось. Теперь я устранюсь из дела сам. Заявление об отказе от участия в процессе было подготовлено у меня заранее. Я зачитал его: «Так как суд отклонил все мои ходатайства, судебное разбирательство проходит фактически при закрытых дверях, людям, дающим показания в пользу защиты, не разрешено выступить свидетелями в суде, необходимые мне для защиты материалы не приобщаются к делу, многочисленные процессуальные нарушения не ис-

правляются; так как следствие и суд сделали все от них зависящее, чтобы воспрепятствовать мне защищаться от предъявленного мне лживого обвинения, я заявляю, что отказываюсь принимать какое-либо участие в судебном разбирательстве».

Мое заявление не произвело никакого эффекта. Никто не предлагает мне покинуть зал. Судья лишь заметил, что это никак не отразится на ходе судебного процесса.

Э-э, нет, так не пойдет. Вам придется судить пустое место, меня на скамье подсудимых не будет, решаю я.

— Пора переходить к судебному следствию, — объявляет судья Назаров. — Нет ли у кого еще заявлений, отводов и ходатайств?

— Да, у меня есть, — отвечаю я и зачитываю текст:

«Поскольку я не имею ни артистического таланта, ни юридического образования, то в том спектакле, который вы сейчас собираетесь разыгрывать, вам придется обойтись без моего участия. Я не гожусь даже на роль молчаливого статиста. Оставляю за собой право на последнее слово подсудимого и требую вывести меня из зала суда».

Да, это то, чего опасался судья, — приятно ли «судить», когда в зале суда нет ни адвоката, ни подсудимого? Поэтому Назаров реагирует мгновенно:

— Это не предусмотрено законом. Других заявлений нет?

— Есть, — отвечаю я. — Повторно прошу вывести меня из зала суда. Мне надо в туалет. Меня тошнит.

— Вы больны? Отчего вас тошнит? — неосторожно спрашивает судья.

— Не от чего, а от кого, — уточняю я. — От вида прокурора.

— Ничего, потерпите, выйдете потом.

— Но тошнит-то меня сейчас! — возражаю я.

— Подсудимый, не устраивайте балаган, — едва сдерживается судья, — не хотите участвовать в процессе — не участвуйте. Сидите и слушайте.

Как бы не так!

— Вам все равно придется вывести меня из зала суда. Не хотите по моей просьбе, придется за нарушение порядка.

Судья тем не менее объявил начало судебного следствия и сугубо служебным голосом, без тени эмоций, начал читать обвинительное заключение. Я собрал все свои бумаги и тетрадки в аккуратную стопку и сложил их на скамье. Затем достал пачку «Столичных» и медленно и с удовольствием закурил сигарету. В зале раздались возгласы негодования специфической публики. Судья, на мгновение оторвавшись от текста, метнул взгляд в мою сторону и снова вернулся к чтению обвинительного заключения. Стоявший рядом с барьером сержант конвоя наклонился ко мне и протянул руку.

— Чего тебе? — спросил я громко.

— Убери сигарету, — прошептал он.

— Отвали, — успокоил я его так, чтобы все слышали.

Сержант испуганно повернулся к начальнику конвоя. Офицер, в свою очередь, вопросительно поглядел на судью, но тот делал вид, что ничего не происходит, и продолжал читать. Все успокоились.

Я продолжал курить. Обвинительное заключение было длинным, и вскоре мне пришлось закурить вторую сигарету. Никто уже не возмущался. Похоже, меня не собирались выводить из зала суда за нарушение общественного порядка. Я завоевал себе право курить на скамье подсудимых! Это было неплохо, но не то, что мне нужно. Мне надо было покинуть зал суда.

Я стал пускать колечки дыма. Сначала они медленно поднимались вверх, а затем также медленно летели в сторону прокурора. Они не были антисоветски настроены, просто подчинялись законам конвекции воздуха и летели в сторону окна, туда, где холоднее, а под окном сидел прокурор. Колечки летели прямо на него. Многие в зале отвлеклись от скучной для них речи судьи и стали наблюдать за полетом колец. Зрелище было завораживающее. Кольца дыма постепенно окутали заместителя прокурора Московской области. Дымовая завеса накрыла зал Электростальского городского суда.

Наконец судья Назаров закончил читать обвинительное заключение и задал мне традиционный вопрос, признаю ли я себя виновным. В ответ я глубоко затянулся и выпустил самое большое за весь день дымовое кольцо. Оно тихо подни-

малось вверх, заворачивалось краями вовнутрь, дрожало от негодования и всем своим видом ясно давало понять, что виновным я себя не признаю. Судья повторил свой вопрос и, не дождавшись ответа, перешел к вопросу о порядке исследования доказательств.

Из протокола судебного заседания: «На вопрос председательствующего, имеет ли Подрабинек какие-либо предложения по порядку исследования доказательств, подсудимый не отвечает, вновь закуривает и иронически ухмыляется».

Начинался допрос свидетелей. Мой план рушился. Судья оказался слишком терпелив, а я вовсе не хотел молча присутствовать на их спектакле.

Первым давал показания Владимир Георгиевич Введенский, аспирант Академии Генерального штаба, донесший в КГБ, что видел крамольную книгу в доме, куда его пустили из сочувствия к бездомному положению его самого и его девушки. Как только он начал говорить, я стал насвистывать. Сначала «Шолом Алейхем», потом перешел к арии тореадора из «Кармен». Поначалу свистел негромко, но потом все сильнее и сильнее. Зал заволновался. Свидетеля стало плохо слышно. Отсвистевшись на Бизе, я перешел к «Лубянским страданиям» на стихи Юлия Даниэля и мотив Пети Старчика. Как жаль, думал я, что у меня нет голоса и я не могу спеть им это в лицо: «Ах, не додержали, не добились, Вот и злись теперь и суетись. Лезь в метро, гоняй автомобили, У подъезда за полночь трясись. Мы не ждали критики гитарной, Загодя могли скрутить узлом. Чуть не так, пожалуйста в товарный, Пайку выковыривать кайлом».

Начался форменный бедлам. Свидетель, раздраженно оглядываясь на меня, повышал голос на судью. Зал бурлил от негодования. Судья морщился и вытягивал шею, как человек, которому плохо слышно. Наконец он потребовал, чтобы я прекратил свистеть. Я продолжил с еще большим воодушевлением. Песня была длинная, и победа была близка. И действительно, пошептавшись с кивалами, судья огласил постановление о выводе меня из зала суда за нарушение порядка.

— Если захотите вернуться в зал, можете подать ходатайство, — напутствовал он меня.

— Я хочу вернуться для последнего слова, — отозвался я.

Следующие примерно семь часов я сидел в вонючей конвойке, страдая от безделья и канализационных запахов. Зато меня радовала мысль, что на судебном процессе нет ни меня, ни моего адвоката, только судьи, прокурор и спецпублика. Это похоже на футбол, когда в игре принимает участие только одна команда, а на трибунах сидят только ее болельщики. Что за удовольствие бить по пустым воротам? Какова цена такой победы?

Суд между тем продолжался без меня. Допросили главных врачей Сычевской, Ленинградской, Смоленской и Днепропетровской спецпсихбольниц, врачей-психиатров, других свидетелей. Ёлка, которую тоже вызвали в качестве свидетеля, на суд не пришла. Процесс шел быстро, для игры в одни ворота много времени не требовалось. Днем Лидия Алексеевна, папина жена, вышла из зала, чтобы покормить дочь, и больше ее в зал не пустили. До конца суда папа оставался один в окружении враждебной публики.

Около шести вечера меня вновь привели в зал суда, и, когда следом за мной вошли судьи, я приготовился говорить последнее слово подсудимого. Но не тут-то было! Никакого последнего слова мне не дали. Все встали, и судья Назаров начал читать приговор:

«Подсудимый Подрабинек А.П. в 1975-77 годах изготовил произведение под названием “Карательная медицина”.

Это произведение представляет собой заведомо ложные измышления, порочащие советский государственный и общественный строй.

Подрабинек в “Карательной медицине” грубо искажает действительные события из истории нашего государства, извращает внутреннюю политику КПСС и советского правительства, порочит социалистическую демократию, гражданские права и свободы, отождествляет социалистический строй советского государства с тоталитарными фашистскими режимами».

Начало не предвещало ничего хорошего. Хотя я давно приготовился, что мне вынесут максимально суровый приговор, все же очень хотелось знать, какое наказание запросил для

меня прокурор. Я вопросительно смотрел на папу, переводя глаза на судью, и он тайком показывал мне поднятый большой палец, как бы давая понять, что все отлично. Чего хорошего, недоумевал я. Неужели ему так уж нравится то, что читает судья? Ну да, приговор действительно хорош — суд не скрывает, что признал во мне врага советской власти. Но я-то спрашивал не об этом! Судья тем временем продолжал:

«В своем произведении Подрабинек клеветает на деятельность советских государственных органов и общественных организаций, представителей советской психиатрии, которых называет “преступниками” и “карателями”, приводит заведомо ложные измышления о якобы имевших место “психиатрических репрессиях” в нашей стране, выдумывает имена “жертв карательной медицины”».

Да, думал я, при таких формулировках мне мой трояк обеспечен. Да и глупо надеяться на иное, ничего другого и быть не может. Все будет так, как и должно быть. Нет, не зря я развалил им судебный спектакль, курил и свистел, а теперь поеду на три года в лагерь. Все было правильно, и сожалеть не о чем.

Я стоял и вполуха слушал судью, зачитывавшего никчемные «доказательства» моей вины, бездарно скопированные из обвинительно заключения. Я уже почти загасил фитилек нереальной надежды, тлеющий где-то в глубине души, и поэтому был внутренне спокоен, когда судья дошел до слов: «Учитывая изложенное, судебная коллегия приходит к выводу, что действия Подрабиника правильно квалифицированы по статье 190¹ УК РСФСР. При назначении Подрабинику наказания судебная коллегия считает, что он за совершенное преступление достоин самого строгого наказания, предусмотренного санкцией статьи 190¹ УК РСФСР».

В пику своим мрачным ожиданиям и неизбежному ликование публики я заулыбался, демонстрируя наплевательское отношение к суду и его жалкому приговору, но судья, как ни странно, в конце своей фразы не поставил точку, а продолжал: «...Однако, учитывая, что он ранее не судим, рос и воспитывался в ненадлежащей среде, судебная коллегия считает возможным не изолировать Подрабиника от общества и дать ему возможность искупить вину честным трудом...»

Тут я перестал понимать, что происходит: как же я буду сидеть свой срок, если меня не изолируют от общества?

«...Применить статью 43 УК РСФСР... назначить ему наказание в виде ссылки сроком на пять лет», — закончил читать судья.

Я выдохнул. Мне показалось, что я нечаянно вытянул счастливый лотерейный билет. Папа сдержанно улыбался. Судья закончил читать приговор, публика восторженно зааплодировала. Ну что за бараны, удивлялся я, они же должны негодовать по поводу столь мягкого наказания! До меня постепенно начало доходить, что я реально не поеду в лагерь, а скоро снова буду на воле. Это казалось невероятным. Я ведь уже настроился на тюремную жизнь.

Суд закончился. Я только успел махнуть папе рукой, а он попытался подойти ко мне, но конвой встал между нами и меня вывели из зала суда. Меня уже не заводили в конвойную камеру, а сразу повели к выходу. Машину подогнали вплотную к зданию, но, прежде чем пройти несколько ступенек от двери до машины, я разглядел огромную толпу людей за милицейским оцеплением, понял, что это мои друзья, и на ходу помахал им рукой. В ответ раздалось дружное скандирование: «Са-ша! Са-ша!», и, уже садясь в машину, я увидел брошенный мне букет цветов, который упал на асфальт, чуть-чуть не долетев до меня. Я плюхнулся на свое сиденье, а с улицы по-прежнему слышалось «Са-ша! Са-ша!». Я был смятен, взволнован и чуть не до слез растроган. Конвоиры ошарашенно смотрели то на меня, то на улицу, будто боялись, что от скандирования моих друзей прямо сейчас рухнет советская власть или меня начнут отбивать силой. Машина, взвизгнув тормозами, резко газанула и, сопровождаемая воем сирен машин милицейского сопровождения, сделав крутой вираж, понеслась прочь от здания суда.

Красная Пресня

Закон устанавливал ясно и недвусмысленно: при назначении наказания, не связанного с лишением свободы, осужденный освобождается из-под стражи в зале суда. По закону меня

должны были расконвоировать сразу после оглашения приговора. Вместо этого вернули в «Матросскую Тишину». Суд постановил держать меня под стражей вплоть до расконвоирования на месте ссылки, считая при этом один день содержания под стражей за три дня ссылки. Зачет — это, конечно, хорошо, но свобода лучше.

Через день было свидание — через стеклянную перегородку, по телефону. Папа изображал бодрость, рассказывал новости. Тюремные свидания, даже с самыми близкими, всегда немного тягостны. Двухчасовое общение не может заменить долгую разлуку. Пытаешься искусственно втиснуть в короткое время максимум информации и впечатлений, но живая жизнь компрессии не поддается. А времени на свидании все равно не хватает.

В тот же вечер меня перевели в Краснопресненскую пересыльную тюрьму, где я провел несколько месяцев в ожидании этапа — скорее всего, куда-нибудь в Сибирь. Ехать по этапам страшно не хотелось. Про этапы и пересылки рассказывали жуткие вещи, и я таил надежду, что кассационный суд если и не изменит приговор, то хотя бы отменит меру пресечения и я поеду в ссылку своим ходом.

Томительное ожидание скрашивали тюремные развлечения. Этажом выше было женское отделение, и с камерой, что была над нами, велась оживленная переписка. Малявы (записки) уходили наверх и возвращались обратно с конем — постоянно действующим веревочным кругом, натянутым между оконными решетками наших камер. Переписка велась самого откровенного свойства, тем более что вероятность встречи была невелика. Каждый изощрялся в меру своего интеллекта, нескромности и фантазии. Эротические мотивы, разумеется, были основными в этой, прямо скажем, похабной переписке.

Молодой азербайджанец, у которого высокий уровень тестостерона в крови сочетался с абсолютной беспомощностью в русском языке, страдал от отсутствия подруги по переписке. Я согласился писать малявы за него. Он сбивчиво и горячо рассказывал мне, что хочет сделать со своей подружкой по переписке, а я должен был облечь это в приемлемую для чте-

ния литературную форму, пояснив в деталях, где, когда и каким образом он будет с ней это делать. Я старался сочетать его необузданную сексуальную агрессию с изысканным литературным слогом, и со временем у меня начало что-то получаться. Подруга его из верхней камеры была в восторге, а поскольку такую переписку мало у кого хватает терпения держать в секрете, то вскоре ему начали писать дамы и из других камер. Парень приобрел популярность на женском этаже. Он старался не запутаться в случайных эпистолярных связях и настаивал, чтобы я тоже помнил, кому и что пишу. Я старался, но случались накладки, и тогда какая-нибудь его подруга с обидой писала, что он начинает повторяться, потому что так уже было. Парень очень дорожил моим пером и все время сокрушался, что не получает передач, чтобы поделиться со мной.

У меня же с передачами все обстояло прекрасно — я получал их ежемесячно, а с ними записки и деньги. Кроме того, мне удалось нелегально переслать письмо друзьям, и они делали передачи для моего сокамерника — Миши Французова, который ничего из дома не получал. Передачи были целиком мои, хотя я, разумеется, делился и с ним.

Французу было лет двадцать пять, и он был очень колоритной фигурой. Все его предки, которых он смог проследить с дореволюционных времен, занимались воровством. И не просто воровством, они были белой косточкой воровского сословия — щипачами, то есть карманниками. Француз был, можно сказать, аристократом воровской профессии. Навыки щипача он усвоил с детских лет, обучаясь ремеслу у отца и его друзей, а может быть, они передались ему по наследству. Он был мастер своего дела, которым занимался к тому времени уже лет десять, ни разу не спалившись. МУР прекрасно знал его, но никак не мог поймать с поличным. А как еще можно выловить грамотного карманника? Менты устроили за ним довольно откровенную слежку, рассчитывая, что нужда припрет его и он начнет воровать в их присутствии. И они не ошиблись: когда у Француза кончились деньги, он вернулся к главному занятию своей жизни. МУР ошибся в другом — его не смогли взять с поличным даже

тогда, когда он обчищал карманы граждан практически на глазах у оперативников.

Когда Француз рассказывал нам в камере эту историю, мы ему не очень верили. Он сказал, что докажет нам свое мастерство за одну карточную игру. Мы сели играть. Не помню, кто выиграл, а кто проиграл, но, когда партия закончилась, мы обнаружили, что наши карманы пусты: у кого пропала ручка, у кого спички, сигареты или другие мелочи. Все это незаметно для нас переключало в карманы Француза. Больше никто в его квалификации не сомневался.

И все-таки Француза арестовали. Не за карман. Ему сделали предостережение о тунеядстве и обязали устроиться на работу. Француз, который никогда в жизни нигде не работал, даже не знал, как это делается. Тем не менее он оформился грузчиком в овощной магазин. Менты этого не ожидали и арестовали его рано утром, когда он первый раз в жизни шел на честную работу. Арестовав, привезли домой и устроили обыск, рассчитывая, если повезет, найти что-нибудь из уворованного. Ничего краденого они не нашли, зато обнаружили дома немного травы. В результате Француза, потомственного карманника, осудили на два года за хранение наркотиков и на год за тунеядство. Дело о тунеядстве было выдано из пальца. Я написал Французу кассационную жалобу, и приговор в этой части ему отменили, но срок все равно остался прежним.

Вскоре мне принесли мой приговор. На первой странице в правом верхнем углу было написано «Секретно. Дело СК — 2/78». Секретный приговор «открытого» суда мгновенно стал бестселлером Краснопресненской пересыльной тюрьмы. Никто не верил, что на нем стоит такой гриф, и я скрепя сердце отдавал его в другие камеры почитать, пока слух об этом не дошел то тюремного начальства. Как-то меня вызвали в тюремную канцелярию и попросили показать приговор. Не ожидая подвоха, я протянул приговор, и какой-то флегматичный человек в гражданской одежде у меня на глазах отрезал длинными ножницами верхнюю часть первой страницы с грифом «Секретно». После этого приговор вернули и сказали «до свидания».

Отсутствие забавного грифа на первой странице не помешало мне подать кассационную жалобу, в которой я со всем своим занудством доказывал необоснованность приговора. Свою «качатку» я заканчивал словами: «Я хочу поставить Верховный суд перед позорной необходимостью из политических соображений пойти на демонстративное нарушение законов. Я хочу показать истинную цену советского правосудия».

Можно сказать, мне это удалось. Верховный суд РСФСР рассмотрел мою жалобу 23 ноября и оставил приговор без изменений. Осталась прежней и мера пресечения — содержание под стражей. Стало понятно, что ехать в ссылку придется этапами.

Дальняя дорога

Этот день настал. «На выход, с вещами», — услышал я, как слышали это миллионы зэков до меня. Очень не хотелось тогда попадать на этап, но теперь я благодарен судьбе, которая прощала меня по тому великому пути, которым до меня прошли миллионы заключенных — и грешников, и праведников.

Этап — это отдельная и самостоятельная часть тюремной жизни. Здесь пересекаются пути и смешиваются режимы. Здесь делятся впечатлениями и узнают новости. Здесь выставляют счета и сводят счета.

На этап безумно боятся попадать те, у кого есть грешки перед тюремным сообществом: стукачи, лагерные суки, активисты секций внутреннего порядка, карточные должники, осужденные менты и коммунисты, растлители малолетних. Вообще тюремные правила таковы, что все зэки равны друг перед другом вне зависимости от совершенных ими преступлений. Но из этого правила есть исключение: насильники и растлители малолетних. Их опускают безжалостно и без разборок. Очень часто именно на пересылках. Так же поступают и с бывшими ментами.

В московских тюрьмах в те годы частенько опускали коммунистов. Во всяком случае, рассказов об этом было много.

В провинции отношение к ним было попроще, но в Москве их ненавидели. В «Матросской Тишине» в нашей камере сидел неприметный мужичок с не очень тяжелой статьей. Его опустили потом в Краснопресненской пересыльной тюрьме, как только из его приговора узнали, что он был членом КПСС.

Контингент отверженных положено этапировать отдельно от других осужденных, но в спешке и неразберихе пересыльной жизни их иногда забывают изолировать и они попадают в общие камеры пересыльных тюрем и вагонзаков. Иногда конвою просто лень водить из вагона две группы заключенных вместо одной, и все попадают на общую «сборку», прежде чем их раскидают по камерам. Иногда просто не хватает свободных хат. За те несколько часов, что все сидят на общей «сборке», можно потерять жизнь.

Этапировать отдельно от остальных положено не только отверженных. От основной массы заключенных отделяют особняков (или «полосатиков» — одетых в полосатую робу зэков из колоний особого режима), смертников, душевнобольных, склонных к побегу (у них на обложке тюремного дела стоит наискось красная полоса), женщин, малолеток и политических. Однако единственные, на кого правило об отдельном этапировании распространяется неукоснительно, — это женщины. Со всеми остальными поступают по обстоятельствам.

У меня на деле тоже стояла отметка «этапировать отдельно», но требование это соблюдалось далеко не всегда. Я, впрочем, не возражал. Статья моя была экзотической, и конвой, как правило, не знал, что это за преступление. При формировании этапа принимающий конвой иногда путал мою статью 190¹ со статьей 191 — сопротивление работнику милиции. Бывало, перед этапированием офицер конвоя, мельком глянув на обложку моего дела, грозно устремлял на меня взгляд и спрашивал:

— С милицией дерешься?

— Да нет, гражданин начальник, — прикидывался я тертым уголовником, — чего с ними драться? Так, одного мента завадил. Ну, правда, еще одного покалечил. Пустяки, в общем.

Зэки радостно гоготали, конвой иногда тоже ухмылялся — служащие внутренних войск МВД не считали себя ментами и от милиции всячески дистанцировались. Потом они, конечно, лезли в мое дело, узнавали правду и подходили поговорить за жизнь и политику.

У одного такого разговорчивого лейтенанта я выведал, что конечный пункт моего назначения — Оймяконский район Якутской АССР. Я оценил шутку КГБ: из 3120 районов нашей необъятной советской родины они выбрали для меня самое холодное место Северного полушария. Но по крайней мере у меня была уже некоторая определенность. Многие вообще не знали, куда их везут. Обычно конвой такой информацией с зэками не делится.

Хорошие отношения с конвоем выстраиваются редко. Чаще всего конвоиры злобны, агрессивны и подчёркнуто бесчеловечны. Причинить зэку зло безо всяких к тому поводов считается у них делом доблести. Отсутствие в мыслях, словах и голосе чего-либо человеческого — это фирменный стиль конвойных войск. Он культивировался десятилетиями и поощряется начальством.

Во время этапа зэки находятся в полной власти конвоя — здесь нет ни прокуратуры, ни вышестоящего начальства, ни закона, ни сострадания. Поезд мерно стучит колесами, живой груз едет на восток, и у конвоя одна забота: привезти столько же тел заключенных, сколько забрали. Живых или мертвых — не так уж важно. От голода или жажды умереть не дадут — уже не те времена, эпоха развитого социализма. Еще тридцать лет назад до пересылки могли доехать живыми только половина этапа, и это считалось нормальным. Теперь если зэка и убьют, то за попытку побега или сопротивление конвою.

От пересылки до пересылки поезд идет несколько дней. Это не скорые поезда. Чаще всего вагонзакі цепляют к почтово-багажным составам, реже — к пассажирским. По традиции вагонзакі зовут столыпинскими, но фактически это неверно. Настоящий столыпинский вагон — это, по сути, пустой товарный вагон, с торцов которого имелись отделения для сельскохозяйственного инструмента и скотины. В таких вагонах в начале XX века в рамках реформы Петра Столыпина

везли переселенцев в Сибирь. Потом в таких вагонах стали возить заключенных. С тех пор многое изменилось. Вагоны давно стали металлическими, их разделили на камеры, но в народной памяти они так и остались «столыпинскими».

Современный «столыпин» с виду почти ничем не отличается от почтового вагона. Разве что, приглядевшись получше, можно увидеть решетки на форточках всегда закрытых матовых окон, тех, что в коридоре вагона. Да еще тот, кто знает, что второй, нижний номер вагона всегда начинается с цифры 76, поймет, что везут здесь не почту и не багаж, а живых людей.

Камеры в таких вагонах по размеру ничем не отличаются от обычных купе, в которых добропорядочные граждане ездят летом вместе с семьей отдыхать на Черное море. И все шесть полок почти такие же, разве что ничем не обиты, голое дерево, да между средними полками лежит щит как дополнительное спальное место. От коридора камеру отделяет не стенка, а решетчатая дверь с кормушкой.

Купе проводников занято конвоирами, а если вагонзак в составе не один, то, скорее всего, где-то есть еще и штабной вагон, в котором со всем комфортом расположились начальник конвоя и офицеры.

Между купе конвоя и общими камерами — одна или две камеры, разбитые стенкой пополам, так что в каждой половине получается по три спальных места. Оттого такие камеры и называют тройниками. Именно в этих тройниках возят смертников, полосатиков, малолеток, политических, дураков, побегушников, опущенных, сук и женщин. Ехать в тройнике — одно удовольствие. Спецконтингента обычно мало, и тройники, как правило, не забиты. Не то в общих камерах. Сюда людей набивают столько, что трудно себе представить. Я однажды зашел в такую камеру двадцать четвертым.

Однако чаще меня везли все-таки в тройниках. Иногда вместе с дураками (душевнобольными), побегушниками и особняками. Никаких проблем с ними не возникало. Побегушники не пытались разобрать пол или прикончить конвоиров, дураки не устраивали диких сцен и сумасшедших плясок, особняки не гнали жути на сокамерников.

Первая пересыльная тюрьма после Москвы была у меня в Свердловске. Эта пересылка, вероятно, самая крупная и самая главная в стране. Это перекресток тюремных дорог. Отсюда идут этапы на Северный Урал, в Казахстан, уж не говоря о Сибири и Дальнем Востоке. Разумеется, с востока на запад едут тоже через Свердловск. Его не объедешь, не минуешь. Короче, центр России.

Пересыльные камеры в этом центре России были огромные — на двести-триста человек. Нечто вроде зала ожидания на вокзале, но уставленного двухъярусными шконками. Каждый день десятки людей уходили на этап, вместо них приходили новые. В дальнем углу камеры несколько шконок занимали авторитеты — долголетние зэки с тяжелыми статьями и серьезным влиянием в арестантском мире. Они немедленно позвали меня в свою компанию почифрить и поговорить о жизни. Политические — не частые гости на уголовных этапах, и слухи о том, что на восток едет «москвич, написавший книгу о тюрьме», летели впереди меня. Мой главный для обычной уголовной жизни недостаток — то, что я москвич, — терял всякое значение на фоне того, что я выступил против советской власти. Авторитетные уголовники принимали меня по высшему разряду, усаживая пить чай, делясь едой и разговаривая о жизни.

В Свердловской пересылке я сделал важное для себя открытие. Пересыльная камера кишела вшами. Их было несметное количество. Напившись крови, они становились жирными и падали с верхних шконок на нижние, как тяжелые капли начинающегося дождя. Спасть от них было невозможно. Завшивленными в камере были абсолютно все. Кроме меня. Открытие мое состояло в том, что вши на меня почему-то не сажались. Даже если они на меня падали, то соскальзывали дальше вниз не задерживаясь. Это было удивительно. То ли они меня признали за своего, то ли, наоборот, брезговали — не знаю. Но факт, что за всю мою тюремно-лагерную жизнь ни одна вошь мною не соблазнилась!

Однако каковы бы ни были мои привилегии среди людей или насекомых, сидеть в пересылке слишком долго не хотелось. Меня раздирали противоречивые чувства. С одной сто-

роны, хотелось на свободу, пусть в ссылку, но на свободу. С другой стороны, каждый день в тюрьме и на этапе засчитывался за три дня ссылки, что волшебным образом ускоряло бег времени и сокращало общий срок наказания. Я считал: я нахожусь под стражей уже семь месяцев, это значит, мне списывается из ссылки 21 месяц, почти два года. Неплохая арифметика! Имеет смысл никуда не спешить!

После мучительных раздумий я решил специально на пересылках не тормозиться, но и на этап не рваться. Пусть все будет как будет, без моего участия. И я кочевал по нескольким камерам, пока в назначенный судьбой и тюремной канцелярией день меня опять не вызвали «с вещами».

Я хорошо помню ту посадку в «столыпин». Нас привезли на станцию в воронках и выгрузили в небольшой, огороженный проволокой загон перед железнодорожными путями. Был морозный декабрьский вечер. Сыпал мелкий колючий снег. Состав уже стоял, но нас в него почему-то не заводили. Загон освещался ярким светом прожекторов. Мы, с полсотни заключенных, стояли на морозе колонной по пятеро, поколачивая ногой об ногу, и тихо ругались на нерасторопность конвоя. Минут через двадцать этого бессмысленного стояния начался глухой ропот. Конвоиры уловили его, и офицер заорал: «Сесть на снег!»

Мы нехотя присели на корточки, но офицера это не устроило:

— Я сказал, сесть на снег, а не на корточки, вашу мать!

Он сделал знак конвоирам, что стояли по обе стороны колонны, и те сорвали с плеч «калаши», передернули затворы и, опустив автоматы на длину ремня, держали их на уровне наших голов. Мы моментально сели на снег, а самые умудренные даже легли лицом вниз, закрыв затылок руками. Овчарки рвались с поводков, лязгая зубами перед лицами тех, кто был с краю колонны.

— Еще шевельнетесь — всех перестреляю! — не унимался молодой толстомордый конвойный офицер, то ли запугивая нас, то ли распаяя самого себя.

А как же они будут стрелять, ведь они стоят друг против друга, подумалось мне. Впрочем, черт их знает, лучше дей-

ствительно не шевелиться. Еще минут пятнадцать мы сидели в снегу, мечтая хотя бы подняться и размять ноги. Я смотрел на стоявшего ближе всего ко мне солдата внутренних войск. Дуло его «калаша» смотрело прямо на меня. Из пустого зрачка автомата веяло холодом и смертью. Лицо солдата было таким же пустым и отрешенным. На нем не отобразалось никаких чувств, он превратился в машину для исполнения приказов. Скомандуют ему стрелять — и он нажмет на спусковой крючок и будет жать на него, пока в магазине не кончатся патроны. Что отделяет жизнь от смерти? Мою жизнь от моей смерти? Палец солдата на спусковом крючке автомата. А если палец его зачоченеет так же, как зачоченели мои пальцы на руках и ногах, и он захочет его размять, не снимая с крючка? Какие только мрачные мысли не лезут в голову, когда на нее наставлено дуло автомата!

Наконец где-то что-то сдвинулось, зашевелилось, последовала команда «Встать!» — и нас завели в вагон. Я попал в тройник вместе с каким-то косящим под дурака симулянтом. Следующая остановка — Новосибирск.

На этапе между Свердловском и Новосибирском в соседнем тройнике сидели три женщины. У одной из них, сильно беременной, начались схватки. Конвой не то чтобы переполошился, но проявил некоторое недовольство и озабоченность. Им совсем не хотелось заниматься непредвиденными проблемами. Беременных не положено брать на этап, начиная, кажется, с шестого месяца беременности. Но эта всех обманула или кого-то подкупила — ей по каким-то своим причинам надо было до родов попасть на новосибирскую зону для «мамок». Конвой не должен был брать ее на этап, но проморгал. Теперь она постанывала в соседнем тройнике, а начальник конвоя сурово и брезгливо уговаривал ее потерпеть до Новосибирска. Терпеть оставалось часов восемь — десять.

Когда конвоиров не было рядом, я объяснял ей через стенку, как себя вести и что делать. Кончилось это тем, что, уверовав в мои акушерские способности, она попросила начальника конвоя, чтобы я принимал у нее роды, если они начнутся до приезда в Новосибирскую тюрьму. Мне случа-

лось раньше принимать роды, правда, при наличии инструмента и не в таких условиях. Но я не возражал. Начальник между тем ничего ей не ответил, очевидно, решая трудную для себя дилемму: дать умереть ребенку и, может быть, матери или нарушить инструкции и разрешить зэку принять роды у зэчки. Так, в состоянии полной неопределенности, мы, слава богу, и доехали до Новосибирска, где ее первой вывели из вагона и повели в санчасть.

Новосибирская пересылка славилась в те годы своей жестокостью. Я ощутил это с первого дня, когда, прежде чем раскидать по камерам, нас погнали в баню. Она находилась в другом корпусе, а тюремные корпуса соединялись между собой наземными переходами из металлического каркаса, обшитого листовым железом. В приемном корпусе нам велели раздеться догола и повели неспешно в баню по примерно двухсотметровому тоннелю. Был декабрь, и на улице минус сорок, столько же и в тоннеле. Надзиратели, укутанные в полушубки, не спешили. Толпа голых зэков, подпрыгивая на ходу, завывая и отчаянно матерясь, всматривалась в конец тоннеля, надеясь увидеть не пресловутый свет, а дверь в банное отделение.

Наивные, как дети, зэки всегда ждут избавления от неприятностей, и только самые мудрые из них знают, что в неволе вслед за одними неприятностями чаще всего приходят другие, еще бóльшие. Баня представляла собой большой зал с бетонным полом и кафельными стенами. Из потолка торчало десятка два душевых кранов. Вода включалась то ли зэком-банщиком, то ли надзирателем — нам не было видно. Мы стояли продрогшие, мечтая согреться под душем, и все никак не могли понять, почему не включают воду. Наконец ее включили. Из душевых кранов полился кипяток. С воплями мы бросились к стенам и с разбегу впечатались в них, спасаясь от брызг горячей воды.

— Старшой, старшой! — загалдели зэки.

— Ну что еще? — поинтересовался молодой румяный мент, приоткрыв дверь в душевую. — Чего не моетесь?

— Да как же мыться, гражданин начальник, кипяток брызжет. Сделайте похолоднее.

— Похолоднее хотите? Ладно, сделаем, — согласился на удивление покладистый мент.

Мы устремили взгляды вверх, ожидая, когда от хлещущей сверху воды перестанет идти пар. Вскоре пар действительно исчез, и мы ринулись мыться, но не тут-то было — кипяток сменился ледяной водой.

— Старшой! — опять загудели зэки.

Дверь моментально открылась, и все тот же румяный мент бросил с порога:

— Сделали холоднее. Чего еще?

— Так ведь ледяная, старшой. Сделайте воду нормально.

— Нормальной дома мыться будете. Здесь тюрьма, а не санаторий. И не просто тюрьма, а Новосибирская. Усекли, господа зэки? Ладно, сделаю потеплее.

Через несколько секунд из душа опять полился кипяток.

Больше мы надзирателя не звали. Кипяток периодически сменялся ледяной водой, и наоборот. Мы успевали кое-как помыться в счастливые мгновения перемен. Было понятно, что это делают специально.

Уже попав в камеру, я узнал, что это местный ритуал — так Новосибирская пересылка встречает новых заключенных.

В тот же вечер в коридоре раздались яростный собачий лай и дикие крики зэков. Это развлекались надзиратели. Они открывали поочередно одну камеру за другой и привязывали овчарок к двери на поводке ровно на столько, чтобы зэки могли скучковаться у дальней стенки, а собаки их не доставали совсем чуть-чуть. Тот, кто не успевал вовремя отпрыгнуть к дальней стенке, в лучшем случае отделялся разодранной одеждой.

Мы заранее заняли нужную позицию под окном, но очередь до нашей камеры так и не дошла. То ли ментам наскучило травить заключенных, то ли у них нашлись другие дела...

Жизнь ментов, а тем более солдат-срочников, скучна и однообразна. Только издевательства над зэками немного скрашивают их серое существование. Если в пересыльной тюрьме еще можно пришпорить свою порочную фантазию, то в пути такого разнообразия нет. Что могут придумать конвоиры для собственного развлечения? Ну, запихнуть в одну

камеру двадцать человек, а соседнюю оставить пустой. Ну, вывести девушку-зэчку в туалет, оставив дверь открытой, и, посмеиваясь, смотреть, как она справляет нужду, отпуская при этом ядовитые комментарии. Ну, не давать зэкам воды, чтобы они помучились от жажды после своей пайки — хлеба с соленой рыбой. И самое развлекательное — дать им напиться вволю, а потом не выпускать в туалет. Это у конвоя коронный номер.

Дело в том, что зэк не может справить нужду в своей вагонной камере. Что бы ни было, это невозможно. Так устроен арестантский мир. Конвоиры знают это и отрываются вовсю. Но, как гласит народная мудрость, на хитрую ж... есть х.. с винтом. У зэков имеется секретное оружие, которое они с успехом применяют в безвыходных ситуациях. Оружие это — раскачка вагона.

На этапе между Новосибирском и Иркутском мы раскачали вагон. Это довольно просто: все зэки в вагоне одновременно делают незначительные движения влево-вправо. Синхронно, вместе. Возникает эффект резонанса. Через некоторое время колеса вагона начинают стучать, отрываясь то от правого, то от левого рельса. Чем дольше раскачивается вагон, тем больше он переваливается с одного бока на другой. Это смертельный номер. Вагон запросто может сойти с рельсов и утянуть за собой весь остальной состав. Все могут погибнуть, но зэки — народ бесшабашный: начальник, выводи в туалет, иначе все под откосом будем! Тут конвою не до развлечений, особенно если вагонзак прицеплен к пассажирскому поезду. Метод действует безотказно, все требования сразу выполняются. Удовлетворили и наше требование, не такое уж избыточное — всего-навсего вывести в туалет.

Конечно, конвой грозит многими карами: при высадке посадить на снег, притравить собаками, посадить в автозак «без последнего». Да, это он может. Посадить «без последнего» — это значит на последнего, кто будет садиться в «воронку» или вагонзак, натравят овчарку. Зэки, расталкивая друг друга, стремятся забраться в автозак быстрее других. Никто не хочет быть последним. Последнему не позавидуешь.

Иркутская тюрьма оказалась грязной и угрюмой даже на фоне других пересыльных тюрем, которые жизнерадостными тоже не назовешь. Кормили совсем скверно — горячую воду с плавающими в ней рыбьими косточками называли супом; на второе давали неполный черпак жиденькой сечки. Единственная отрада — 650 граммов в день хорошего сибирского серого хлеба.

Близился Новый год. Зэки рассказывали, что в Якутию отсюда добираются только одним способом — спецэтапом на самолете до Якутска. У надзирателей я выведал, что зэков на этап уже собрали, но самолет не может вылететь из-за нелетной погоды. Сколько это продлится, было неизвестно — может, день, может, месяц.

Мы бедствовали. Денег ни у кого не было, курево кончилось, и голод заглушить было нечем. Мой сосед по шконке Серега, молодой парень из деревни в Калужской области, вспоминал, какую вкусную картошечку печет его мать и как замечательно она подает ее к столу с маслицем и малосольными огурчиками. Он брал с меня обещание обязательно приехать к нему после срока и оценить все самому. Слушать его было невыносимо, но остановить его никто не мог. Он все время вспоминал дом, цепляясь своими воспоминаниями за волю, чтобы не думать о тюрьме.

Серега служил в армии на Сахалине, и его достала дедовщина. Старослужащие избивали молодых, особо изощренно издеваясь над теми, кто не подчинился сразу. Ему здорово доставалось. Наконец он не выдержал и как-то, схватив валявшуюся на земле доску, начал отмахиваться ею от нападавших. Серега не был силачом, но доска была длинная и крепкая — попав одному из дедов по голове, он убил его на месте. Молодые солдаты очень радовались этому и давали показания в пользу Сереги. Следователь из военной прокуратуры тоже ему сочувствовал и решил освободить от наказания, признав невменяемым. Серегу направили в Москву в Институт судебной психиатрии им. Сербского, где он месяц провалялся на экспертизе. Теперь Серега возвращался на Сахалин, не зная даже, что решили на его счет московские психиатры.

Прошла неделя, а этапа все не было. Мы курили нифеля — собирали испитой чай, сушили его на батарее, сворачивали в самокрутки и затягивались, изображая удовольствие. Дым нещадно драл горло, и удовольствие от такого курения было очень сомнительным.

Под Новый год в тюрьме начался бунт. Не знаю, что спровоцировало его и как он проходил. Наш коридор был на отшибе, информация до нас почти не доходила. Иногда слышались дружные крики заключенных, топот ментовских сапог в ближайших коридорах, лай служебных собак. Говорили, что Иркутская тюрьма — расстрельная и заключенные кипешуют здесь часто. Одна из обязательных мер при бунтах — этапирование в другие зоны и тюрьмы зачинщиков волнений. Из тюрем прежде всего выкидывают этапников, чтобы они не стали свидетелями кипеша и не разнесли весть об этом по другим тюрьмам. За два дня все соседние камеры опустели. Выдернули с вещами и меня. Я обрадовался, что наконец-то настала летная погода, и был очень удивлен, когда вместе с остальными ээками меня привезли на железнодорожную станцию. Поезд следовал через Тайшет и Братск в Усть-Кут. Когда этап загрузили и поезд тронулся, я позвал офицера и рассказал ему, что, скорее всего, при формировании этапа произошла ошибка, потому что пункт моего окончательного назначения — Оймяконский район Якутии.

— Если не верите, посмотрите дело и убедитесь сами. Кто-то ошибся, — заверил я его.

Офицер пошел в дежурку за делом, посмотрел и, вернувшись, сообщил:

— Никакой ошибки. Вы едете в ссылку в Чунский район Иркутской области.

Я удивился, но возразить было нечего. Да и к чему? Чуна уж точно не хуже Якутии.

В камере со мной ехал паренек, который, услышав мой разговор с офицером, попросил зайти в Чуне к своей матери, передать привет и кое-какие указания. Он мечтательно рассказывал о Чуне: какой это классный поселок, какие там у него верные кенты и клевые телки и как бы славно он там жил,

если бы не угнал по пьянке чужой мотоцикл и не получил за это два года лагеря.

На следующий день утром поезд остановился в Чуне. Меня одного выпихнули из вагона на перрон в объятия местных ментов, вместе с которыми на милицейском газике мы поехали в РОВД. Здесь меня должны были поставить на учет по месту моей ссылки.

Чуна

Ах, свобода! Кто не голодал, тот не почувствует аромата хлеба; кто не корчился от боли — не поймет радости здоровья; кто не сидел в тюрьме — не ощутит вкуса свободы. Камеры и тюрьмы, лагеря и пересылки, КПЗ и автозаки, бездонные зрочки автоматов и рвущиеся с поводков овчарки. «Сесть на снег», «Руки за голову», «Статья, срок?» — ничтожность личности и всесилие государства. И снова тюрьмы, тюрьмы, а воля только во сне и мельком при посадке в вагон или через щелочку неплотно закрытой двери воронка.

И вдруг — свобода. За спиной никого нет. Можно смотреть на солнце, можно увидеть горизонт, можно идти направо или налево — куда захочешь. После вонючих пересылок, тесных прокуренных камер и заплеванных вагонзакон мне казалось, что я попал в рай. Свобода оглушила меня. Я стоял на ступеньках крыльца Чунского РОВД, где мне только что выдали удостоверение ссыльного и сказали, что я свободен в пределах района. Чистый январский воздух, белоснежная Сибирь, снег и солнце. Хотелось кричать до неба и обнять весь мир. Я стоял совершенно пьяный от свободы и вольного морозного воздуха.

Между тем надо было как-то устраивать жизнь, а в карманах не было ни копейки. Все нелегальные деньги были давно истрачены на этапах и пересылках. По закону ссыльным при расконвоировании положено было выдавать сорок рублей, но я этого не знал, а районные менты деньги зажали. Надо было звонить в Москву, но это тоже стоило денег. Впрочем, я знал, что в Чуне отбывает ссылку семья диссидентов —

Анатолий Марченко и Лариса Богораз. Найти их в небольшом поселке будет, конечно, нетрудно. Но прежде всего надо выполнить обещание, которое я дал вчера парню из Чуны. Я пошел по адресу и все передал. Меня покормили, напоили чаем, и уходя, я, преодолевая неловкость, попросил одолжить мне двадцать рублей, обещая вернуть через несколько дней. Мне тут же выдали эти деньги, которые я вернул, получив телеграфный перевод из Москвы.

В тот же день я снял номер в местной гостинице «Сибирячка» и дал самым близким несколько телеграмм. Все они начинались словом «Освободился». Две молодые очаровательные телеграфистки с интересом смотрели на меня, понимая, что я из Москвы, что я освободился из тюрьмы, но при этом совсем не похож на уголовника. Мы познакомились, и через пару дней я уже думал пригласить одну из них в кино или на ужин, но, как буриданов осел, никак не мог выбрать, которая из них лучше.

Толи Марченко и Ларисы Богораз в Чуне не оказалось. Несколько месяцев назад срок их ссылки закончился, и они вернулись в Москву. Но они передали мне через общих московских друзей адреса своих знакомых в Чуне, к которым можно было обратиться в случае необходимости.

Через три недели в Чуну приехали мои друзья — Слава Бахмин, Ира Гривнина и Алла Хромова. Я встречал их на железнодорожном вокзале. Мы обнимались, целовались, пили около вокзала шампанское, и море нам было по колено. Я сменил свою тюремную телогрейку на привезенный полушубок, надел приличную шапку и меховые сапоги.

Ребята остановились в той же гостинице. Вечером мы пили в моем номере что-то крепкое и настоящее, курили импортный «Данхилл» и «Мальборо», ели баночную ветчину, бутерброды с красной икрой и еще какие-то немыслимые по тому времени деликатесы. Жизнь была прекрасна. Мы сочиняли стихи, играли в буриме, пели песни, вспоминали прошлое и строили планы на будущее. Ночью мы выходили на улицу под звездное сибирское небо, снег хрустел под ногами, и ночной февральский мороз был нам нипочем, потому что нас грела не только меховая одежда. Нас согревали горя-

чая дружба, преданность друг другу и твердая уверенность в том, что мы победим, что бы с нами ни случилось.

Через неделю мои друзья уехали. Я снял маленький деревянный флигелек с одной комнаткой и печкой и стал устраиваться на работу. Районное медицинское начальство брать на работу политссыльного не решалось. Отговаривались отсутствием вакантных мест. Пришлось искать работу самому и поставить их перед неопровержимым фактом: в поселке Бармакон, в восьмидесяти километрах от Чуны, есть фельдшерско-акушерский пункт, который уже несколько лет закрыт из-за отсутствия работников. Меня взяли. Из-за перерыва в стаже надо было подтвердить диплом, и я по два-три дня стажировался у каждого врача-специалиста в центральной районной больнице, доказывая свою квалификацию.

Тем временем в личной жизни произошли важные перемены. Я предложил Алле Хромовой выйти за меня замуж, она сразу согласилась и вскоре была в Чуне. Оттуда мы поехали в наш дом в Бармаконе.

Бармакон

Поселок находился в самой настоящей сибирской тайге, вдали от цивилизации и советской власти. Из Чуны надо было ехать поездом километров пятьдесят на юг, в сторону Тайшета, до поселка Каменск, а оттуда еще тридцать пять километров на запад по грунтовой дороге до Бармакона. Автобусы туда не ходили, только большегрузные машины, перевозящие лес. Все они ехали до Бармакона и еще километров на десять дальше, до лесозаготовок.

На этих лесозаготовках работало практически все мужское население Бармакона. Точнее, не столько работало, сколько числилось, потому что добывало себе средства на жизнь не работой, а промыслом. В поселке жило 196 человек. Женщины занимались хозяйством и детьми, а мужики били пушного зверя и пили самогон.

Браконьерство и самогоноварение преследовались Уголовным кодексом. За это в СССР могли посадить где угодно,

но только не в глухом сибирском поселке. Туда еще надо было добраться. Милиции в поселке не было. Не было вообще никакой власти. Не было телефона, почты, вокзала и телеграфа. Если бы большевики захотели по рецептам Ленина и Троцкого устроить там революцию, они бы растерялись, не зная, с чего начать. Захватывать было решительно нечего. Некое подобие власти осуществлял мастер — инженер с лесозаготовок, который всю рабочую неделю оставался ночевать в Бармаконе. Но властью он был не в силу своего авторитета, а потому, что у него была рация, по которой можно было связаться с Каменском. Впрочем, инженер старался не вмешиваться в дела сельчан. Участковый милиционер, который жил в Каменске, иногда навещал одинокий поселок, но разумно не конфликтовал из-за самогона или пушнины с местными жителями, которые имели на руках отличное охотничье оружие и со ста шагов попадали белке в глаз.

Бармаконцы жили вольной жизнью дикого американского Запада. Если районное начальство или милиционер собирались наведаться в поселок, жители узнавали об этом задолго до того, как те проезжали хотя бы половину пути. Да и добраться сюда можно было далеко не всегда. Трасса была проходима зимой по снегу и летом по сухому грунту, но по весенней распутице или слякотной осенью движение прекращалось. Поселок оставался отрезанным от мира на недели, а то и месяцы. Стало понятно, почему в Бармаконе фельдшерско-акушерский пункт был закрыт уже три года: добровольных отшельников среди медиков не находилось.

Я был доволен. Поселок стоял на реке Чуна, на высоком берегу, с которого открывался величественный вид на сибирскую тайгу, бескрайние снега и сопки. Несколько десятков деревянных домов на единственной улице, дорога вокруг поселка, тайга, подступающая прямо к домам. За дорогой росла клюква, и летом туда залезали полакомиться ягодами медведи, разрываясь между клюквой и помойкой, в которую жители выбрасывали пищевые отходы. Медведи — большие любители продуктовых помоек.

Дорога от Каменска до Бармакона пролегла через тайгу и была необычайно красива. Надо было очень далеко отки-

дывать голову назад, чтобы увидеть верхушки подступающих к дороге огромных кедров и высоченных сосен. Воздух был необыкновенно вкусен и напоен такими ароматами, которые городскому жителю и не снились. Когда лесовоз почему-либо останавливался, можно было выпрыгнуть из кабины и слушать звенящую тишину зимней тайги, вдыхать пьянящий лесной воздух и чувствовать себя частицей первобытного и подлинного мира. Как прекрасно все, к чему не прикасается рука человека!

Жители встретили нас несколько настороженно, но в общем приветливо. Присутствие медика повышало в их глазах собственный статус и давало возможность лечиться дома, а не ехать за помощью в Каменск или Чуну. Мое положение ссыльного никого не испугало — здесь привыкли к экам, но все немного удивлялись: разве еще есть такое наказание?

Амбулатория находилась в обычном для Сибири пятистенке — рассчитанном на две семьи удлиненном доме, разделенном посередине пятой стеной. В другой половине дома поселили нас. Таким образом, на работу ходить было недалеко — с одного крыльца дома на другое. Первые два дня мы обживались. В полутораметровой толще снега прорубили коридор от калитки до нашего крыльца. На тракторном прицепе нам привезли сосновые чурки, и я полдня рубил их колуном, чтобы затопить печь. Дымоход был забит, и дым поначалу шел в избу, но это были временные трудности.

Закрепленная за амбулаторией санитарка, невзрачная женщина средних лет, почему-то страшно боялась, что я приму на ее место свою жену, а она останется без работы. Ее просто качало от волнения, и я уже тоже начал волноваться, не зная, как ее успокоить. Зато мои просьбы всё в амбулатории вычистить, вымыть, постирать и привести в приличный вид она выполняла беспрекословно и старательно. Потратив выходные на обустройство жилья и работы, в понедельник я начал прием.

Первой пришла местная учительница. В поселке была школа, в которой учились дети с первого по четвертый класс. Всего учеников десять младшего школьного возраста, и все они сидели вместе в одной классной комнате и учились у этой

самой учительницы. Ей было лет двадцать с чем-нибудь, она попала сюда по распределению после техникума и все никак не могла выбраться к врачам в Чуну или Каменск. Беда ее была самая незатейливая: она жаловалась на задержку месячных, искренне не понимая, что с ней происходит. За неимением гинекологического кресла смотреть ее пришлось на кушетке. Диагноз сомнений не вызывал: у нее была беременность порядка восьми-десяти недель. Как молодая женщина могла этого не понимать, не мог понять уже я. В глазах ее читался вопрос «Откуда?», но, слава богу, она меня об этом не спросила. Я написал ей направление к гинекологу в Чуну, и она ушла, совершенно обескураженная свалившейся на нее новостью.

Разумеется, она тут же рассказала всем местным дамам и о своем положении, и о том, что новый фельдшер не кусается, не пристаёт и обращается на «вы». Народ повалил валом. Большинству никакого лечения не требовалось, они приходили на нового человека посмотреть и себя показать. Я терпеливо их осматривал, по большей части ограничиваясь психотерапией. Впрочем, были и настоящие хронические больные, которым требовалось наблюдение и медицинская помощь.

Закончив прием, я пошел домой и в сенях обнаружил целый склад продуктов. Здесь были яйца, масло, свиной окорок, птица, соленые огурцы, каравай хлеба, что-то еще. Алка объяснила, что все пациенты, выйдя из амбулатории, обходили дом и оставляли ей эти продукты в знак благодарности. Такова была местная традиция — без подарка к фельдшеру ходить не полагалось. Кто-то за неимением продуктов принес электрические лампочки, которые в тот год были в большом дефиците по всей стране. Отказываться от продуктов было уже поздно, но я категорически запретил жене принимать в дальнейшем какие-либо подношения, кто бы как ни обижался. Односельчане сначала удивлялись странной прихоти нового фельдшера, но на своем не настаивали.

Вечером нас пригласили в гости. Одинокая семейная пара жила на другом краю поселка, то есть примерно в десяти минутах неспешной ходьбы от нас. Обоим было за сорок. Он числился на лесозаготовках, но большую часть времени

охотился на пушного зверя. Она заведовала местной пекарней и днем пекла хлеб, а вечером, как и все, варила самогон. Ради нас достали бутылку водки. Допив ее, вернулись к самогону, закусывая пельменями из медвежатины и жареным глухарем. Хозяин рассказывал об их житье, о работе, об охоте. Даже продавая перекупщикам пушнину по немыслимо заниженным ценам, они не знали, куда девать деньги. Их было с избытком. Год назад он зачем-то купил себе дефицитные в то время «Жигули», но, поскольку ездить на них было некуда и незачем, он наворачивал круги вокруг поселка, к восторгу ребятишек и недоумению сельчан. Расчувствовавшись, он обещал Алке, что в ближайший же сезон оденет ее в меха с ног до головы и не возьмет ни копейки, а мне прямо на днях справит шапку-ушанку из рыси. Как закончился тот вечер, я не помню. Алка потом рассказывала, что я героически прошел половину недолгого пути до дома, а потом свалился в снег с твердым намерением спать непременно здесь. Меня притащили в наш дом и уложили одетым на кровать, потому что расстилать постель, да еще и раздевать меня у Алки уже не было сил. Я так напивался всего несколько раз в жизни.

Утром мы проснулись от холода. Дверь на улицу была приоткрыта, у порога гулял снежок, печка остыла. Так мы поняли, что протопить Сибирь одной печкой совершенно невозможно. Голова гудела и раскалывалась на маленькие кусочки. Тут как нельзя кстати оказались принесенные вчера кем-то соленые огурцы. Хорошо еще, что прием больных начинался со второй половины дня. В тот день жители поселка признали, что мы — свои.

У меня были грандиозные планы по части местной медицины. Я решил провести поголовную диспансеризацию всех жителей, сосредоточившись на туберкулезе, детских болезнях и сердечно-сосудистых заболеваниях. Лечить больных было практически нечем. Стандартный набор для неотложной помощи да убогий ассортимент сельской аптеки — вот и все, что было в амбулатории. Тем более надо налегать на профилактику, решил я.

На следующий день я послал главному врачу участковой больницы в Каменске длинный список необходимого мне

оборудования. Там не было ничего особенного, кроме разве что электрокардиографа, которые в те времена в сельской местности не водились.

Дня через два сразу несколько водителей лесовозов один за другим вваливались ко мне в амбулаторию с рассказом, что ко мне едет на двух машинах важная комиссия из Чуны, среди которых главврач ЦРБ, главврач Каменской больницы, наш участковый милиционер и еще какие-то люди. Все свободные от работы бармаконцы высыпали на улицу смотреть на комиссию. Районного начальства, даже медицинского, здесь не видели никогда.

Важные люди посмотрели амбулаторию, поинтересовались трудностями, расспросили о планах. Я коротко отвечал. Потом комиссия пошла осматривать поселок, а главврач моей участковой больницы задержался и, когда все ушли, спросил, зачем мне кардиограф. Такого еще не бывало, чтобы в сельском фельдшерско-акушерском пункте снимали кардиограмму. Для этого больных посылают в район. Главврач решил, что я прошу дорогостоящую технику из пижонства. Я объяснил ему, что освоил электрокардиографию, работая в Москве на «скорой помощи». Он извинился за свои подозрения и обещал помочь. «Вы понимаете, — рассказывал он мне, — до вас здесь три года назад работала старая заслуженная фельдшерица, она была на хорошем счету в районе, член партии, передовик производства. Но, боже мой, как она лечила и что она писала! Какая там кардиография! Однажды она направила нам больного с фурункулом на ягодице. Вы знаете, что она написала в направлении, там, где пишется диагноз? “Чирей правой полужопицы”. Вот так. А вы говорите — кардиограф!»

Поддержка главврача участковой больницы меня обнадежила. Нам предстояло жить здесь еще три года. Я хотел поставить здравоохранение в этом маленьком поселке, затерянном посреди Сибири, хотя бы на городской уровень. Была энергия, были желание и уверенность в собственных силах. Я строил планы поступления в институт на заочное отделение, хотя бы на фармакологический факультет. Были надежды, что мы проведем время в сибирской ссылке с пользой. Увы, моим планам не суждено было сбыться.

Свадебное путешествие

Первую неделю мы жили, упиваясь возможностью самостоятельно устраивать свою жизнь. Утром я уходил на работу в другую половину дома, ходил по вызовам на дом к сельчанам, что с восторгом воспринималось больными, инспектировал санитарное состояние единственного в поселке магазина и пекарни.

Через несколько дней к нам приехала в гости Ася Липская — московский геолог, близкая к диссидентским кругам. Я часто встречал ее раньше на «пятницах» у Пети Старчика. Она привезла нам кое-какие вещи из Москвы, рассказывала последние новости, поведала грустную историю о малоизвестных обстоятельствах смерти в Париже Александра Галича.

По официальной версии французской полиции, он умер от удара электрическим током, когда попытался то ли включить телевизор, то ли самостоятельно починить его. Такое действительно было возможно. В телевизорах есть места с очень высоким напряжением при значительной силе тока. Прикосновение к такому месту при включенном телевизоре может кончиться смертью. Работая на «скорой помощи», я сам дважды сталкивался с такими случаями, оба раза летальными. Про смерть Галича мы знали из сообщений западного радио, но Ася рассказала то, чего по радио не передавали. Она была знакома с матерью Александра Аркадьевича, и та говорила, что в течение последних нескольких недель перед гибелью сына она получала анонимные предупреждения, что ему будет плохо, если он не прекратит антисоветскую деятельность. Галич тогда работал на радио «Свобода» и, как рассказывают, обрел второе дыхание, бросил пить, был на подъеме. Мы с Алкой не сомневались, что его убили.

Ася переночевала у нас и на следующий день уехала в свою экспедицию, куда-то еще дальше на восток.

К исходу второй недели жизни в Бармаконе мы поняли, что пора обзавестись самым необходимым. К тому же в пятницу по поселковой рации мне передали уже запоздалую просьбу прийти в Чунское РОВД. Мы решили совместить

полезное с неприятным: в выходные дни походить по магазинам, а в понедельник пойти в ментовскую. В субботу мы добрались до Чуны, обошли все магазины, купив всякую всячину — от веника до почтового ящика на калитку. Ночевали у Володи Сидорова — местного жителя, корейца, прежде водившего дружбу с Толей Марченко и Ларисой Богораз, которые одно время даже жили у него.

В воскресенье утром мы проснулись от рева милицейского газика, который как безумный носился по улице то в одну, то в другую сторону. Володя рассказал, что накануне к нему приезжала милиция, вынюхивая, не остановились ли мы здесь и где мы вообще находимся. Это было довольно странно, и мы решили пойти в райотдел сейчас и все разузнать, не откладывая до понедельника. Набив купленным добром просторный абалаковский рюкзак, мы с Алкой, весело поскрипывая снегом, очень довольные жизнью и весенним солнцем, топали по улице в сторону РОВД, когда около нас, лихо развернувшись, затормозил тот самый милицейский газик. Если бы на улице был асфальт, а не плотный сибирский снег, он бы наверняка завизжал тормозами, как в залихватском голливудском боевике. Удостоверившись, что мы — это мы, отчего-то радостные милиционеры предложили нам поехать с ними в РОВД, потому что нас «давно там ждут».

Начальник РОВД майор Михайлов сидел за столом в своем кабинете, вокруг толпились его разнокалиберные подчиненные.

— Как вы попали в Чуну? — прищурившись, спросил он, глядя на меня грозно и в то же время проницательно.

— Станный вопрос, гражданин начальник, — отвечал я. — Под конвоем. Знаете, здесь ездят такие поезда, в них заключенных перевозят. Так вот, я на таком поезде и приехал.

— Но почему именно в Чуну?

У меня дух захватило от идиотизма этого вопроса, и масса вариантов самых замечательных ответов завертелась в голове — от восторженного «Я много слышал о вашем прекрасном поселке» до однозначного «Я так решил». Однако, пока я выбирал, пауза слишком затянулась, и я ответил просто:

— Спросите у конвоя.

Спросить у конвоя начальник уже не мог. Мне объявили, что место ссылки меняется, сюда меня прислали по ошибке и теперь отправляют в Якутию.

— Никаких сборов, поедете прямо отсюда, конвой сейчас подойдет, — резюмировал начальник.

— Но у нас в Бармаконе остались все вещи, документы, — возражал я. — В конце концов, у меня с собой даже зубной щетки нет!

Начальник посмотрел на меня непонимающим взглядом и, не найдя ответа на этот, надо признать, хилый аргумент, просто мотнул головой, будто отмахивался от назойливой осенней мухи. Потом, чуть подумав, добавил:

— Жена может вернуться за вещами и потом привезти их вам.

Тут настала очередь Алки. Она вцепилась в меня и заявила, что поедет вместе со мной и ни о чем другом речи быть не может. В этот момент чунские менты, вероятно, поняли, что легче в один день арестовать в СССР всех диссидентов, чем оторвать от меня Алку. В сущности, им было все равно. «Да пусть едет, если конвой не против, но только за свой счет», — согласился начальник.

Милицейский конвой, которому было поручено этапировать меня до Якутска, был не против. Молодым ребятам — офицеру и сержанту — это поручение вообще казалось каким-то странным. С какой стати они должны были покупать билеты и везти преступника в пассажирском поезде, если ему положено ездить в «столыпине» под военным конвоем? К тому же в деле нет постановления о взятии под стражу. Я подогревал их недовольство, поясняя, что вполне мог бы и сам добраться до нового места ссылки.

Мы ехали на север, в плацкартном вагоне пассажирского поезда «Тайшет — Братск». Поняв, что я не собираюсь бежать, с меня сняли наручники, и мы сидели с Алкой рядом. Конвоиры интересовались нашим делом, и мы охотно рассказали о себе, о том, что фактически это наше свадебное путешествие. По этому поводу мы даже все вместе распили бутылку шампанского, которую собирались употребить с Алкой по какому-то поводу у нас дома в Бармаконе.

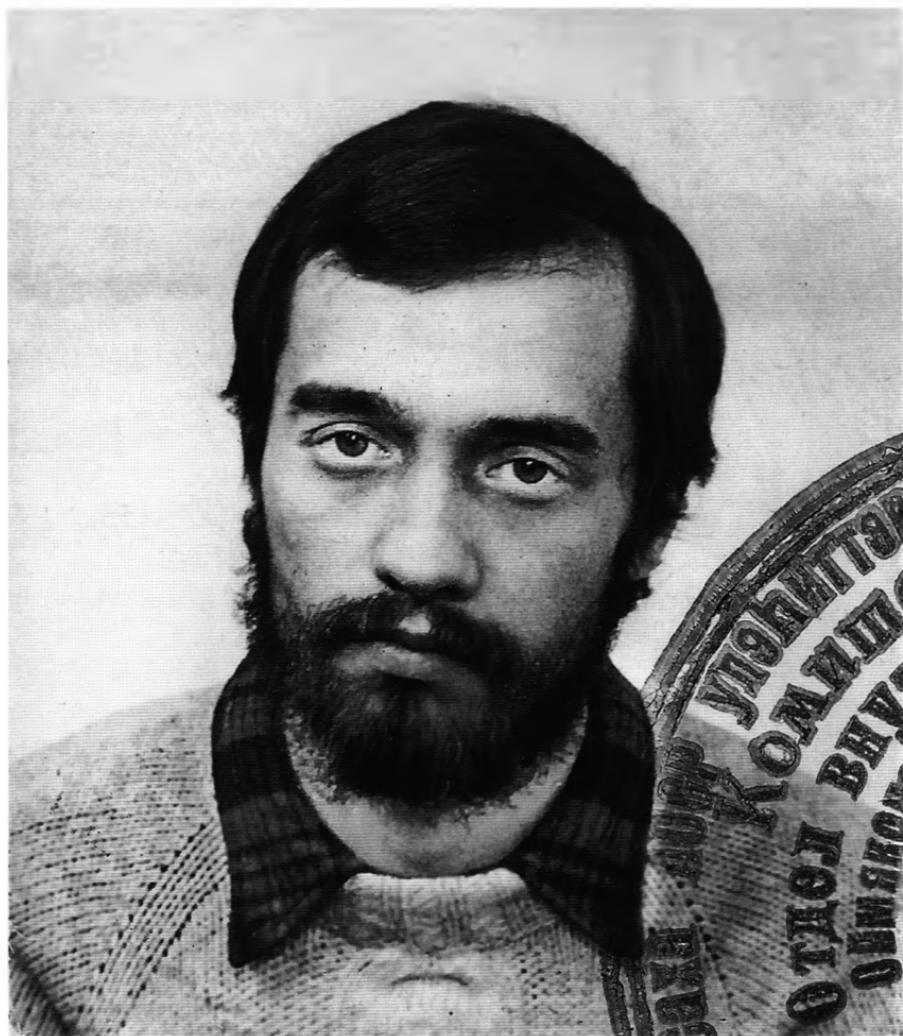
Конвоиры сочувствовали нам и желали счастливой семейной жизни.

Между тем офицер конвоя рассказал нам забавную историю. В субботу, когда мы не явились в РОВД в назначенное время и уже уехали из Бармакона, я был объявлен в розыск. Мои фотографии и описание были разосланы по всем областным подразделениям милиции, вокзалам и аэропортам. Видимо, милицейское начальство не на шутку всполошилось, потеряв меня из виду после того, как им пришло указание из Москвы немедленно перевести меня в Якутию.

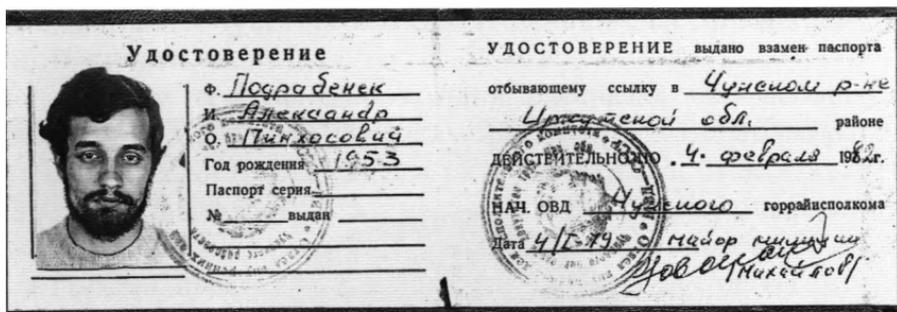
В аэропорту Братска ждать самолета на Якутск пришлось довольно долго. Все это время я таскался с совсем уж нелепым при нынешних обстоятельствах рюкзаком, набитым хозяйственными вещами. Мы перекусывали все вместе в каком-то привокзальном кафе, а Алка бегала звонить в Москву, благо в аэропорту была почта и междугородняя связь. В самолете мы сидели вместе.

В Якутск прилетели поздно ночью. Уставшие, мы уже мечтали о том, как доберемся до гостиницы и растянемся на кровати. Я все пытался выведать у конвоиров, намерены ли они ночевать в одной комнате с нами или мы все-таки переночуем в разных номерах. Они не знали, что отвечать. Не потому, что не хотели, а действительно не знали. У трапа самолета нас встречали свои и чужие. Свои — красавица Ася Габышева, жена Паши Башкирова, диссидента и недавнего политзаключенного, и друг их семьи Вадим Шамшурин. Пока мы летели из Братска в Якутск, им позвонили из Москвы с просьбой встретить нас. Да они и сами уже слышали о моем новом аресте из передачи новостей по Би-би-си. Алкин звонок из Братского аэропорта не прошел даром. Ася Габышева заявила, что мы едем к ней.

Однако вмешались чужие — работники МВД Якутии, которые тоже встречали нас у трапа самолета. У них были другие планы. Нас запихнули в воронок и повезли в МВД. Ася только успела крикнуть свой адрес, по которому нам надо будет прийти, когда все формальности утрясутся. Однако поездка в воронке не предвещала ничего хорошего.



Ссылный Александр Подрабинек.
Поселок Усть-Нера, 1979



Удостоверение ссыльного. Январь, 1979

«Я стоял на ступеньках крыльца местного РОВД, где только что мне выдали удостоверение ссыльного и сказали, что я свободен в пределах района. Чистый январский воздух, белоснежная Сибирь, снег и солнце. Хотелось кричать до неба и обнять весь мир»



Александр Подрабинек, Вячеслав Бахмин, Алла Хромова. Январь, 1979

«Через три недели в Чуну приехали мои друзья. Мы обнимались, целовались, пили около вокзала шампанское, и море нам было по колено. Я сменил свою тюремную телогрейку на привезенный полушубок»

Усть-Нера, март 1980

«Что с того, что это полюс холода, думал я. В Антарктиде еще холоднее, но живут же люди и там. Но и здесь живут, и мы проживем. Назло врагам! Чем сильнее на нас давят, чем круче нас морозят, тем тверже мы становимся. Так что, здравствуй, край вечной мерзлоты!»



РСФСР ЯАССР

ОТДЕЛ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ИСПОЛКОМ ОЙМЯКОНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

мск. Усть-Нера Якутской АССР, ул. Трудовая, дом № 8

№ _____ « 23 » МАРТА 1979 г.

СПРАВКА
/ выданная иностранцу /

Данна справка выдана гражданину Пичкоосовичу, 1965 года рождения, уроженцу г.Нероно, совершающему на учебу в Оймяконском РСБД визит в семью.

Начальник Оймяконского РСБД
И.Б.Емельянов.



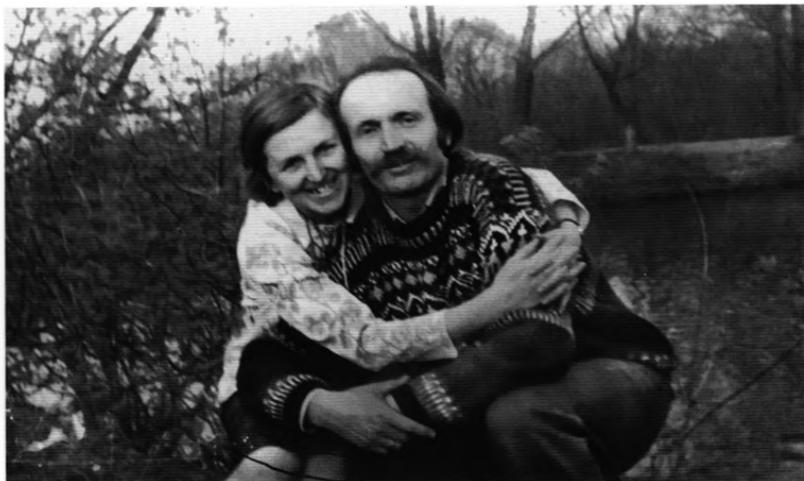




Оформлена таб. форма № 240-200.

Справка ссыльного.
Март, 1979

«Мне дали новую справку вместо старой, обязали отмечаться в милиции раз в месяц, выдали 40 рублей "подъемных" и отпустили восвосяи»



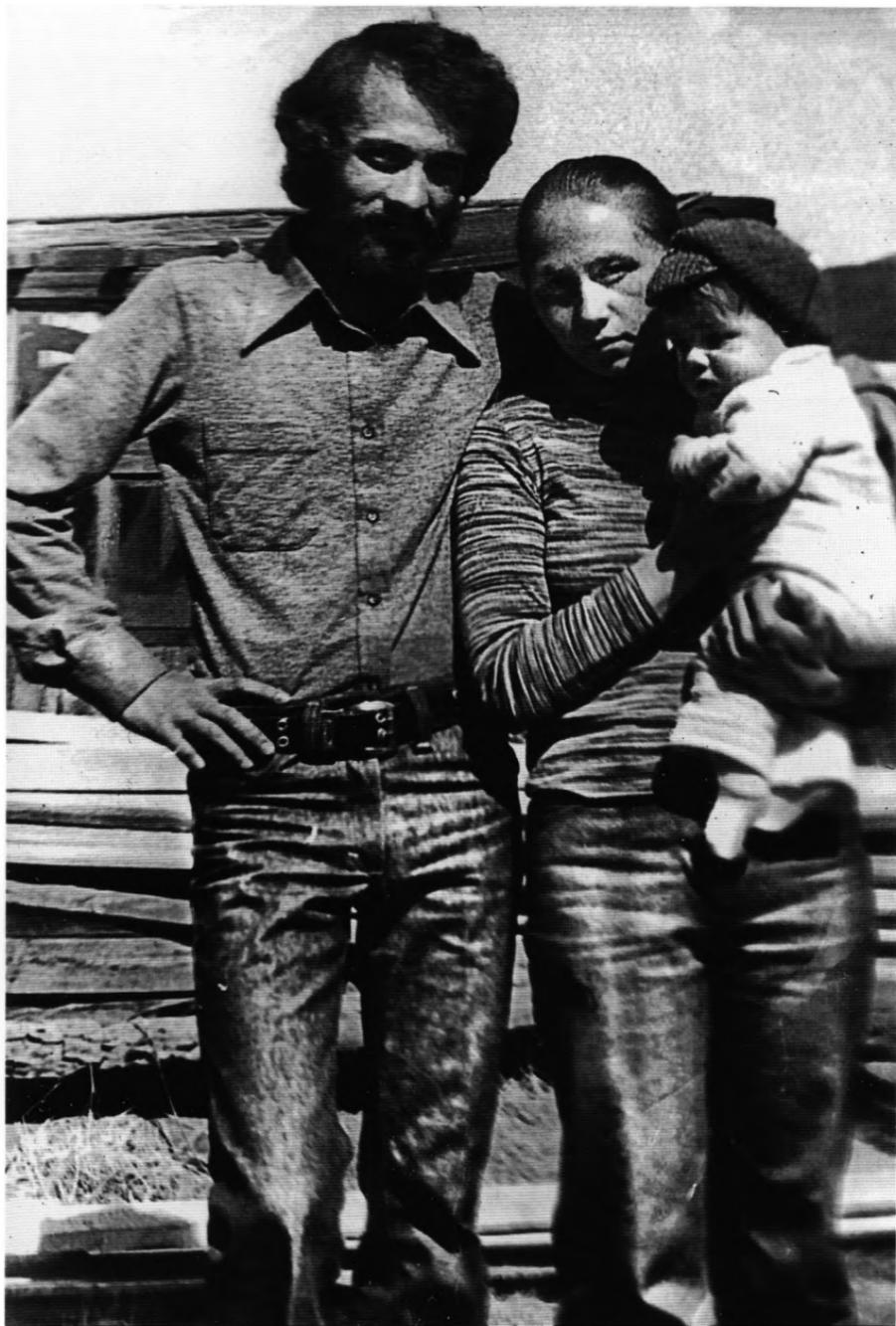
**Вячеслав Чорновил с женой в ссылке.
Поселок Нюрба, Якутия, 1980**

«Мы были почти соседями, и переписывались, а иногда и перезванивались, вызывая друг друга с почты на телефонные переговоры»



**Мустафа и Сафинар Джемилевы.
Поселок Зырянка, Якутия, 1981**

«Мустафа Джемилев, легендарный лидер крымских татар, который в те годы был в ссылке в Якутии, состоял со мной в переписке и теперь проходил свидетелем по моему делу»



Александр, Алла и Марк Подрабиники. 1980

«Сфотографировавшись во дворе нашего дома, я поцеловал Алку и маленького Марка, попрощался и ушел с толпой следователей, оперативников, милиционеров и сотрудников КГБ»

МВД СССР

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

601010 г.Киряч, Владимирской обл.
ул.Кирова 10 Подрубинск А.М.

Учреждение ЯД-40/5

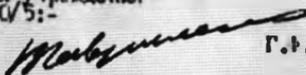
14. 01 82
8/79

На Ваше письмо сообщал, что Ваш муж обеспечен всем необходимым, взыскания поддается соразмерно допущенному нарушению, что неоднократно проверялось по жалобам Вашего мужа ответственными работниками прокуратур и МВД различных инстанций.

Письма он отправляет и получает по нормам положенности.

Одновременно прошу оказать на своего мужа положительное влияние, чтобы он прекратил нарушать установленный режим содержания.

Зам. Начальник учреждения
ЯД-40/5:-



Г.Ф.Аргунов.

Ответ из ЯД 40/5

«Легерное начальство между тем не оставляло надежд воздействовать на меня через семью. Это были довольно наивные попытки»



Второй справа –
Александр Подрабинек.
Лето, 1983



Крайние справа –
Николай Ильич Волков,
Александр Подрабинек.
Лето, 1983

«Летом мы сфотографировались с Ильичом на волейбольной площадке во время спортивного праздника. Разумеется, это было категорически запрещено, но лагерный фотограф-зэк, который делал снимки для стенда о жизни колонии, согласился сделать несколько фотографий за две плиты чая»

Кирилловский РОВД
Владимирской области
У-НАМ ПАРСОК
30 84 Форма Б

СССР

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ

Серия ВУ
СПРАВКА № 070029

Учреждение
97-48/5

26 декабря 1983

Выдана гражданину (не) Игорю Рабиному
Александр Александровичу (фамилия)
Дата рождения 8 августа 1953 г. (день и месяц)
уроженцу (не) г.р. Москва (город (село), район)

национальность еврей (наименование)
семейное положение жена - Пронова А.И. (если состоит)
1956 г.р.
(указать, каким органом ЗАГС, когда и с кем
(фамилия, имя, отчество, год рождения) зарегистрирован брак)

отношение к военной службе воинской обязанности
осужденному (ой) 6 января 1981 г. Верхов-
ным судом ЯАССР по ст. 190-1 УК РСФСР
на основ. ст. 43 УК РСФСР к
лишению св. на 13 дн. лишение сво-
боды

наименованию (ей) в прошлом судимости 15/11/48. Москов-
ским облсудом по ст. 190-1 УК РСФСР
ст. 43 УК РСФСР к лишению своды
наказание не отбл.

в том, что он (а) отбывал (а) наказание в местах лишения свободы
с 13 июня 1980 г. по 26 декабря 1983
откуда освобожден (а) по отбл. наказанию



Печать учреждения

_____ (подпись)

Печать отдела

_____ (подпись)

Справка об освобождении. 26 декабря 1983
«Я выжил. Я вырвался. Я лечу домой»

Довольно долго мы сидели в здании МВД в коридоре перед каким-то кабинетом, где решалась наша дальнейшая судьба. Видимо, никто не хотел принимать решение. Какие-то люди с большими звездами на погонах носились из кабинета в кабинет, поглядывая на нас неодобрительно. Наши чунские конвоиры попрощались с нами, пожелали счастливого пути и сказали, что хотят вернуться домой тем же самолетом. Наконец часа в два ночи из кабинета вышел некто и объявил, что меня повезут в тюрьму, а оттуда самолетом на место ссылки. На меня надели наручники, а Алку выставили из МВД на улицу — в легком пальтишке, глубокой ночью, в сорокаградусный мороз, в абсолютно незнакомом городе. Почему она тогда не замерзла насмерть, можно объяснить только случайным стечением обстоятельств. Позже она так описала свои приключения:

«Я стояла на пустой улице и пока ещё не чувствовала лютого холода, а только ужасное горе оттого, что нас разлучили. Медленно побрела, сама не зная куда, съёжившись от страха и нереальности происходящего. Меня обступила колючая тьма. Я оказалась в городе-призраке, где не было ни людей, ни машин, ни огней. Особенностью этого города была теплотрасса, проложенная не под землёй, как везде, а над ней. Всюду тянулись укутанные в рваные изоляционные материалы унылые трубы, а над дорогами они выкладывались в виде ворот. Сыпался лёгкий, но очень колючий снежок. Вернее, он даже не сыпался, а как бы стоял в воздухе — миллиарды маленьких острых иголочек. В Якутске тогда уже запирали на ночь все подъезды от бомжей, которых там было превеликое множество. Ни единой души на улице не было. Всё-всё-всё было закрыто. Я была одна в целом мире, и этот мир был настроен очень враждебно. Очень скоро я начала замерзать. Было так холодно в эту ночь, что и бомжи, и собаки попрятались. Может, это и хорошо, что было холодно и они попрятались, — я не стала их лёгкой добычей.

Глядя на мрачные коробки домов и в пустое небо, я вдруг поняла, что на свете есть только я и Бог. Это было как озарение, я никогда раньше не задумывалась о Боге. Я перестала

бояться, одним концом шарфа обмотала лицо, другим — правую руку. Я правша, и её мне было больше жалко. Хотя отмораживать левую тоже, конечно, не хотелось, но кожаные перчатки были совсем тонкие. Искать гостиницу не имело смысла — денег для этого было явно маловато. Монеток для телефона-автомата у меня не было, взять их было негде, так что позвонить тем людям я не могла, хотя отлично помнила номер телефона. Впрочем, не помню, чтобы мне попались автоматы на моём пути...

Я побежала искать названную мне улицу, а чтобы Бог не оставлял меня ни на минуту, я всё время разговаривала с Ним. Я знала единственную молитву, “Отче наш”, которой в детстве меня научила мама, и читала её бессчётное число раз. Сначала шёпотом, потом, поняв, что кроме Него меня всё равно никто не слышит, — криком. Я бежала по тёмным и пустым улицам и кричала “Отче Наш”. Я очень замёрзла, и время, казалось, тоже замёрзло и остановилось. Я пробежала так пять часов, совсем этого не понимая. И, хотя я не спала уже почти сутки, у меня совсем не было соблазна привалиться к какому-нибудь забору и уснуть. Откуда-то я ЗНАЛА, что всё обойдётся.

Потом, поближе познакомившись с этим довольно большим городом, я выяснила, что моя отправная точка была в центре, а нужный мне адрес — не так уж далеко, на автобусе я доехала бы за полчаса.

Ближе к утру, когда появились первые прохожие, поиски мои пошли быстрее. В семь часов утра я, не чуя ни рук, ни ног, поскреблась в дверь маленького двухэтажного особняка, в котором жили встретившие нас в аэропорту люди, и наконец, расплакалась.

Меня напоили горячим чаем, водкой с мёдом, растёрли спиртом, накормили, уложили в постель и укутали одеялами. Забегая вперёд, скажу, что я даже насморком не заболела, только кожа на лице потрескалась от мороза, но это потом быстро прошло».

У меня, в отличие от Алки, все сложилось гораздо проще и прозаичнее. Я доехал в комфортабельном воронке до теплой тюрьмы, которая ждала меня с распростертыми объяти-

ями. Было часа три ночи. По случаю столь неординарного поступления в тюрьму подняли ДПНСИ (дежурного помощника начальника следственного изолятора). Он пришел заспанный и хмурый, не понимая, зачем его позвали. Чтобы окончательно его разбудить, я поведал ему, что меня привезли сюда незаконно и пусть убедится в этом сам — в моем деле нет постановления о взятии под стражу. ДПНСИ окончательно проснулся и полез в дело. Санкции на арест действительно не было. Он пробормотал что-то и пошел куда-то звонить, но вернулся очень скоро. «Ничего, не переживайте — мы примем вас и без постановления об аресте», — сообщил он мне. Меня подняли на второй этаж и посадили в пустующую камеру. Я тут же свалился на шконку и заснул.

Утром я решил не брать еду, а вместо этого попросил бумагу и ручку и на утренней поверке подал дежурному офицеру заявление в прокуратуру о голодовке. Мой фактический арест был действительно вопиющим беззаконием даже по беспредельным советским временам. Все-таки для помещения в тюрьму всегда была необходима санкция на арест. Понятно, что за всем этим стояла Москва. Я слышал, что после четвертого дня голодовки заключенных не берут на этап. Нужны им лишние хлопоты с искусственным кормлением политзаключенного, на которого даже нет постановления об аресте? Я рассчитывал своей голодовкой сравнить тюремное начальство и прокуратуру с КГБ и таким образом сократить срок своего пребывания в СИЗО. Сидеть в тюрьме, будучи приговоренным к ссылке, мне казалось очень глупым. И хотя день тюрьмы считался за три дня ссылки, покупать сокращение своего срока таким способом мне уже совершенно не хотелось. Азарт пересыльных тюрем с постоянным радостным пересчетом «один за три» куда-то улетучился.

Через несколько часов меня повели к начальству разбираться с объявленной голодовкой. Заместитель начальника СИЗО по оперативной работе (по тюремному — кум) капитан Альберт Стрелков был спокойным человеком лет сорока пяти, с проседью в волосах, с наигранно неподвижным холодным взглядом бесцветных глаз, какие в американских фильмах бывают обычно у патологических убийц. Едва на-

чался разговор о причинах голодовки, как в кабинет Стрелкова кряхтя ввалился начальник тюрьмы майор Иonoшонок. В ширину он был немислимых размеров, с обвисшими щеками, огромным животом, несколькими подбородками и многочисленными складками на шее. Послушав мои претензии не больше минуты, Иonoшонок вдруг затрясся и начал кричать, что он меня сгноит, что таких мерзавцев, как я, белый свет еще не видывал и что он лично заменит мне ссылку вечным сидением в самой худшей камере его тюрьмы. Я смотрел на него сначала с удивлением, а потом начал считать складки на его шее, но постоянно сбивался, потому что начальник тюрьмы не стоял на месте и все время трясся. У меня даже мелькнула мысль, не попросить ли его успокоиться и замереть, и я улыбнулся этой мысли, а майор решил, что я смеюсь над ним, и совершенно рассвирепел. Капитан Стрелков смотрел на него с легкой улыбкой, как бы давая понять мне, что «мы и так вот можем». Наконец Иonoшонок откричался и ушел, на прощание велел Стрелкову мое заявление в прокуратуру не отсылать, а меня посадить в карцер на 10 суток. Видимо, истерики майора были здесь не внове, потому что в карцер сажать меня никто не стал, а отвели обратно в камеру.

На следующий день я потребовал отоварки — как всякому арестанту, мне была положена возможность купить в тюремном магазине продуктов на десять рублей в месяц. Меня повели в ларек на первом этаже. Пока я заполнял ведомость с названием продуктов, которые хотел приобрести, в коридоре «случайно» нарисовался капитан Стрелков.

— Решили прикупить продуктов? — спросил он меня благожелательно. — И правильно, — продолжал он, не дожидаясь ответа, — питание у нас здесь хорошее, но все-таки тюремное, а в ларечке продукты настоящие. Правильно решили: голодовкой все равно ничего не добьетесь.

Я кивнул ему и стал дожидаться, когда мне выдадут то, что я заказал. Стрелков стоял рядом и смотрел. Возникло неловкое молчание. Кум, разумеется, не мог уйти, не уличив меня в покупке продуктов. Он предвкушал, что напишет рапорт о прекращении голодовки. Наконец мне просунули в окошечко мой заказ — на два рубля пять пачек сигарет

«Столичные» с фильтром, а на остальные шесть рублей — около сорока пачек дешевых сигарет «Прима». Я наблюдал за Стрелковым. Надо сказать, он ничем не выдал своего разочарования. Более того, изобразил на лице удовлетворение и, радостно вздохнув, сказал:

— Но голодовка все равно прекращена.

— Почему?

— Потому что вы купили продукты в продуктовом магазине.

— Какие же это продукты? Сигареты не едят. Ноль калорий.

— Вы ошибаетесь, — возразил Стрелков. — Посмотрите, на пачке сигарет внизу написано: «Министерство пищевой промышленности» — значит, это продукты.

На этот аргумент я не нашелся, что ответить. Вернувшись в камеру, посмотрел — и правда, на пачке внизу мелким шрифтом напечатано «Министерство пищевой промышленности». Надо же, подивился я, при таком обилии в нашей стране разнообразнейших министерств партия и правительство до сих пор не озаботились созданием министерства табачной промышленности. Однако, решил я, все это игры для малолеток, у них, говорят, даже «Приму» курить запахло, потому что пачка красного цвета. Меня этим не собьешь. При голодовке есть нельзя, а курить можно, любой авторитетный зэк это подтвердит.

Рассчитывая пробыть в тюрьме не больше двух недель, я оставил себе пять пачек «Столичных» и десять пачек «Примы», а все остальные вечером, когда на смену заступил беззлойный вертухай, передал в соседние камеры, где у ребят, как они мне подкричали, без курева уже «пухнут уши».

Я не пробыл в Якутской тюрьме двух недель. На четвертый день голодовки, когда чувство острого голода уже стало постепенно отступать, меня выдернули на этап. Внизу мне выдали по описи мои вещи: почтовый ящик, резиновый коврик, совок, веник, щетки, хлебницу, кастрюли, посуду, что-то еще. Все, кто видел, как я упаковываю это в рюкзак, смотрели на меня с изумлением. Наверное, за всю историю этой тюрьмы здесь такого не было. Говорят, старые зэки, любители по-

оригинальничать, иногда возят с собой по этапам любимую подушку, что считается чудачеством и экзотикой. Но чтобы свой собственный почтовый ящик, веник и кастрюли...

На сей раз конвой был военным, и наручники с меня не снимали. В аэропорту Якутска всякие сомнения рассеялись — меня везли в Усть-Неру, административный центр Оймяконского района, одного из двух самых холодных населенных мест нашей планеты. По местным меркам поселок был недалеко от Якутска, всего в полутора тысячах километров. Короткая посадка в Хандыге, затем стремительный и устрашающий подлет к хребту Черского — горы ровной стеной возникают на спокойной равнине, и конца-края им уже не видно, — и через полчаса наконец пролетаем по узкому коридору, едва не задевая крыльями скалы справа и слева; самолет ныряет в какой-то туманный колодец и выныривает через несколько минут на белый свет, приземляясь на посадочную полосу в долине чудесной и загадочной реки Индигирка. Крайний Север. Двести километров до Полярного круга. Полюс холода Северного полушария. Романтика, черт возьми!

В местном РОВД мне дали новую справку вместо старой, обязали отмечаться в милиции раз в месяц, выдали сорок рублей подъемных и отпустили восвояси, сообщив, что я могу ночевать в рабочем общежитии горно-обогатительного комбината «Индигирзолото», пока окончательно не устроюсь туда на работу.

Я вышел на улицу. Было морозно. Март в Якутии — совсем не то же самое, что в Чуне. Было ниже сорока градусов. Но я думал не о холоде. Ко мне вдруг вернулся зверский аппетит. То ли его пробудил свежий воздух, то ли сознание того, что голодовка окончилась. Я зашел в кулинарию, взял два бутерброда со шпротами и чашку какао и сел за стол. В жизни не ел ничего вкуснее. Я сидел за столиком, радуясь теплу и смакуя ощущение жизни. Народу было немного. С каждым входившим и выходившим в кулинарию врывались с улицы клубы пара. За окном виднелись покрытые снегом сопки, из печных труб одноэтажных домов валил густой дым, по улицам ездили машины с дымящимися в кузовах печками, шли уку-

таннные в самые немыслимые одежды пешеходы. Жизнь возвращалась.

Что с того, что это полюс холода, думал я. В Антарктиде еще холоднее, но живут же люди и там. Правда, только на научных станциях. Но и здесь живут, и мы проживем. Назло врагам! Чем сильнее на нас давят, чем круче нас морозят, тем тверже мы становимся. Так что здравствуй, край вечной мерзлоты!

Полюс холода

Первую ночь я перекаптался в рабочем общежитии и твердо решил, что больше не пойду туда ни при каких обстоятельствах. Вонь, дым, мат и полное пролетарское отупение. В нормальной тюремной камере обстановка намного приятнее.

Утром прилетела Алка. Я встретил ее в аэропорту, и, не зная, куда деваться, мы пошли на почту. По дороге купили продуктов, сидели на почте, ели хлеб, запивали его лимонадом и думали, что делать. Московские друзья велели искать дом для покупки, обещая собрать нужные деньги. Однако в один день дом не купишь.

Почитав на столбе около почты объявления о продаже жилья, мы кое-что выписали и решили не откладывать дело в долгий ящик. В первом доме, одноэтажном, деревянном и местами слегка покосившемся, жила молодая супружеская пара. Часть дома, которую они продавали, состояла из трех маленьких комнат, кухни и ванной. Уборная, деревянная и полуразвалившаяся, находилась во дворе. Комнатки были уютные, и даже скособоченный пол в спальне не портил общего впечатления. Жилье нам понравилось. Мы сели с хозяевами обсуждать условия сделки.

Наташа, худая и изящная женщина лет тридцати, была школьным учителем, но сейчас работала воспитателем в рабочем общежитии. Леня, ее муж, был чуть старше. По образованию инженер, он работал электросварщиком. Интеллигентная пара, что они делали в этой богом забытой дыре?

За чаем мы разговорились. Как многие в этом поселке, они приехали сюда заработать денег. В Барнауле с кем-то из их родителей остался маленький сын, они скучали по нему, но на Север везти не хотели. Да и задерживаться здесь они надолго не собирались. Перед глазами было полно примеров, когда люди приезжали сюда «с материка» подработать на сезон и оставались на годы, а то и на всю жизнь. Север при всем своем неблагополучии и суровости неведомым образом засасывает людей. Приспособившись к тяжелым условиям жизни, отсюда уже трудно уехать.

Дошла и до нас очередь рассказывать о себе. Нам очень не хотелось спугнуть покупку этого дома, но все же мы честно рассказали о себе все как есть. К нашему облегчению, ребята восприняли нашу историю совершенно нормально, даже сочувственно. Они спросили, где же мы будем сегодня ночевать, и мы отвечали, что попробуем устроиться в гостинице. На что они начали уговаривать нас остаться на ночь у них, тем более что вскоре, возможно, этот дом будет уже наш.

— Если в гостинице не повезет, обязательно возвращайтесь и в любом случае приходите ужинать, — напутствовали нас хозяйева.

— Знаете, одно дело продавать дом политссылному, совсем другое — давать ему приют. У вас могут быть неприятности, — предупредил я.

— Что вы, что вы, — замахали они руками, — даже и не думайте! Мы не боимся.

Такой теплый прием в первом же доме, в который мы зашли, воодушевил нас. Видимо, соотношение между человечностью и страхом здесь совсем иное, чем на материке, решили мы.

В единственной поселковой гостинице нам не повезло. Приехала какая-то спортивная команда, и свободных мест не было. Впрочем, добрая администраторша согласилась устроить нас в холле на стульях, но велела приходиться поздно вечером, когда уйдет начальство.

Побродив еще по поселку, мы вернулись в гостеприимный дом, прихватив к ужину бутылку вина. Вечер пролетел

весело и незаметно. Нам предложили ночевать, и мы не стали ломаться. Спальня оказалась в нашем полном распоряжении. Пока мы распаковывали вещи и осматривались, хозяйева потихоньку собрались и сказали, что уходят до утра, поскольку все молодожены имеют право на медовый месяц. Это и в самом деле было достойным завершением нашего странного свадебного путешествия.

Так в один вечер Леня и Наташа Островские стали нашими друзьями. Мы никогда не пожалели об этом. Этой же весной мы оформили покупку дома, и теперь они уже у нас прожили до конца лета. Потом они вернулись к себе в Барнаул, затем купили дом в Таллине, а когда через несколько лет я освободился и вернулся в Москву, мы помогли им эмигрировать в США.

Мы жили двумя семьями в одном доме, и никого это не тяготило. Мы никогда не ссорились и много времени проводили вместе. Ленька был партийным, но уже через пару месяцев стал этого стесняться. Однажды он взял свой партбилет и на страничке, где наклеивают марки партвзносов, написал: «Бывшему члену группы “Хельсинки” от бывшего члена КПСС». Наташа не хотела отставать от мужа и подарила мне примерно с такой же надписью свой профсоюзный билет.

Мы завели кондуит, в котором отмечали происходящие события, писали друг на друга эпиграммы и изощрялись в остроумии.

Меня одолел зуд созидания, и я решил начать новую жизнь со строительства нового сортира. Ленька помогал мне в свободное от работы время.

Построить что-то фундаментальное на вечной мерзлоте — задача не из легких. Даже самым жарким летом почва отмерзает всего на десять-пятнадцать сантиметров, а дальше — навеки промерзшая и скованная льдом земля. Между тем яма должна быть достаточно глубокой, чтобы выросший в ней за семь зимних месяцев малопривлекательный сталагмит не доставал до небес. Я чистил старую яму, оттаивал вечную мерзлоту горячей водой и костром, вгрызался в грунт штыковой лопатой.

Дело двигалось. Вскоре котлован был готов. Окончание нулевого цикла мы отметили маленькой дружеской попойкой. Я принимал поздравления и скромно обещал построить такое чудо ассенизации, от которого ахнет вся Усть-Нера. Через два дня над ямой красовалась деревянная будка, сделанная преимущественно из горбыля и старых брусьев и обшитая со всех сторон рубероидом. Но Усть-Нера ахнула не от этого. Потрясающее впечатление на жителей произвел свет в сортире. Уличная уборная со светом — это в Усть-Нере выглядело как непонятная блажь и дикая московская дурь. Когда же я вдобавок повесил несколько фонарей, освещавших дорогу от крыльца до сортира, то все окончательно решили, что ссыльный из Москвы либо отчаянный пижон, либо безнадежный сумасшедший.

Как всякий человек, не слишком склонный к работе руками, я очень гордился своей постройкой и записал в кондуит:

Эй, вы, без идей и без веры.
Пойдите, купите газет,
Узнайте, что нынче в Усть-Нере
Построен новый клозет!

Однако одно дело — что-то построить, другое дело — узаконить. На любую постройку требовалось разрешение властей. Даже на маленький дощатый сортир в углу собственного участка. Поскольку формально дом нам еще не принадлежал, то большая часть бюрократических хлопот легла на Наташу и Леню. У меня чудом сохранился листок, где было записано, что нам надо сделать, чтобы остаться законопослушными строителями собственного сортира.

Сначала к нам пожаловала депутатка местного Совета, прослышавшая, что мы здесь что-то строим. Она строго указала нам, что постройку следует узаконить, и объяснила, как это сделать.

Мы подали заявление в комиссию поселкового Совета, которая завела необходимые бумаги.

Вскоре к нам пришел землемер и замерил всё, что только можно было замерить.

Наташа отнесла председателю поселкового совета Турчаку издевательское заявление: «Прошу разрешить мне строительство туалета на принадлежащей мне территории». Турчак без тени иронии наложил на заявлении резолюцию: «Разрешаю».

С подписанным заявлением Наташа отправилась к районному архитектору, который сделал план застройки.

Леня с этим же заявлением пошел к начальнику пожарного надзора, который тоже поставил свою резолюцию.

Я пошел с тем же многострадальным заявлением к главному врачу санитарно-эпидемиологической станции, который добавил на листок еще и свою подпись.

Со всеми собранными подписями Леня опять пошел к председателю поссовета Турчаку, который отправил его к землемеру за второй подписью.

После этого пришлось снова идти к Турчаку, и тогда он поставил на заявлении свою подпись.

Затем землемер подготовил проект решения поссовета.

Председатель поссовета Турчак этот проект утвердил.

Сессия поссовета на своем очередном заседании утвердила строительство нашего сортира, о чем нам была выдана соответствующая официальная бумага. Вся эта тягомотина длилась месяца два.

Между тем все это время мы нашим сортиром незаконно пользовались, и, конечно, никому до этого не было никакого дела!

С моей чудесной постройкой была связана еще одна забавная история. У Наташи валялся дома выданный ей на работе как воспитателю комплект открыток с фотографиями всех членов Политбюро ЦК КПСС. Валялся и валялся. На завершающей стадии строительства я придумал, что с ним делать. В тюрьме коммунистов опускали, и они жили около параша. Я решил, что открыткам место именно там. Более того, я разместил их в самой параше, аккуратно развесив на задней стенке, прежде чем поставить и прибить к полу трон с отверстием посередине. Открытки были неплохо видны снаружи. Главное место, по центру, занимал, конечно, Л.И. Брежнев. Таков был уровень нашего общения

с Политбюро! Некоторое время нас это очень веселило. Потом забылось.

Напомнил нам о наших дурацких забавах КГБ, когда нагрянул с обыском. Кто-то из сотрудников пошел во время обыска по нужде и рассказал коллегам обо всем увиденном. Чекисты очень возмутились и потребовали, чтобы я снял открытки. Я сказал, что и не подумаю, поскольку очень долго искал, куда бы повесить любимых героев, и наконец нашел для них самое достойное место. Лезть в выгребную яму никому не хотелось, но и оставлять всё как есть они уже не могли. Наверное, про себя они проклинали на чем свет стоит того чекиста, который увидел это первым и рассказал остальным. Снимать вождей партии и правительства послали самого молодого. Он пролез головой в дырку и долго шарил руками по отнюдь не чистой стене, прежде чем снял все открытки до одной. Я думаю, за этот поступок его по справедливости должны были наградить орденом Ленина и дать звезду Героя Советского Союза!

Наши вещи, оставленные в Бармаконе, не пропали. Два диссидента из Красноярска — Володя Сиротинин и Валера Хвостенко, получив от меня нотариальную доверенность, поехали в Чуну и все забрали. Позже Хвостенко так описал это приключение в заметке «Чунско-Бармаконская операция»:

«Были мы молодые, веселые, лихие. И общее ощущение от “операции”: весело, интересно. История эта вспоминается как юмористическая, несмотря на известный контекст...

Поскольку ребят захватили врасплох, осталась в Бармаконе куча дел, вещей и т. п. Я сразу вызвался помочь, съездить туда, все сделать. Кроме того, я был не одинок, и подобные дела, связанные с посаженными и ссыльными, мы проворачивали вместе с моим другом Володей Сиротининым. Я сразу представил себе, как он будет рад развлечься. На этом и порешили.

Долго ли, коротко ли, я получаю от Саши генеральную доверенность на ведение его дел. Я впервые видел подобный документ и, честно говоря, обалдел. Я мог по этому доку-

менту буквально все, вплоть до составления завещания от имени А. Подрабиника. Вместе с доверенностью я получил от него подробнейшую инструкцию, где что лежит, какие дела с людьми и организациями надо уладить. С кого получить, кому отдать, какие вещи отправить в Усть-Неру, какие и кому подарить...

Объем дел предстоял не маленький, надолго с работы нельзя было отлучиться, дали стандартные “три дня без содержания”. И, чтобы увеличить активный промежуток, мы с Володей решили ехать со сдвигом на один день. Дело было в апреле. (Запомнилось, что наша экспедиция совпала с днем рождения В.И. Ленина.) Я поехал первый.

В Чуне нашел участкового и предъявил ему генеральную доверенность. Он был потрясен даже больше, чем я. Совершенно неожиданно он пригласил меня к себе переночевать. Я согласился. Был ужин, хозяин выставил бутылку и простые, но аппетитные закуски, как-то: грибочки, капустку, картошечку, сальце и т. п. И очень интересная была у нас за ужином беседа. Он пытался понять сущность диссидентства. Как человек хотя и простой, но здравомыслящий, он понимал, что не все ладно в Датском королевстве. Воспринять диссидентов как страдалцев за правду мешали стереотипы, внушенные пропагандой. Но эта концепция и не противоречила основам его мировоззрения. Были типичные вопросы: сколько нам платят и в какой валюте, в какой организации мы стоим и т. п. И никак не укладывалось у него в голове, что такую страшную доверенность Саша мог выдать совершенно незнакомому человеку. Подозревал, что я “с ним неискренен”.

Интересно, что вспоминает этот человек и как рассказывает об этом необычном событии. Я сказал ему, что завтра придет еще один друг. Не успел назавтра Володя сойти с поезда, как к нему подскочил мент и произнес (показалось, что угрожающе): “Второй?!” Вова решил, что я уже в узилище и очередь за ним.

Сашины вещи хранились опечатанными на каком-то складе, и мы их перетащили в указанную Сашей баню. Помню, что все было напряжно из-за малого времени, количества

и разбросанности дел. Я отправился в Бармакон, где надо было добыть Сашину трудовую и получить зарплату. Меня убеждали, что в Бармакон сейчас попасть нельзя ни на чем, так как река Чуна вот-вот тронется и машины туда по этой причине не ходят. А если я и перейду Чуну, то меня отрежет там ледоходом и придется ждать чистой воды, чтобы вернуться на лодке. Не помню, каково расстояние между Чуной и Бармаконом. Может быть, километров 15–20, так как я успел обернуться за один день. Раздобыл какой-то шест и на всякий случай, шел по весеннему льду с шестом.

Помню, как мы сидели с Володей в бане и под новые песни Кима комплектовали и обшивали посылки. Эти песни до Красноярска в то время еще не дошли, а в вещах был портативный магнитофон и куча кассет. “Куда ты скачешь, мальчик...” Кайф. Посылки Володя отправлял уже без меня. Эта эпопея долго нас веселила. Мы дали ей название “Чунско-Бармаконская операция”. С Сашей Подрабинеким так и не привелось встретиться. Обменялись несколькими письмами. Я описал ему в красках все перипетии операции, дал своего рода отчет.

Я не знал, что Саша хлопотал о возмещении нам ущерба. По справедливости, так это мы должны быть ему благодарны за чудесное приключение».

Я в самом деле требовал от МВД возмещения расходов по пересылке вещей. Ведь это оно допустило ошибку, этапировав меня не туда, куда надо. Почему за его ротозейство должны расплачиваться мои друзья? Но, кажется, из этого ничего не вышло.

А на руках у меня остался чудный документ о начале нашей семейной жизни — милицейская опись всего имущества, найденного в нашем бармаконском доме. Этот машинописный документ на четырех листах под названием «Опись изъятия, 18 апреля 1979 г., п. Бармакон» включал всё до мелочей. Начиналась опись со слов «Электромотор с наждаком — 1 шт.». Там были одеяла, свитера, трусы мужские, плавки женские, носки зеленые попарно и в розницу, документы и книги, фотоаппарат и 80 грамм сушеных грибов, посуда и зажигалки, пуговицы и моющая паста «Лапусик»,

бигуди, батарейки, кисет с махоркой и многое другое. Заканчивалась четырехстраничная опись словами «резинка 1 м 50 см». И подпись начальника Чунского РОВД тов. Михайлова с круглой печатью — все солидно и официально.

Все посылки, отравленные Володей и Валерой, мы получили, и даже аккуратно упрятанные в них последние выпуски «Хроники текущих событий» были целы. Наши же красноярские друзья с тех пор именовали себя не иначе как Сиротинин-Чунский и Хвостенко-Бармаконский.

В конце апреля мы с Алкой поженились. Леня с Наташей были нашими шаферами, свидетелями, родственниками и гостями одновременно. Как и положено каждому районному центру, в Усть-Нере был свой ЗАГС. Мы пришли туда утром 28 апреля, и я велел всем подождать, а сам немедленно скрылся из виду. Алка настолько не ожидала от меня такого подвоха, что через некоторое время заволновалась, решив, что я бросил ее прямо под венцом. Я между тем еще за несколько недель до того заметил в книжном магазине горшок с розой, которую заботливо выращивала на работе продавщица. Я давно уже договорился купить цветок и прибежал в магазин, но продавщицы почему-то не было. Я нервничал, понимая, что бросать невесту в день бракосочетания не положено. Но делать было нечего, я ждал. Наконец продавщица пришла и, узнав, для чего мне роза, даже не взяла с меня денег. Это, я уверен, была единственная живая роза в Оймяконском районе. Я подарил ее своей любимой.

Другой подарок на свадьбу сделали нам американское и советское правительства. Накануне нашей свадьбы они обменяли двух советских сотрудников ООН — Вальдика Энгера и Рудольфа Черняева, попавшихся в США на шпионаже, на пятерых наших политзаключенных: Алика Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымшица, Георгия Винса и Валентина Мороза. Мы радовались как дети; нам казалось, что совпадение не случайно.

Вечером мы сидели в единственном здешнем ресторане «Северный» и пили за нас, за Леньку с Наташкой, за наших друзей — освобожденных, сидящих и еще не посаженных, а потом

уже просто так, без всяких тостов. В ресторане была живая музыка — пятеро ребят из местного вокально-инструментального ансамбля играли на заказ. Ленька заказал для нас танец, но еще прежде, чем его начали играть, мы были совершенно ошарашены объявлением руководителя ансамбля: «Следующий танец — для наших гостей-молодоженов, политического ссыльного Александра и его жены Аллы». Зазвучало «Семь сорок», и мы пошли с Алкой танцевать. Это было невероятно! Такое объявление, да еще еврейский танец! В Москве за такое разогнали бы и ресторан, и ансамбль, а заодно сняли бы с должности секретаря местного райкома партии. За потерю бдительности. Но здесь, на краю земли, нравы были проще.

В Сусуманском районе Магаданской области, соседнем с Оймяконским, отбывал ссылку украинский поэт и диссидент Василь Стус. Мы переписывались. Он советовал мне быть осторожнее с местными, потому что самые лучшие друзья из них потом окажутся самыми коварными стукачами. Наверное, у него был печальный опыт по этой части. Мы к совету Стуса прислушались, но не жить же отшельниками!

С нами многие хотели познакомиться, но мы не планировали устраивать из нашего дома салон. Наташа привела в дом своего знакомого. Жене Дмитриеву было лет тридцать пять или около того. У него был живой ум, пронизательный и жесткий взгляд, и сам он был крепкий, жилистый, весь как сжатая пружина, готовая в любую минуту расправиться на беду окружающим. Короче говоря, трудно было не распознать в нем бывшего зэка. Примерно половину своей жизни Женя провел в лагерях и тюрьмах. Он был вор и карточный шулер. В тюрьме он много читал и был не то чтобы хорошо образован, но очень начитан. Он интересовался политикой, как все матерые уголовники ненавидел советскую власть и презирал серую толпу, выискивая в ней интересных людей, чем-то отличавшихся от других.

Он стал бывать у нас, и было видно, что в общении с нами он оттаивает от своей тюремной жесткости, смягчается и перестает воспринимать весь окружающий мир исключительно враждебно. Впрочем, адаптированным к вольной жиз-

ни он сам себя не представлял. Работать он не умел и не хотел. «Мне надо беречь руки, иначе я погублю свое мастерство», — говорил он. Женя был шулером, но не из тех, кто прячет карту в рукав или передергивает колоду. У него было мастерство иного рода. Подушечками пальцев он чувствовал цвет карты и мог отличить старшие карты (картинки) от младших. Однажды он показал нам это. Было поразительно: из тридцати шести карт, с завязанными глазами, определяя цвет только пальцами, он ошибся всего в двух или трех случаях. При этом очень смущался, искал для себя оправдания и сетовал, что давно не играл. В другой раз он насыпал на стол сахарный песок, приложил к нему палец и, не глядя на руку, сказал, сколько сахарных песчинок прилипло к пальцу. Мы потом пересчитали — так и было!

Иногда приезжали друзья. Дорога была не дешевая, поэтому вала гостей мы не ждали. Тем не менее у нас побывали Слава и Витя Бахмины, Юра Ярым-Агаев, Ира Гривнина, Таня Осипова. Приходило много писем и телеграмм, в том числе из-за границы. Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна прислали телеграмму, поздравляя с прибытием в ссылку. Таким образом, отношения с Сахаровым, остававшиеся натянутыми после попыток заставить меня эмигрировать, были, кажется, восстановлены.

В пути наших гостей тщательно обыскивали в аэропортах, особенно на обратном пути. КГБ переживал, как бы я чего не передал на Запад. И все-таки друзья привозили мне самиздат и увозили, что я просил. Кто-то, приехавший неожиданно (и для нас, и для КГБ), привез нам изданную в США мою книгу «Карательная медицина», и я держал ее в руках, не веря, что в конце концов все получилось.

Летом приехала Таня Осипова, мы много обсуждали диссидентские дела. Это был 1979 год, тогда решался вопрос о подписании второго советско-американского договора «Об ограничении стратегических вооружений» (ОСВ-2). Мы с Таней недоумевали, почему все наши друзья так спокойно к этому относятся. Было очевидно, что правительство наше безответственно, нелегитимно и нарушает международные договоры с такой же легкостью, как и права человека. Однако

диссидентское сообщество молчало. Возможно, потому, что Андрей Дмитриевич Сахаров высказывался в поддержку ОСВ-2, следуя своей старой идее о неизбежной конвергенции социализма и капитализма. Нам же эта идея казалась вздорной, нежизнеспособной и губительной для демократии. Пока Таня несколько дней гостила у нас, я написал текст обращения к Конгрессу США с призывом воспрепятствовать подписанию договора. Таня благополучно привезла текст в Москву, но никто, кроме нас, так его и не подписал. Письмо ушло в западную прессу с двумя нашими подписями. Договор все-таки был подписан, чем обеспечил Советскому Союзу передышку в гонке вооружений и таким образом еще на несколько лет оттянул крушение коммунизма. Обращение к Конгрессу США фигурировало затем в новых судебных делах против Тани и меня, но мы не жалели. Кто-то должен был сказать.

Если в жизни действительно надо построить дом, посадить дерево и родить сына, то с одним делом мы более или менее справились. Правда, не дом, а сортир, но все равно постройка. На очереди было второе задание, но, поскольку посадить дерево в вечную мерзлоту было совершенно невозможно, мы перешли сразу к третьему. К лету живот у Алки заметно округлился, и мы ждали появления первенца в декабре. Алке нужны были витамины, и нам прислали их из Москвы в немереном количестве, но я знал, что от таблеток прока мало.

Лето на полюсе холода короткое, но безумно жаркое — резко континентальный климат. До Полярного круга рукой подать, и в июле ночами было светло как днем. Жара доходила иногда до тридцати градусов. В поисках витаминов мы сажались на велосипеды и ехали в сопки, которые окружали поселок со всех сторон. На их склонах росло несметное количество голубики. Мы ложились на спину и, лениво поворачивая голову, наклоняли ко рту веточки с огромными спелыми ягодами.

Однажды в горах прошла молниеносная гроза и в небе появилась радуга. Одна ее нога была совсем рядом, метрах

в ста от нас. Я никогда не был от радуги так близко. Есть поверье, что человек, вставший в опору радуги, непременно будет счастлив всю жизнь. Мы с Алкой бросились через чахлые деревца и кустарник в сторону радуги, но она двигалась довольно быстро, не разбирая дороги, и мы никак не могли догнать ее. Так и ушла она от нас, а мы потом бежали за ней всю жизнь.

Денег не было, работы тоже. Главный врач Оймяконского района В.М. Маренный, получив от КГБ соответствующие указания, на работу меня не брал. Вся районная медицина была в его руках, другой не было. «Работы для вас нет, потому что мы стоим на разных идеологических полюсах», — объяснял он мне. Я объявил себя безработным, написав соответствующие заявления в государственные органы. Однако надо было как-то зарабатывать. Денег, которые присылали друзья и Фонд помощи политзаключенным, на жизнь не хватало.

В поселке была маленькая лавочка при Доме быта, в которой продавались поделки местного производства из кожи, дерева, кости и металла. Я вспомнил свое детское увлечение выжиганием по дереву и договорился сдавать в лавочку свои творения. Художник из меня никакой, поэтому я сводил из местных книг на кальку картинки из якутского национального эпоса, копировал рисунки на доски и старательно выжигал. Затем покрывал лаком и относил в лавку. По-моему, получалось неплохо, но народ мое творчество не оценил. Спросом эта продукция не пользовалась. Даже былинный герой якутского эпоса Нюргун Боотур Стремительный, гордо восседавший на низкорослой якутской лошадке, никого не соблазнил.

Тогда Наташа Островская научила нас делать бусы из бумаги. Мы покупали в книжном магазине советские плакаты — дурные по содержанию, но красочно исполненные, особым образом нарежали полоски бумаги, склеивали их в бусинки и покрывали лаком. В свободный вечер мы с Алкой делали одну, а то и две нитки бус. Их мы тоже относили в лавочку и, в отличие от моих досок, наши бусы покупали. Мы даже видели летом, что их носят!

Между тем кампания поиска работы дала результаты. «Международный комитет защиты братьев Подрабинеков»,

отделения которого были созданы к тому времени во многих странах, завалил Оймяконскую администрацию письмами протеста. КГБ сдался. Мне предложили заведовать фельдшерско-акушерским пунктом цеха вспомогательных производств горно-обогатительного комбината «Индигир-золото». Я согласился.

Работа была неинтересная, но выбирать не приходилось. Профилактические осмотры, прививки, санитарный надзор — вот и всё, чем мне приходилось заниматься. Свободного времени оставалось много. Я выписал себе из Москвы книги по производственной санитарии и углубился в тему. Выяснилось, что санитарные нормы у нас грубейшим образом нарушаются. В столярном цеху, например, станки стоят прямо на земле — пола нет. Приточно-вытяжная вентиляция вообще отсутствует, вследствие чего рабочие страдают профессиональными легочными заболеваниями. Температура воздуха в цеху намного ниже нормы, а освещенность рабочих мест далека от минимальной. Работяги сами не протестовали, но в разговорах со мной свое возмущение высказывали. Заканчивались обычно такие разговоры сакраментальным «плетью обуха не перешибешь». Один столяр высочайшего класса, бывший зэк, выражался сугубо по-зэковски: «Эх, скорей бы война, да сдаться в плен».

Я решил побороться за права рабочего класса и поделился своими наблюдениями с главврачом районной СЭС и инспектором местного комитета профсоюзов. Те посмотрели на меня с нескрываемым удивлением и пообещали разобраться, но когда я им недели через две напомнил, они спросили, зачем мне все это надо, и попросили не лезть не в свое дело.

Рабочие при встрече понимающе улыбались и говорили: «Ты здесь никому ничего не докажешь». Тогда я на свой страх и риск составил предписание, в котором потребовал в течение двух недель устранить нарушения, а в противном случае закрыть производство. Предписание я отправил директору комбината, а копии — министру здравоохранения Якутской АССР и в республиканский комитет профсоюзов. Результат был неожиданным. Из Якутска приехала инспекция для проверки изложенных в предписании фактов. Со мной никто из

проверяющих встречаться не стал, но районное начальство залихорадило. Дело в том, что отсутствие пола в цеху было нарушением, вопиющим даже по советским временам, когда права рабочих не защищал никто и никак.

Через некоторое время я получил ответ из министерства здравоохранения, в котором мне сообщали, что по моему предписанию приняты меры, составлен и согласован с дирекцией «Индиgirзолото» план устранения недоделок, но закрыть столярный цех не представляется возможным.

Я знал, почему цех не закроют — стратегическое производство! В Советском Союзе это был единственный цех, где делали специальной конструкции деревянные ящики для перевозки обогащенного золота. Пустые ящики доставляли из Усть-Неры на все золотодобывающие горно-обогатительные комбинаты страны, там в них загружали чистое золото и отправляли в Москву. Ящики были небольшими, но точно выверенными по весу и размерам. В их стенках не было ни одного сучка. Чтобы сделать такой ящик, требовался большой профессионализм. Между тем рабочие, занятые на этом производстве, стояли в цеху на досках, набросанных на сырую, чуть оттаявшую вечную мерзлоту.

Кстати, любопытно, как в СССР охраняли стратегические секреты. Годовая добыча золота считалась тогда строжайшей тайной. Однако по количеству сделанных ящиков и загруженности каждого из них было совсем нетрудно вычислить, что годовая добыча составляла в то время около четырехсот тонн. Но знать об этом не полагалось никому, кроме особо доверенных лиц. Государственная тайна!

В конце 1979 года нас стало трое. 14 декабря днем у Алки начались схватки, и мы поехали в роддом. Было бы здорово, если бы ребенок родился 14 декабря, да еще в сибирской ссылке — так символично, был бы настоящий декабрист. Но он не спешил с появлением на свет. Вечером я ушел из роддома домой. По небу были разбросаны необыкновенно яркие звезды, под ногами скрипел снег, а прямо над головой висело черно-белое северное сияние. К вечеру потеплело, температура поднялась до минус сорока, и спешить домой

не хотелось. Я медленно шел и думал, что с рождением ребенка что-то важное меняется в моей жизни. Я только не мог понять, что именно.

К 7 часам утра я снова был в роддоме. Мне сказали, что у нас только что родился сын. Знакомые по службе акушерки дали мне халат с бахилами и пустили прямо в родовую. Сыну было двадцать минут от роду, у него была необыкновенно пушистая спинка, и он смотрел на окружающий мир недовольно, но молча. Алка лежала измученная и уставшая. Все были, слава богу, здоровы.

Событие надо было как-то отметить. Вечером мы с Женей Дмитриевым пошли в кафе. Выпили не очень много, но Женя почему-то был на взводе и начал ссору с соседним столиком. Повод был какой-то совершенно пустячный. Мне показалось, Женя сам себя накручивает. Я знаю эту блатную манеру доводить себя до истерики. Компания за соседним столиком ссориться не хотела и шла на мировую. Казалось, конфликт был уже исчерпан, когда Женя ни с того ни с сего разбил об пол недопитую бутылку вина. Мгновенно появилась милиция. Я понял, что затесался не в свой скандал, и сидел молча. Женю повели в милицейскую машину, а затем попросили проехать в милицию и меня — как свидетеля. В РОВД дежурный по отделу сказал, что сам ничего решать не будет, пусть утром решает начальник. Нас посадили в разные камеры. В 6 утра, не дожидаясь прихода начальника, меня выпустили.

Ночью выпал легкий снежок, и я шел по пустынным улицам еще не проснувшегося поселка и радовался, что все обошлось. Свернув на нашу улицу, я обнаружил на дороге свежий след проехавшей недавно машины. След обрывался около нашего дома. Похоже, дальше она просто взмыла в воздух и растаяла в темном зимнем небе. Я пригляделся. Судя по следу от колес и рисунку протектора, это был уазик. В поселке было две таких машины. Одна из них принадлежала райотделу КГБ.

Во дворе на снегу было полно следов. Натоптали и даже не подумали замести. Я осторожно прошел в дом и убедился, что контрольная ниточка на двери сорвана. Гэбэшники, как

и положено, ее не заметили. Значит, у нас дома были «гости». Стало понятно, почему следы машины оборвались прямо у нашей калитки. Никто никуда не улетал — это были следы обратного пути. Вечером, когда нас с Женей везли в милицию, снега не было. Утром тоже. Снег шел ночью. Следы были только в одну сторону. Значит, КГБ приехал к нам до того, как выпал снег, а уехал — после. Похоже, они были у нас всю ночь.

Следующие несколько часов я, забаррикадировавшись изнутри, лихорадочно перебирал все наши вещи. Я не боялся, что у нас что-то заберут. Я боялся, что нам что-нибудь подкинут. Но ничего не было. Значит, они просто воспользовались случаем посмотреть, что есть в доме запрещенного. Удачный случай: Алка в роддоме, я в милиции. А может, всё не так уж и случайно? Что это Женя скандал-то устроил вчера на ровном месте? А может, я слишком мнителен? Опять все тот же вопрос: кем все-таки лучше быть — дураком или параноиком?

Ладно, хватит копаться в подсознании, решил я на сей раз довольно быстро. Надо быть готовым к обыску.

Они пришли 29 января, когда Марку было полтора месяца. Целый день несколько человек в штатском под руководством заместителя прокурора Якутской АССР Демина копались в наших вещах в поисках антисоветской литературы. Их добычей за день были: пишущая машинка, двенадцать номеров «Информационного бюллетеня» Рабочей комиссии, пять выпусков «Хроники текущих событий», роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго», материалы Московской группы «Хельсинки», вырезки из иностранных газет, часть личной переписки. В уборной содрали фотографии членов Политбюро. Долго разглядывали и в конце концов забрали подаренные мне Островскими их партийный и профсоюзный билеты. Обыск проводился по нескончаемому делу «Хроники» № 46012/18. Верховодил всем капитан КГБ Зырянов, командовавший и прокурорскими, и чекистами.

Мы с Алкой учредили параллельную реальность — занимались своими делами, будто никакого обыска нет. Алка кор-

мила Марка, готовила обед, а я в какой-то момент закинул в стиральную машину грязные пеленки с подгузниками и принялся стирать. Чекисты и прокурорские выражали неудовольствие тем, что мы так несерьезно относимся к обыску, но мы просто не обращали на них внимания. Зырянов смотрел на все снисходительно и понимающе.

Года через два он меня допрашивал в тюрьме по чьему-то делу и рассказал, что он-то понял тогда, почему я решил заняться стиркой: «У вас в стиральной машине была запрятана ваша книга. Я догадался, но не стал вам мешать. Решил, что в другой раз заберем». Я не стал его переубеждать и тем более рассказывать, что на самом деле единственный экземпляр «Карательной медицины» мы успели запрятать в запеленатого Марка, пока они ломались к нам в дом.

Забавная получилась переключка поколений. Когда-то моя бабушка рассказывала, как ее муж Абрам Алтерович Подрабинек, известный в Бессарабии коммунист-подпольщик, прятал от румынской сигуранцы большевистские прокламации в запеленатого моего отца. Сменилось всего два поколения, и детские пеленки нового Подрабинека послужили уже антикоммунистическим целям!

Улов чекистов был невелик, на новое дело явно не хватало. Но настроены они были серьезно, особенно старались выслужиться работники прокуратуры. В какой-то момент заместителю прокурора республики Демину показалось, что его звездный час настал. Он обнаружил в нашем доме непонятную систему, которую поначалу принял за что-то террористическое. Подняв в одной из комнат крышку подпола, они увидели электрические провода, лампочки, контакты — и решили, что это адская машина. Я объяснять предназначение устройства не стал и самостоятельно демонтировать его тоже отказался. Не обязан. Они решили, что поймали меня по-крупному. Демин сам полез в подпол разбираться, дабы никто не оспорил его лавры героя. В гробу между тем стояла вода, пахло плесенью и было довольно мерзко.

Система моя была самая незамысловатая. Дело в том, что временами, особенно поздней весной, когда тает снег, и ле-

том, когда слегка оттаивает земля, в подполе повышался уровень воды. Мерзлота подтаивает, воде уходить некуда, она поднимается и начинает заливать полы. Мы, как и все соседи, хватались за ведра или насосы и начинали откачивать воду на улицу. Я придумал систему раннего оповещения из поплавка, контактов, батарейки, проводов и электрической лампочки. Использовался тот же принцип, что и в бачке унитаза: уровень воды повышается, поплавок из пластикового детского кубика поднимается, контакты замыкаются, и лампочка на стене комнаты загорается. Значит, пора включать насос и откачивать воду, пока она не залила пол. Система работала исправно, пока ее не порушил прокурор Демин. Он долго возился в тесном погребе, соскальзывая с мокрых ступенек лестницы в затхлую воду, все трогал руками, проверял контакты, отсоединял провода, вероятно, думая, что рискует жизнью, пока наконец до него не дошло, что ничего взрывоопасного здесь нет. Вылез он из погреба промокший, грязный, злой, покрытый плесенью, весь какой-то жалкий и очень недовольный.

Когда обыск закончился, мне велели собираться и ехать с ними. Зачем, не пояснили. Стало тоскливо, как никогда раньше. Одно дело — идти в тюрьму налегке, когда один и беззаботен. Совсем другое — когда есть семья и только что родился сын. Но подавать виду было нельзя. Я взял свой вещмешок со всем для тюрьмы необходимым, поцеловал Алку, маленького Марка и уехал.

Меня привезли в прокуратуру. Для допроса. Следователь Сорокин, человек простой и незатейливый, на мой вопрос, почему в нарушение закона они не оставили мне копию протокола обыска, ответил прямо и откровенно: «Мы не хотим, чтобы это оказалось на Западе». Вопросы его касались изъятых на обыске материалов. Я, разумеется, отвечать отказался. Ничего не добившись, они меня выпустили. Я побежал домой. Даже не побежал, а полетел.

Алка провела этот час или два, сидя в полном оцепенении. Когда я появился на пороге, она упала в обморок. Вот ведь, не когда я ушел, а когда вернулся! Впрочем, это было объяснимо: в мое отсутствие она расслабиться не могла. Ей и потом, когда

меня рядом уже не было, приходилось выстаивать в окружающей жизни за нас обоих. А в тот вечер у нее пропало молоко, и Марк некоторое время получал искусственное питание.

Зима на полюсе холода — отдельная песня. Это даже не зима в нашем обычном понимании, а некий изошренный природный эксперимент на выживание. Господь, когда творил землю, забыл, наверное, добавить в Якутию тепла, а когда спохватился, было уже поздно, и в порядке компенсации он посыпал якутскую землю алмазами и добавил золота. Правда, получилось так, что на бриллиантах и золоте наживаются одни, а от холода страдают совсем другие.

Зима здесь начинается в октябре и заканчивается в апреле. Тепло — это когда -20 или -30 , но в январе-феврале нет ничего необычного в -50 и ниже. Холод сковывает все живое. Птицы не летают. Вся рыба уходит в Северный Ледовитый океан, потому что даже Индигирка (уж не говоря о Нере) местами промерзает до самого дна. Домашние животные по улицам не бродят. Огромные бродячие коты с отмороженными ушами и облезлыми хвостами в октябре-ноябре еще пугали нас своими боевым видом. Они вставали на задние лапы и вечерами заглядывали в низкие окна нашего просевшего домика, даже не мяукая, а что-то злобно ворча в наш адрес осипшими голосами на своем непонятном кошачьем языке. Алка очень боялась их и говорила, что они приходят за ней. Но к середине зимы и коты исчезали, прячась в теплотрассах или неизвестно где.

Людей на улицах становится меньше. Никто не гуляет, выходят из дома только по делам и на работу. Мне надо было идти от дома до работы полчаса. При -50 это было не просто. Как и все, я укутывался целиком, оставляя только маленькие щелочки для глаз. С остальной одеждой у нас не было проблем. Фонд помощи политзаключенным прислал нам куртки и комбинезоны из гагачьего пуха, и в них было тепло в любую погоду. Единственным уязвимым местом оставались глаза. По дороге на работу я заходил отогреться два раза: в кулинару и на почту. Пока я доходил до очередного убежища, при -55 начинали замерзать глаза. Странное ощущение —

глаза ломило, будто на глазное яблоко очень сильно давили. Но это было еще ничего. Хуже другое. От дыхания через шарф шел пар. Обычно этого не замечаешь. Но при таких низких температурах на верхних и нижних ресницах из пара образуются сосульки. Как сталактиты и сталагмиты в холодной пещере, сосульки постепенно растут и в какой-то момент соединяются, отчего становится невозможно моргнуть. Мы обычно моргаем, не замечая, какое это удовольствие! Попробуйте-ка не моргать хотя бы тридцать секунд. Ломать льдинки нельзя. Кто не выдерживает и стирает их варежкой или платком, травмирует ледышками веки и ходит потом с красными, как у кролика, глазами. Единственно верный способ — добраться до тепла и ждать, пока сосульки оттают.

Когда смерзаются ресницы, это противно, но не катастрофично. Хуже, когда смерзается уголь. Около теплоэлектростанции, которая дает поселку электричество, навалены горы угля. Если уголь смерзается, в дело вступают бульдозеры. Они сдвигают своими ножами эти угольные горы, разбивая их на кусочки, годные к употреблению. Но однажды при очень сильных морозах наши отечественные бульдозеры со своей задачей не справились. Сдвинуть гору они не могли. Уголь был на исходе, и электроэнергию из соображений экономии начали периодически отключать. В одно из таких отключений мне пришлось сломать во дворе какую-то постройку и развести из досок костер, чтобы подогреть очередную порцию детского питания для Марка.

Свет отключали по всему поселку, не пощадив даже больницу. Правда, в хирургических и акушерских операционных было свое электричество от дизельных движков, но в родильном отделении было темно, как и везде. Кому «посчастливилось» попасть в такую энергетическую паузу, рожали при свечах. По этому поводу в поселке много шутили: что лучше — при свечах детей рожать или делать.

В тот раз энергоснабжение восстановили на следующий день. С ближайшего прииска привезли мощнейший американский бульдозер *Caterpillar*, который легким движением своего огромного ножа сдвинул кучу смерзшегося угля, и ТЭЦ снова заработала в полную силу.

Было бы несправедливо умолчать о достоинствах морозной жизни. Точнее, только об одном, поскольку о других мне ничего не известно. В Усть-Нере, как и везде на Севере, да и по всей России, мужики нещадно пили водку. Производили ее в Магадане, и пойла отвратительнее трудно было сыскать. Но делать было нечего, пить приходилось то, что есть. Однако зимой ее пили не просто так, а «через лом». Самый обычный лом, которым скалывают лед на дороге, всегда стоял на улице. Его брали наперевес, под него ставили кастрюльку или тазик, а на конец этого замороженного лома тоненькой струйкой лили водку магаданского разлива. После этого вся содержащаяся в бутылке масляная пакость оставалась на кончике лома, а в кастрюльке собиралась отличная водка, чистая как слеза комсомолки.

Понятно, в жестокие морозы работать на улице было просто невозможно. По закону уличные работы активируются при -52 градусах. Но когда температура опускается до такого уровня, никто не знает. Отечественная промышленность выпускала бытовые термометры до -50 градусов. Лабораторный термометр до -100 висел в аэропорту и на метеостанции в ящике с решетками. Разглядеть шкалу через решетки было невозможно, а сам ящик всегда был на замке. Метеорологи знали температуру воздуха, но прижимистое начальство «Индибирзолота», от которого в поселке зависело все, чтобы не активировать уличные работы, велело метеорологам не говорить правду. Местное радио тоже всегда врало, что на улице -51 . Работяги иногда сбивали ночью замок и утром доказывали начальству, что уже ниже -52 -х. Потом замок вешали новый.

Друзья прислали мне из Москвы лабораторный термометр со шкалой до -100 . Я повесил его на дом около двери, и вскоре к нам зачастил народ справиться о температуре воздуха. Через какое-то время люди уже просто заходили во двор, смотрели градусник и шли дальше. Мы не возражали. Кроме того, у себя на работе я извещал и рабочих, и начальство, когда температура была ниже допустимого, и уличные работы активировались. Начальство меня еще и за это очень не любило.

Вдобавок ко всему по поселку разнесся слух, что мы установили у себя на доме мемориальную доску. Я действительно сварганил небольшую деревянную дощечку, покрыл ее белой эмалью и красной краской вывел: «Этот дом построили заключенные». Табличку я прибил на стенку около двери, аккуратно рядом с градусником. Этот дом в самом деле в начале 50-х построили заключенные. С конца 40-х годов здесь был не поселок, а один большой лагерь — Индигирлаг. Все, что тогда здесь строилось, было сделано руками заключенных. Мне казалось справедливым отметить этот факт. Таким образом, люди приходили узнать погоду и посмотреть на диковинную надпись. Даже неизвестно, что их интересовало больше.

Как-то ночью я выскочил на улицу по надобности, накинув на себя полушубок. Все, казалось, звенело от мороза. Уже через минуту я мчался обратно, но не утерпел и посмотрел на термометр — он показывал -64 градуса.

Джек Лондон в своих северных рассказах писал, что если на Аляске в лютые холода плюнуть, то на землю со звоном падает ледышка. Аляске по части холода до Оймякона далеко. Как ни было в ту ночь холодно, я остановился и плюнул. Потом еще раз. Никаких ледышек, никакого звона. Я стоял посреди темной полярной ночи и плевал в замерзшее небо, но в ответ ничего не звенело. Писатель моего детства оказался большим выдумщиком.

Историю барона Мюнхгаузена о том, как, пописав зимой в России с дерева, он превратил струю в сосульку и достал с ее помощью лежавший на земле нож, я, опасаясь членовредительства, проверять не стал.

После обыска ссыльная наша жизнь стала понемногу осложняться. Мне ужесточили режим отбывания наказания, ограничив территорию передвижения границами поселка и обязав отмечаться в РОВД каждую неделю, а не раз в месяц. Я не роптал, поскольку зимой мы все равно никуда из поселка не выезжали, да и роптать было бесполезно.

Начались неприятности на работе. Одновременно с домашним обыском КГБ провел обыск в моем кабинете в медпункте. Там они изъяли медицинские карточки политссыль-

ных, которые я завел для того, чтобы постепенно выяснить все их медицинские нужды и скоординировать в этом направлении деятельность Фонда помощи политзаключенным. Дело это я только начал, и большинство карточек даже не были заполнены. Мне вынесли выговор за то, что я занимаюсь в рабочее время посторонними делами.

В поликлинике каждый вторник собирали на конференцию заведующих фельдшерскими и акушерскими пунктами района. Заведующая поликлиникой доктор Ситникова — милая женщина и грамотный врач — говорила о текущей работе, решала возникающие проблемы, обсуждала с фельдшерами сложные случаи. В конце одной такой конференции она попросила всех задержаться и передала слово лектору общества «Знание» из Якутска. Лектор с постной физиономией самоуверенного партийного пропагандиста начал говорить о международном положении и успехах социализма, а затем перешел к внутреннему положению.

Изюминка подобных лекций всегда состояла в том, что лекторы говорили о вещах, о которых не очень-то пишут в газетах. Они как бы делились сокровенным партийным знанием с рядовыми гражданами, приобщая их таким образом к кругу избранных.

Лектор начал рассказывать о происках западных спецслужб и о том, как враги социализма используют в своих целях предателя родины Солженицына. Он же, Солженицын, по словам лектора, мнит себя великим писателем и ставит себя на одну доску со Львом Толстым. Я сидел почти напротив лектора и, пока он нес всю эту ахинею, глядел на него и откровенно улыбался. Он несколько раз посмотрел на меня — сначала с недоумением, потом неприязненно и наконец, не выдержав, спросил:

— Вы видите в этом что-то смешное?

— Конечно, — ответил я. — Все, что вы говорите о Солженицыне, абсолютная неправда.

— То есть как это неправда?

— Да так вот, неправда. Вы либо всё придумали, либо вас дезинформировали. Никогда Солженицын не сравнивал себя с Толстым.

Лектор откровенно растерялся, не зная, что ответить. Он, вероятно, привык, что иногда с ним спорят по второстепенным вопросам, но с прямыми обвинениями во лжи он едва ли сталкивался.

Присутствующие смотрели на меня кто с интересом, кто с осуждением, а бедная доктор Ситникова не знала, как это все остановить и куда ей деться.

Лектор наконец взял себя в руки и с улыбкой превосходства спросил:

— Ну допустим. А откуда у вас такая информация? Откуда вы можете это знать?

— А я знаком с Александром Исаевичем, — преувеличил я самую малость, поскольку знакомы мы были только по переписке.

Лектор на мгновение погрузился, но тут же спохватился и, продолжая доброжелательно улыбаться, предложил мне продолжить разговор после лекции. «Тем более что мы уже и так засиделись», — резюмировал он. Все поднялись и направились к выходу, в том числе и лектор. Ситникова попросила меня задержаться.

— Ну зачем вы так? Кому это нужно? — укоризненно начала она.

— Да не переживайте так, — успокаивал я ее. — В следующий раз он будет меньше врать.

— Не будет. То есть я хотела сказать, какая разница? Вы меня ставите в трудное положение и о себе не думаете. У вас же семья. И что мне теперь делать?

Тут я ей ничего посоветовать не мог. Можно было и промолчать сегодня, но я вспомнил «Жить не по лжи» — пусть никакая ложь не пройдет в этот мир через меня. Я сделал, что должно. Да и глупо было бы столько лет участвовать в демократическом движении, чтобы потом сидеть и молча слушать дешевую трескотню захудалого партийного пропагандиста.

Через несколько дней как-то вечером, мельком взглянув в зеркало, я отметил, что белки глаз у меня покрылись какими-то странными желтоватыми прожилками. На следующий день склеры стали совершенно желтыми, и я понял, что у меня гепатит. В тот же день я сделал анализы, и инфекционист

подтвердил: гепатит А. В любой другой ситуации можно было бы, сохраняя меры предосторожности, пересидеть заразный период дома, тем более что осталось всего несколько дней, но дома был маленький сын и я не хотел рисковать. В тот же вечер, не заходя домой, я лег в инфекционное отделение больницы с твердым намерением оставаться здесь, пока весь не пожелтею и не перестану быть источником инфекции. Меня поместили в отдельную палату, назначили лечение, и целыми днями я читал книги и вносил правку в «Карательную медицину», поскольку в США ее готовили к изданию на английском. Свидания были запрещены, листочки с правкой я передавал Алке через окно, благо это был первый этаж, строго внушая ей, чтобы она тщательно мыла руки и чаще кварцевала комнаты.

Через неделю утомительного безделья грянули события. Мне сообщили, что я уволен с работы. На мое место взяли прежнего работника — фельдшера, которая была в послеродовом декретном отпуске. Она вышла на работу, проработала один день, в который меня и уволили, а затем вновь вернулась в законный отпуск. В тот же вечер, 15 февраля, ко мне в больницу прибежала Алка с еще одной новостью: у нас дома опять был обыск. Забрали американское издание «Карательной медицины», которую все-таки нашли в тайнике в ванной комнате, письма, еще что-то. Обыски с разрывом в две недели — умный ход. Говорят, бомба два раза в одну воронку не падает, и после обыска можно расслабиться в надежде, что следующий будет не скоро. Тут-то они и приходят во второй раз.

Букет плохих новостей произвел на меня удручающее впечатление, и я решил, что хватит прохлаждаться в больнице, пора домой. Заведующая отделением была еще на работе, и я попросил ее срочно меня выписать. Через полчаса она пришла ко мне в палату и сказала, что выписать невозможно, поскольку я еще не выздоровел. Я возразил, что это мне решать, как и где лечиться, в ответ на что, немного помывшись, она сообщила, что таково указание главврача. Я заподозрил вмешательство вражьих сил и дальше спорить не стал.

Вечером, когда в отделении осталась только дежурная сестра, я попытался выйти на улицу, но оказалось, что двери заперты. Дежурная на мою просьбу открыть дверь долго мялась и потом поведала, что ей строго-настрого запретили это делать. Ей было очень неудобно передо мной, и я не стал настаивать — ей приходилось дорожить своей работой.

Меня решили изолировать в больнице! Мне стало смешно. Алка принесла мне из дома верхнюю одежду. Я оделся, собрал свои вещи, без труда открыл слабенькие замочки на решетках окна, затем само окно и выпрыгнул на улицу.

Начавшийся 1980 год был урожайным на аресты. Близилась летняя Олимпиада в Москве, и под шумок власть решила нанести по демократическому движению серьезный удар. 12 февраля арестовали Славу Бахмина, 10 апреля — Леонарда Терновского. Очевидно, власти решили прекратить деятельность Рабочей комиссии. Феликса Сереброва в день ареста Бахмина посадили на 15 суток. В марте в Рабочую комиссию вошла Ирина Гривнина, но положение это уже не спасало. Было понятно, что скоро арестуют и ее. Ира участвовала в работе комиссии с самого начала, и КГБ об этом, конечно, знал. Впрочем, мы все понимали, что арест неизбежен, вопрос был только в том, как скоро.

Преодолимпийские репрессии коснулись не только Рабочей комиссии. В январе были арестованы один из редакторов журнала «Поиски» Юра Гримм, священник Дмитрий Дудко и член Комитета защиты прав верующих Виктор Капитанчук. В апреле арестовали известного диссидента, необъявленного редактора «Хроники текущих событий» Александра Лавута. В Эстонии в апреле был арестован Март Никлус. В мае в Москве арестовали Татьяну Осипову, а в Киеве — только что вернувшегося из магаданской ссылки нашего бывшего соседа Василя Стуса.

Меня вызвали в местный отдел КГБ. Начальником отдела был капитан Буй, что, конечно, обыгрывалось между нами самым неприличным образом. Однако допрашивал меня не он, а все тот же капитан Зырянов из республиканского КГБ. Его интересовало мое знакомство с находящимся

в ссылке Марком Морозовым, из чего я заключил, что положение Морозова шаткое и надежного иммунитета за свое предательство он не получил. Ни на один вопрос я не ответил, а когда уходил, Зырянов неожиданно, без всяких предисловий посоветовал мне подумать о своем будущем. Почти дружеским тоном, ничего не требуя взамен. Я слегка удивился и очень самоуверенно ответил что-то вроде того, что мое будущее всегда в моих руках.

В конце мая Алке пришлось ехать в Москву. По советским законам, чтобы не потерять прописку, нельзя было без уважительной причины отсутствовать по месту жительства больше шести месяцев. В декабре она рожала, что было уважительной причиной, а теперь надо было как-то отметить свое присутствие в Москве. Она улетела, и я остался с пятимесячным Марком — кормил его, пеленал, мыл, стирал, играл с ним и делал все, что положено, только что не кормил грудью. И совсем это оказалось не страшно — возиться с грудным ребенком. Неделя пролетела незаметно.

Тем временем начало что-то получаться с трудоустройством. Мне обещали снова дать работу по специальности. В пятницу 13 июня мне надо было для этого пойти в местную администрацию. Мы с Алкой шутили, что пятница, да еще тринадцатое — это не лучший день для устройства на работу. Так и оказалось. Едва мы собрались выходить, как к нам нагрянули с обыском. В постановлении о проведении обыска было написано, что проводится он в рамках уголовного дела против меня по ст. 190¹ УК РСФСР. Значит, есть дело. Значит, по окончании обыска меня арестуют.

Обыск длился недолго, забирать было уже почти нечего. Большую часть времени мы сидели с Алкой молча, обнявшись. Зашел наш знакомый и, увидев, что тут делается, остался до конца обыска. Наконец мне предъявили постановление об аресте и велели собираться. С вещами. Уже собравшись, я придумал сделать прощальную фотографию во дворе нашего дома. Следователь вызвался быть фотографом, но я подумал, что потом мне будет неприятно смотреть на фото, сделанное его руками. Мы попросили нашего знакомого. Сфотографировавшись во дворе нашего дома, я по-

целовал Алку и маленького Марка, попрощался и ушел с толпой следователей, оперативников, милиционеров и сотрудников КГБ.

Неделя, проведенная в Оймяконском КПЗ, была на редкость тягостной. Мне все не верилось, что я снова попал в тюрьму, вспоминался дом, я очень тосковал по жене и сыну. Они были совсем рядом, но недостижимы. Я сидел один в маленькой и грязной камере. Передачи были запрещены, но Алка приносила продукты, и милиционеры иногда передавали мне их. Целыми днями я валялся на грязном одеяле, брошенном поверх деревянного топчана, и глядел в потолок. В углу его, там, где потолок сходится со стенами, старая побелка, закопченная дымом от варки чифиря, местами облупилась и на потолке сложился причудливый образ какой-то гнусно ухмыляющейся рожи. Смотреть на нее было невозможно, но меня будто притягивала эта ухмылка. Взгляд все время упирался в эту рожу, и казалось, она смеется надо мной, над моим близким будущим.

Через два дня судьба сжалилась надо мной: менты разрешили десятиминутное свидание с Алкой и Марком. Через два дня еще одно — на пять минут. Все-таки это был Север, на законы там не очень обращали внимания. К тому же милиция относилась ко мне в целом неплохо, зная, что я числюсь за КГБ.

На второй или третий день в соседнюю камеру посадили Женю Дмитриева. Он спрашивал, что ему делать: менты требуют от него показаний против меня. Сама постановка вопроса не оставляла никаких сомнений. Я отвечал, что он старый зэк и сам знает, что почем. Днем нам устроили очную ставку, потом следователь вышел из кабинета, и мы остались вдвоем. Женя ожесточенно курил и нервно мял пальцы.

— Мне угрожают политической статьей, если я не дам показаний, что получал от тебя самиздат. Пойду твоим подельником, — торопливо говорил Женя.

— У них на тебя ничего нет. Да и обо мне ты не знаешь ничего, что их может заинтересовать. Это все лажа, не ведись, — советовал я ему.

— Да не могу я сидеть по политической, я же вор. Надо мной вся тюрьма смеяться будет! — возмущался Женя, будто не слыша, что я ему говорю.

— А если ты станешь у меня свидетелем, тюрьма смеяться не будет, — многозначительно напомнил я ему азы тюремной жизни. Этого-то он и боялся.

— А ты что скажешь, если я дам показания? — спрашивал Женя, и за этим вопросом стоял другой и очевидный: «Ты будешь мне предъявлять в тюрьме?».

— Женя, делай что хочешь, — отвечал я ему, желая прекратить этот тяжкий разговор. — Я тебя попрекать не стану и малявы по хатам рассылать не буду. Смотри только сам себя когда-нибудь не попрекни.

Женя очень обрадовался, и следователь уже вернулся в кабинет, а он все продолжал бормотать, оправдываясь: «Я же вор, понимаешь, я вор, меня не поймут».

Позже я прочитал показания Дмитриева. Он подтвердил, что получал от меня самиздат. Для моего дела эти показания были ничтожны. Даже непонятно было, зачем они следствию понадобились. Разве только для того, чтобы подцепить Женю на кумовской крючок? Я свое обещание сдержал и никогда никому в тюрьме об этом деле не рассказывал.

Женя недолго пробыл на воле. Через год или два его снова повязали, и он поехал мотать новый срок. По слухам, где-то промелькнуло, что он кумовской. Наверное, менты сами же эту информацию зэкам и слили. То ли он не смог оправдаться, то ли еще что-то случилось, но при каких-то очередных разборках его убили.

18 июня мне предъявили обвинение: публикация в США письма об ОСВ-2, продолжение работы над «Карательной медициной» и распространение самиздата. Статья 190¹ УК РСФСР. Теперь я рецидивист, хотя и не особо опасный!

Через неделю за мной приехал из Якутска военный конвой, и меня повезли в аэропорт. Алка была уже там. Нам дали попрощаться, и меня завели в самолет. Я сидел около иллюминатора, Алка стояла под ним с другой стороны. Это в больших аэропортах строгие пропускные правила, здесь же любой мог пройти на летное поле. Мы смотрели друг на друга,

прощаясь неизвестно на сколько. Приговор — это условность, как и срок заключения. За одним приговором может последовать другой, срок удлиняется до бесконечности, а может и оборваться вместе с жизнью в тот момент, когда собираешься, наконец, освободиться и жить. Мы все это знали, и потому смотрели друг на друга через толстое стекло иллюминатора, прощаясь, может быть, навсегда.

Тюрьма Якутская

И вот я снова в Якутской тюрьме. Тюрьма — это плохо? Это смотря с чем сравнивать. После грязного, душного и голодного КПЗ тюрьма кажется домом отдыха. На приемке я изображаю растерянного новичка-первоходочника, благодаря чему меня не слишком тщательно шмонают и я укрываю от вертухаевских лап пачку чая в пакете с табаком и деньги в подошве своих ботинок. Меня поселяют в общую камеру на третьем этаже, и мы с ходу завариваем принесенный мной развесной индийский чай. «Смотри-ка, настоящая индюшка!» — восхищаются мои новые сокамерники, уже давно заваривающие чифирь только из дешевого плиточного чая.

В тот же день меня ведут к куму — уже знакомому мне заместителю начальника тюрьмы по оперативной работе, теперь уже майору Альберту Стрелкову. Вербовать меня бессмысленно, он это понимает, разговаривать нам особо не о чем, но встреча с тюремным начальством — обязательный ритуал. Стрелков изображает из себя радушного хозяина — широким жестом приглашает садиться, предлагает дорогие сигареты, разломанную плитку шоколада. Я знаю, чего он хочет. Он хочет поговорить. Ему интересно пообщаться с неординарным зэком. Я, как всегда, отказываюсь от угощений и стараюсь держаться в рамках вежливости. Он интересуется политикой и жизнью в Москве, а я — тюремным бытом, отношением к зэкам в его тюрьме и соблюдением законности. Кроме того, я пытаюсь понять степень его злонамеренности — ведь это именно он будет контролировать каждый мой шаг и каждое мое слово, подсаживать стукачей и, возможно, provoca-

торов. Разговор этот не слишком интересен для меня, но и не тяготит. Я привык к этому ритуалу, тем более что избежать его мирными средствами невозможно. А для войны это слишком малый повод.

Тюремному начальнику льстит знакомство с известным человеком. Вечером, выпивая в кругу друзей, он как бы незначай заведет разговор:

— А вот слышали, по «голосам» передавали про московского диссидента, что в наши края попал?

— Как же, — ответят ему приятели, которые, как и все, слушают западное радио, — конечно, слышали.

Тогда он глубоко затаится, откинется на спинку кресла и, стряхивая пепел в пепельницу, скромно уронит:

— У меня сидит.

Потом он наврет про московского диссидента с три короба, поражая воображение собутыльников и утверждаясь в собственном превосходстве. Детские игры, но сколько удовольствия!

Впрочем, удовольствие может быть и иного рода. Стряхивая пепел в пепельницу, он, довольно усмехнувшись, сквозь зубы процедит:

— Я его вчера в карцер посадил.

Тоже повод для самоутверждения.

Майору Стрелкову, однако, было достаточно факта общения со мной. Он не был тупо кровожаден и не куражился, гнобя других. Он жил в свое удовольствие. Жил широко, ни в чем себе не отказывая. По ночам к нему в кабинет приводили арестованных девушек и мальчиков-малолеток. Об этом знала вся тюрьма и, конечно, вышестоящее начальство тоже. Однако в республиканском МВД на это смотрели сквозь пальцы. Изнасилование или растление малолетних офицером МВД? Это никого не интересовало. По крайней мере с точки зрения закона.

Якутия — богатая республика, край золота и алмазов. Именно эти камушки и этот металл более всего интересовали генералов республиканского МВД. Какие коррупционные схемы были там выстроены ради того, чтобы золото и алмазы были надежно переправлены на «материк» и разошлись там

по нужным карманам, теперь в подробностях уже вряд ли кто расскажет. Тем не менее известно, что майор Стрелков был в этой коррупционной цепочке не последним человеком.

Сытую и размеренную жизнь тюремного кума нарушили в 1982 году смерть генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева и последовавшее за этим снятие с должности министра внутренних дел СССР Николая Щелокова. Военная прокуратура начала расследование дела о коррупции в МВД СССР. Министерство и его службы по всей стране залихорадило. Коррупционные цепочки нервно натянулись и кое-где не выдержали. Не успели еще бывшего министра Щелокова выгнать из партии, лишить наград и звания генерала армии, не успел он еще вслед за этим послать себе в голову прощальную пулю из коллекционного охотничьего ружья «Гастин-Раннет», а под многими высокими милицейскими чинами по всей стране закачались кресла. Слетел со своей должности и министр внутренних дел Якутской АССР. За ним потянулась сошка поменьше — полковники, подполковники, майоры. Дошла очередь и до Стрелкова. Обнаружилось, что он занимался контрабандной перевозкой якутских алмазов в Москву. Тут вспомнились ему и мальчики с девочками в кумовском кабинете Якутской тюрьмы, и многое другое. Рассказывают, что Стрелкова прямо из его собственного кабинета перевели в следственную камеру. Наверное, преувеличивают — заключенные так любят сказки о сокрушительном падении ментов и стремительном возвышении зэков. Уже подходил к концу мой лагерный срок, когда стало известно, что его приговорили к расстрелу. Однако пришедшее в нашу зону из Якутской тюрьмы очередное пополнение рассказывало, что расстрелять Стрелкова не успели. Его перевели из камеры смертников к малолеткам. Воспитателем. Что ему там пришлось пережить, лучше не представлять. Через несколько дней на утренней поверке его нашли в камере повешенным на тонком шнуре. Вполне возможно даже, что он повесился сам.

А пока всего этого не случилось, я сидел в его кабинете и он изображал из себя усталого и умного человека, который занят этой грязной повседневной работой, потому что «должен же кто-то ее делать?».

Месяца через два меня вновь повели к нему в кабинет, и там я, к полнейшему моему удивлению, увидел свою жену. Он дал нам с Алкой свидание минут на двадцать и в какой-то момент даже вышел из кабинета. Конечно, все прослушивалось и записывалось, а может быть, и просматривалось, но какая нам была разница! Мы как безумные целовались и не могли друг на друга наглядеться. До сих пор не понимаю: неужели он хотел добыть себе оперативную победу, подслушав, что мы сболтнем лишнего? Надо сказать, дело было задолго до суда, следствие еще шло и свидания были категорически запрещены всеми законами. Но в Якутской тюрьме законом был не уголовно-процессуальный или исправительно-трудовой кодексы. Законом был майор Стрелков.

Работу свою он знал и выполнял ее исправно. Меня постоянно окружали стукачи. Один или два человека в камере обязательно были кумовские. Я знал это и понимал, что никуда от этого не деться. Но мне это не очень мешало. Деньги, чай, спиртное и прочие зэковские радости в моем случае кума не интересовали. Ему было нужно или что-то существенное для КГБ, или хотя бы уверенность, что ничего антисоветского во вверенном ему учреждении не происходит.

Ничего и не происходило. Разве что с Вячеславом Чорновилем* я в первые же дни установил контакт, мы переписывались, гоняя малявы через всю тюрьму, и кум не в силах был этому помешать.

Вряд ли тюремное начальство опасалось, что я сбегу или подниму бунт. Хотя побеги в тюрьме случались. Годом раньше серьезный арестант с тяжелой статьей бежал из тюрьмы по кабелю высокого напряжения, соединяющему тюремную подстанцию с проходящей по улице ЛЭП. Говорят, он заказал себе ролик с крюком и соскользнул по проводу, умудрившись не задеть за соседний. Задел бы — сгорел на лету. Но он убежал — и с концами, его не нашли.

Летом того года, что сидел там и я, сбежали три зэка из хозобслуги. Они зарылись в контейнер с мусором, то ли до-

* Вячеслав Максимович Чорновил (1937–1999) — журналист, издатель подпольного журнала «Украинский вестник», член Украинской хельсинкской группы, политзаключенный.

верившись случаю, то ли договорившись с вертухаями, которые прокалывают мусор специальными пиками до самого дна, но на сей раз не проткнули. Мусоровоз вывез беглецов на свалку, откуда они все из себя благоухающие выбрались на волю. Одного из них в тот же день поймали при попытке покинуть город. Двое других залегли на дно. В конце концов одному из них наскучило, и он, решив, что самая серьезная опасность уже миновала, пошел в родную пивную попить с друзьями пивка. Там его и повязали. Не знаю, что с ним делали, но он тут же сдал лёжку со своим товарищем.

Наверное, оперчасть получила от КГБ указание быть со мной особо бдительным, и они бдили. Майор Стрелков с ног сбился, стараясь устроить мне такой режим, который устраивал бы и КГБ, и его самого, и чтобы я при этом не бузил. Чаще всего меня сажали в камеру со стукачами. Мне на это было наплевать, но стукачи все время палились. Вся тюрьма знала: где политический, там стукачи. Тюремная молва догоняла их и разоблачала. А от разоблаченного стукача куму какая польза? Тюремные авторитеты с азартом начали вычислять стукачей, пользуясь мной как индикатором. Я не возражал. «Золотой запас» кума таял быстрее, чем он успевал его пополнять. Наверное, Стрелков проклинал чекистов, из-за которых рушилась его сеть осведомителей. В какой-то момент, когда в переполненной тюрьме не было свободных камер, а к приличным зэкам меня сажать не хотели и со стукачами случилась заминка, меня перевели на третий этаж в коридор смертников.

Смертники

О смертниках в тюрьме говорят уважительно и как бы шепотом. Не в буквальном смысле шепотом, но тихо, осторожно, чтобы не разбудить лихо, пока оно тихо. Зэки знают: как никто не застрахован от тюрьмы, так никто не застрахован и от вышки.

Разговоры о том, где и как приводят в исполнение смертные приговоры, — из разряда вечных. Называли расстрельные тюрьмы: Иркутск, Златоуст, Соликамск. Никто не знал

наверняка. Но было замечено, например, что в Иркутскую пересылку смертники по этапу едут, а оттуда — нет.

«Подогреть» смертников считается святым делом. Из собранного общака им отбирается все самое лучшее. Иногда для них просто собирают отдельный «грев».

Режим в коридоре смертников Якутской тюрьмы сильно отличался от общего. Смертников выводили из камер только в наручниках. Делалось это так: открывалась кормушка, зэк просовывал в нее обе руки, на них надевали наручники, потом кормушку закрывали, дверь открывали и смертника выводили в коридор. Наручники не снимали даже в бане. Однако сидели они по двое, и мыться один помогал другому. Я же был в камере один.

Вертухай, а чаще вертухайки, постоянно патрулировали коридор, заглядывая в каждую камеру с интервалом в две-три минуты. Камеры смертников отличались тем, что через глазок в двери обеспечивался полный обзор. В обычных камерах есть слепая зона — вертухай через глазок не видит, что делается в углах справа и слева от двери. В таком углу обычно находится параша, иногда там же варят чифирь. В камерах смертников углов слева и справа от двери нет — они срезаны косыми стенками от двери почти до середины боковых стен. Параша — в дальнем углу под окном. Поначалу меня это напрягало, поскольку через каждые несколько минут в камеру заглядывали вертухай. Вспомнив подобные мучения своих первых тюремных дней, я плюнул на все и решил извлекать из ситуации максимум смешного. Устроившись на параше, я приветствовал заглядывающих в камеру надзирателей и надзирательниц жестом, каким обычно генеральные секретари ЦК КПСС на Первомайских и Октябрьских демонстрациях приветствуют с мавзолея Ленина проходящий по Красной площади советский народ. Иногда, войдя в роль, я добавлял что-нибудь жизнеутверждающее о том, что мы идем правильным курсом, что я на своем посту и занят созидательным трудом, а в камере полный порядок, процветание и победа социализма. Вертухаям все это не нравилось, потому что в камере смертников, по их пониманию, арестанту полагалось быть подавленным и печальным.

Этапируют смертников изолированно, наравне с особо опасными, сумасшедшими и политическими. В вагонзаке они сидят в тройнике. Конвоируют их со всеми предосторожностями — считается, что им уже нечего терять и они на все способны. Отчасти это так и есть, но далеко не всегда. Я сам видел, что для некоторых смертников после вынесения им расстрельного приговора ценность жизни возрастала многократно и о подвигах камикадзе они даже не помышляли. Конвой же и тюремные надзиратели, наоборот, ведут себя по отношению к ним предельно жестко, как бы стараясь заранее сломить волю к возможному сопротивлению.

Судьба довольно близко столкнула меня с одним из таких смертников. Хабибуллину было около сорока, из которых он отсидел в колонии строгого режима 15 лет за убийство, совершенное им уж не помню при каких обстоятельствах. Освободился он примерно за год до того, как я столкнулся с ним в Якутской тюрьме.

История его была такая. Он сидел в лагере «мужичком», то есть не лез ни в помощники администрации, ни в блатную среду. Отсидев свое, решил уехать в такую глушь, где его никто не будет беспокоить. Такое место он нашел в Оймяконском районе Якутии, в поселке Терють, где был полевой лагерь геологической экспедиции. Нанялся туда рабочим. Компания была сугубо мужская, человек десять-пятнадцать, но он ни с кем особо не общался из-за замкнутости характера и многолетней привычки не болтать без надобности. Проработал он так почти год, оттаял от жесткости лагерной жизни, стал понемногу привыкать к вольной. Но тут к их компании прибавились два молодых придурка — любители выпить, погулять и побалагурить. Были они глупы, развязны и несдержанны на язык. Начальник партии, другие мужики видели, что Хабибуллин терпит их выходки с трудом, и предупреждали парней: «Не трогайте человека». Те советам не внимали, а, наоборот, старались еще больше вывести Хабибуллина из себя, находя необыкновенное удовольствие в том, как взрослый и замкнутый человек теряет самообладание. Как-то вечером, в очередной раз напившись, они не ограничились насмешками над бывшим зэком и начали его материть. А это,

надо сказать, в уголовном лагере совершенно недопустимо, это не принято в приличном тюремном обществе, за это приходится отвечать. У Хабибуллина все поплыло перед глазами, он потерял способность думать и действовать рассудительно. Вскочив, он рванул в балок, схватил всегда заряженную на случай медведя двустволку и уложил насмерть первым выстрелом одного, а вторым — другого.

Его судили в Усть-Нере, как и меня. Мы ехали с ним этапом из Якутской тюрьмы. Точнее, летели. Он мне объяснял, что не хотел их убивать, что его довели до этого и должен же суд все это учесть. Я соглашался. По всему выходило, что он действовал в состоянии аффекта. Мы пришли к выводу, что ему дадут 15 лет особого. Его судили на день раньше меня и приговорили к смертной казни.

Обратно мы летели тоже вместе. В тюрьму возвращался другой человек. Он сник и осунулся, будто сразу постарел. В самолете нас сковали одной парой наручников, мы сидели рядом. На него было страшно смотреть. Иногда он с тоской глядел в иллюминатор, но чаще просто замирал, тупо глядя в одну точку. Когда его что-то отвлекало, взгляд у него становился испуганным и затравленным, как будто его прямо сейчас поведут на расстрел.

После промежуточной посадки в Хандыге с ним что-то случилось. Он вдруг стал суетливым и разговорчивым.

— Ты же много читал про тюремный мир, ты все знаешь, — говорил он мне. — Скажи, разве сейчас расстреливают? Говорят, приговоренных к смерти посылают на урановые рудники. Это правда? — с надеждой спрашивал он меня.

Почти умолял согласиться.

Я соглашался.

— Конечно. Разве наша поганая власть сделает хоть что-нибудь без выгоды для себя? — спрашивал я его. — Ну сам подумай.

Он часто-часто кивал головой и жадно слушал.

— Они тебя пошлют на рудники, где ты будешь добывать уран для их атомной бомбы, а года через два-три ты обязательно заболеешь лучевой болезнью и тебя спишут куда-нибудь на вечную койку. Станешь инвалидом, но будешь жить.

Хабибуллин сжимал мою руку в своем кулаке и дрожал от вспыхнувшей в нем надежды. Сидевший по другую сторону от меня конвойный офицер все слышал, но молчал.

Никогда у меня не было более благодарного слушателя. Никогда я не лгал с таким вдохновением и сознанием правоты.

— Смотри, — шептал я ему незадолго перед посадкой самолета в Якутске, — жизнь складывается совсем не обязательно так, как *они* это решили. Вот они надели на нас наручники и думают, что мы будем в наручниках до самой тюрьмы. А мы их возьмем да снимем, а? Сделаем по-своему!

Какое-то подобие улыбки пробежало по его лицу. Я тем временем достал из тайного кармана телогрейки металлическую канцелярскую скрепку, распрямил ее наполовину и медленно и незаметно открыл обе клешни наручников — на его и на своей руке. Я научился этому еще на этапах — если наручники не закрыты ключом, а только защелкнуты, то их при некотором умении можно открыть даже спичкой. Конвойный офицер дремал. Солдаты сзади обсуждали что-то свое. Под рукавами наших телогреек не было видно, что наручники растегнуты.

Так мы и приехали в тюрьму. Переполох начался в дежурке, когда конвою велели снять с нас наручники, а мы сняли их сами и с невинным видом протянули дежурному офицеру. «Вы куда смотрите? — орал ДПНСИ на конвойного офицера. — У вас смертник и политический без наручников приехали!» — выговаривал он конвою. Я подмигнул Хабибуллину: видишь, не всё получается, как они хотят, иногда выходит по-нашему.

Не знаю, насколько этот маленький бунт воодушевил Хабибуллина. Растормошить его было трудно.

Через несколько дней из того крыла тюрьмы, где был коридор смертников, мне пришла от него записка. Он сообщал, что его адвокат пишет кассационную жалобу, а меня он просил написать ему помиловку. В те времена после вынесения смертного приговора прошение о помиловании подавалось обязательно. Если сам осужденный или его родственники писать отказывались, прошение подавал начальник тюрьмы.

Это была его обязанность. Но Хабибуллин не хотел помиловки от мента, он просил написать меня. Я писал ее дня два. Я пытался представить, что чиновники, которые будут читать или слушать это прошение, тоже люди, что у них тоже есть сердце и они не чужды сострадания. Я старался написать простыми словами, что расстрел Хабибуллина не прибавит обществу ни достоинства, ни безопасности.

Через неделю меня этапировали в лагерь, а Хабибуллин остался в тюрьме ждать постановления кассационного суда и решения Верховного Совета о помиловании. Все напрасно. Кассационный суд жалобу отклонил и оставил смертный приговор в силе. Верховный Совет в помиловании отказал.

Летом я узнал, что Хабибуллина этапировали в безвозвратную Иркутскую тюрьму. Больше я о нем ничего не слышал. Вероятно, там его и расстреляли.

Идиотское следствие

Дело мое между тем двигалось безо всякого моего участия. Я придерживался своей обычной тактики отказа от любых показаний, что очень раздражало следователя Прокуратуры Якутской АССР Валерия Николаевича Прокофьева. Был он по национальности якут и карьеру сделал, видимо, исключительно как национальный кадр, поскольку был безграмотен, тщеславен и глуп. То, что он ведет политическое дело, очень возвышало его в собственных глазах. Он, не задумываясь, хамил и безо всякой для себя надобности допускал грубые процессуальные ошибки.

Раздражаясь, что я постоянно указываю ему на нарушения процессуального законодательства, он велел тюремному начальству забрать у меня ранее выданный мне УПК. Кодекс забрали. Я написал заявление прокурору Якутии с требованием вернуть мне книгу и обеспечить право на защиту и объективное ведение дела. Заявление, как положено, сдал ДПНСИ. Через неделю, поинтересовавшись у Прокофьева судьбой своего заявления, я услышал в ответ, что мое заявление он использовал в туалете.

Добиться вмешательства прокуратуры можно было только одним способом — голодовкой. И я объявил ее. Заместитель прокурора республики по надзору за местами лишения свободы пришел на следующий день. Я сдал ему в руки заявление с требованием вернуть УПК, перечислил самые грубые нарушения Прокофьева, упомянул о его туалетных пристрастиях и потребовал заменить следователя.

Кодекс мне в тот же день вернули. Заместитель прокурора Якутии Василий Колмогоров (сделавший потом успешную карьеру и ушедший в отставку с должности зам. Генерального прокурора РФ уже при Путине) ответил мне письменно, что нарушения имели место, но существенного значения на ход расследования не оказали. Следователя оставили прежнего. На допросах я перестал с ним разговаривать вообще, а он стал сух и вежлив.

Я готовился к процессу на тот случай, если он будет открытым и хотя бы отдаленно напоминающим правосудие. Из взятых в тюремной библиотеке «Мертвых душ» я выписал замечательный отрывок из размышлений Чичикова, надеясь использовать его в суде. «Вот, прокурор! жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, почтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг, и много напишут всякой всячины; прибавят, пожалуй, что был сопровождаем плачем вдов и сирот; а ведь если разобрать хорошенько дело, так на поверку у тебя всего только и было, что густые брови». На очередном камерном шмоне отрывок из Гоголя забрали, посчитав, что брови прокурора — это намек на Брежнева.

Более тупое следствие трудно было себе представить. В обвинении было указано, что я распространял ложные измышления в адрес советского строя, но они забыли, что статья 190¹ УК предусматривает ответственность за распространение *заведомо* ложных измышлений. Если они для меня не заведомо ложные, то состава преступления нет. Халтурщики, они не знают даже своего Уголовного кодекса! Я подал ходатайство о прекращении дела. Реакции никакой.

Следователь назначает литературоведческую экспертизу и ставит вопрос эксперту: «Усиливают ли внесенные исправ-

ления осужденную судом идейную направленность произведения “Карательная медицина” или наоборот?» Как будто моя статья предусматривает ответственность за идейную направленность, а не за клевету!

В качестве эксперта выступает заместитель главного редактора газеты «Социалистическая Якутия» В. Гусев. Я читал его экспертное заключение и не знал, смеяться или плакать! Я поправил в книге название института с «Сербского» на жаргонное «Серпы» — Гусев пишет, что «Здесь намек на оружие труда, которым жнут, и прямое сопоставление с советской символикой (Сerp и Молот)».

Показаний на меня они собрать не могли. Тогда они начали допрашивать тех, кто что-то слышал обо мне от общих знакомых. Инспектор в местном вытрезвителе, который был знаком с Наташей Островской, дал такие показания: «Островская рассказывала, что Подрабинек получает посылки из-за границы, и ее несколько раз угостил импортными продуктами. Насколько я понял из ее слов, Подрабинек являлся ее идеалом, так как он умный, развитый человек; говорит и думает не так, как иные, т. е. оригинальный склад ума; имеет родных за границей, обеспеченных в материальном отношении. С Подрабинеким ее в никаких отношениях не был, а видел несколько раз в общежитии у Островской».

Зато с чудесной иронией дала показания сама Наташа: «Хорошо зная Подрабинека, уверена, что он не способен на клевету, за что был осужден в первый раз, а потому считаю новое обвинение, неизвестное мне, также несправедливым».

Так и двигалось мое дело — и смешно, и грустно. В сотый раз спрашивал я себя, а стоит ли трепыхаться, если фальсификации неизбежны и приговор предрешен. Передо мной был пример Чорновила, фальсифицированное дело которого о покушении на изнасилование тоже двигалось к приговору. Он держал голодовку. Получив от Алки передачу с упрятанными в ней деньгами, я послал часть из них Чорновилу, и он, подкупив уже прикормленных ментов, устроил нам встречу в коридоре перед санчастью тюрьмы. Там мы наконец и познакомились.

Стрелков, видно, прознал об этом. Мои стукачи впали в немилость, а меня перевели в другую камеру, на первом этаже.

Эрос не дремлет

Прелесть новой камеры состояла в том, что по соседству сидели женщины. Их было в камере шесть, и, кажется, большинство из них сидели за умышленное заражение сифилисом, кто-то за мелкое воровство. Эти детали для моих новых сокамерников не имели ровно никакого значения — они с ума сходили оттого, что женщины были так близки и так недоступны. Разумеется, между камерами велась оживленная переписка, все знали друг друга по именам, между некоторыми уже были какие-то отношения. Иногда, возвращаясь с прогулки или из бани, кто-нибудь из ребят заглядывал через глазок в их камеру и страстно кричал подруге по переписке: «Светани сеанс!» Подруга немедленно показывала что-нибудь сокровенное, и прилипнувших к глазку ребят надзиратели могли оторвать только под угрозой карцера. Тут же из нашей камеры в женскую отправлялись пламенные послания, женщины отвечали взаимностью и обещали дать при первой же возможности.

Однако возможностей таких не было. Денег, чтобы устроить через ментов свидание, не хватало. Других способов не имелось. В больших камерах обычно находился пассивный гомосексуалист — опущенный или добровольный, который заменял женщину страдающим от избытка тестостерона экам. В маленьких обходились своими силами.

На одной из пересылок я провел несколько дней в камере, где было человек сорок. Нары были двухъярусными и сплошными, так что под нарами образовался нижний этаж. Там жил «петух», весьма отзывчивый на жажду секса у эков. Он не только от этого не отказывался, но с радостью соглашался, только требуя платы — чая или курева. Находчивые и ленивые эки, спавшие на нижних шконках, проделывали в матрасах дырку и, лежа на животе, пропуска-

ли в это отверстие и между металлических пластин шконки свое мужское достоинство, после чего проживавший внизу «петух» делал им минет, не вылезая из-под шконок. Сам же зэк мечтательно разглядывал в это время рисованную порнографию или наклеенные иллюстрации красавиц в чьих-нибудь альбомах.

Эти альбомы — почти такая же непреложность, как девичьи дневники на воле, только содержание в них покруче. Зэки вырезают красавиц откуда только можно, отдавая предпочтение, естественно, наименее одетым. Обычное дело — просмотр чужих альбомов и неожиданный восторг зэка при виде какой-нибудь красотки, впиваясь взглядом в которую он еще не мастурбировал. Никто никогда не откажется дать свой альбом счастливому зэку до следующего утра.

В нашей маленькой камере все альбомы были давно просмотрены, и классно играющий в шахматы сахаляр Гоша, лет двадцати пяти, безумно страдал от недостатка секса. После отбоя он наливал в полиэтиленовый пакет теплую воду, запаивал пакет на спичках, складывал его пополам и ночью старательно убеждал себя, что его изобретение похоже на женские гениталии.

Именно Гоша подбил всех нас разобрать стену в соседнюю камеру. Дело было трудное и рискованное, но не безнадежное. Раздобыв через пару дней долото, мы начали долбить стену под той шконкой, которая стояла вдоль стены, отделяющей нас от женской камеры. Работа шла медленно. Приходилось выбирать время, когда рядом не было дубаков, но сильно стучать все равно было нельзя. Работать приходилось только по утрам, чтобы до вечерней проверки успеть вынести на прогулку все отходы производства. Постепенно вокруг одного строительного блока обозначилась ложбина, которую осталось только углублять. Ежедневно после работы ложбина аккуратно замазывалась мылом и закрашивалась известкой или зубным порошком.

В камере стояло тихое ликование. Все стали друг с другом добрыми и предупредительными. В жизни появился смысл! Если бы кому-то предложили сейчас выйти на волю, он бы, наверное, отказался.

Дней через десять наступил торжественный момент. Блок качнулся и сдвинулся. Женщины, которые все эти дни оказывали нашей камере моральную поддержку, поднажали со своей стороны и сдвинули блок в нашу сторону. Его аккуратно положили на пол под шконкой. Мужские и женские руки переплелись в проеме разрушенной стены, но продолжалось это недолго. Перед прогулкой необходимо было всё привести в первоначальный вид.

Настоящее общение началось после вечернего отбоя. В проем пролезть было невозможно, не удавалось просунуть даже голову, как девушки ни пытались это сделать. Оставалось только протянуть руки и взять в них все, что может там уместиться. Вследствие этого общение носило почти целомудренный характер. Зато какое вдохновение овладело зеками нашей камеры! Удача с первым блоком воодушевила всех. Начался по-настоящему ударный труд — в прямом и переносном смысле.

Когда работа со вторым блоком подошла уже к середине, случилось несчастье. Так всегда бывает в романах, а тут случилось в жизни. Можно сказать, в последний момент, накануне великого события все сорвалось — меня перевели в другую камеру!

Года через два я случайно встретился с Гошей в лагерной больнице, и он рассказал мне окончание этой истории. Через несколько дней после того, как меня перевели на другой этаж, они вытащили второй блок. Это была полная победа! В первую же ночь обе камеры перемешались: девушки пролезли в нашу, ребята — в женскую. Праздник любви продолжался до утра. На вторую ночь все уже менялись партнерами,мести чифирили и строили планы на будущее. Третья ночь оказалась последней. То ли ребята потеряли бдительность и сильно шумели, то ли дамы излишне громко стонали, но наутро сразу после подъема в обеих камерах провели шмон и обнаружили лаз. Все без исключения получили по 10 суток карцера. Гоша рассказывал, что шли они в карцер счастливые и довольные, как никогда ни до, ни после этого.

Трудности судопроизводства

С судом творилось что-то непонятное. В начале сентября я уже начал знакомиться с делом и мне даже назначили казенного адвоката по фамилии Назаров. «Что за напасть, — думал я, — на первом процессе у меня был судья Назаров, теперь адвокат Назаров!» От адвоката я, разумеется, отказался, и во все не из-за фамилии, а просто за ненадобностью.

10 октября я получил обвинительное заключение. 20 октября рано утром меня вызвали из камеры на суд, но почему-то с вещами. Скоро выяснилось, что Верховный суд Якутской АССР будет судить меня на выездной сессии в Усть-Нере. Потому и с вещами, что на этап.

В Усть-Нере милицейская машина нас не встретила, и мы добирались до РОВД на автобусе. Я стоял, держась за верхние поручни обеими руками, поскольку они были скованы наручниками. Пассажиры автобуса косились на меня с недоумением. Конвою такая демонстрация не нравилась, и мне нашли место, чтобы я сидел и не привлекал внимания. «Ну что ж, сидеть так уж сидеть», — подумал я, воспользовавшись учтивостью конвоя.

Около РОВД меня уже ждала откуда-то все узнавшая Алка. Она бросилась ко мне, и мы обнимались и целовались, пока конвойные бубнили «не положено» и вяло оттесняли ее от меня. После поцелуев у меня во рту осталась туго скрученная и запаянная в полиэтилен записка, которую я от неожиданности чуть не проглотил. «Вот ведь судьба, — дивился я, — думаешь, что целуешься с женой, а на самом деле получаешь письмо».

На следующий день меня привезли в суд и объявили, что заседание откладывается из-за болезни судьи. Все встало на свои места. Я всю дорогу в Усть-Неру недоумевал, как же это они решились судить меня накануне Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое должно было открыться 11 ноября в Мадриде. Это противоречило чекистской логике и сложившейся практике. Оказалось, это была игра. «С другой стороны, — думал я, — на прошлом процессе они тоже не смогли осудить меня с первого раза.

Может, это хорошая примета? Может быть, я опять отделаюсь ссылкой?»

Через два месяца, 22 декабря, меня снова вызвали из камеры на этап. Теперь время было выбрано правильно — с 25 декабря на Западе рождественские праздники и любые новости тонут в праздничной суете. Но тут вмешалась природа — долететь до Оймяконского района не всегда просто. Для этого нужна летная погода.

На улице было около -50 , и над Якутском стоял морозный туман. Меня везли в воронке одного. Военный конвой под начальством лейтенанта внутренних войск был вполне добродушен и разговорчив. По дороге лейтенант расспрашивал меня о моем деле. Приехав в аэропорт, воронок выкатился прямо на летное поле. Поскольку конвой был военным, он не мог доверить меня ментам в дежурной части аэропорта. Надо было ждать посадки около самолета.

Легко сказать — ждать! Через десять минут я начал топтаться по камере воронка, поколачивая одну ногу другой. Были на мне валенки, но при -50 они не спасают, тем более в железной воронке. Через двадцать минут я начал колотиться о стенки машины всеми частями тела, вспоминая папины научные статьи, из которых следовало, что наш организм не просто дрожит от холода, а совершает неконтролируемые движения, чтобы выработать энергию для обогрева тела. Я даже не дрожал. Я медленно, но верно превращался в лед. В металлической коробке воронка при такой температуре шансов протянуть хотя бы час не было никаких. Я заорал добродушному лейтенанту, что сейчас буду ломать стенки воронка, и он, видя, что намерения мои серьезные, да и положение нешуточное, велел шоферу ехать по летному полю к зданию аэровокзала. В нем он и скрылся, а я еще минут десять жил надеждой, что сейчас лейтенант придет, двери откроются и я поковыляю в теплый аэропорт. Он пришел, скомандовал шоферу, и мы снова поехали к самолету. «Потерпи, — сказал мне лейтенант через решетку. — Сейчас будет тепло». Я тем временем пытался уговорить свое тело, что ему на самом деле тепло, специально вспоминая южный берег Крыма, жаркое солнце, теплое море, горячую

ванну, обжигающий жар костра, и уже начал подумывать об атомном взрыве. Тело, однако, уговорам не поддавалось и на мои фантазии не реагировало.

Едва мы подъехали к самолету, лейтенант выскочил из кабины и пошел с кем-то разговаривать. Еще через несколько минут случилось чудо. Оно медленно вползло ко мне в воронку. Из его глотки шел жар. Чудо представляло собой огромный гофрированный шланг чуть не метром в диаметре. Я узнал его. На северных аэродромах такие шланги называют рукавом и подсоединяют к компрессорам с горячим воздухом, а затем заводят в самолет — только так зимой можно прогреть салон перед посадкой пассажиров. Теперь это жаркое чудо с помощью конвоя втащили ко мне, и я, не раздумывая, заполз к нему в пасть целиком — снаружи осталась только голова.

Следующие минуты я познавал радость возвращения к жизни. Тепло пробило замороженную телогрейку, разлилось по телу и дошло до косточек. Я блаженствовал. Теплый воздух с шумом вырывался из недр гофрированного спасителя, обдувая меня с ног до головы, и затем растворялся в морозильнике воронка. Лейтенант спросил меня: «Ну как?», и я сквозь шум воздушной струи прокричал, что все отлично.

Минут через пять я снял валенки и телогрейку, а затем и сам слегка вылез из гофрированной пасти. Я уже согрелся, но очень боялся, что рукав уберут, и в воронке снова станет холодно. Еще минут через пять я заметил, что со стен воронка исчез иней, а жара стала нестерпимой. Постепенно я разделся до пляжного состояния. Стесняться было некого, да и не до того мне было. Я начал уговаривать тело, что ему холодно, вспоминая совсем недавние страдания, но тело и на этот раз уговорам не поддавалось. Назло мне оно начало потеть, и тут, сообразив, что вспотевшему человеку на пятидесятиградусном морозе делать нечего, я дал отбой. Мне очень не хотелось прощаться с горячим рукавом, но, в конце концов, свариться — ничуть не лучше, чем замерзнуть. Я попросил убрать рукав, но недалеко. Последнюю часть моих пожеланий конвой пропустил мимо ушей. Да это был и не их рукав, они лишь одолжили его для меня. Техники вернулись

к своей работе — прогреву салона самолета, на котором я должен был бы лететь сегодня на суд.

Примерно через полчаса история повторилась, но на сей раз менее драматично. Я не безумствовал в воронке, не ломал стену и не залезал в пасть моего горячего друга. Все обошлось цивильным пятиминутным прогревом камеры воронка. Проторчав на летном поле в общей сложности около двух часов, мы вернулись в тюрьму. Погода в Хандыге была нелетной и сорвала планы Верховного суда.

То же самое было и на следующий день. Судьба устраивала мне попеременно то Антарктиду, то тропики, наглядно таким образом демонстрируя, что подлинное счастье — в переменах к лучшему. На третий день все изменилось. Кто-то с кем-то на самом верху договорился, и меня стали держать в аэропортовской милиции, но под присмотром моего военного конвоя.

Это была уже вполне нормальная жизнь. Два часа требовалось аэропортовским службам, чтобы убедиться, что погода сегодня безнадежно испорчена и вылет не состоится. Я в это время сидел в ментовской, глазел на вольняшек, и иногда конвой по моей просьбе выводил меня в туалет, который, как и положено в Якутии, был на улице. Тут я цеплял кусочек совсем вольной жизни и все выискивал глазами Алку, которая, как я знал, тоже летит этим же рейсом в Усть-Неру. Каким-то путем она проведала, где я нахожусь и кто у меня конвой, выловила лейтенанта на улице и уговорила его передать мне маленькую продуктовую передачу и фотографии Марка. Лейтенант уговорился и, как оказалось, на свою беду. Алку пасла местная гэбня, они всё видели, донесли куда надо, и у лейтенанта случились неприятности. Нелегальная передача заключенному — серьезное нарушение устава. Узнал я обо всем этом годом позже, вновь столкнувшись с лейтенантом на этапе.

Как Алка не углядела слезку, недоумеваю. Тем более что рядом с ней был Мустафа Джемилев, легендарный лидер крымских татар, который в те годы был в ссылке в Якутии, состоял со мной в переписке и теперь проходил свидетелем по моему делу. Суд вызвал его повесткой, КГБ видеть его на

моем суде не хотел, и в результате всех этих недопониманий и противоречий его таки тормознули в Якутске, и до Усть-Неры он не добрался.

Неделю я мотался в аэропорт и обратно, а под Новый год стало ясно, что в этом году меня уже не осудят.

Новогодние праздники я встретил в Якутской тюрьме. Выпить было нечего, и один из сокамерников предложил отметить праздник гексамидином — сильнодействующим средством от эпилепсии. Он уверял, что от этих «колес» будет небывалый кайф. Я выпил четверть таблетки. Никакого кайфа не было, а только непрекращающаяся тошнота, головокружение и ватные ноги. Как будто меня весь день катали на самых крутых каруселях в парке аттракционов. Я отошел от таблетки только к следующему вечеру. Другие, кто выпил по целой таблетке и больше, валялись невменяемыми несколько дней, с трудом поднимаясь на поверки. Одного из них повезли в суд, и он вернулся с него, ничего не поняв, кроме того, что получил четыре года тюрьмы. Несмотря на это, все мы убеждали себя и друг друга, что отлично встретили Новый год!

Погоду дали только 5 января. Сотни людей, скопившихся в аэропорту за две недели ожидания, ринулись на штурм стоек регистрации и самолетов. Борты вылетали один за другим. В один из них провели меня, но не со всеми вместе, а по отдельному трапу с другой стороны самолета. Я сел у окна, рядом со мной — прапорщик, с краю — лейтенант. Кресла впереди и позади меня тоже занимали конвоиры.

Вероятность того, что Алка случайно попадет именно на мой рейс, была ничтожна. Самолетов было много, и пробиться на них было непросто. И тем не менее это случилось. Судьба благоволила нам. Алка оказалась по другую сторону прохода всего в нескольких рядах впереди меня. Мы могли коснуться друг друга взглядом. Когда самолет взлетел, мы начали переговариваться знаками. Это не была азбука глухонемых, но нечто похожее — школьный ее вариант, язык пальцев и ладоней, отработанный на уроках, когда нельзя разговаривать, но хочется пообщаться. Сидевший рядом со мной прапорщик, желая выслужиться перед начальством, приказал мне немедленно прекратить, на что я предложил ему вывести

меня из самолета, а еще лучше — выйти самому. Лейтенант молчал и делал вид, что ничего не замечает. Мы с Алкой продолжали наше глухонемое общение до самой Усть-Неры.

И снова суд

Суд начался 6 января. Удивительно, но он был открытым. Зал был битком набит. Я увидел многих знакомых, некоторые приветственно махали мне руками. Атмосфера была совсем не та, что на суде в Электростали. Я сидел на скамье подсудимых, разложив на столе перед собой бумаги. Все ждали, когда войдут судьи — профессиональный судья и два его «кивалы». Одним из последних, когда все уже расселись, в зал вошел Саша — руководитель музыкального ансамбля, игравшего нам с Алкой на нашей свадьбе фрейлехс. От порога он задумчиво оглядел публику, а затем направился прямо к скамье подсудимых, пожал мне руку и пошел в зал искать себе место. Конвоиры остолбенели. Это был неслабый жест для того времени.

Процесс вел заместитель председателя Верховного суда Якутской АССР П.П. Федоров. Я сразу же заявил ходатайство о предоставлении мне равных процессуальных прав с обвинением. Судья попросил уточнить, чем нарушены мои права, и я уточнил: прокурор с утра наверняка позавтракал, а мне не дают еды уже два дня. Таким образом, у стороны обвинения преимущества перед стороной защиты. Я потребовал получасовой перерыв и завтрак. Особых надежд на удовлетворение ходатайства у меня не было, но, как ни странно, его удовлетворили. Меня увели в чей-то кабинет, и Алка принесла туда продукты из передачи, которая у нее, кажется, всегда была при себе на тот случай, если вдруг что-то удастся передать. После тюремной баланды это было восхитительно, и мне даже подумалось, что на этом процесс можно было бы завершить, а мне вернуться в тюрьму! Но меня вернули в зал суда.

Я еще заявил ходатайства о вызове свидетелями Татьяны Осиповой и Мустафы Джемилева, о допуске к делу моего ан-

глийского адвоката Луиса Блом-Купера, а потом и вовсе ходатайствовал о прекращении уголовного дела. Все их, конечно, отклонили. Отклонил суд также и все отводы суду и прокурору. Тогда я отказался от участия в суде, поскольку защищаться от обвинений мне не дают. Дальше я только сидел и слушал.

Выступил с обвинительной речью помощник прокурора Оймяконского района И.Е. Петров. Боже мой, как он говорил, какой это был цирк! Дело даже не в том, что всю обвинительную речь он читал по бумажке, спотыкаясь на незнакомых ему словах. Петров, якут по национальности, плохо говорил по-русски и, видимо, страдал еще каким-то дефектом речи. То ли стесняясь своего дефекта, то ли плохо понимая текст, он говорил чуть ли не шепотом, не различая ни точек, ни запятых. Услышав это невнятное, монотонное и бессмысленное бормотание, я опешил. Зал напрягся, а судья Федоров смотрел на прокурора откровенно неприязненно. В какой-то момент, поймав взгляд судьи, я развел руками, давая ему понять, что я ничего не понимаю. Тут судья взял себя в руки и стал делать вид, что ничего особенного не происходит. Все нормально. Советский суд — самый нормальный суд в мире!

Когда прокурор домучил свою речь, судья задал мне традиционный вопрос: понятно ли мне обвинение и признаю ли я себя виновным? Я совершенно искренне ответил, что обвинение мне непонятно.

— Что вам непонятно в обвинении? — несколько раздраженно спросил судья.

— Мне непонятно всё, что читал государственный обвинитель, — ответил я. — Пусть все это прочитает человек, который может хорошо говорить по-русски. В конце концов, это официальный язык судопроизводства.

— Всем всё понятно, — заключил судья и больше к этому вопросу не возвращался.

Дальнейшее было не очень интересно. Зачитывали документы, допрашивали свидетелей. Кто-то давал показания в мою пользу, кто-то — против, но всё это уже не имело никакого значения. Через несколько часов процесс подошел к концу. Защитника у меня не было, поскольку московских

адвокатов Евгения Самойловича Шальмана или Елену Анисимовну Резникову председатель Московской городской коллегии адвокатов Константин Апраксин ко мне не допустил, а от местных адвокатов я отказался сам. Не было перекрестных допросов, защитительных речей и прений сторон. Все прошло быстро.

Обрекший себя на молчание во время всего процесса, я сохранил свое красноречие для последнего слова. Говорил я его около двух часов. (Потом в напечатанном виде оно заняло двадцать страниц машинописного текста.) Время от времени судья Федоров перебивал меня, требуя быть ближе к делу, я его выслушивал, не возражал и продолжал свое. Я припомнил им все процессуальные нарушения, указал на многочисленные глупости и язвил по поводу коммунистического мракобесия. Вспомнив об изъятии на обыске партбилета Лени Островского, я шутил, что и не мечтал дожить до того времени, когда на обысках будут забирать партийные документы коммунистов. По поводу изъятого на обыске устава НТС, что, по мнению следствия, указывало на мою приверженность идеям Народно-трудового союза, я возражал, что у меня дома лежал и устав КПСС, однако же никому не придет в голову дикая мысль считать меня коммунистом!

С уставом НТС случилась странная история. Он пришел к нам в Усть-Неру по почте из-за границы. В обычном конверте, даже не заказным письмом. Напечатанная в типографии на тонкой бумаге книжечка — типичная «антисоветская идеологическая диверсия»! Кто его нам послал, неизвестно. Мы с Алкой тогда пришли домой и сели читать устав. Начало нам понравилось. Коммунизм они осуждали. В отсутствие рекомендаций и соратников вступить в организацию можно было самоприемом. Мы с Алкой тут же вступили. Однако, дочитав устав до конца, мы в НТС разочаровались. Хорошо еще, что выйти из него в критических обстоятельствах можно было так же, как и вступить, — самовыходом. Мы тут же и вышли. Минут двадцать мы были членами НТС, но никто, кроме нас, этого не знал!

В последнем слове я наговорил столько, что хватило бы еще на 70-ю статью. Но за последнее слово советское право-

судие привлекать к ответственности еще не догадалось. Закончил я свое выступление несколько пафосно, выразив уверенность, что «честные люди вынесут свой приговор по этому делу — оправдательный мне и обвинительный моим нынешним судьям».

Судей мое предупреждение не смутило. Приговор дали по максимуму: 3 года, 6 месяцев и 13 дней лишения свободы в колонии общего режима. Полгода и тринадцать дней добавили за не отбытую часть ссылки из расчета три дня ссылки за один день лишения свободы.

Через два дня меня этапировали обратно в Якутск. Алка опять сидела в одном самолете со мной. Нам все время здорово везло.

Большая Марха

Приговор я не стал обжаловать, решив не играть с властью в правосудие. 4 февраля меня выдернули на этап в лагерь. Поскольку приговор вступил в силу, всех зэков перед этапом стригли наголо. Хотели состричь и мою бороду, но я уперся, доказывая ДПНСИ, что правила велят состригать напрочь волосы на голове, а не на лице. Мне удалось доказать ему, что лицо — это не голова, что, разумеется, неверно, но он спорить со мной отчаялся и отпустил на зону бородатым.

Нас, человек двадцать, привезли в лагерь в автозаке, и ехать было, слава богу, недолго, замерзнуть мы не успели. Поселок Большая Марха находится в пятнадцати километрах от Якутска, и всё, что в нем есть, — это лагерь, дома вертухаев и казармы солдат. Обычное советское окологерное поселение. Вся жизнь была связана с зоной, и даже дети вертухаев играли между собой в зэков и охранников.

Несколько дней мы промаялись в карантине, получая положенное имущество и осваиваясь. Бороду мне, конечно, пришлось сбрить в первый же день, и я стал похож на обычного зэка, что правильно — под огнем снайперов на местности лучше не выделяться.

Из отрядов тайком наведывались пацаны, пытаюсь разобратсья, кто пришел с этапом, кто чем дышит и как собирается жить. Тут же попросили на «грев» для ПКТ и ШИЗО — кто что может. Я дал несколько пачек сигарет, но тут прозвучала особая просьба: очень нужны шерстяные носки. У меня было две пары. Это были чудные, длинные, толстые, зеленые, необычайно теплые носки, которые мне прислали в ссылку, кажется, из Канады. Я очень дорожил ими, понимая, что они могут спасти ноги от обморожения. Однако даже недолгий мой тюремный опыт уже научил меня, что вещи жалеть не надо и на завтрашний день беречь ничего не следует. Потому что завтрашнего дня может и не быть или он будет совсем не таким, как ожидаешь. Скрепя сердце я распрощался с одной парой своих дивных носков, утешая себя мыслью, что они будут согревать тех, кто сейчас замерзает.

Лагерное начальство несколько дней знакомилось с делами новых эков, определяя, кому где работать. В лагере было два основных производства: в жилой зоне — «швейка», где шили и набивали ватой матрасы; в производственной — кирпичный завод, где делали белый силикатный кирпич и строительные блоки. Еще в швейке шили рукавицы, вязали сетки. Больше зона ничего не производила, кроме изумительного качества сувениров из дерева, камня и металла. Шахматы и нарды, шкатулки из кости, ножи-выкидняки, шариковые ручки и другие изделия, которые эки-умельцы делали за бесценок — чай или водку, лагерное начальство продавало на воле по баснословным ценам.

На меня у начальства были свои виды. На второй или третий день меня вызвал к себе замначальника колонии по культурно-воспитательной работе. Невзрачный майор, не имеющий ровно никакого отношения к культуре и обделенный воспитанием, начал обычную беседу «за жизнь». Вскоре выяснилось, что он хочет видеть меня в ряду своих помощников, а для начала предложил должность заведующего библиотекой. Поднатужившись, он даже выдал что-то вроде того, что раньше «вы писали книги, а теперь будете их раздавать». Ну и, конечно, надо будет вступить в СВП (секцию внутреннего порядка) и носить на рукаве красную повязку. Я от долж-

ности скромно отказался, объясняя, что не хочу портить отношения с другими зэками, поскольку «такая должность, сами знаете, не в почете». Разговор несколько раз прошелся по одному и тому же кругу, пока невзрачный майор наконец не догадался, что из его затеи ничего не выйдет.

Меня определили на кирпичный завод в цех по производству строительных блоков. Вечером я пришел в отряд и поселился на верхней шконке, в одной из рассечек барака, где жило еще около сотни зэков. В бараке стоял тяжелый запах невымытых тел и махорочного дыма. Ночью кто-то громко храпел, кто-то говорил во сне, и заснуть было совершенно невозможно. Прожить так три года казалось мне невыносимым. Я лежал, обещая себе ни при каких обстоятельствах не заводить календарь, в котором зэки обычно ставят крестики на каждом прожитом дне, зримо приближаясь ко дню освобождения. Потом я вспомнил, что таким страшным все кажется только поначалу. Ко всему привыкаешь, так устроена жизнь. И как бы в доказательство этого я наконец уснул в свою первую лагерную ночь в общем бараке, невзирая на храп, вонь и чье-то матерное бормотанье.

«Труд — дело чести, доблести и геройства»

Таковыми плакатами коммунисты украшали советские исправительно-трудовые лагеря, которые позже стали называть колониями. Нацисты выражались лаконичнее: «Труд делает свободным». Они друг друга стоили.

За то, что я отказался от спокойной и непыльной работы библиотекаря, меня поставили на самую что ни на есть пыльную работу — разгружать мешки с цементом. За день к цеху подъезжало несколько грузовиков, и мы должны были переносить мешки на спине в цех. Там их поднимали по транспортерной ленте на мостик, с которого высыпали в постоянную гору цемента. Из этого цемента формовали строительные блоки. На второй день я подумал, что мешок весит 50 килограмм, а я всего лишь на десяток килограммов больше. Если мы находимся в одной весовой категории, то поче-

му я должен носить его, а не он меня? Этой чисто зэковской логикой я поделился за обедом с бригадиром из зэков и сказал, что если меня не переставят на другую работу, то я откажусь от всякой. Бригадиром был неплохой мужик, который лавировал между требованиями начальства, производственным планом, необходимостью поддерживать пацанов и не забывать о мужиках, которые, собственно, и работали. За отказ от работы неизбежно следовал штрафной изолятор, а бригадир по своей незлобивости этого для меня не хотел. Он определил меня в бригаду, которая время от времени запрягалась в громадные сани и перевозила на них по промзоне пустые поддоны из-под разгруженного силикатного кирпича. Работа на свежем воздухе была нетрудной и даже в чем-то веселой. Санки были не детские, а работа — скорее бурлацкой, но что-то забавное в ней было. Так продолжалось недели две, пока бдительный начальник оперативной части лейтенант Сирик не заметил, что мы по ходу работы общаемся с вольными шоферами, которые заезжают в промзону за кирпичом. Я тем временем уже отправил домой несколько писем, минуя лагерную цензуру.

Лейтенант Сирик был очень похож на актера Михаила Боярского, но в отличие от последнего его лицо украшала не вечная усмешка, а постоянный оскал раздражения. Был он желчным, мелочным и удивительно вредным. Оформив зэка в ШИЗО или сотворив какую другую пакость, он шел по зоне довольный, напевая себе под нос: «А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо». Вся зона его ненавидела.

В промзоне жила рыжая дворняга, которую прозвали Сирик, хотя она и была сукой. А может, как раз потому и прозвали. Лейтенант Сирик постоянно гонялся за ней, надеясь выгнать ее из лагеря. Но собака Сирик всегда благополучно от лейтенанта Сирика уходила, не убегая, впрочем, из лагеря насовсем. Зэки, заведя где-нибудь невдалеке лейтенанта и делая вид, что не видят его, тут же принимались звать собаку, громко и ласково называя ее по имени и «сучкой нашей». Веселья с Сириками было много, но на следующую зиму с продуктами в лагере стало совсем худо и голодные

зэки на промзоне, из тех, что шарили по помойкам, Сирика убили и съели. Все в зоне сокрушались, что не того Сирика.

Так вот, лейтенант Сирик проявил бдительность и распорядился меня с работы снять. Слово кума — закон для бригадира. Куда меня поставить, никто не знал. Бригадир сказал, чтобы я сам нашел себе работу, иначе меня переведут в другой отряд, который работает на швейке. Мне это совсем не улыбалось. Работа там была совсем уж пыльная — набивать ватой матрасы. На другой работе — пошиве рукавиц и вязке сеток — нормы были запредельные. За невыполнение нормы лишали ларька, посылок и свиданий, могли посадить в ШИЗО. От этой работы все старались увернуться, но мало у кого получалось. Самые отчаянные отрубали себе палец, и их сажали за это на 15 суток в ШИЗО. Правда, потом с работы снимали. Рубили себе руки обычно в туалете на улице, и зимой можно было видеть человеческие пальцы, торчащие из ледяных глыб замерзшей мочи в углу туалета.

Мне на швейку не хотелось, и я пристроился на отличную работу. В промзоне стояло с десятков деревянных навесов, под которыми сушились обожженные кирпичи. На навесах копился снег, отчего крыши регулярно продавливались. Тогда начальство распорядилось срочно чистить их. Несколько человек из нашего отряда предложили чистить крыши постоянно и взяли в свою бригаду меня.

Так я проработал примерно месяц. Это были замечательные дни. Проглотив утром в столовой свою баланду и получив дневную пайку хлеба, мы шли по жесткому утреннему морозу к вахте на развод, а потом брели по промзоне до своего маленького уютного балка с печкой-буржуйкой и заиндевевшими за ночь стенами. По дороге мы подбирали щепочки, дощечки, а если поблизости не было ментов, то ломали себе на дрова готовые ящики и поддоны. Скоро печка начала весело потрескивать, балок наполнялся дымом и ароматом поджаренного на печке серого хлеба. Когда печка прогревалась, дым начинал уходить в трубу, мы согревались и садились играть в вечную лагерную «мундавошку» или дремать на лавочках вдоль стен.

Я обдумывал планы побега. Не то чтобы я серьезно готовился бежать из лагеря, но хотелось на всякий случай иметь план спасения. При большом желании и заплатив кому надо, можно было добыть разрешение на ночную работу в промзоне. Балок наш стоял метрах в ста от укутанного колючей проволокой лагерного забора с контрольно-следовой полосой, вышками, сигнализацией, охранниками и сторожевыми овчарками. Преодолеть эти препятствия можно было только по воздуху. Сделать прыжок на двести метров в длину и хотя бы метров десять в высоту можно было с помощью воздушного шара, ночью, когда все спят, включая охрану на вышках. Надо только сшить на швейке оболочку из самой легкой ткани и ночью, забравшись на крышу балка, надеть ее на трубу печки. Я сидел и мысленно прикидывал, какого размера должен быть воздушный шар, чтобы наполнить его теплым воздухом, чтобы он поднял мои пятьдесят с чем-то килограммов и собственный вес, чтобы он пролетел двести метров, не зацепившись за проволоку, чтобы я поймал попутный ветер и еще множество разных «чтобы». А как рассчитывается подъемная сила? И как это связано с температурой воздуха внутри шара? Эх, зачем я так плохо учил физику в школе! У меня по физике всегда были тройки. Вот Кирилл, брат мой, знает физику хорошо, даже намного больше школьной программы. Может, написать ему письмо в Елецкую тюрьму: не сообщишь ли ты мне, братец, в ответном письме точную формулу для побега из лагеря на воздушном шаре?!

Кроме правильных расчетов нужно было решить еще множество проблем. Надо сшить оболочку, чтобы кум это не просёк; надо незаметно пронести ее в промзону; надо запастись продуктами на первые дни побега; надо найти убежище с той стороны. И самое главное — надо понять, ради чего бежать. Ведь три года назад можно было просто уехать за границу.

В глубине души я понимал, что все эти планы — пустое. Бежать, чтобы потом всю жизнь скрываться? Как-то это совсем не вяжется с открытой диссидентской деятельностью. Однако планы побега позволяли держаться в тонусе, поддерживали внутреннюю сопротивляемость и давали пищу для

размышлений. Не сидеть же весь день за «мундавошкой» или дремать на лавочке.

Снег с навесов мы, разумеется, не счищали. «Мы же не бросали его туда, с чего же это мы должны его оттуда скидывать? — рассуждали мы между собой с неподражаемой зэковской логикой. — Кто бросал, тот пусть и скидывает!»

Так и получалось. Днем весеннее солнышко постепенно растапливало снег на навесах, на крышах появлялись проплешины, и бригадир закрывал нам очередной наряд за выполненную работу. Впрочем, крыши продавливались от снега точно так же, как и раньше, но на претензии начальства мы возражали, что впятером весь снег не уберешь, а целых крыш все равно больше, чем продавленных.

Так бы моя синекура и продолжалась дальше, но начальство не дремало. Хотя зона и не была «красной», но стукачей в ней хватало. Куму донесли, что я пишу зэкам помиловки и надзорные жалобы. Это не было нарушением закона или правил внутреннего распорядка, но создавало мне в лагере авторитет, а начальству этого очень не хотелось. Я не рвался писать зэкам жалобы, понимая, что добром это для меня не кончится. Однако и отказывать было невозможно. Настоящий ажиотаж начался, когда одна из моих надзорных жалоб каким-то чудом была принята к рассмотрению. Зэки ко мне выстроились в очередь, а начальство решило положить этому конец.

Меня вызвал к себе заместитель начальника колонии по режиму и оперативной работе подполковник Гавриленко.

— Вы же интеллигентный человек, а работаете черт-те знает кем. Крыши от снега чистите. От работы в библиотеке отказались. Якшаетесь с уголовниками, отбросами общества. Зачем это вам?

— Я себе общество не выбирал. Куда поселили, там и живу, — заметил ему я, стараясь не обострять разговор.

— Но вы же можете жить совсем по-другому. Вы можете общаться с приличными людьми, встать на путь исправления и уже через год освободиться по УДО или на «химию». Всё в ваших руках.

Гавриленко старался быть убедительным, а я отмалчивался, поскольку прямого вопроса не было.

— Вот что мы сделаем, — сказал Гавриленко так, будто эта мысль пришла ему в голову только что. — Мы поставим вас заведующим столовой. Мне нужен там честный человек. Нынешний завстоловой всё разворовал, надо наводить там порядок. Я не требую от вас согласия прямо сейчас. Идите и всё обдумайте. Для вас это шанс, не упустите — пожалеете.

Да, это был шанс, но совсем не тот, о котором говорил подполковник Гавриленко. Это был шанс схватить кусочек бесплатного сыра, положенного в надежную ментовскую мышеловку. Должность заведующего столовой была самой доходной в лагере. Завстоловой Самвел Аветисян, осужденный за валютные операции, был на короткой ноге со всем лагерным начальством, жил в отдельной комнате при столовой и пользовался невиданными льготами. Это был крепкий, сытый мужик, ходивший в гражданской одежде, лишь отдаленно напомилавшей эковскую. Он был на «ты» со всеми начальниками отрядов и младшими офицерами. Благополучие его строилось на крови эков. Воруя продукты, отпущенные для заключенных, он часть из них по дешевке продавал офицерам, а часть отдавал на корм свиньям, которые выращивались на свиноферме за пределами зоны. Свиноферма принадлежала начальнику лагеря и, говорят, приносила ему хороший доход. Из каждой порции эковской баланды заключенный Аветисян уворовывал часть продуктов для хрюшек начальника лагеря. Время тогда и во всей стране было не сытое, а в лагере многие реально страдали от голода, особенно те, кому ничего не присылали из дома. Некоторые совершенно опускались и, не в силах справиться с голодом, сторожили у помоек, когда кто-нибудь выкинет туда что-то более или менее съедобное. Но выкидывали редко.

Жизнь Аветисяна была целиком в руках лагерного начальства. За непослушание его в любой момент могли посадить в общую камеру ШИЗО или послать в другой лагерь общим этапом, на котором выжить у него не было никаких шансов. Вот такую «доходную» должность предлагал мне подполковник Гавриленко. Переломить систему, в которую аккуратно вписываются все лагерные офицеры вплоть до начальника лагеря, не смог бы никто. Гавриленко, примеряя

мою ситуацию на себя, полагал, что я соблазнюсь заманчивым предложением сытой и устроенной лагерной жизни. Бедняга, он не знал, что меня давно уже обо всем предупредили опытные и много повидавшие на своем веку люди — герои Солженицына и Шаламова, бесчисленные свидетели «Архипелага ГУЛАГа» и освободившиеся из заключения мои товарищи по демократическому движению. Я перенял и усвоил их опыт, я не был новичком в этом мире, хотя и попал в него первый раз.

Тюрьма в тюрьме

«Заманчивое предложение» осталось невостребованным. Гавриленко понял это и больше меня не вызывал. Видимо, после этой своей неудачи он и проникся ко мне самой искренней ненавистью. Отказ от такого царского подарка он счел личным оскорблением. Я понял, что хорошие подарки кончились и надо ждать плохих.

Через несколько дней на промзоне меня остановили подполковник Гавриленко и начальник режимной части подполковник Быков. Парочка была что надо. Быков не скрывал лютой ненависти ко всем зэкам. Это читалось в каждом его взгляде. При этом он не упускал возможности лично обыскать зэка по поводу и без. На самом деле он ничего не искал — он получал от обыска удовольствие. Если рядом не было других офицеров или прапорщиков, он обязательно шарил через одежду у зэков между ног, за что получил в лагере кликуху «пидор-Быков». Возможно, это пристрастие в сочетании с ненавистью к зэкам мучило его, но удержаться от соблазна он был не в силах.

Гавриленко и пидор-Быков остановили меня за то, что у меня на спине была «неправильно» пришита заплатка на телогрейке. Она была в виде ромба, и подполковники сочли это недопустимой вольностью. Бог знает, какие дикие фантазии роились в их мутных мозгах. Пидор-Быков обыскивать меня в присутствии другого офицера не стал, а Гавриленко скомандовал мне «Кругом!», чтобы еще раз поглядеть на за-

платку. Я стоял молча. Когда он скомандовал еще раз, я сказал, что не клоун вертеться по его приказу, и посоветовал ему идти командовать в цирке. Так я заработал свои первые 15 суток в лагерном ШИЗО.

После второго ШИЗО они уже могли посадить меня на 6 месяцев в ПКТ (помещение камерного типа), и второе ШИЗО тоже не заставило себя ждать. Повод был самый банальный: человек двадцать из нашего отряда определили на работу по благоустройству запретной полосы по периметру зоны. Запретку надо было очищать от мусора: зимой — разметать снег, летом — вспахивать и обрабатывать граблями. Работать на запретке — то же самое, что строить тюрьму. А ээк, как известно, тюрьму не строит. По крайней мере приличный ээк. Вторая «пятнашка» была уже с переводом в ПКТ. Там я и провел большую часть своего срока.

«Тюрьма в тюрьме» — говорили ээки про ПКТ. Сюда собирали самых непокорных, самых упертых в отрицании правил лагерной администрации — «отрицалово». Здесь сидели те, кто имел влияние на ээков, был «в авторитете» и не шел на сотрудничество с лагерным начальством. Раньше, в сталинском ГУЛАГе, внутреннюю тюрьму называли БУРом — баракком усиленного режима. У нас это был отдельно стоящий в жилой зоне одноэтажный тюремный корпус, окруженный колючей проволокой, со своей отдельной охраной. В корпусе было около двадцати камер ШИЗО и ПКТ. Почти все камеры были одинаковые, и только режим в них был разный. Двухъярусные деревянные шконки пристегивались днем к стене. Посреди камеры стоял привинченный к полу деревянный стол и такие же привинченные по обеим сторонам лавки. Бак с питьевой водой; окно, забранное частыми металлическими полосками; дырка в полу, выполняющая роль унитаза, и над ней кран с холодной водой; тусклая лампочка в нише над дверью и сбоку в такой же нише радиоточка — вот и вся меблировка камер. Рассчитаны они были на четверых или шестерых, но я обычно сидел один.

Первый месяц я провел в общей камере. Армянин Паша, весельчак и балагур лет тридцати, был душой компании и никому не давал скучать. Энергия била из него фонтаном, что

было даже несколько удивительно для такого невеселого места, как внутрилагерная тюрьма. Именно с ним мы позже договорились бросить курить под четыреста присядок. Пашино жизнелюбие не раз гасило вспыхивавшие в камере конфликты. Шестеро мужиков, сидящих в одной камере продолжительное время, в какой-то момент начинают безумно раздражать друг друга. С этим ничего не поделаешь, это все знают, но лекарство от этого недуга только одно — выдержка. Однако эта черта характера не самая распространенная среди заключенных. Паша частенько оборачивал ссоры в шутку или переводил раздражение на ментов. За его веселость ему многое сходило с рук.

Как-то раз, когда нас выводили на прогулку в прогулочные дворики на крыше здания, у начала лестницы стоял ДПНК (дежурный помощник начальника колонии) майор Ионошонок. Это был тот самый майор с огромным пузом и многослойным подбородком, который впал в истерику и грозился сгноить меня в Якутской тюрьме, когда он работал там начальником СИЗО, а я ехал в ссылку в Оймяконский район. За какую-то провинность его понизили до лагерного ДПНК, и это повлияло на него благотворно: он успокоился, не орал по каждому поводу и не беспредельничал. В то утро Паша был в особенно хорошем настроении и, проходя мимо Ионошонка, ласково и осторожно коснулся ладонью майорского пуза и добродушно спросил:

— А там чего?

— Чего, чего — пробормотал Ионошонок, — говно!

— Когда успел покушать? — поинтересовался у него Паша.

Я думал, Ионошонок сейчас затрясется в гневе, как тогда в Якутске, но нет — Пашина шутка ему даже понравилась. Он рассмеялся.

Дни проходили совершенно одинаково. Мы старались, кто как мог, внести в них какое-нибудь разнообразие. В основном это сводилось к пересказу историй из своей жизни или от кого-то услышанных.

Из ПКТ можно было отправлять одно письмо в два месяца. Те, у кого не было родных, писали подругам по переписке.

ске. По радио часто звучали передачи, в которых девушки рассказывали о себе и своих мечтах познакомиться с каким-нибудь романтичным героем наших будней — солдатом, покорителем целины или строителем БАМа. Просили писать им на адрес радиостанции. Предприимчивые зэки завязывали с романтичными барышнями переписку, изъясняясь по возможности изысканно и в меру загадочно. Одна проблема была — обратный адрес. Как ни крути, а адрес нужен подлинный, иначе ответное письмо не дойдет: Якутская АССР, поселок Большая Марха, ИТК 40/5. Добавляя себе загадочности, зэки просили не удивляться такому странному обратному адресу, а романтические девушки, как правило, не знали, что ИТК — это исправительно-трудовая колония. Зэки объясняли им, что работают они в секретном учреждении, а ИТК — это институт торпедных катеров.

Иногда после долгой переписки зэки открывались, и это не всегда был конец отношениям. Случалось даже, подруги по переписке присылали в лагерь продуктовые и вещевые посылки, а по концу срока знакомились с освобожденными и продолжали отношения на воле. Письма подруг часто зачитывали вслух. Всех интересовало развитие сюжета, все давали советы и делали прогнозы.

В камерах были шахматы, шашки и домино, но всем играм зэки предпочитали карты и «крест» — разновидность игры в домино. Карты, или правильно по фене «стиры», делали из многократно склеенной в картон бумаги и раскрашивали самодельными красителями на основе красного и черного грифеля из карандашей. Клей делали из тщательно пережеванного черного хлеба, продавленного через тряпочку. Технология была отработана десятилетиями. Тюремные карты ни с чем не спутаешь.

Интеллектуальные игры в уголовной среде не распространены. Впрочем, все зависит от сокамерников. Как-то, сидя в ШИЗО, у нас подобралась хорошая компания достаточно образованных и неглупых ребят. Мы обсуждали самые разные вопросы — от древней истории до паранормальных явлений, и тогда я вспомнил об опытах левитации. Мы пробовали делать это еще в Москве. Усаживали одного, самого

тяжелого человека на стул, четверо других становились вокруг него, клали ему последовательно руки на голову, произносили какие-то ритуальные заклинания, а затем складывали свои руки, переплетали пальцы и выдвигали вперед два указательных, сложенных вместе. Так вот, этим указательными пальцами четыре человека легко поднимали сидящего, просунув указательные пальцы ему в подмышки и под коленки. Поднимали практически безо всяких усилий. Я до сих пор не знаю, как это объяснить.

В тот вечер мы решили этот опыт повторить. Особо тучных среди нас не было, но мы выбрали самого крупного. Сделали все, как положено, — и подняли! Тогда мы начали экспериментировать. Сначала решили объект левитации не сажать, а положить на стол. Получилось. Потом мы начали обсуждать возможный механизм явления и сошлись на том, что дело не в тех словах, которые надо произносить, а в нашей уверенности, что этот ритуал подействует. Мы слегка изменили слова, и опять все получилось! Тогда мы решили изменить ритуал и не класть руки на голову, а ходить вокруг лежащего. Кроме того, мы подумали, что для ритуала годится любая фраза, и начали придумывать нечто совершенно новое. Мы решили, что это должна быть обыденная фраза, начисто лишенная какой-либо мистики. У всех разыгралась фантазия, и очень скоро кто-то придумал нужное выражение, самое что ни на есть обыденное: «В рот мента подзае..!»

Дальнейшее напоминало картинку в сумасшедшем доме! Четверо мужиков в эковских робах ходили с серьезными лицами вокруг лежащего на столе пятого и бормотали в качестве заклинания широко распространенное в тюремном мире ругательство. Первым не выдержал лежащий на столе «объект». Он начал корчиться от хохота, зажимая рот рукой. Вслед за ним мы и сами посмотрели на себя со стороны и разразились смехом. Никто не мог остановиться. Как только кто-то пытался возобновить заклинания, остальные начинали давиться от смеха, хвататься за животы и приседать на корточки. Кто-то от смеха катался по полу. Мы хохотали как сумасшедшие. Вскоре прибежал надзиратель и уста-

вился в глазок. Мы давились от смеха и поэтому не могли ему ничего объяснить. Он недоумевал, но ничего запрещенного в камере не происходило — смеяться правилами внутреннего распорядка не запрещалось. Мы не скоро успокоились и к опытам по левитации больше не возвращались. Я потом никогда в жизни не смеялся так, как в тот раз в компании уголовников.

Уголовники

«Чудак-человек, чем заниматься глупостями, давай лучше вместе воровать», — уговаривал меня вор-рецидивист в расцвете лет и профессионального мастерства. Мы сидели в камере 71-го отделения московской милиции: я — на 15-ти сутках, куда попал с баптистского собрания, он — под арестом. Это была весна 1977 года. «Ты маленький, я буду просовывать тебя в форточку, а твое дело — открыть дверь квартиры изнутри, и можешь уходить. Навар — пополам», — обещал он и смотрел, как яотреагирую на его щедрое предложение.

Я отнекивался, а он все сокрушался, что я «сам себя посадил». Я смотрел на него весело и выразительно, но он был невозмутим: «Ты не смотри, что меня замели, — объяснял он мне, — я вскорости отсюда слиняю, так что присоединяйся к настоящему мужскому делу».

О взаимоотношениях уголовников и политических писали многие. Но менялись времена, менялись и взаимоотношения. Солженицын и Шаламов свидетельствовали о взаимной неприязни политических и уголовников. Тогда, в сталинскую эпоху, власть считала уголовников социально-близкими; политические же в основном были не борцами с советской властью, а попавшей в сталинскую мясорубку «политической шпаной». В наше время власть от социально близких отказалась, политической шпаны тоже не стало. Упало и влияние воровского закона. Отношение к политическим выработывалось стихийно и всем арестантским миром.

Принадлежность к категории политических в 60–80-е годы давала в тюремной жизни такие преимущества, которые

трудно было заработать даже десятилетиями «честной» воровской жизни. Человека с политической статьей уважали заранее, за сам факт его преступления. Впервые я по-настоящему столкнулся с этим на этапах. Бог весть каким образом, но, когда я прибывал с этапом в очередную пересыльную тюрьму, зеки уже знали обо мне главное: придет политический, который написал книгу против власти, книгу за эков. Это была моя визитная карточка, и, надо сказать, за всю мою жизнь у меня не было визитки более впечатляющей. В пересыльных камерах меня немедленно звали в уголок к авторитетам, усаживали чифирить и говорить за жизнь. Я рассказывал и отвечал на множество самых разных вопросов.

В Свердловской пересылке в камере на двести человек я попал в неприятную историю. Два авторитета, оба воры, позвали меня, как человека грамотного, разрешить их спор. Один утверждал, что столица Норвегии — Копенгаген, другой — что Стокгольм. Я даже обрадовался, что не надо вставать ни на одну сторону, но, когда я объявил, что столица Норвегии все-таки Осло, отношение ко мне резко переменилось. Я не оправдал ожиданий обоих. Вместо одного врага у меня оказалось два. Они насупились и начали бурчать, что я ничего не понимаю и что москвичи — они все такие. Мне стало неуютно, и я пошел на свою шконку, не желая продолжать спор и обострять отношения. Впрочем, в тот же вечер мы снова вместе чифирили и географию больше не вспоминали.

По-настоящему образованных людей среди уголовников почти нет, но хорошо начитанные встречаются довольно часто. Они читают энциклопедии и словари, отчего их познания не систематизированны, но обширны.

Как во всяком самоорганизующемся обществе, в арстантском мире есть своя иерархия. Она вполне обычна: элита, народ, отверженные. Элита — «пацаны», «отрицалово» — защитники закона, который называют «воровским», но который на самом деле в той или иной мере распространяется на весь тюремный мир. Эта каста — смертельный враг лагерной и тюремной администрации. Народ — это основная

масса зэков, «мужики», работяги. Отверженные — помощники лагерной администрации, «повязочники», суки, стукачи, хозобслуга и «петухи» — пассивные гомосексуалисты, изнасилованные за прегрешения перед зэками или по тюремному беспределу. Внутри каждая каста делится еще по мастям, о чем уже немало написано в русской тюремной литературе. Поэтому не буду повторяться. Переход из одной касты или масти в другую вполне возможен, кроме одного — нельзя подняться из касты отверженных. Это дно, из которого невозможно выбраться.

Каждому приходящему на зону зэку ненавязчиво предлагают определиться, кем он будет жить — пацаном или мужиком. Даже если он сам определиться не может, это очень скоро выясняется по фактическим обстоятельствам: с кем поддерживает отношения, кем работает, как относится к инициативам начальства и насколько принимает участие в «общаке» — мероприятиях в поддержку зэков, помещенных в карцер и ПКТ.

У меня же была своя, особенная масть — я был «политический». Зэки признавали ее, хотя это и было для них очень непривычно. Как-то в нашем ПКТ затеяли ремонт, и меня на время перевели в общую камеру, где сидели сливки нашего лагерного отрицалова. Нас было пятеро, и через несколько дней нам добавили шестого — молодого и борзого парня по кличке Воронец, с которым еще в зоне у меня сложились крайне неприязненные отношения. Но дело не в этом, а в том, что несколькими днями раньше Воронцу передали с воли шесть бутылок водки, которые через подкупленных надзирателей он должен был передать в ПКТ. Не знаю, о чем он тогда думал, но всю водку он вылакал в промзоне вместе со своими дружками и был настолько пьян, что не явился на вечерний развод. Его повязали, и он очутился в нашей камере, хотя, по идее, должен был попасть в ШИЗО для зэков с зоны. Тут-то с него за водку и спросили.

Разборки были простые и недолгие, потому что отрицать свою вину он не мог. После этого его начали бить, и весьма усердно. По обычаю в экзекуции должны принимать участие все сокамерники. Увильнуть от этого нельзя —

заподозрят в стукачестве и побьют. Но и принимать участие в таком деле я не мог. Когда все успокоились и Воронеж, смыв водой кровь, уполз на верхние нары зализывать раны, с жесткими расспросами приступили ко мне. Я объяснил сокамерникам, что я другой масти и у нас так не принято. У нас разбираются по-другому, а если я приму участие в воровских разборках, то с меня потом за это могут спросить. И я их убедил! Они признали за мной право жить по законам моей масти и согласились, что это не означает, будто я на стороне ментов.

Воронец искупил кровью выпитую водку и остался в пацанах. Но в иных случаях путь с верхов на дно может быть очень быстрым и безвозвратным. За несколько месяцев до того, как я приехал в лагерную больницу в Табаге, там произошел, как сказали бы на воле, скандальный случай. В лагере сидело аж два вора в законе. Один из них проиграл кому-то в карты крупную сумму денег и не смог вовремя отдать. Из уважения к авторитету выигравший дал ему отсрочку. То ли вор понадеялся на свое имя, то ли действительно не мог расплатиться, но долг он опять вовремя не вернул. Его опустили как самого обычного стукача или «крысу». Никто за него не вступился, никто не сказал ни слова. Из вора в законе он в один день превратился в «петуха». В арестантском мире закон сильнее авторитета.

«Только на зеленый»

Превратить политического в уголовника — мечта КГБ. Использовалась любая возможность, любая зацепка. Если зацепок совсем не было, их придумывали, иногда провоцировали на уголовное преступление. Совсем избежать этого было трудно. Самый авторитетный диссидентский адвокат, любимая всеми Софья Васильевна Каллистратова напутствовала молодых диссидентов так: «Вы видели, как пешеходы переходят у нас перекресток со светофором? Кто как хочет. А я вам говорю, переходите только на зеленый свет. Вам не сойдет с рук, если вы перейдете на красный».

Все предусмотреть и вовремя увернуться довольно трудно. Восемь раз в советские времена надо мной нависала уголовная статья, но каждый раз я счастливо уворачивался от расставленных сетей. Наверное, судьба благоволила ко мне.

Осенью 1977 года в квартире моей подруги Тани Якубовской в подмосковной Малаховке прошел обыск. Как я уже рассказывал, в кармане моей старой куртки следователи КГБ нашли патрон от автомата Калашникова. Черт его знает, что он там делал! Я недоумевал и решил, что мне его подкинули. Но почему один? Это было слишком несерьезно. Потом я вспомнил, что когда-то давным-давно, еще работая в МГУ, в рамках обязательной военной подготовки я ездил в этой куртке на учебные стрельбы в Таманскую дивизию. Отстрелявшись на полигоне, я, видимо, засунул один недострелянный патрон в карман и напрочь забыл о нем. Теперь мне о нем напомнили! Уже в тюрьме, знакомясь со своим делом, я нашел в нем постановление о возбуждении против меня уголовного дела по ст. 218 УК РСФСР за незаконное хранение боеприпасов. Но всего один патрон — этого было мало даже для советского правосудия. Рядом было подшито постановление о прекращении уголовного дела за незначительностью правонарушения.

Через полгода после того обыска, когда за мной уже ходила по пятам, не скрываясь, стая гэбиров, меня попытались посадить за тунеядство. Куда бы я ни приходил устраиваться на работу, следом приходили из КГБ и мне в работе под разными предложениями отказывали. Когда мне сделали официальное предостережение о тунеядстве, через месяц после которого можно было уже и арестовывать, я сбежал от слежки и без труда устроился на работу в отделение кардиореанимации 63-й московской клинической больницы на улице Дурова. Когда чекисты, снова сев мне на хвост, узнали, где я работаю, они пришли к главному врачу с предложением избавиться от меня. Я догадался об этом по ряду признаков. Однако главный врач больницы Георгий Иванович Раттэль-Таманцев, мой бывший преподаватель терапии и пропедевтики внутренних болезней, увольнять меня не стал. Судимость по тунеядке не состоялась.

После вынесения приговора Московским областным судом, когда я находился уже в пересыльной тюрьме на Красной Пресне, мне принесли для ознакомления и подписания протокол судебного заседания и все тома уголовного дела. Я читал протокол весь день, сидя в какой-то маленькой, едва освещенной комнатке. Вертухаю все время сидеть со мной было скучно. Он то клевал носом, то куда-то уходил, запирая меня на ключ. В один из таких его уходов я выдрал из дела крайне любопытный документ, подтверждавший приведенные в моей книге данные и свидетельствовавший о моей невинности. Это касалось убийства заключенного спецпсихбольницы. Вернувшись в камеру, я дождался, когда мой единственный сокамерник уснет, и вклеил документ между двумя страницами своей любимой книжки — Уголовно-процессуального кодекса РСФСР. Увы, сокамерник только притворялся спящим. Раньше он был главным технологом автомобильного завода АЗЛК, а теперь сидел под расстрельной статьей за махинации с экспортными автомобилями. Он завоевывал снисхождение начальства любыми средствами. В том числе стукачеством. На следующий день на камерном обыске кум точным движением рук распечатал склеенные мной в кодексе страницы и достал документ. Это была голимая статья и срок. Я пережил несколько тревожных дней. «Как глупо, — думал я. — Они, конечно, не упустят случая довести мне уголовную статью». Но прошли дни, недели, и ничего не случилось. Вероятно, работники суда и тюремная администрация, поразмыслив, не захотели расписываться в своем упущении — оставив зэка без присмотра наедине с его уголовным делом, они грубо нарушили ведомственные инструкции. Многим могло за это влететь. Я же об этом эпизоде тоже никому не рассказывал. КГБ, скорее всего, так ничего и не узнал.

Отправив меня в якутскую ссылку, КГБ не успокоился. Правда, и я не успокоился, так что КГБ, возможно, просто искал адекватный ответ. Попытки превратить меня в уголовника возобновились с новой силой. Самый простой способ лежал на поверхности — тунеядка. Работу по специальности мне под разными предлогами не давали, а не работать — по

советским законам значило совершать преступление. Я не стал ждать, когда мне объявят предостережение, и пошел в наступление первым. В письме, отправленном в Государственный комитет СССР по труду и социальным вопросам, я написал, что, имея в полном объеме все трудовые права, я не могу получить работу по специальности и поэтому прошу зарегистрировать меня в качестве безработного. Кажется, я даже просил выплачивать мне пособие. Письмо через наших московских друзей попало в западную прессу и было воспринято на Западе с пониманием — там-то знали, что такое безработица. Однако при социализме ее быть не могло по определению, и скоро из Москвы поступило указание трудоустроить меня. Мне даже сообщили это в каком-то официальном ответе. Я был принят на работу в комбинат «Инди-гирзолото» и стал заведовать там фельдшерско-акушерским пунктом.

Между тем в заветном деле политических репрессий чекисты, как известно, устали не знают. Тот самый Женя Дмитриев, что поражал нас в ссылке своим картежным умением, а потом дал на меня под диктовку следователя малозначащие показания, прибежал как-то вечером крайне взволнованный. Как опытный человек, Женя не стал говорить со мной в доме и попросил меня выйти на улицу. Мы стояли во дворе нашей одноэтажной халупы, и он, торопясь, сбивчиво объяснял, что ему срочно надо спрятать одну вещицу, потому что за ним идут по пятам и вот-вот сейчас прихватят.

— Что за вещица? — спросил я, уже раздумывая, как помочь приятелю.

Женя достал из-за пазухи сверток, развернул его, и я увидел вороненую сталь пистолета ТТ.

— Ты с ума сошел, — возразил я. — Для этой вещицы у меня самое неподходящее место в Усть-Нере. У меня могут забрать в любой момент.

— Да и ладно, — простодушно ответил Женя. — Главное, чтобы у меня сейчас не отобрали — мне ведь сразу срок намотают.

Тут меня кольнуло недоумение: он боится, что пистолет найдут у него, но не боится, что найдут у меня! Все скрытые

механизмы защиты включились мгновенно. Между тем Женя был настойчив:

— Ты положи его в коляску к сыну, там никто искать не будет, — уговаривал он меня, слегка развернув сверток и настойчиво протягивая пистолет.

— Хорошо, — согласился я. — Сделаем так: бросим пистолет в ручей Ампор, он как раз очень бурно течет сейчас позади нашего двора — пистолет либо потонет, либо его вынесет в Индигирку. А может, и в Северный Ледовитый океан, здесь недалеко, — подмигнул я Жене, давая понять, какой замечательный выход я нашел из трудного положения.

И я уже потянулся за пистолетом, но так, чтобы взять его снизу, под тряпочку, не оставляя отпечатков на рукоятке. Женя, однако, потянул пистолет к себе и, пряча за пазуху, пробормотал:

— Нет, жалко вещицу. Пойду, может, пронесет.

Это был май 1980 года. Скоро меня должны были снова арестовать, и КГБ, как я понял уже позже, лихорадочно искал для меня уголовную добавку к политическому обвинению.

Недели через две Женя пришел к нам с предложением купить у него задешево спичечный коробок. Предложение было царским. В коробке лежали не спички, а самородное золото. Я до тех пор ни разу не видел золота в самородках — зрелище завораживающее. К тому времени с Женей было уже всё ясно, но я не стал засвечивать его перед КГБ как разоблаченного стукача, а сказал, что рад бы, да денег нет. Не хватало мне только незаконного промысла и оборота драгоценных металлов!

Вообще золота в тех краях было много. Золотой песочек легко можно было намыть лотком прямо в протекающем у нас за домом ручье Ампор. Некоторые предприимчивые люди занимались таким промыслом, исправно пополняя население якутских лагерей.

Смешно, но единственным местом, где мне, кажется, не пытались всерьез пришить уголовную статью, был уголовный лагерь. Хотя кое-какие попытки и были, но очень вялые.

Когда, освободившись, я поселился с семьей во Владимирской области, все началось сначала. Казалось, КГБ про-

сто не в состоянии был смириться с мыслью, что я могу находиться где-нибудь кроме тюрьмы. В маленьком нашем городке Киржач была больница, поликлиника, «скорая помощь» и два диспансера, но меня никуда не брали — ввали, что нет мест. Власть разнообразием меня не баловала — сделала предупреждение о тунеядстве. Я тоже не баловал власть разнообразием — устроился работать в соседнем Кольчугинском районе на «скорой помощи», где меня, ничего не зная о моей антисоветской судьбе, взяли с удовольствием и сразу, без разговоров.

Последнюю попытку сделать из меня уголовника власти предприняли уже накануне перестройки. Когда в 1986 году мы ждали второго ребенка, стало ясно, что, сколько дежурств на «скорой» ни бери, денег на жизнь все равно не хватит. Алка поставила дома швейную машину и стала шить для местной фабрики по их лекалам какие-то страшного вида мужские сатиновые «семейные» трусы. Я решил построить теплицу и выращивать на продажу ранние весенние тюльпаны. Надо было сделать фундамент, возвести каркас, прикрепить к нему брусья и потом все это застеклить. Все можно было купить в магазине или сделать своими руками, кроме брусьев. Выбрать в них четверть под пазы для стекла можно было только на профессиональном деревообрабатывающем станке. В Кольчугино, где я работал на «скорой помощи», был деревообрабатывающий комбинат, и меня познакомили с мастером, который взялся сделать эту работу за два дня и две бутылки водки. В обещанный срок я уже забирал свои замечательно пахнущие свежеструганым деревом брусья и хотел было прямо сразу отдать две бутылки мастеру, но тот, будучи человеком опытным, сказал, чтобы я отдал водку тем рабочим, которые эти брусья обрабатывали. Я не знаю, как они делили бутылки или, может быть, сразу выпили после смены все вместе, но мудрость мастера спасла меня от уголовной статьи.

Недели через две меня вызвали повесткой в Киржачское РОВД и ознакомили с постановлением о привлечении подозреваемым по делу о даче взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей. Взяткой оказались

две бутылки водки. Как мне рассказали потом кольчугинские знакомые, местный КГБ дневал и ночевал на этом комбинате, допрашивая рабочих, мастеров и инженеров, пытаюсь раскрутить уголовное дело. Но мудрый мастер не взял бутылки сам, а поручил это рабочим. И расплатился я именно с ними и на глазах у многих свидетелей, и все они это подтвердили. А рабочие — не должностные лица, они просто работяги и взятку не могут брать по определению. Даже если хотели бы. Стало быть, факта взятки не было. Заставить же рабочих признаться, что они взяли водку в интересах мастера, было не под силу даже КГБ.

Вот так закончились ничем восемь попыток подвести меня под уголовную статью. Признаться, мне повезло больше, чем многим другим.

Мой брат Кирилл свои лагерные мотания начал с 218-й статьи — незаконного хранения огнестрельного оружия. На обыске по моему будущему делу в октябре 77-го года у него в будке нашли переделанный под мелкокалиберные патроны пистолет для подводной охоты и возбудили уголовное дело. В любом другом случае всё ограничилось бы внушением или штрафом, но Кириллу дали два с половиной года лишения свободы.

Алику Гинзбургу во время обыска подкинули американские доллары, и его респектабельные политические обвинения украсила статья о незаконных валютных операциях.

Но по-настоящему артистично, продуманно и со вкусом уголовные дела фабриковали на Украине. Многоходовую операцию с театральными эффектами и переодеванием украинский КГБ провернул против известного диссидента Вячеслава Чорновила. В 1980 году он отбывал после лагерного срока ссылку в Якутии — в поселке Нюрба Ленинского района. Мы были почти соседями и переписывались, а иногда и перезванивались, вызывая друг друга с почты на телефонные переговоры. Как-то он позвонил мне и поделился сомнениями. Он работал наладчиком какого-то механического оборудования, то есть на весьма скромной должности, и вдруг ему предложили командировку в соседний район, в город Мирный. Ссылным запрещено покидать пределы своего района,

и первое, о чем мы одновременно подумали, — что его хотят подставить под нарушение режима ссылки. Я советовал ему от командировки отказаться.

Через несколько дней он снова позвонил и рассказал, что милиция дала ему разрешение на выезд из района и он склонен поехать. Тем более что едет он туда не один, а со своим непосредственным начальником. Все это казалось мне очень подозрительным — что за странная командировка и с какой стати милиция вдруг стала к нему так снисходительна? Просто так ничего не бывает. Я чуял подвох. Слава тоже. Но ему очень хотелось развеяться. Ссылному съездить в соседний район — это как простому советскому человеку провести отпуск за границей!

Я призывал его к бдительности. Мы договорились, что он будет звонить мне из командировки по возможности каждый вечер.

7 апреля Слава прилетел в Мирный и поселился со своим начальником в гостинице. На следующий день, сделав дела, они ужинали вечером в гостиничном ресторане. Там к ним под села молодая и миловидная девушка, с которой еще днем его познакомил тот самый снабженец, к которому они приехали в командировку. Татьяна была украинкой. Они пили сухое вино и говорили на украинском. Начальник вскоре ушел спать, и им никто не мешал. Они беседовали об украинской поэзии, литературе, театре, вспоминали Киев, читали друг другу стихи. Потом речь зашла об украинской независимости. Слава растаял. Когда пришла пора расходиться, Таня, очарованная интеллигентностью, эрудицией и богатым жизненным опытом Чорновила, не захотела отпускать его. Они взяли недопитую бутылку вина и поднялись к ней в номер.

Не знаю, рассчитывал ли Слава на романтическое приключение или это была просто привычная бдительность, но, зайдя в номер, он запер дверь на ключ. Все остальное продолжалось недолго. Они выпили еще по бокалу, и во время возвышенного разговора об украинской поэзии девушка подошла к двери и открыла замок. Славе показалось это странным, но он не придал этому должного значения. И зря. Через несколько минут, безо всякого перехода и посреди разговора

Татьяна вдруг сняла с себя джинсы и, оставшись в одних колготках, начала истошно вопить и колотиться в стенку соседнего номера. Слава опешил, еще ничего не понимая. Через мгновение в номер ввалилась целая толпа: милиция, дежурная по этажу, еще какие-то люди.

Чорновила арестовали по обвинению в покушении на изнасилование. На очной ставке Татьяна Блохина призналась ему: «Мне рассказали, кто ты; такие, как ты, не должны ходить по советской земле».

За недостатком улик «потерпевшая» и «свидетели» придумывали невесть что. Славу обвинили в том, что, угрожая бутылкой, он кричал своей «жертве»: «Ты знаешь, кто я? Я единомышленник Сахарова, и если ты не прекратишь кричать, то я тебя искалечу». Все, кому посчастливилось знать тихого и интеллигентного Вячеслава Чорновила, только улыбнутся этой выдумке.

Сама «жертва» оказалась дочерью полковника Вадима Блохина — советского военного атташе в посольстве одной из африканских стран. В своем последнем слове на суде Вячеслав Чорновил рассказал, что некоторое время она была оформлена в городе Мирном простой рабочей, «чтобы сыграла версия, что гнилой диссидент набросился на пролетарскую девушку». Уже гораздо позже, когда после падения коммунизма и распада СССР частично открылись архивы КГБ, Чорновил рассказывал мне, что Блохина специализировалась на подобных провокациях и он был не единственной ее жертвой.

Но тогда Слава тяжело переживал обвинение в изнасиловании. Он сразу объявил голодовку и держал ее долго, даже после суда. В последнем слове он говорил: «Если отстаивать принципы еще можно, одновременно щадя себя, то отстаивать свою честь и свое достоинство иначе, чем поставив на карту не только здоровье, но и самую жизнь, при нынешних условиях невозможно». Его приговорили к 5 годам колонии строгого режима.

Через два месяца после Славы загредел в Якутскую тюрьму и я. Мы сидели на разных этажах, но быстро списались. Отступив от собственных правил, я уговаривал его снять голодовку, убеждая, что это излишняя мера — в подлинность

уголовного обвинения и так никто не верит. Слава соглашался с доводами, но голодовку продолжал. Его кормили искусственно, через зонд. Я передал ему через баландера десять рублей, и он договорился с уже прикормленными вертухаями, чтобы нас одновременно вывели в санчасть на прием к врачу. Так мы наконец познакомились воочию. Мы сидели в тюремном коридоре на скамеечке перед дверью санчасти минут двадцать, и большую часть времени я говорил ему, что его диссидентская репутация настолько высока, что никакие происки КГБ по части уголовки ее не испортят. Но Слава был непоколебим.

Он снял голодовку только в лагере. Зэки не любят осужденных за изнасилование, но, видя Славино упорство и его длительную голодовку, к нему относились иначе. Все понимали, что он на самом деле политический заключенный.

Года через два мы снова встретились с ним, когда меня, едва живого, привезли в лагерную больницу на Табаге. В этом лагере Слава отбывал свой пятилетний срок. Когда через пару недель я пришел в себя, мы стали встречаться в жилой зоне и много говорили. Видя, что он успокоился и больше не переживает так из-за уголовного обвинения, я иногда подкалывал его.

— Ты знаешь, что самое обидное в твоём последнем деле? — спрашивал я его задумчиво и серьезно.

— Что? — отвечал Слава, еще не чувствуя подвоха.

— Самое обидное, что ты ее так и не трахнул, тогда бы хоть сидел за дело!

Слава немедленно взвизвался и начинал доказывать, что и в мыслях не было, но потом, поняв, что я шучу, остывал, и через некоторое время мы вместе смеялись, обсуждая превратности судьбы и неиспользованные возможности.

Ломка

Мой первый срок в ПКТ сначала показался мне просто эпизодом лагерной жизни. Вероятно, начальство колонии решило перестраховаться, думал я, и запрятало меня туда, где

я всегда буду у них на виду. Но я ошибся, не сразу поняв их намерения. Я исходил из того, что, закрыв меня в лагерь, КГБ посчитал свою задачу выполненной. Тут я их недооценил. Возможно, в Москве так и решили, а в МВД Якутии или республиканском КГБ, видно, решили добиться того, чего не добились их коллеги в Москве. Наверное, якутским ментам и чекистам грезился победный рапорт о том, что я встал на путь исправления и деятельного раскаяния. Соответствующей была и стратегия, а цель ее — сломать меня и подчинить. Ради этого они были готовы сильно постараться.

Я понял их намерения, когда начал получать ШИЗО за такие мелочи, за которые никто другой взысканий не получал. «Тебе устроят ломку», — сразу сказал мне самый авторитетный лагерный зек и предводитель отрицалова Андрюха Вдовин. «Да, тебя будут ломать», — соглашались с ним остальные уголовники.

Я просидел в общей камере ПКТ около месяца, а затем меня перевели в одиночку. 15 суток ШИЗО следовали одни за другим. Поводы были самые ничтожные: спал днем сидя за столом, переговаривался с соседней камерой, оставил в камере миску после обеда, грубил контролерам и т. п. Я обжаловал взыскания прокурору, но новые пятнашки приходили быстрее, чем я получал стандартные ответы прокуратуры, что нарушений закона не выявлено. Я плюнул на прокуратуру и игры в законность. Мне стало не до них. Началась борьба за выживание.

Арсенал воздействия на зэка у лагерной администрации не очень большой, но если использовать его методично и планомерно, то во многих случаях можно добиться успеха. Впрочем, на кого нарвешься. Через камеру от меня в ШИЗО сидел паренек якут, который отказывался мыть санузел в отряде. Обычно эту работу выполняют шныри, но тут начальник отряда, невзлюбив этого паренька, решил поломать его. Он не выпускал его из ШИЗО. По закону зэка нельзя держать в ШИЗО больше трех сроков кряду, то есть не больше 45 суток. Парня через каждые полтора месяца выпускали в зону на один день и снова сажали за отказ мыть санузел. Через несколько месяцев парень стал похож на скелет, обтянутый ко-

жей, — таких показывали в фильмах об ужасах немецких концлагерей. Но сломать его было невозможно. Он уже мочился кровью, весь пожелтел и не мог ходить, а его все держали в ШИЗО и даже не везли в больницу. Он не писал жалоб, не взывал к справедливости или милосердию, а просто молчал и отказывался выполнять приказ отрядного. Ему было всего 22 года. Он умер тихо в своей камере 7 ноября, когда в стране праздновали очередной юбилей Октябрьской революции.

Набор средств у администрации невелик, но эффективен. Его главные составляющие — холод, голод и одиночество.

Одиночество

Психологическое оружие может быть эффективнее других. Одиночка — из этого ряда. Для многих людей одиночное заключение просто невыносимо. Я видел, как эки, посаженные в одиночку, начинали неистовствовать уже через пару часов. За один-два дня некоторые настолько теряли самообладание, что начинали колотиться в дверь и готовы были на любое нарушение, лишь бы избавиться от одиночного заключения. Лагерное начальство давно усвоило, что одиночка — это оружие номер один, самое простое и дешевое. Правда, по закону на одиночное заключение требовалось согласование прокуратуры, но кто там обращает внимание на законы!

Меня посадили в одиночку, как только убедились, что в уголовной среде я уживаюсь вполне нормально и никаких конфликтов с уголовниками не предвидится. На перевод меня из общей камеры в одиночную пришел сам подполковник Гавриленко. Он с нескрываемым удовольствием смотрел, как меня переводят в новую камеру, ожидая от этой меры немедленного эффекта. Я уловил его ожидания и возблагодарил судьбу за то, что он пришел в ПКТ и за то, что на его простом лице написано все, что он думает.

Дело в том, что одиночка меня не страшила. Более того, я предпочитал ее общей камере. Я нормально ладил с уголов-

никами, но постоянное присутствие рядом посторонних людей меня всегда угнетало. Даже в летних пионерских лагерях я страдал от принудительного общежития. Однако лагерное начальство рассчитывало, что одиночка будет мне в тягость и таким образом меня можно будет сломать. Надо было им подыграть.

Все получилось почти так, как в сказках дядюшки Римуса, где братец Кролик соглашался на любую казнь от братца Лиса, лишь бы тот не бросал его в терновый куст. Еще не успела захлопнуться за мной дверь моей новой камеры, как я предъявил подполковнику Гавриленко претензии: «Вы не имеете права держать меня в одиночном заключении». Гавриленко довольно улыбался и бормотал: «Ничего, посидите здесь недельку-другую — одумаетесь». От чего я должен одуматься, он не пояснил. Я был счастлив.

Неделькой-другой отделаться не удалось — я провел в одиночном заключении почти весь свой срок. Исключением было пребывание в больнице, два коротких выхода на зону и случайные, на несколько дней, переводы в общую камеру.

Первое время я кайфовал. Одиночное заключение казалось мне оптимальным способом провести свой срок. За очевидными плюсами я не замечал не столь очевидных минусов.

Когда несколько человек сажают в общую камеру, через некоторое время, обычно недели через две, возникает психологическая несовместимость. Она нарастает и может вылиться в открытую агрессию. Тут многое зависит от культуры арестантов, даже от тюремной культуры — умения сдерживаться, следовать общепринятым правилам поведения в камере, от взаимного уважения. Несовместимость возникает в тесном закрытом помещении всегда и у всех, независимо от интеллектуального и культурного уровня эков или их воспитания. Все это знают. Многие к этому готовы. Вопрос не в том, как избежать несовместимости, а в том, как ее преодолеть, как не поддаваться естественному желанию перегрызть соседу глотку. Потому что, каким бы милым и интеллигентным человеком ни был ваш сосед по камере, через некоторое время вас начнут раздражать любые мелочи в его поведении. Не от-

того, что вы хороший, а он плохой, а оттого, что вам в одной камере с ним психологически тесно. Опытные зэки заранее рассказывают новичкам об этой неизбежности, шутят на эту тему и напоминают о правилах, когда кто-то срывается. Чем больше камера и людей в ней, тем меньше проблем с несовместимостью. В большой камере легче переключить внимание с раздражающего тебя человека на кого-нибудь другого.

По идее, в одиночной камере таких проблем возникать не должно. Каково же было мое удивление, когда примерно через те же самые две недели я начал испытывать раздражение и психологическую несовместимость — неизвестно с кем! Раздражаться было не на кого, направить агрессию — некуда.

Я старался сохранять хладнокровие и анализировать. Понятно, думал я, что состояние дискомфорта вызвано ограничением пространства и возможностей. Четыре стены и полная беспомощность. Психологическая несовместимость в общей камере — это всего лишь подходящее объяснение такого состояния, а агрессия против соседа — самый легкий выход из дискомфортной ситуации.

Но что я могу сделать в одиночке? Раздвинуть стены не удастся, найти агрессии достойный выход — тоже. С некоторым даже интересом я наблюдал, как моя агрессия направляется на меня самого. Я раздражал сам себя. Я — аутоагрессивный зэк! Услужливый разум быстро подсказал выход из положения: надо условно разделить себя на две части, абстрагироваться от выделенного в себе объекта ненависти и таким образом успокоиться. Однако, вспомнилось мне, раздвоение личности называется в психиатрии амбивалентностью и является ярким признаком шизофрении. Не стою ли я на этом гибельном пути?

Тем не менее, усмехаясь про себя, я все же принял эту модель поведения и правильно сделал. Очень скоро изматывающее меня раздражение сменилось ироничным к себе отношением. Я как бы смотрел на себя со стороны, подшучивая над своими психологическими проблемами и нереализованными желаниями. Я был в камере уже как бы не один, оценивая самого себя объективным взглядом и даже делая в иных

случаях ядовитые замечания. Все-таки самоирония — великая вещь!

Через некоторое время все прошло, и я успокоился. Позже, возвращаясь в одиночку после коротких перерывов, я уже был готов к неизбежной аутоагрессии. С каждым разом справляться с ней было все проще.

Постоянной моей заботой стала необходимость создавать у начальства видимость эффективности их действий. Я должен был показательно страдать от одиночества. И я показательно страдал! При обходах камер лагерным начальством я непременно жаловался на одиночное заключение и требовал соблюдения социалистической законности. Начальство не скрывало своей радости. Я свою радость скрывал.

Однажды я перестарался. При очередном обходе прокурора по надзору за местами лишения свободы я завел свою вечную песню о незаконном одиночном заключении. Прокурор был новый, молодой и какой-то, видимо, еще не сильно испорченный. Он распорядился пересадить меня в общую камеру. Меня тут же пересадили. Но прокурор ушел, и на следующий день меня, слава богу, вернули на мое законное место. Впредь я был осторожнее с такими жалобами.

На воле люди тоже страдают от одиночества. Обычно из-за недостатка общения и отсутствия полезной деятельности. Что уж говорить о тюрьме! Общение здесь зачастую таково, что лучше бы никакого не надо, а полезной деятельности и вовсе нет. Я пытался своими силами восполнить эти недостатки.

Необходимо было занять день событиями. На первый взгляд, это смешно звучит для одиночной камеры, где делать решительно нечего и каждый следующий день в течение многих недель, месяцев и лет похож на предыдущий. Но мне это удалось. Иногда времени даже не хватало.

Прежде всего надо было постараться найти замену тому, чего меня лишили. У меня отняли свободу передвижения — я буду двигаться. Каждый день я проходил одиннадцать километров: шесть — утром, пять — после обеда. Рассчитать километраж было нетрудно. От окна к двери, поворот, от двери к окну. Семь шагов туда, семь обратно. Я вспоминал стихи

моего доброго друга Виктора Некипелова — «Восемь с осьмушкой в одном направлении, три с половиною — вбок». Если у него во Владимирской тюрьме так и было, то ему сильно не повезло. Счастлив зэк, который сидит в камере с нечетным количеством шагов в длину! Тогда, наворачивая километры, он может поворачиваться каждый раз через другое плечо, отчего не кружится голова и нет ощущения, что ходишь по кругу.

За удовольствие пришлось платить. На ногах были тапочки, а пол в камере был сначала цементный, затем его покрыли деревянным настилом. Дерево, спору нет, лучше цемента, но ровная поверхность и отсутствие нормальной обуви привели к плоскостопию. Пришлось подкладывать под стопу валик, сделанный из подручных средств. Я не мог простить себе, что не догадался сделать это с самого начала.

Хождение по камере не было бездумным. Родион Раскольников на вопрос приятеля «Что делаешь, какую работу?» серьезно отвечал: «Думаю». Выхаживая по камере, я думал. Это было легко и всегда доступно, поэтому я не разрешал себе чересчур увлекаться этой работой. Жизнь должна быть разнообразной.

Я учил английский язык. Книги в лагерь передавать с воли не разрешалось, но Алка по моей просьбе разобрала переплет учебника и прислала книгу в виде стопки листков. Поскольку книга без переплета — это, в понимании тюремщиков, уже не книга, то мне ее отдали. Вслед за грамматикой она точно так же прислала мне упражнения. Я ограничил себя в день строго двумя параграфами грамматики и одним упражнением. Тюрьма меняет вкусы. Как я не любил английский в школе и с каким удовольствием изучал его в тюрьме! Я нарезал из чистой бумаги полоски и писал на них слова: с одной стороны на английском, с другой на русском. Каждый день я добавлял несколько полосок и повторял все слова, что были записаны. Когда их набралось около двух тысяч, я остановился. Возникла проблема с их использованием. Я не был уверен в своем произношении, а учиться было не у кого. Да и говорить было не с кем.

Впрочем, я научил нескольким простым фразам соседей из других камер. По-английски можно было перекрикиваться, не опасаясь, что надзиратели поймут. Тривиальную просьбу поделиться чаем можно было изложить по-русски; можно было попросить по-якутски «чэй», или по фене — чайковского, цихнару, травку, деготь, индюшку, лопуха, рассыпуху, шавану, кашу, композитора, лапу, мазут, шанеру, соломку, полынь, чехнарку, или просто «подогнать почифирить». Но всё это надзиратели уже знали. А вот если из камеры в камеру подкричать «Give me tea please», то надзиратели приходили в недоумение и старались запомнить, чтобы потом справиться у начальства. Некоторые из них «по-дружески» базарили с эзками где-нибудь на прогулке и невзначай интересовались, что это за зехер такой новый.

Обязательной частью моего дневного распорядка было чтение. В лагере была библиотека, и раз в неделю библиотекарь из эков приносил в ПКТ новые книги и забирал старые. В том что касается классической литературы, выбор был неплох. Лагерь этот существовал бог знает с каких времен, его упоминал еще Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГе», а в старых лагерях и тюрьмах были обычно неплохие библиотеки. В сталинские годы они часто складывались из книг, конфискованных чекистами на обысках у «врагов народа». В нашей лагерной библиотеке были, например, тома из полного собрания сочинений Пушкина. Каждое произведение добросовестно сопровождалось справочными материалами. К «Пирру во время чумы» прилагался исходник, по мотивам которого писал Пушкин, — пьеса английского поэта Джона Вильсона. Пьеса была на английском, я начал для собственной практики ее переводить и обнаружил, что у Пушкина — дословный перевод части английской пьесы. Мне казалось просто непостижимым, как можно перевести в стихах настолько дословно!

Помимо книг из библиотеки можно было подписаться на толстые журналы и газеты или получать книги наложенным платежом через систему «Книга-почтой». Я пользовался этим, хотя ничего особо интересного в советской периодике быть не могло. В попавшем ко мне, уже не помню как,

одном шпионском романе (кажется, это было чекистское творение «ТАСС уполномочен заявить») я вычитал полезную информацию. Шпион отправлял в штаб своей империалистической разведки донесение под почтовой маркой внешне ничем не примечательного письма. Я решил этой идеей воспользоваться. У нас с Алкой была договоренность о шифре в письмах, и мы этим успешно пользовались. Но шифр был таков, что сообщения в письмах были слишком короткими — по одной нужной букве в строчке. Я решил послать весточку под маркой.

Полдня я сидел и микроскопическим почерком писал маляву на тонкой бумаге. Получилось неплохо. (Тогда я и догадался, откуда у лесковского Левши такие завидные способности к микроскопическому творчеству: прежде чем подковать блоху, он наверняка мотал срок!) Многократно сложенную записку я положил под марку, которую наклеил на поздравительную открытку отцу. Отдельно в очередном письме жене я написал шифром, чтобы она заглянула под почтовую марку полученной папой открытки. Она так и сделала: приехала к папе, попросила мою открытку и торжественно извлекла из-под марки мою записку.

Писание писем — это большое и отдельное занятие. Отправлять письма из ПКТ можно было весом до 50 грамм один раз в два месяца. Я и писал письмо два месяца, добавляя каждый день по несколько строчек. Буковки были крошечные, так, чтобы в каждой клетке ученической тетради умещалось по строке. Очередную порцию письма я придумывал, вышагивая свои километры по камере, а потом аккуратно записывал придуманный текст.

Но самым радостным для меня событием в тюрьме было получение писем. Возможно, я был слишком сентиментален, но эта радость стоила всех остальных. Выходя из ШИЗО, где письма не отдавали, я получал сразу целую пачку. Чем дольше я сидел в ШИЗО, тем толще была пачка. Это успокаивало! Письма из дома — это воображаемый мостик на волю. Каждое письмо я перечитывал по многу раз, пока не получал новое.

Как-то, выйдя из ШИЗО, я получил очередную пачку писем, и в одном из них было сообщение о смерти моего

друга Димы Леонтьева. Он умер от затяжного приступа бронхиальной астмы, которой страдал с детских лет. Это было трагично и так странно: он на воле — умер, а я в тюрьме — жив.

Иногда я писал Кириллу, который в то время сидел то в колонии в Угличе, то в крытой тюрьме в Тобольске. Из тюрьмы в тюрьму переписка разрешалась только между прямыми родственниками. Кирилл, когда был не в карцере, мне отвечал. Для разнообразия мы переписывались в стихах. Место мы, разумеется, не транжирили и писали не строфами, а в строчку.

Выглядело это примерно так. Я писал ему: «В тот день, когда ты ставил точку — двадцать восьмого февраля, — я прохладился в “холодочке”, мечтая выйти из ноля. Теперь я вышел, но удары судьбы и тех, кто у руля, продолжились. Я там, где нары, и мой ларек на два рубля».

Кирилл, понимая, что ларек на два рубля — в ПКТ, в ответном письме меня подбадривал: «Перечитав твое письмо, я путь твой тягостный и сложный представил ясно. Но одно... Одно я вижу, что напрасно судьба-злодейка кажет тыл. Болезни, прочие несчастья ты силой духа победил».

То, что удача повернулась к нам спиной, требовалось немедленно вышутить. Я писал Кириллу: «К тому же, это непременно, всему наступит свой черёд, и будет в жизни перемена — она покажет свой “перёд”! А впрочем, тыл, хоть и злодейкин, бывает очень даже мил, и я про тыл судьбы-злодейки таких бы слов не говорил!» Так и валяли мы дурака, когда была возможность писать друг другу. Между письмами проходило иногда по три-четыре месяца и больше.

Сочиняя письма, а особенно в стихах, я шагал по камере, жестикулировал, улыбался, хмурился — короче говоря, себя не контролировал. Да и зачем — в камере, кроме меня, никого не было. Глазок камеры время от времени открывался, и надзиратели подолгу смотрели на меня, подозревая, что я уже свихнулся. Чтобы не нажить себе неприятностей, я успокаивал их обычными эковскими присказками: «Ну что ты уставился? — говорил я надзирателю через дверь. — Тебя поставили подслушивать, а ты подсматриваешь!» В дру-

гой раз, когда они останавливались около двери и прислушивались, не поднимая глазка, я упрекал их по-другому: «Ну что ты застыл здесь? Тебя поставили подсматривать, а ты подслушиваешь!» Надзиратели, убедившись, что со мной все в порядке и я психически здоров, шли с обходом дальше.

В камере была радиоточка. Я приспособился выключать приемник, размыкая провода, и включал его только тогда, когда передавали хорошую музыку. Расписание хороших передач на всю неделю я знал наизусть.

Одиночка не тяготила меня. Иногда, правда, хотелось очутиться в большой шумной компании, в общей камере. Особенно в праздники, когда зэки веселились у себя в камерах, а надзиратели — в своей дежурке.

Новый год я встречал один. У меня даже была елка. Черенком алюминиевой ложки я выцарапывал ее рисунок на ровной полоске зеленой стены около двери и, глядя на нее, вспоминал детство, пытаюсь проникнуться новогодним настроением. В детстве елка была таинственным и сверкающим праздником, и мама с папой всегда брали нас с Кириллом за руки, и мы водили вокруг елки хоровод. В камере нарисованную на стене елку обойти была нельзя, да и не с кем. Как-то я попытался устроить хоровод, переваливаясь около елки с ноги на ногу и напевая «В лесу родилась елочка».

К чему приводит длительное одиночное заключение, начинаешь понимать, когда попадаешь в общую камеру. Как-то после нескольких месяцев одиночки ко мне в камеру ШИЗО посадили двух ребят якутов. Они были с зоны, и дали им всего-то по пять суток, но за неимением свободных мест посадили ко мне. В камере, надо сказать, есть несколько незыблемых правил, и одно из них — нельзя пользоваться парашей, когда на столе стоит еда, а тем более кто-то ест. Это нормальное правило, оно помогает сохранить в одном помещении дистанцию между столовой и туалетом. Однако я настолько отвык от соблюдения общинных правил, что как-то открыл крышку парашаи ровно в тот момент, когда ребята собрались съесть дневную баланду. Я понял, что происходит что-то не то, когда разговор за столом вдруг замер и в камере воцарилась напряженная тишина. Я оглянулся. Ребята сидели

с разинутыми ртами и глядели на меня, ничего не понимая. Зоновские зэки относятся к пэкатэшным с уважением, а к мающимся в одиночке — тем более. Поэтому они просто молчали. Надо полагать, они про себя думали: «Неужели он такой крутой авторитет, что может писать, когда мы едим?» По выражению их лиц я быстро осознал свой промах. Мне все-таки удалось объяснить им, что это следствие одиночки, а не признак неуважения к ним. Они согласились.

Другое осложнение одиночной отсидки я почувствовал на следующий год. К тому времени я уже очень давно сидел один. Как-то раз пацаны из центральной камеры заплатили надзирателям, чтобы меня после вечернего отбоя отпустили к ним в камеру до утреннего подъема. Я был несказанно рад. Мы сразу же заварили чифирь, и, когда сели в кружок, я вдруг понял, что разучился говорить. Не то чтобы я забыл слова или не мог построить фразу, но язык меня не слушался. Он тяжело ворочался во рту самым непослушным образом, и я с трудом извлекал правильные звуки. Это открытие настолько поразило меня, что с тех пор я начал читать вслух и даже разговаривать со своим маленьким сокамерником.

Да, у меня был сокамерник — крохотный серый мышонок. Я звал его Мишкой — мышка Мишка. Он жил в маленькой норке в стене у двери. Мы не сразу подружились. Очень долго я клал половую тряпку около его норки, а сам садился к батарее у противоположной стены и молча следил за ним. Сначала он только высовывал мордочку из норки; потом осмелел и стал залезать под тряпку. Когда мне удавалось разжиться хлебом сверх пайки, я клал ему хлебную крошечку на середину камеры, и он, набравшись смелости, бегал за ней и уносил добычу в нору. Постепенно я сокращал расстояние между крошкой и собой, а Мишка становился всё смелее и уже не убегал стремглав к себе, а размеренно ел на месте. Я разговаривал с ним, а он поднимал свою мордочку и внимательно меня слушал. Если надзиратели открывали дверь камеры или даже кормушку, Мишка моментально прятался в свою норку.

Поскольку долго говорить с Мишкой было не о чем, я развлекал его, а заодно и себя чтением стихов. Я вспомнил

почти все «Стихи из романа» Бориса Пастернака, тюремные песни на стихи Гумилева, Солодовникова и Некипелова, а вдобавок ко всему еще сочинял свои, которые писал для Алки и Марка. Мишка был благодарным слушателем: всё выслушивал и никогда не критиковал.

Потом меня перевели на несколько дней в другую камеру, а в моей сделали ремонт и замазали все дырки в стене. Когда я вернулся к себе, норки уже не было. Мишка больше не появлялся. Я очень горевал первое время, хотя и поймал себя на эгоистической мысли, что теперь больше не придется тратиться на крошки хлеба.

Голод

Советский Союз был голодной страной. Тюрьма — голодным местом в голодной стране. Есть хотелось все время. Даже в те исключительно редкие дни, когда удавалось наесться досыта, мозг все равно сверлила мысль, что сытость скоро пройдет, а голод останется. Как известно, пузо — злодей, старого добра не помнит.

К постоянному недоеданию постепенно привыкаешь. Желудок съезживается, организм смиряется со скудным рационом, и важно только сохранять питание на одном уровне, не уменьшая его и не увеличивая. Да, увеличивать тоже нельзя, потому что потом опять придется возвращаться к прежней норме, а это мучительно. Как говорят зэки, нельзя распускать кишку. Тем, у кого неумеренный по здешним меркам аппетит, зэки ставят диагноз «яма желудка».

В ПКТ кормили хоть и ежедневно, но скверно. Чувство голода не оставляло ни на минуту. Кормежка здесь официально именовалась «пониженной нормой питания». Понижена она была таким образом, что упитанного зэка в ПКТ встретить было невозможно. Впрочем, лагерная мудрость гласит, что зэк и должен быть тонким, звонким и прозрачным.

Существенным разнообразием для тюрьмы в тюрьме был продуктовый десант. Продукты в ПКТ закидывали двумя способами. Первый, самый спокойный и безобидный, —

подкуп надзирателей. «Сапоги дорогу знают, только ленятся ходить», — утверждает лагерная пословица. За десять рублей (а это зарплата надзирателя примерно за два рабочих дня) «сапоги» приносили зэкам контрабандный майдан (вещ-мешок) с продуктами, которые собирали всем миром на зоне. Но чаще добровольцы с зоны перелезали ночью через колючку и забор ПКТ и просовывали продукты в окно какой-нибудь из камер. Тут были сухое молоко, картофельный порошок, упакованное в толстую полиэтиленовую кишку и перевязанное наподобие гирлянды сарделек вареное сгущенное молоко, сало, чай, сахар, брикеты сухого киселя, куруево, спирт, столярный инструмент для оборудования тайников, а иногда и что-нибудь экзотическое вроде шоколада. Все это мгновенно распределялось по камерам через «кабуры» — пробитые в стенах дырки, которые надзиратели были не в состоянии найти, не простукивая стены, — настолько хорошо они были закамуфлированы на общем фоне. Время от времени в камерах устраивали детальный шмон с простукиванием стен и кабуры находили. На этот случай и нужен был инструмент. Как только надзиратели напивались, зэки долбили новые кабуры, через которые можно было передавать друг другу продукты, записки, одежду и все остальное.

С десантниками менты вели беспощадную борьбу. Тут надзиратели работали не за страх, а за совесть, точнее, за кошелек: ведь десантники отнимали у них доход — десять рублей за каждый майдан продуктов. Если ребят ловили на колючке, то зверски избивали резиновыми дубинками, и тогда, слыша крики истязуемых, мы в камерах начинали кричать и колотить в двери. В лагере слышали это, поднимался шум, зэки в отрядах начинали угрожающе шевелиться, градус беспокойства в лагере возрастал, и дополнительные наряды ментов прибегали в ПКТ на усмирение заволновавшихся зэков. Тут надзирателям было уже не до десантников — их бросали в ШИЗО и больше не трогали.

Сразу за удачным десантом в ПКТ наступал «праздник живота». Распределением продуктов, как и организацией десанта и всего общака, занимались авторитеты, сидящие в одной из камер ПКТ. За все годы, проведенные в уголовном лагере,

я ни разу не слышал ни от кого ни одной жалобы на то, что продукты распределялись несправедливо. Некоторое время я и сам сидел в такой камере и видел, как это делается: всем по ровну, скрупулезная честность, которая нечасто встречается и на воле. Никому и в голову не пришло бы оставить побольше себе или послать чего-то получше другу. Иногда лишь сообща решали получше «подогреть» какого-нибудь доходягу или тяжелобольного.

Поначалу с гревом у меня все было в порядке. Слева и справа от меня были общие камеры, с обеими — связь через кабуры, и я получал то же, что и все остальные зэки ПКТ. Я не комплексовал из-за отсутствия компании за столом. Единственно, что огорчало, — пить приходилось в одиночестве. Кабуры были узкие, и спирт или водку передавали из камеры в камеру в мыльницах. Я получал свою мыльницу и выпивал, как заправский пьяница, в полном одиночестве. Удовольствия от этого было немного, тем более что, захмелев, хотелось общаться, а не с кем. Но и отказаться я тоже не мог — алкоголь был атрибутом свободной жизни, бунтом против неволи. К тому же дополнительные калории.

К водке в лагере отношение было особое. Она и на воле давала людям ту свободу, которой у них не было в трезвой жизни, а в лагере все это удесятерялось. Пронести в лагерь водку считалось делом чести, почти трудовым подвигом! Если родные или друзья зэка жили поблизости от зоны, то они могли договориться о «перебросе». В условленный день, в назначенное время с вольной стороны кидали в зону двухлитровую медицинскую грелку, наполненную водкой или спиртом. Кидающий должен был не попасться на мушку автомата охранника с вышки, а принимающий — уберечь подарок от контролеров и стукачей.

Некоторые ухитрялись пронести водку на длительные свидания. Способов было много, но один превосходил по оригинальности все остальные. Шедший на свидание вольняшка заглатывал расправленный презерватив с длинной трубочкой. К горлышку презерватива, охватывая трубочку, была привязана толстая нитка. Через трубочку наливалась водка, презерватив раздувался, занимая собой все простран-

ство пищевода. Бутылка водки, а то и две входили в такое устройство без труда. Затем трубочка вынималась, ниточка на конце презерватива затягивалась и аккуратно привязывалась свободным концом к самому дальнему зубу. Увидеть ее было практически невозможно, даже если бдительный мент велел вольняшке разинуть пасть. Водку так носили на свидания довольно часто.

Как-то раз на свидание к зэку приехала вся его семья, и брат перед свиданием затарился водкой в презервативе. Он благополучно прошел досмотр, но, когда уже собрался идти в комнату свиданий, дубак добродушно хлопнул его по спине — иди, мол, не задерживайся. От удара презерватив лопнул, и литр водки одновременно оказался в желудке сердобольного брата. Он, правда, успел дойти до комнаты свиданий, а там рухнул как подкошенный и провалялся пьяным больше суток. Видно, человек был крепкий и с большим алкогольным стажем, другой бы мог и не выжить.

Я чаще всего выпивал свою мыльницу спирта, согревался и ложился спать. Пить было глупо, не пить — расточительно.

Примерно то же самое происходило и с чаем. Чифирить в одиночестве — глупое занятие. Смысл чаепития — не столько даже в самом крепко заваренном чае, сколько в ритуале, когда все садятся в кружок и передают по кругу кружку, чтобы каждый отхлебнул по два «магаданских» глотка. Этот ритуал очень важен в тюремном мире — он обозначает общность зэков, их взаимоуважение и братство, пусть даже и мимолетное. Зэк, приглашенный почифирить, признается равным всем остальным. Отказаться от такого приглашения невозможно. Если кто-то замешкался и не сел со всеми вовремя, его обязательно в шутку спросят: «Чего не идешь чифирить? Про нас что знаешь или за собой чего чувствуешь?»

Но в одиночке какая компания? Надо быть законченным чифиристом, чтобы пить чифирь одному. И все же иногда я заваривал себе чифирку. Четверть плиты на кружку кипятка — и заряд бодрости на целый день. Проблем с горючим обычно не возникало. Кружку воды можно было вскипятить на какой-нибудь тряпке, но я предпочитал газету. Если пра-

вильно разорвать ее на узкие полоски и грамотно жечь, то «Известий» с вкладышем хватало ровно на кружку кипятка.

Иногда с продуктами возникали смешные проблемы. Как-то утром, за час до проверки, мне передали в камеру сухой картофельный порошок. Надо было его срочно съесть. Я нагрел шленку воды и начал засыпать туда порошок, нежно помешивая ложкой. Должно было образоваться картофельное пюре. Я сыпал и сыпал порошок, а пюре не получалось — все растворялось без остатка! Я пришел в страшное негодование, не понимая, что происходит. В конце концов я высыпал в миску все, что у меня было, и сел, тупо уставившись в беловатую мутную жидкость. Что бы это ни было, это пища, а не яд, и надо это отправить внутрь, решил я. Я начал пить мутную жидкость и только тут обнаружил, что пью невероятной концентрации сгущенное молоко. По внешнему виду молочный порошок ничем не отличался от картофельного. Торжество мое было так же велико, как несколько минут назад разочарование.

В другой раз мне закинули в камеру с полкило сахарного песка. Съесть его за один день было бы непростительным расточительством. Я растворил весь сахар в горячей воде, а затем в миску с сахарным сиропом положил свою майку. Довольно быстро майка впитала весь сироп, и я повесил ее сушиться. Через пару часов у меня была картонная майка — что-то среднее между рыцарскими доспехами и сахарным бронежилетом. На обысках на майку никто внимания не обращал. Я между тем каждый день с удовольствием пил чай, отмачивая при этом в своей кружке по кусочку майки.

Через некоторое время лафа закончилась. За меня взялись всерьез. Увидев, что одиночкой меня не возьмешь, начальство перешло к более серьезным методам. Меня решили уморить голодом. Пресечь общак и остановить подогрев ПКТ начальство было не в состоянии. Поэтому меня перевели в другую, специально подготовленную для меня камеру. С одной стороны от нее был кумовский кабинет — камера для бесед и допросов, а с другой сделали каптерку с эковскими вещами. У меня не стало соседей, меня отсекли от всех остальных.

Положение ухудшилось, но еще не стало катастрофичным. Каждый день всех зэков ПКТ выводили на получасовую прогулку. Прогулочных двориков было меньше, чем камер, и ПКТ гуляло в две смены. Я, к счастью, попадал во вторую. Уходя с прогулки, зэки из первой смены оставляли мне за дверью верхнего коридора пакет с продуктами. Я, возвращаясь с прогулки, его забирал. Так продолжалось довольно долго.

Как-то раз, когда первая смена уже ушла с прогулки, а вторая еще не пришла, мент поднялся наверх. То ли он что-то забыл, то ли что-то заподозрил. За дверью стоял пакетик с продуктами. Поднялся шухер. Прибежали кум, ДПНК, пидор-Быков, еще кто-то. Им бы, дуракам, подождать чуть-чуть и взять меня с поличным, но они не умеют так далеко рассчитывать и реагируют на всякую крамолу мгновенно, как сторожевые псы. Впрочем, догадаться, кому предназначался пакетик, было нетрудно.

Отменить прогулки в качестве наказания было нельзя. Однако в штрафном изоляторе прогулки не положены. На следующий день мне дали 15 суток ШИЗО по какому-то вздорному поводу, каких для каждого зэка можно сыскать по десятку в день. Я остался в той же камере, но у меня забрали бумагу, письма, книги, шахматы, теплую одежду и перестали выдавать на ночь матрас, подушку и одеяло. Превратить ПКТ в ШИЗО — плевое дело. Но самое главное — карцерная норма питания и отсутствие прогулок. Я оказался в полной изоляции от остального ПКТ.

Началась борьба за выживание. Одна пятнашка следовала за другой. Через три пятнашки зэка положено освобождать хотя бы на сутки, но об этом никто даже не вспомнил. Ежедневно 450 граммов хлеба. День — лётный, день — нелётный. В нелётный день утром дают миску жиденькой кашицы, которая едва закрывает дно, в обед — миску горячей воды, в которой плавает горстка крупы. В лётный день ничего не получаешь, пролетаешь, как фанера над Парижем.

Пацаны-уголовники пытались заплатить надзирателям, чтобы подогреть меня, но те категорически отказывались — офицерское начальство внушило им, что это нестандартная

ситуация, и прапорщикам под страхом трибунала было запрещено делать мне какие-либо поблажки. Прапора были настолько запуганы, что даже денег не брали.

Иногда во время раздачи баланды контролер куда-то отлучался или играл в карты с другими надзирателями, и тогда баландер-уголовник молча протягивал мне одну-две лишние пайки хлеба. Но случалось такое нечасто. Не потому, что хлеба не было, а потому, что надзиратель был. Потом этот баландер освободился и на его место пришел новый — политический.

Литовец Витаутас Абрутис сидел за национальный флаг. В Литве частенько поднимали на зданиях довоенные государственные флаги и всегда за это кого-нибудь сажали. Абрутис получил 2,5 года по той же статье, что и я (только литовской), и попал в наш лагерь. А здесь неведомыми мне путями стал баландером.

В первый же раз, когда рядом не оказалось надзирателя, я попросил у Абрутиса хлеба. Его всегда приносили в ПКТ с избытком. Абрутис не стал врать, что у него нет лишней пайки или что надзиратель где-то поблизости. Этот политзаключенный ответил мне предельно вежливо и лаконично: «Не положено». Я опешил и даже не сразу нашелся что сказать. Но, уже очухавшись от шока, я популярно объяснил ему, кому здесь что положено, что вообще на кого кладут и кто есть кто в этом запроволочном мире. Эмоциональная речь моя была насыщена эпитетами, сравнениями и нешуточными обещаниями. Из ближайших камер начали интересоваться, что случилось. Прибежал надзиратель и пообещал составить рапорт на меня. Он и составил его потом, и мне к моим нескончаемым суткам добавили еще пятнадцать.

К слову сказать, в лагере был еще один политический — Володя Богородский. Это был молодой парень, одесский еврей, который очень хотел уехать в Израиль. Его не выпускали. Тогда он решил выбираться из Союза самостоятельно и перешел границу в том месте, которое ему показалось для этого самым подходящим. Это была граница с Китаем. Не знаю, как он рассчитывал попасть в Землю обетованную, но от китайцев он требовал только одного: отвести его в американское

посольство, где он намеревался попросить политическое убежище. Разумеется, китайские коммунисты были ничем не лучше советских, и в американское посольство его не отвели. Из страны его не выпускали. У него был выбор: либо вернуться в Советский Союз под конвоем, либо работать на китайцев. Он выбрал последнее. Его поселили в Шанхае, где он стал преподавать в университете русский язык. Знал он его так себе, на разговорном уровне, но китайцев это устраивало. Три года он проработал в Шанхае, а потом между КНР и СССР случилось потепление отношений. Володю привезли на советско-китайскую границу и передали нашим пограничникам. Отделался Богородский легко. Ему бы запросто могли впать десятку за «измену родине», но по каким-то своим соображениям ограничились «незаконным переходом границы». Он получил три года и отсидел их полностью.

Помочь Володя мне никак не мог. Никакой связи с зоной у меня не было. Придумать самому что-нибудь для спасения в этом каменном мешке было невозможно. Я бы, наверное, и не выкарабкался из этой передраги, если бы судьба не послала мне спасение в виде прапорщика Володи Суреля. Это был беззлобный, неторопливый, флегматичный надзиратель, который подписал контракт после срочной службы и был в этой системе уже лет пять или шесть. Дежурил он, как и все надзиратели, через три дня на четвертый. Вечером, когда поблизости не было других контролеров или баландера Абрутиса, он открывал кормушку моей камеры и молча клал в нее буханку хлеба. В моем положении это был царский подогрев. Ни слова не произносилось ни с его, ни с моей стороны. Никто в тюрьме не знал об этом. К сожалению, это случалось не в каждое его дежурство. Но даже то, что было, стало весомой добавкой к моему скудному рациону.

Между тем при таком питании долго протянуть было невозможно. Я понимал, что прогноз — самый неутешительный. Я ввел режим строгой экономии собственной энергии. Отменил ходьбу по камере. Старался меньше двигаться, больше лежать. Все силы — только на поддержание минимального уровня жизнедеятельности. Протянуть как можно дольше, чтобы не допустить необратимых изменений в организме.

Все было бесполезно. Килограммы веса стремительно уходили, и уже через два месяца я был похож на скелет, обтянутый кожей. На середине икр и плеч я без труда смыкал большой палец руки со средним. На третьем месяце началась цинга — появились ломящие боли в ногах, стали кровоточить десны и шататься зубы. Мне нужен был витамин С, но ни к приходящей в ПКТ медсестре, ни тем более к врачу в санчасть меня не выводили. Тогда я попросил Суреля принести мне аскорбиновую кислоту, и он купил ее в вольной аптеке и принес.

Как странно устроена жизнь — «политический» баландер равнодушно давал мне подышать с голоду, а надзиратель спасал от голода и цинги. Уже гораздо позже прапорщик Сурель рассказал мне, что в Свердловске сидит под расстрельной статьей его брат. Володе казалось, что, помогая мне, он каким-то мистическим образом защищает брата. «Может, ему тоже кто-то поможет», — говорил он.

Живший еще тогда в моей камере Мишка, вероятно, тоже рассчитывал на помощь. Он суетился вокруг своей тряпки, поглядывая на меня выжидательно, но мышинная халява кончилась. Крошки я ему больше не давал. Пайку хлеба я ел на аккуратно расстеленном чистом носовом платке так, чтобы ни одна крошечка не пропала. Потом с платка все отправлялось в рот.

Через некоторое время я начал поглядывать на тараканов, которых в камере было в изобилии. Но это сколько же их надо съесть, чтоб была хоть какая-нибудь польза? Да и что там — в основном хитиновый покров: можно похрустеть, но вряд ли наешься.

С тараканов мои мысли плавно перенеслись на Мишку. Съесть прирученного мышонка казалось мне почти предательством. Я решил, что сделаю это только в самом крайнем случае.

Много лет спустя знаменитый китайский диссидент Гарри Ву рассказывал мне, как в голодной китайской тюрьме он со своими товарищами ловил и ел крыс и мышей. Ловил, убивал и ел сырыми. Я очень хорошо его понимаю. Разумеется, все это выглядит не очень элегантно, но насто-

ящий голод заставляет забыть об изысканной кухне и видеть во всем живом только пищу, которая может продлить твою жизнь.

На четвертый месяц у меня начались голодные галлюцинации. Это было что-то среднее между сном и явью. Я перестал их достоверно различать. Я всегда спал на верхних нарах, потому что наверху теплее. Проснувшись как-то утром (а может, и не проснувшись), я поглядел вниз и увидел, что стол весь уставлен необыкновенными яствами. Чего там только не было! «Этого не может быть, — сказал я сам себе. — Я же не сплю, я не псих, я в тюрьме, а значит, этого не может быть». Тем не менее это было. Я быстро спрыгнул на нижнюю шконку, и в этот момент все на столе исчезло. После этого, лежа наверху, я отворачивался к стенке и старался на стол не смотреть.

Тогда же мне пришла в голову мысль, что всех изучающих поварское дело надо помещать в голодные условия — какая кулинарная фантазия просыпается в такие дни! Какие невероятные блюда я изобретал тогда, смешивая ингредиенты самых разнообразных продуктов и ощущая сочетания необычайных вкусов на своем языке!

После ста десяти дней карцера меня вызвал на беседу заместитель начальника колонии по политико-воспитательной работе. Он говорил со мной в соседней камере, той, что предназначалась для бесед и была для меня одной из полос отчуждения от остального мира. Некоторое время он с деловым видом листал мое личное дело, как будто не знал заранее, с кем и о чем он будет говорить. До чего же они все одинаковы в своей важной многозначительности и непроходимой глупости, думал я, глядя на него.

Наконец, отвлекшись от бумаг, он задал самый умный вопрос, на который был способен:

- Сколько вы уже в ШИЗО?
- Вчера было сто десять суток.
- И как вам здесь?

— Нормально, гражданин начальник, — отвечал я, помня, что ни при каких условиях нельзя показывать слабость, чтобы не спровоцировать их на еще больший прессинг.

— Столько у нас еще никто не сидел, — задумчиво констатировал замполит.

— Как освобожусь, непременно постараюсь записаться в Книгу рекордов Гиннеса, — пошутил я.

— Слушайте, — доверительным тоном начал замполит, — если вы не хотите остаться здесь навсегда, вам надо встать на путь исправления.

— Вступить в СВП, нацепить красную повязку и стучать на остальных?

— Нет, речь не об этом, — вздохнул офицер. — Вам надо исправиться по-настоящему. Вы должны пересмотреть отношение к своему уголовному делу и сделать соответствующие выводы.

— Поэтому вы меня четвертый месяц держите в карцере?

Замполит ничего не ответил, но неопределенно развел руками, как бы давая понять, что ничего другого им не остается.

— Ну, так что вы мне ответите? — спросил он после некоторого молчания.

— Ничего, — ответил я. — Ничего вам не отвечу.

— Тогда сидите и дальше, — разочарованно сказал замполит и позвал корпусного, чтобы меня вернули в камеру.

Так вот что им надо, думал я, вернувшись в свою камеру, — полноценное раскаяние. Придурки! Даже в КГБ об этом никто не помышлял, а это местное дубье возомнило, что я у них в руках! Во мне медленно закипала злоба и обида на то, что судьба свела меня с таким тупым противником.

Потратив много сил на разговор и эмоции, я заснул, сидя на полу у батареи, и проснулся только к вечеру. Тюрьма жила своей жизнью. Где-то гремел черпаками баландер, о чем-то матерились в своей дежурке контролеры, перекрикивались из камеры в камеру зэки. Я вдруг увидел всю тюрьму и самого себя как бы со стороны и подумал, что это не самое худшее место, где может закончиться жизнь. Я не уступлю ментам, это было бы слишком унижительно. Они отняли у меня всё, что могли, — свободу, семью, работу, друзей, одежду, пищу, здоровье. И вот теперь — надежду. Они меня отсюда не выпустят. Но и своего они тоже не добьются. Что они могут

сделать с человеком, у которого уже нечего отнять? Ничего! Если смириться с тем, что они заберут жизнь, то станешь совершенно свободным.

В тот вечер я смирился со смертью. Я вскарабкался на самую высокую ступень своей свободы, и мир вокруг меня резко и неузнаваемо изменился. Я перестал думать о еде, и острое чувство голода постепенно отступило. Перестав цепляться за жизнь, я внутренне успокоился. Это было необыкновенное состояние — спокойствия, отрешенности и внутреннего торжества.

Свою победу я праздновал недолго. Они как будто поняли бесполезность своих усилий. Через четыре дня меня снова перевели на режим ПКТ. Жизнь внезапно вернулась. 115 суток карцера смирили меня с неизбежностью, но не отбили вкус к жизни.

Холод

Из трех средств борьбы с зэком, холода, голода и одиночества, самое сильное — холод. Одиночество можно пересилить, к голоду можно привыкнуть. К холоду привыкнуть нельзя.

В Якутии большая часть года — зима. Реки освобождаются ото льда в мае, первый снег выпадает в сентябре — октябре. Якутск — это, конечно, не Оймякон или Верхоянск, но и здесь зимой до -50 не редкость. В первый же день в лагере я убедился в этом. Пока шел от карантинного барака до столовой, минут пять, не больше, я успел отморозить себе правое ухо так, что оно до сих пор на морозе побаливает. Однако в бараке на зоне можно согреться многими способами, а в ПКТ это непросто.

Чем меньше в камере народу, тем холоднее. Это еще один минус одиночки. По закону в любом зэковском жилище должно быть не ниже $+18$ градусов. Пар изо рта идет в камере обычно при $12-13$ градусах. В таких случаях мы требовали измерить температуру. Приходил какой-нибудь важный мент с термометром, клал его на стол и ждал минут

пять. Потом торжественно показывал всем, что на термометре +18. Этот чудо-градусник можно было нагревать на спичке или положить в снег — он все равно показывал +18. Не знаю, как ментам удавалось добиться от термометра такого постоянства, но удивительные свойства дрессированного градусника они использовали в полной мере. Доказать, что в камере слишком холодно, было нечем, да и некому. Приходилось мерзнуть.

Отопление в камерах было очень простое. Батарея представляла собой толстую трубу диаметром примерно 15 сантиметров и длиной в метр. По ней текла иногда горячая, а чаще чуть теплая вода. Все зависело от котельной. Если кочегар топил хорошо, то труба была горячеей. Но обычно кочегар, тоже из эзков, топил плохо. Как и всё в этой стране, уголь был дефицитом, и его вполне можно было продать на сторону при посредничестве тех же ментов. Когда кочегар уж слишком борзел, ребята отлавливали его в зоне и молотили, после чего труба некоторое время снова была горячеей.

У меня с этой трубой сложились непростые отношения. Моя горячая любовь и искренняя привязанность к ней наткнулись на ее холодность и равнодушие к моему бедственному положению. Я обнимал ее со всех сторон, пытаюсь закрыть своим телом каждый сантиметр ее железной поверхности. Но труба была хоть и короткая, но очень круглая, неудобная и своенравная. Она никак не хотела отдаться мне целиком. Какие только замысловатые позы я не изобретал, чтобы вынудить ее отдать все свое тепло именно мне, а не безнадежно остывшему воздуху камеры! Сварливость этого чуда инженерной мысли не поддается описанию. До самого ее интимного места, скрытого от глаз и обращенного к стене, мне так и не удалось добраться. Даже сбросив вес до сорока с лишним килограммов, я не мог протиснуться между стеной и трубой. Мне так и не удалось встрять между ними и пришлось смириться, что труба греет не только меня, но и враждебную мне тюремную стену.

Памятуя о том, что клин вышибают клином, я, сидя в ПКТ, устраивал водные процедуры. Сразу после подъема, какая бы ни была погода за окном или в камере, я раздевался

догола и обливался холодной водой из-под крана, а затем растирался полотенцем. Это очень бодрило.

Холод шел в камеру из окна. На окне была решетка, а за окном намордник — металлический щит, который закрывал камеру от света, но не от холодного воздуха. Стекла в окне не было. Стекло — оружие зэка. Стекло можно выбить и порезать им себе вены или кому-нибудь горло. Поэтому стекло здесь не было, кажется, никогда. Ради безопасности зэков начальство готово было их заморозить. Это и понятно: за порезанного зэка у начальства будут неприятности в виде плохих показателей по режиму, а за замерзшего ничего не будет. Разумеется, было сто других способов порезать себе вены или, кому надо, горло. Но на это начальство внимания не обращало.

Занавешивать окно тряпками было запрещено. Неизвестно почему, но «не положено». Между тем горячее дыхание зэков в общей камере по всем законам физики устремлялось к холодному окну, и пар на заледенелых решетках превращался в иней и сосульки. Они нарастали и постепенно закрывали оконный проем. Какой-нибудь особо злобный надзиратель или вставший утром не с той ноги офицер иногда разбивал лед на окошках, мстительно радуясь восстановлению неизвестно кем придуманных правил. Но в общих камерах наледь на окне нарастала быстро.

В одиночке надышать на окно так, чтобы оно полностью закрылось, было трудно. Я придумал выщипывать вату из матраса, каждую щепотку старался максимально распушить, клал на решетку окна и брызгал на нее водой. Вода моментально превращалась в лед, а вата играла роль арматуры. За полчаса я без труда мог законопатить все окно льдом, а потом еще усердно брызгал на него водой, чтобы не было видно ваты. Иногда окно изнутри немного подтаивало, и тогда я опять добавлял туда ваты и воды.

Матрас постепенно худел, спать на нем становилось все жестче. Тогда я начинал скандалить с надзирателями, что матрас мне выдали совсем худой, и требовал заменить его на приличный. Менты удивлялись, что матрас худеет одновременно со мной, но, поскольку в зоне было собственное ма-

трасное производство, мне все же приносили новенький матрас, туго набитый восхитительной серой ватой. Зэки на швейке всегда имели в запасе специально для ПКТ несколько особо тщательно сделанных и туго набитых матрасов. После этого жизнь моя проходила в мучительной борьбе между желаниями спать в тепле и спать на мягком.

Выручало теплое нижнее белье, которое мне прислали еще в ссылку через Москву откуда-то из Скандинавии. Но более всего меня радовали теплые носки. И не потому, что, как говорил нам в детстве папа, «ноги должны быть в тепле, а голова в холоде». Насчет головы я бы с ним теперь поспорил. Может, и не стоит ей быть в холоде, особенно когда она острижена наголо. Но носки радовали меня совсем по-другому.

Когда все постепенно привыкли, что я всегда сижу в одиночке, менты несколько осмелели и перестали шараться от моей камеры. Они даже начали брать для меня грев из других камер. Как-то с очередным десантом в ПКТ пришли общаковые продукты и одежда. Я попросил у ребят теплые носки, потому что постоянно мерзли ноги. Вечером мент передал мне продукты и кое-что из одежды. Каково же было мое удивление, когда из майдана с продуктами и одеждой я достал свои собственные носки! Те самые, толстые и зеленые, которые я скрепя сердце отдал на общак, как только приехал в лагерь. Они вернулись ко мне в самый нужный момент, слегка поношенные, но постиранные и чистые. Это было чудо! Это было внушительное напоминание, что никогда не надо жалеть на общак и что жлобство наказывается, а щедрость вознаграждается.

В ПКТ худо-бедно можно было бороться с холодом. Хуже было в ШИЗО. Мало того что там не выдавали матрасов, так еще и отнимали всю теплую одежду, оставляя только трусы, майку и легкую хлопчатобумажную зэковскую робу. Неделю или две было еще терпимо, но когда счет моего одиночного ШИЗО пошел на месяцы, стало совсем худо. Надо было больше двигаться, но при убийственном моем питании на это не было сил. Днями напролет я жался к трубе отопления, натягивая на голову зэковскую куртку и усиленно дыша

в этой норке. Я вспоминал, что медведи, прежде чем впасть в зимнюю спячку, долго дышат в свою берлогу, повышая в ней таким образом содержание углекислого газа, что позволяет им легче заснуть до весны.

Я, конечно, в спячку не впадал, но сонливость меня одолевала. Голод и холод — гремучая и опасная для жизни смесь. Я слабел, и меня все время клонило в сон.

СНЫ

На воле сон — вторая жизнь. В тюрьме — первая. На воле с радостью просыпаешься, потому что тебя ждет новый день и новые события. В тюрьме с радостью засыпаешь, потому что тебя ждут сновидения. В тусклой, бесцветной камере, исхоженной вдоль и поперек, ты знаешь каждую трещинку в стене, знаешь, что ничего нового в твоей тюремной жизни не случится — ни сегодня, ни завтра, ни через месяц. Иное дело сон — неожиданные сюжеты, движение, люди, переживания, яркие краски. Да, в тюрьме я чаще всего видел именно цветные сны — и ни разу о тюрьме, только о воле.

Со временем сны стали повторяться. Я узнавал знакомые места — знакомые не по жизни, а по прошлым сновидениям. Я уже знал, что будет за поворотом или что мне откроется с высоты птичьего полета. Я часто летал во сне. Я вырывался из плена земного тяготения и торжествовал — никакой погоне не угнаться за мной. Иногда так и было: я бежал, за мной гнались и уже почти догоняли, но я вытягивал руки вперед, сильно отталкивался от земли и улетал на свободу.

Сон в одиночной камере имел свою особенность. Я никогда не засыпал до конца, не вырубался. Какая-то часть сознания всегда бодрствовала и контролировала ситуацию. Пока бóльшая часть моего «я» спала, наслаждаясь ночной свободой, малая его часть, верный сторож, оберегала от опасностей. Вот громыхнула дальняя дверь на входе в ПКТ, отмечал мой сторож; вот лязгнул замок первой решетки, а вот и второй. Сторож напрягался, готовясь вытянуть меня из сновидений. Вот тихие шаги корпусного и сменного контро-

лера — это уже опасно, и, наконец, тихий шелест поднимаемых глазков в соседних камерах — это тревога, и мой верный сторож вырывает меня из сладкого мира сновидений, чтобы я боролся за выживание. К тому моменту, когда поднимается шторка глазка моей камеры, я уже почти не сплю, я наполовину снова в реальной жизни и быстро вспоминаю, чего мне следует опасаться, что надо прятать, как себя вести. Я лежу неподвижно, не подавая вида, что проснулся. Я готов ко всему, но надзирателям надо всего лишь поглядеть, все ли в камере в порядке, не сбежал ли я, не повесился ли. И если я целиком забрался под одеяло и меня не видно, то они будут стучать в дверь и будить меня, пока не убедятся, что под одеялом зэк, а не набитый тряпками муляж. Поэтому за секунду до того, как они посмотрят в глазок, я кладу ногу или руку поверх одеяла, чтобы они своим шумом не спугнули остатки моего сна.

Я снова засыпаю, и эти утренние сны — время поиска и экспериментов. Большая часть сознания снова погружается в сон, а меньшая продолжает отслеживать тюремную жизнь. Я балансирую между сном и явью, готовый по обстоятельствам или окончательно проснуться, или заснуть еще глубже. Мое сознание дремлет, а воля бодрствует, выбирая мне лучшую линию поведения. В таком странном состоянии я научился управлять снами.

Как я уже говорил, сны часто повторялись. Волевой частью рассудка я приноровился населять сны нужными мне персонажами и создавать нужные ситуации. Я встречался с друзьями и расправлялся с недругами, загорал на берегу моря и бросался в свободный полет с горных вершин или с балкона на четвертом этаже нашего дома в Электростали. И чего только в моих сновидениях не было! Разумеется, эротика составляла существенную часть индуцированных сновидений. Да что там эротика! Это была самая разнузданная порнография. В монотонной тюремной жизни это было таким разнообразием!

Поначалу было трудно поддерживать необходимый баланс. Слишком сильный контроль над сном вел к окончательному пробуждению, утрата контроля — к обычному сну, бо-

лее глубокому, но не такому интересному. Иногда сон вырывался из моих рук и начинал жить своей жизнью — я уже ничего не мог с этим поделать. Иногда попытки направить его в нужное русло встречали неожиданное сопротивление, я злился, раздражался и просыпался. Однако постепенно я научился пребывать в золотой середине. Весь день я предвкушал наступление вечера, когда можно будет опустить нары и лечь спать. Тюремные сны — это яркая, полная необычайных событий и приключений жизнь. Я был творцом этой жизни, единственным ее участником и зрителем.

Обдумывая всевозможные варианты управления сном, я вспомнил роман Джека Лондона «Странник по звездам». Я завидовал умению узника Сан-Квентинской тюрьмы, находясь в смиренной рубашке, покидать собственное тело. Конечно, это всего лишь роман, но я пробовал сделать то же самое, когда был в пограничном состоянии между сном и явью. Ничего не получалось. Однажды ненавидевший меня заместитель начальника лагеря подполковник Гавриленко распорядился надеть на меня смиренную рубашку. Я даже немного обрадовался этому — сейчас попробую отключиться. Однако врач, которая обязательно осматривала эков перед такой экзекуцией, посмотрев на меня и не найдя ничего, кроме кожи и костей, разрешения на смиренную рубашку не дала. Зачем ей лишние проблемы в случае летального исхода?

В ПКТ я оценил пытку бессонницей. Нет, меня не пытали специально, просто днем не разрешалось спать. От постоянного голода и холода все время клонило в сон. Организм требовал беречь силы, и спорить с ним было бесполезно. Я садился за привинченный к полу стол, клал голову на руки и засыпал. Надзиратели заглядывали через глазок и кричали: «Подрывник, кому спишь?» Я просыпался и, не поднимая головы, отвечал, что вовсе не сплю. Дальше следовала обычная перепалка, в которой я доказывал, что если я опустил голову на руки, то это вовсе не означает, что я сплю. Сидеть, опустив голову на руки, правила внутреннего распорядка не запрещают. Тем не менее раза два меня сажали за это в ШИЗО, но постепенно я приучил их к тому, что сижу днем в такой позе.

Хуже, чем надзиратели, была развившаяся у меня в это время болезнь. Вслед за цингой от хронического недоедания у меня начались приступы миоплегии. Это довольно редкое заболевание провоцируется нарушением водно-солевого обмена и проявляется в виде внезапного приступа обездвиженности во время пробуждения от сна. Все мышцы парализованы, невозможно ни шевельнуться, ни открыть глаза, ни сказать что-либо. Каждый раз меня охватывал панический ужас. Трудно сказать, сколько длится такое состояние. Вероятно, около минуты, но время останавливается и растягивается в вечность. Ты прикладываешь титанические усилия, чтобы шевельнуть мизинцем, и кажется, что проходят часы, прежде чем удастся избавиться от плена обездвиженности. Еще двадцать лет после тюрьмы меня мучил этот недуг, но затем постепенно отступил.

О снах осталось сказать немного. Зэки ухитряются спать в любой обстановке. В первые недели моего пребывания в лагере меня, как и многих других, выводили на работу в промзону. Было семь утра, хотелось есть и спать, сорокаградусный мороз покалывал щеки и забирался под телогрейку. Идти надо было колонной, по пять человек в шеренге. Путь от барака до вахты недолгий, минут пять-семь, но, чувствуя плечи соседей по бокам, я ухитрялся поспать. Не слишком качественно, но все же мозг отключался, пока ноги шагали.

Тюремные сны снятся мне до сих пор. Не очень часто, но иногда я все же возвращаюсь в знакомый мир, отчасти мной и придуманный. Знакомые места, испытанные ситуации. Краешком сознания я понимаю, что я на воле, и в то же время знаю, что в любой момент могу выйти из сна, если вдруг лягнет металлическая дверь в коридоре или зашелестит шторка глазка соседней камеры.

Еще одна минута слабости

Ничего не добившись голодом, холодом и одиночкой, лагерное начальство перешло к другим методам. Это сейчас, тридцать лет спустя, я понимаю, в чем состоял их план и как они

его осуществляли. А тогда я ждал удара с любой стороны и вовсе не понимал, что за чем последует. Будут они изощряться по-новому или повторять испробованное? К чему готовиться? И, главное, как?

На воле всегда можно было обставить КГБ, потому что инициатива была в моих руках, мой шаг был первым, а им оставалось только реагировать. В тюрьме все наоборот. Инициатива принадлежала только им. Мои возможности были во всех отношениях ограничены. Я много размышлял о том, как бы обогнать их в скорости принятия решений, но ничего не придумал. Кроме мелких бытовых проблем, решать было просто нечего.

Лагерное начальство между тем не оставляло надежд воздействовать на меня через семью. Это были довольно наивные попытки.

После 115 суток карцера я наслаждался маленькими преимуществами ПКТ: матрас с одеялом, ежедневная горячая банда, получасовые прогулки во двореке на крыше. На первой же прогулке я чуть не опьянел от свежего воздуха.

По субботам меня снова начали выводить в баню. После четырех месяцев нечистой жизни я смог наконец помыться горячей водой. В баню была переоборудована обычная камера в конце коридора. В ней не было шканок, стола и скамеек, но был слив в бетонном полу и кран горячей воды вдобавок к холодной. Вот и вся баня. Но каким блаженством было почувствовать себя чистым и потом переодеться в постиранное и высушенное белье! Двадцать минут давалось на помывку, и это было прекрасно. Нет, по-настоящему удовольствия начинаешь ценить только после того, как их однажды потеряешь.

Месяца два прошли спокойно, и я даже решил, что, возможно, почувствовав свою беспомощность, начальство отстало от меня. Но не тут-то было. Ко мне подселили сокамерника.

Это был зэк с зоны, из отряда хозяйственно-лагерной obsługi, — крепкий парень лет двадцати, с немного затравленным, как у всех хлошников, взглядом. Дали ему два месяца ПКТ за какую-то ерунду. Я насторожился. Ни с того ни с сего ко мне в камеру никого не посадят. Что-то затевается.

В тот же вечер мне подкричали из других камер, что мой новый сосед — кумовский и красноповязочник. Многие знали его как стукача. Сидеть с ним в одной камере было нельзя. Уходить из камеры — тоже. Тюремные законы не позволяют бежать в таких случаях — «зэк с хаты не ломится». И это правильно, потому что, начав бежать, не остановишься, а дальше запретки не убежишь. Нельзя позволять себя травить. Ребята посоветовали мне гнать его из камеры.

Я бы мог пренебречь тюремным законом и советом уголовников — мне бы никто ничего не предъявил, понимая, что в таком физическом состоянии справиться со стукачом мне будет нелегко. К тому же я всегда мог сослаться на правила своей масти. Но я почувствовал опасность. Я не мог тогда ясно ее сформулировать, но интуиция подсказывала, что от сокамерника надо избавляться. То, что выгодно администрации, невыгодно мне. (Только некоторое время спустя я понял простой кумовский расчет: им был нужен не осведомитель в моей камере, а провокатор, который поможет собрать на меня материал по устным высказываниям, порочащим советский строй. Проговорился мне позже об этом по пьянке и один из надзирателей: «Тебя с помощью этого сучонка хотели раскрутить по новой».)

В первый же вечер я сказал сокамернику, что он может переночевать здесь одну ночь, а на утренней проверке пусть ломится с хаты. Он не стал спорить. Физически он бы мог меня раздавить, но в тюрьме физическая сила мало что значит. Наоборот, мой истощенный вид был мне на пользу — как визитная карточка несломленного зэка.

Однако стукач слукавил и отнесся к моему требованию формально. На утренней проверке, как только открылась дверь камеры, он, схватив свой майдан, шагнул навстречу разводящему.

— Переведите меня в другую камеру.

— Почему? — спросил ДПНК.

— Я не хочу здесь сидеть.

— Что еще за «хочу — не хочу», — возмутился дежурный офицер. — Ты в тюрьме, и мне наср..., чего ты хочешь, а чего не хочешь.

— Может быть, тебя здесь обижают? — вкрадчиво спросил один из прапорщиков, искоса поглядывая на меня.

— Что здесь случилось? — спросил у меня офицер.

Я молча пожал плечами.

— Значит так, если тебя здесь обижают, попроси у дежурного бумагу с ручкой и напиши заявление, — постановил ДПНК. — А если нет, так сиди, твою мать, и не дергайся.

Дверь камеры с грохотом закрылась.

Стукач сел на лавку, как бы смирившись с тем, что выломиться из хаты не получилось.

«Нет, так дело не пойдет», — подумал я.

Странная сложилась ситуация. Я не питал к нему личной неприязни, как, видимо, и он ко мне. Он отработывал сотрудничество с кумом, я — защищался. Ничего личного. Но победитель в этом поединке мог быть только один. На войне как на войне!

Речь моя была короткой. Я напомнил ему, что бывает с теми, кто попал не в свою камеру. Я объяснил ему, что никакой поддержки от кума он не получит: это ПКТ, а не штаб колонии. Если он не выломится из моей хаты до вечера, то ночью его ждут веселые приключения. На этот раз он всё понял и не стал мешкать.

Он стучал в дверь не переставая. Сначала прибежали прапорщики, потом корпусной, а он все колотил и колотил в железную дверь. На этот раз он действительно хотел выбраться из камеры. Потом снова пришел ДПНК, и моего соседа вывели. Я с облегчением вздохнул.

Надо отдать этому парню должное — он не написал на меня заявление. С другой стороны, я его и пальцем не тронул. Все ограничилось внушением. Однако затея начальства провалилась, и надо было готовиться к последствиям.

Они не заставили себя ждать. Подполковник Гавриленко был в ярости. Он прибежал в ПКТ и потребовал вывести меня в дежурку. Там уже были ДПНК и все контролеры смены. С зоны пришел прапорщик Милованов по кличке Магадан. Это было накачанное свинообразное существо весом за сто килограммов, тупое, румяное и злобное. Он плохо ладил даже с остальными прапорщиками, уж не говоря о зэках. На-

чальство его очень ценило за садизм. Его всегда звали, когда надо было кого-нибудь избить или надеть смирительную рубашку. Он выполнял эти поручения с удовольствием, проявляя максимум изобретательности. Появление Магадана не предвещало ничего хорошего.

— Вот, блатует наш политический, выбирает, с кем ему сидеть, а с кем нет, — как бы пожаловался Гавриленко Магадану. — Порадуй-ка его браслетиками, как ты это умеешь.

Магадан довольно улыбнулся. Два прапорщика молча схватили меня за руки, а Магадан надел на них наручники. Но не на запястья, как обычно при конвоировании, а на середину предплечий. И не просто надел, а изо всей силы сжал кольца наручников своими ручищами. И закрыл наручники ключами. От боли у меня перед глазами заходили яркие круги.

«Не жмет?» — участливо осведомился у меня Магадан. Я молчал, стараясь не кривиться от боли. «По-моему, здесь слишком свободно», — пробормотал Магадан, недовольный моим молчанием, и, положив мои руки на стол, придавил клещи наручников на правой руке еще и сапогом. После этого меня завели в бокс рядом с дежуркой.

Сказать, что боль была невыносимой, — ничего не сказать. Сталь наручников впивалась в руки так, что уже через пять минут я мечтал, чтобы мне ампутировали руки вместе с убийственной болью. Вены были пережаты, отток крови прекратился, и руки начали отекать. Через десять минут они стали багровыми, и боль стала еще сильнее. Попытки подлезть под кольца наручников и хотя бы чуть-чуть сдвинуть их в сторону ничего не дали — Магадан свое дело знал.

Вскоре появился и он сам. Открыв глазок, он долго смотрел на мои мучения, а потом сказал: «Когда надоест сидеть в наручниках, попроси вернуть парня в камеру».

Говорят, надетые так наручники не держат больше двух часов. Вроде есть приказ на этот счет. Это правильно, потому что как раз через два часа начнется некроз тканей и руки можно выкидывать. Но как выдержать хотя бы час, когда каждая секунда кажется вечностью?

Я начал вспоминать что-то о теории доминанты Ухтомского из нейрофизиологии: надо создать такой сильный очаг

возбуждения, который подавил бы уже имеющийся. Но что может быть сильнее боли? Я пытался представить себе что-нибудь ужасное, что хотя бы немного отвлекло меня от наручников. Ничего не получалось. Все мысли неизбежно соскальзывали к клещам, впившимся мне в руки. Пальцы уже ничего не чувствовали, и зона онемения постепенно поднималась выше. «Но если я перестаю чувствовать, откуда же берется такая страшная боль?» — негодовал я. И сам же находил ответ: «Я ничего не чувствую снаружи, а боль идет изнутри».

Я взмок. Пот падал с лица на побагровевшие руки. Я смотрел на капли, падающие на ставшие мне чужими онемевшие кисти и пальцы, и думал, что, может быть, и не стоила вся моя деятельность на воле этих ужасных минут. Да и черт бы с ними, с правами человека! Невыносимо. Пусть все живут, как хотят, и я тоже, но только не эта пытка.

Это были даже не размышления, а обрывки мыслей, вопли сознания, подчиненного разрывающей боли. Господи, думал я, останови это. Разве ты не видишь, как мне плохо?

Позвать стукача обратно в камеру? Надо только постучать в дверь и сказать ментам, что согласен. Какое искушение. Наручники сразу снимут, и боли не будет.

А что потом? Потом будет еще хуже. Если они сейчас меня сломают, то потом насыдут так, что все, что было прежде, покажется цветочками. Нет, сдаваться нельзя. Я не буду сам себе рыть могилу. Надо терпеть. Надо абстрагироваться от боли. Это не мои руки. Это не мое тело. Они сами по себе, я — сам по себе. И нельзя показывать слабость. Надо повернуться спиной к глазку, чтобы они меня не видели. А еще лучше — улыбаться.

От этой странной мысли мне стало легче. Если я улыбаюсь, значит, мне хорошо. Может, мне удастся обмануть даже самого себя.

В глазок опять кто-то заглянул. Наверное, Магадан или Гавриленко. Я повернулся лицом к двери и изо всех сил улыбнулся. Выглядело это, наверное, дико, но мне сразу полегчало. Я смеюсь над ними. Я могу терпеть боль. Нет, в глубине души я знаю, что не могу, но они-то этого не знают.

Я запутался в рассуждениях. Голова гудела. На меня навалилась слабость. Я сел на пол, стараясь не смотреть на руки. Я просижу здесь положенные мне два часа. А может, и больше. Спасения все равно ждать неоткуда. Его не будет. Жаль руки.

Не сказать, что я успокоился, но как-то увял. Сил сопротивляться боли уже не было. Я закрыл глаза. В этот момент лязгнул дверной запор и дверь открылась. Кто-то снял с меня наручники, затем меня отвели в камеру.

Боль отступила сразу. Скоро я пришел в себя, и мне стало стыдно за минуту слабости: стоила ли моя предыдущая жизнь этой пытки? Конечно, стоила! Боль приходит и уходит, а я остаюсь.

Я просидел в пыточных наручниках сорок минут. Шрамы от них оставались у меня еще много лет. Один след, уже едва заметный, виден до сих пор. Это на правой руке, от наручника, который Магадан придавил сапогом.

Стукачи

Стукачи — бич тюремной жизни. Они как грипп, от которого обществу невозможно избавиться, но все равно надо беречься. Мне они не слишком докучали. Главным образом потому, что большую часть своего срока я провел в одиночке. Тот случай, который закончился для меня пыткой наручниками, был исключительным.

Настоящий разгул стукачества — на «красных» зонах, там, где рулит администрация. Стукачей там некому наказывать, и все стучат друг на друга. Все зарабатывают себе таким способом УДО и «химию». На «черных» зонах, где порядок в зоне обеспечивается воровским законом, стукачам приходится туго. Отвечать им чаще всего приходится собственной жизнью, поэтому желающих нажиться на благополучии товарищей там не так много.

Наша зона не была «красной», но и по-настоящему «черной» я бы ее тоже не назвал. Общий режим, в основном первоходочки, еще не усвоившие хорошо тюремные правила

и традиции. Стукачей время от времени вычисляли и били или опускали, если им не удавалось вовремя ломануться на вахту. После этого они неизбежно попадали в отряд хозобслуги, вступали там в СВП (секцию внутреннего порядка), носили красную повязку на руке, изображали из себя дружинников, сидели в проходных локальных зонах и всячески помогали лагерной администрации. Они зарабатывали условно-досрочное освобождение, которое никаким другим бесплатным путем получить было нельзя. За деньги, разумеется, можно. Но за очень приличные деньги.

Между отрицаловом и сучней в лагере поддерживалось неустойчивое равновесие. Никто по-настоящему не мог взять верх. Лагерное начальство прикладывало все усилия, чтобы зона «покраснела», но вновь приходящие зэки предпочитали в основном воровской закон, который позволял им существовать более независимо и обдуманно. Впрочем, воровской закон — это всего лишь собирательный образ зэковских правил; по нему живут отнюдь не только настоящие воры, которые на самом деле имеют для себя свой, более жесткий свод правил.

Стукачей почти никогда не наказывали без разборок. Вину стукача надо было доказать. Голословных обвинений для этого не хватало. Опустить зэка по голословным обвинениям в стукачестве — это беспредел. За это могли поплатиться и сами судьи. Конечно, уровень разборок везде был разный, но в среднем качество тюремного правосудия было выше государственного. На разборках можно было оправдаться. Правда, случалось это редко, но тому есть объяснение. Обвинение в стукачестве — крайне серьезное для тюрьмы, и мало кто решится на него, не получив заранее надежных доказательств. В противном случае при оправдательном решении обвинителю придется «ответать за базар». Ответать примерно так же, как пришлось бы ответить доказанному стукачу.

Впрочем, идеализировать уголовный мир тоже не следует. Случалось всякое. Оперчасть могла грамотно подставить под разборки мешающего ей человека, сфальсифицировать компромат на авторитета, умно выгородить своего стукача.

Стихийное правосудие — механизм несовершенный. Но все же это лучше, чем вовсе ничего или «красный» беспредел.

В попытках поломать зону администрация шла иногда на рискованные шаги. Она заставляла разоблаченных стукачей, красноповязочников жить или работать среди остальных зэков. Это были отчаянные попытки легализовать их в лагерном сообществе явочным путем, по факту. Зэки воспринимали это как оскорбление и покушение на их права и территорию. Кончались такие затеи плохо.

В том цеху, где я работал несколько дней, таская мешки с цементом, был примерно пятиметровой высоты деревянный мостик с площадкой наверху. Под мостиком была гора цемента, высотой метра в четыре. Того самого цемента, который мы приносили с разгрузки. Его постоянно брали из этой горы для формирования строительных блоков. Отбором цемента руководил кто-нибудь из зэков, стоя на площадке мостика.

В работающую на блоках бригаду зачислили стукача из первого отряда. Не просто какого-нибудь тихушника, бегящего к куму, когда никто не видит, а настоящего патентованного стукача, не скрывавшего своей работы на оперчасть. Жизнь бригады осложнилась. При стукаче никто не рисковал ни договариваться о чем-либо с вольными шоферами, приезжающими за блоками, ни получать контрабанду с воли, ни устраивать какие-либо дела, о которых не должен знать кум.

— Ты бы подыскал себе другую работу, — сказал ему как-то бригадир из зэков. — Чего тебе у нас делать?

— Не твое дело, — огрызнулся стукач.

— Ну как хочешь, как хочешь, — лениво согласился с ним бригадир.

Через несколько дней на вечернем разводе стукача не оказалось в колонне зэков, возвращавшихся с работы в промзоне. Начались поиски. Нашли его на следующее утро в той самой горе цемента. Он был мертв.

Как он туда попал, естественно, никто не знал. Никаких следов насилия на нем не было. Начальство было этому радо, потому что можно было списать смерть на несчастный слу-

чай. Решили, что он просто упал с мостика в цемент. Разумеется, все понимали, что упал он не сам. Там было кому его подтолкнуть. Ужасная смерть. Один глубокий вдох в сухом цементе — и его легкие окаменели.

С другим обошлись еще хуже. Этот мужик лет тридцати пяти был не только стукачом — он по собственной инициативе помогал ловить на проволоке десант, носивший грёв в ПКТ. Поймав «десантников», он вместе с вертухаями избивал их. Менты — дубинками, он — ногами. Казалось, он должен был умереть от одной ненависти, которую посеял в сердцах зэков.

В промзоне неподалеку от цеха строительных блоков находилось кирпичное производство. После обжига кирпич помещали на транспортерную ленту длиной не меньше километра, которая медленно ползла по всей промзоне, то извиваясь змейкой, то огибая зону по периметру. На ленте на расстоянии примерно полуметра друг от друга были закреплены дощечки, на них клали кирпич, и он наворачивал круги по промке, пока не остывал. Потом его складывали под навесы, а затем грузили в деревянные поддоны и развозили по вольным стройкам. Производство работало день и ночь, газовые печи в цеху не остывали.

Транспортерная лента проходила недалеко от вахты промзоны. Как-то утром пришедшие на смену и ожидающие пересчета зэки были потрясены открывшейся картиной. Транспортерная лента двигалась как обычно, на каждой дощечке лежало по кирпичу. Все они весело двигались вокруг промки. Но на одной из дощечек лежал не кирпич, а отрезанная голова стукача. Все смотрели как замороженные и молчали. Никто ничего не сказал. Голова поехала на новый круг.

У паренька, который рассказывал мне это в камере ШИ-ЗО, радостно блестели глаза. Бывший обладатель отрезанной головы поймал его однажды с грёвом на заборе ПКТ и вместе с ментами отбил ему ногами почки. Месяца два после этого парень мочился кровью. Он ждал случая свести с мерзавцем счеты, но кто-то его опередил.

Участь стукачей в уголовных зонах незавидна. Но кто сказал, что стукачей не было среди политических? Были!

Были и те, кто начал открыто сотрудничать с КГБ. Про настоящих стукачей, внедренных в демократическое движение или добровольно ставших осведомителями, известно мало. В основном это догадки и подозрения, точных данных нет. Агентура КГБ до сих пор засекречена. Зато о тех, кто открыто согласился сотрудничать с госбезопасностью, известно достаточно много.

Наверное, самым болезненным для движения было предательство Петра Якира и Виктора Красина. Арестованные в 1972 году, находясь под следствием в Лефортовской тюрьме, они оба очень быстро сломались и начали сотрудничать с КГБ. Они дали показания более чем на двести человек — всех, кого смогли вспомнить. Эти показания фигурировали в судебных делах многих диссидентов. Петр Якир был известным в демократическом движении человеком. Его дом был одним из центров роста этого движения. 5 сентября 1973 года Якир и Красин публично каялись в своей антисоветской деятельности на пресс-конференции в присутствии иностранных журналистов. Фрагменты этой пресс-конференции показали по советскому телевидению.

Публичное покаяние диссидентов было для КГБ гораздо более важным, чем их показания на своих друзей. У КГБ и без того хватало оперативных данных, да и для пародийного советского суда это было не так уж важно. Другое дело — принародный слом, слова раскаяния и сожаления о своей деятельности, признание правоты за партией и правительством. К этому КГБ относился как к настоящей победе. Особенно если речь шла об известных диссидентах.

КГБ удавалось сломать и выбивать раскаяние даже из религиозных диссидентов, которым, казалось бы, вера должна была помочь выстоять в схватке с властью. Сотрудничали с КГБ член Христианского комитета защиты прав верующих Виктор Капитанчук, историк церкви и участник Христианского семинара Лев Регельсон, популярный в то время христианский проповедник священник Дмитрий Дудко. Первые двое дали обширные признательные показания на себя, своих друзей и знакомых, свидетельствовали против Глеба Якунина на его суде, были приговорены к символическим наказаниям

и освобождены из-под стражи в зале суда. После судебного процесса Лев Регельсон пафосно заявил окружившим его западным журналистам: «Я готов сидеть за Христа, но не готов сидеть за правозащитное движение».

Священника Дмитрия Дудко арестовали в 1980 году по обвинению в антисоветской деятельности. Рассказывали, что при аресте, перед тем как сесть в машину, он повернулся к своей многочисленной пастве, которая всегда окружала его, и обратился к ней со словами: «Иду на Голгофу!» Такие красивые картинки до добра не доводят. До Голгофы Дудко не дошел, решив по дороге покаяться перед КГБ. Каялся он настолько усердно, что дело его закрыли, так и не дотянув до суда. Летом, во время Московской Олимпиады он выступил с покаянием по телевидению, а затем на всякий случай покался еще и в газете «Известия», напечатав там статью «Запад ищет сенсаций».

Тот, кто сильнее всех бьет себя в грудь, обычно первым поднимает руки. Так получилось и с руководителем грузинской группы «Хельсинки», членом советской группы «Международной амнистии» Звиадом Гамсахурдией. Вместе с его подельником музыковедом Мерабом Коставой его арестовали в апреле 1977 года. Через год, в мае 1978-го, на суде в Тбилиси Гамсахурдия униженно каялся в антисоветской деятельности, давал показания на Коставу, уличал в антигосударственной деятельности первого секретаря посольства США в СССР Игоря Белоусовича, американских корреспондентов Дэвида Шиплера и Альфреда Френдли. С обычным своим красноречием Гамсахурдия объяснял суду, как замечательно он прозрел за время предварительного следствия и как сожалеет о допущенных им политических ошибках.

Во время покаянной речи его жена Манана, шокированная поведением мужа, воскликнула: «Звиад! Опомнись! Ты понимаешь, что ты делаешь?» — на что он, повернувшись к ней, ответил: «Это ты не понимаешь, о чем говоришь!»

И он, и Костава (который вину свою не признал и держался достойно) получили по три года лагерей. Однако Гамсахурдия выступил с покаянием еще и по советскому теле-

видению, и Верховный суд заменил ему три года лагеря на два года ссылки, которую он отбывал в Дагестане.

Многие не верили в подлинность его телевизионного выступления. Не могли поверить. Не хотели. Американские журналисты Пайпер и Уитни написали в своих изданиях, что телевизионная запись — это, возможно, фальшивка, смонтированная из эпизодов, снятых скрытой камерой. Гостелерадио СССР предъявило им в Московском городском суде иск о защите чести и достоинства. Журналисты заблаговременно выехали на родину, а в московском суде против них свидетельствовал Звиад Гамсахурдия.

Подлецом признаться себя трудно, поэтому Гамсахурдия изобразил себя героем. Он объяснял впоследствии, что пошел на компромисс с КГБ исключительно в интересах грузинского народа. Если бы он упорствовал в отрицании своей вины, его бы приговорили к максимальному сроку наказания, что непременно вызвало бы массовые народные волнения, а их бы подавили силой оружия и с огромным количеством жертв. Он, можно сказать, спас Грузию от неминуемого кровопролития. Довольный своей находчивостью, он поехал в ссылку заниматься культпросветработой среди грузинских пастухов, отгоняющих стада на дагестанские пастбища, а уже на следующий год был помилован.

Во времена перестройки, в 1988 году он приезжал в Москву восстанавливать связи. Пришел на Гоголевский бульвар, где каждое воскресенье при большом скоплении людей и милиции мы раздавали нашу еженедельную газету «Экспресс-Хроника». Он хотел поговорить со мной, но я отказался, объяснив окружающим почему. Его с позором выгнали с бульвара.

Гамсахурдия еще сделал политическую карьеру. Он возглавил грузинское национальное движение, был председателем Верховного Совета Грузинской ССР, а затем, в мае 1991 года, стал первым президентом Грузии. У себя в стране он установил авторитарный режим правления, расстрелял демонстрацию оппозиции и подчинился указу ГКЧП от 19 августа о расформировании всех незаконных вооруженных формирований. После провала ГКЧП он в привычной для

него манере заявил, что это решение было принято им во благо народа, для защиты от возможных силовых акций со стороны советских вооруженных сил, дислоцированных в Закавказском военном округе.

Через восемь месяцев своего президентства он был свергнут в результате государственного переворота, осуществленного оппозицией и перехваченного затем в интересах бывшей партноменклатуры недавним советским министром иностранных дел Эдуардом Шеварднадзе. После ожесточенных боев в центре Тбилиси Гамсахурдия бежал сначала в Армению, потом в Чечню, а затем создал в Западной Грузии правительство в изгнании. В недолгой гражданской войне с центральной властью его сторонники потерпели поражение. Разгромленный и скрывающийся от правительственных войск, Гамсахурдия погиб 31 декабря 1991 года при неясных до сих пор обстоятельствах. Согласно официальной версии, он застрелился из пистолета в ожидании неминуемого ареста. Но это маловероятно — люди, которые так себя любят, не склонны к самоубийству. По слухам, его убили. Скорее всего, это так и есть, тем более что входное пулевое отверстие, как недавно выяснилось, было у него на затылке. Самоубийцы не стреляют в затылок.

В судьбе Гамсахурдии самым непостижимым было для меня то, что люди признали своим национальным лидером стукача, дававшего показания на своих друзей и соратников. Как этим знанием можно было пренебречь?

Впрочем, такое случалось и внутри демократического движения. Член Инициативной группы защиты прав человека и один из редакторов «Хроники текущих событий» Юрий Шиханович в 1972 году, будучи в тюрьме под следствием по ст. 70 УК РСФСР, дал показания на машинистку Ольгу Барышникову, которая перепечатывала по его же просьбе самиздат. Всего на одного человека. Еще сделал заявление о том, что впредь «не намерен предпринимать инкриминируемых ему действий и по освобождении собирается заниматься только педагогической или редакторской работой». Его признали невменяемым и поместили в психбольницу, но не специального типа, куда обычно помещали за антисоветскую

агитацию и пропаганду, а в общую — в отделение усиленно-го режима обычной гражданской психбольницы.

Через полтора года его освободили, и, как ни странно, он был вновь принят в диссидентскую среду. Встречаясь с ним, когда я собирал материалы для своей книги «Карательная медицина», я ничего об истории с Барышниковой не знал. Номер «Хроники», где была изложена эта история, прошел мимо меня, а тема эта почему-то стеснительно замалчивалась. Я еще удивлялся, что Шиханович не рассказывает мне о психушке под диктофон, как все остальные. Ничего удивительного — обязательства перед КГБ!

В начале 80-х, после многочисленных арестов, когда «Хроника» выходила уже с большим трудом, он стал играть в ней ведущую роль. В 1981 году КГБ изъял «нулевую» закладку № 59 «Хроники текущих событий». Этот номер так никогда и не вышел. Шиханович пообещал, что больше не будет принимать участие в издании ХТС. Закончилось все это тем, что после нового ареста в 1983 году Шиханович стал сотрудничать с КГБ по-настоящему. Он давал исчерпывающие показания и даже ездил со следственной бригадой КГБ на обыски к своим друзьям, уговаривая их выдать материалы, которые он же сам и оставил им на хранение. Он посетил таким образом вместе с чекистами не менее семи квартир. Он также выдал КГБ архив «Хроники текущих событий» и «библиотеку» — составлявшееся многие годы собрание документов самиздата. На суде Шиханович признал себя виновным и получил 5 лет лишения свободы и 5 лет ссылки.

Скидка Шихановичу вышла совсем небольшая, но это оттого, что каялся он и давал обещания не в первый раз. Обычно же послабление в приговоре было существенным. Драматичным и показательным в этом смысле было так называемое дело молодых социалистов.

В конце 70-х — начале 80-х годов в Москве существовала молодежная социалистическая группа, члены которой по большей части были связаны с историческим факультетом МГУ. Они считали себя крутыми подпольщиками, большими знатоками конспирации и во всем равнялись на Че Гевару,

латиноамериканских революционеров и борцов с диктатурой Пиночета. Они называли друг друга вымышленными именами, издавали революционные самиздатские журналы, привозили из Петрозаводска типографский шрифт и готовились к бескомпромиссной и тяжелой борьбе за настоящий социализм. Издаваемый ими журнал «Варианты» объемом 100–150 машинописных страниц выходил один раз в год тиражом в пять экземпляров. Его соредакторами были Павел Кудюкин и Андрей Фадин; редактором «Левого поворота» — Борис Кагарлицкий. К работе группы привлекли молодого и восторженного еврейского юношу Михаила Ривкина. Он не слишком увлекался социалистическими идеями, но горел желанием бороться с советским тоталитаризмом. Поскольку Михаил был человеком энергичным, но не пишущим, молодые социалисты поручили ему заниматься организационной деятельностью и заботиться о конспирации. В то, что группа подпольная, верили только сами подпольщики. Или делали вид, что верили. В конце концов Михаилу наскучили ребяческие игры в революцию, и он заявил, что выходит из группы. Среди социалистов не нашлось своего Сергея Нечаева, и Михаил Ривкин на роль студента Иванова назначен не был. С ним обошлись по-другому.

В апреле 1982 года КГБ арестовал пятерых наиболее активных «молодых социалистов» — Андрея Фадина, Павла Кудюкина, Юрия Хавкина, Владимира Чернецкого и Бориса Кагарлицкого, а еще через два месяца и Михаила Ривкина. Социалисты — люди прагматичные. Цель у них всегда оправдывает средства, будь то революция или предварительное следствие. Очень быстро они все начали давать показания, спасая свои драгоценные шкуры. Все, кроме Ривкина. А поскольку он оказался единственным, кто уперся, то все главные показания «молодых социалистов» были направлены именно против него. Заодно они заложили и всех, кого знали, — по их показаниям было возбуждено около двадцати уголовных дел. Правда, по этим делам никого не посадили, а только потрепали нервы на допросах и обысках, поувольняли с работы и повыгоняли из институтов. Через год, в апреле 1983 года, все обвиняемые, кроме Ривкина, были помилова-

ны до суда и освобождены. В июле Ривкин предстал перед Мосгорсудом. «Молодые социалисты» выступали у него на суде свидетелями обвинения. Михаил получил по максимуму — 7 лет колонии и 5 лет ссылки.

Дело это не было особо громким, но ясно продемонстрировало, какое поведение на следствии и в суде поощряется, а какое нет. Кроме прямого ущерба жертвам своих показаний стукачи наносили и немалый моральный урон. Больше всех страдали близкие, вынужденные разрываться между родным человеком и преданными друзьями. Положение их было иногда по-настоящему трагичным.

Мне повезло, меня стукачи особенно не донимали. В первом деле их не было вовсе, во втором их роль была незначительной. Тем не менее зацепило и меня. Публикации в центральной советской прессе, обвинения в связях с ЦРУ и показания некоторых бывших знакомых были вздором.

По-настоящему задело меня предательство моего товарища по Рабочей комиссии Феликса Сереброва. К началу 1981 года он был последним членом нашей комиссии, который оставался на воле. Его арестовали в январе и судили в апреле 1981 года. Он признал свою вину в части инкриминируемых ему действий, но утверждал, что у него не было цели подрыва или ослабления советской власти. Свою деятельность в Рабочей комиссии он признал антисоветской, выразил раскаяние и обещал впредь ничем подобным не заниматься. Дал он показания и на некоторых западных корреспондентов.

Исход дела Сереброва был в некотором смысле необычным. Поначалу он, как и все члены комиссии, обвинялся по ст. 190¹ УК РСФСР с максимумом наказания до трех лет. Но после того как он начал давать показания, обвинение ему переквалифицировали на ст. 70 УК с максимумом до семи лет. «Раскаяние» утяжелило его участь! КГБ нарушило свое правило: снисхождение в обмен на раскаяние. Видно, кому-то надо было отчитаться в большом успехе по делу Рабочей комиссии. А большой успех — это тяжелая статья и большой срок. Феликс Серебров был единственным членом Рабочей комиссии, который не выдержал следствия. Вскоре его приговорили к 4 годам лишения свободы и 5 годам ссылки.

Увы, на этом его падение не кончилось. В 1984 году он выступил свидетелем на процессе у Елены Георгиевны Боннэр, когда ее судили в Горьком по ст. 190¹ УК. Причем показания его по фактическим обстоятельствам были ложные, подтасованные под обвинение в клевете на советский строй.

Отвечаем ли мы за своих друзей и близких? Формально — нет, фактически — да. Я ясно осознал тогда, что тень от позорного поведения Сереброва ложится и на меня. Это очень тягостное ощущение. Его предательство осталось темным пятном на репутации Рабочей комиссии.

Столкнула меня судьба и с еще одним отступником и стукачом. Александр Болонкин, которого я в 1977 году навещал в бурятской ссылке по поручению Гинзбурга, на следующий год был арестован по обвинению в левом заработке — без договоров и за несоразмерно большие деньги. По этому вздорному обвинению он получил три года лагеря, и, когда его срок заканчивался, КГБ подступил к нему с новыми обвинениями — в антисоветской деятельности. Они не отпускали его, надеясь выдавить из него полноценное раскаяние. У них были к тому основания: на своем первом следствии в Москве Болонкин и его подельник Валерий Балакирев давали показания на себя, друг друга и своих знакомых. Тогда на суде Болонкин от своих показаний отказался, но КГБ уже понимал, что он поддается давлению. КГБ был уверен, что надо всего лишь посильнее нажать. И они поднажали, угрожая карцером, пресс-хатой и десятилетним тюремным сроком.

Болонкин согласился на всё. Он не только полностью признал свою вину, но и принял участие в пропагандистской кампании. В феврале 1982 года его приговорили по части 2 ст. 70 УК к 1 году лишения свободы и 5 годам ссылки. Один год вместо ожидавшихся десяти — это совсем неплохо. Тем более что десять месяцев предварительного заключения он уже отсидел. В апреле его освободили, и он начал отбывать ссылку в Улан-Удэ, центре Бурятской автономной республики. Дали работу — старшим научным сотрудником в технологическом институте.

За все это надо было платить. В апреле в газете «Неделя» (№16, 1982) появилась большая статья Дмитрия Мещанино-

ва и штатного гэбэшного «журналиста» Леонида Колосова «Прозрение». В ней обильно цитировались показания Болонкина с персональными обвинениями диссидентов — в основном тех, кто помогал ему в рамках Фонда помощи политзаключенным. В апреле же Болонкин выступил по центральному телевидению с «разоблачениями» демократического движения и в защиту советской власти. («Декабрист, про тебя по телевизору говорят!» — прибежав к моей камере, в восторге орали надзиратели.)

Использовали Болонкина и персонально против меня. Весной 1982 года я снова попал на несколько сроков в ШИЗО, где всякая переписка с кем бы то ни было, естественно, была запрещена. Тем не менее прямо в камеру мне принесли толстое письмо. От Болонкина. «Ты, наверное, знаешь, что я решил отказаться от антисоветской деятельности, жить и работать, как все советские граждане», — писал он в начале письма. Болонкин предлагал мне быть честным перед собой и признать поражение, просил написать заявление об отказе от антисоветской деятельности и действительно прекратить ее. Он предлагал поручиться за меня перед КГБ и обещал ссылку «в приличном месте», если я откажусь от идеи «всю жизнь скитаться по тюрьмам и лагерям» — обычная аргументация стукача, мечтающего завлечь в свою паскудную компанию как можно больше народу. Меня даже уязвило, что КГБ подкатывается ко мне с такой дешевкой.

КГБ выдержал правильную однодневную паузу, и на следующий день ко мне пожаловал мой старый знакомый — сотрудник КГБ Якутии капитан Зырянов. Дурацкий разговор в кумовском кабинете, конечно, ничем не закончился. Зырянов «очень сочувствовал» моему положению и искал для меня «достойный выход». Например, такой, как у Болонкина. Я посмеялся и попрекнул Зырянова в наивности и неадекватном поведении. На прощание, вероятно, обидевшись на мои попреки, он напомнил мне: «А ведь я предупреждал вас тогда в Усть-Нере. Не послушали...»

Использовать против меня Болонкина у КГБ не получилось. Вероятно, они были в эйфории от своего успеха с ним — сломали политзаключенного с десятилетним ста-

жем. А ведь бывало, что ломались и с большим сроком. Что толкает людей на этот путь? Слабость, усталость, мечта о спокойной жизни? Наверное, в разных случаях по-разному. У уголовников есть на этот счет одно универсальное и жесткое, но точное объяснение: «Надоело мучиться, захотелось ссучиться».

В любом случае стукачи — это зараза. От них надо держаться подальше. Но даже если они кого-то и не задели лично, вред от них был все равно немалый. Они подавали КГБ ложную надежду, что сломать можно каждого.

Чахотка

Избавившись от стукача, я не отделался пыткой наручника-ми. Меня посадили в ШИЗО. Затем продлили еще пару раз, так что я просидел без выхода месяца полтора. Я не особо переживал, уже зная, что могу все это перенести. Но холод понимал меня.

Была поздняя весна, и температура на улице была для этих мест смешная — около нуля градусов. Но как же это обманчиво! В камере было холоднее, чем зимой. Зимой топили в противовес морозам, теперь же было «тепло», и не топили почти совсем. Батареи были едва теплые. В камере при дыхании шел пар.

В ШИЗО со мной сидел молодой парень из нашего ПКТ. Он часто попадал в ШИЗО, устал от этого и страстно мечтал выбраться в больницу. Была она в другой зоне, в поселке Табага в тридцати километрах от Якутска на территории лагеря строгого режима. Выбраться туда было непросто. Болезнь нужна была серьезная. С общим истощением или порезанными венами туда не брали.

Самой распространенной болезнью в тюрьме была чахотка — туберкулез легких, или, как говорят эки, «тубик». По части симуляции тубика эки были большие мастаки. Но врачи все эти примочки знали: и разогретую подмышку для повышения температуры, и натертую свинцом грудь для затемнения на рентгене легких, и искусно имитируемый ка-

шель, и многое другое. Больше того, лагерные врачи не обращали должного внимания даже на настоящих туберкулезных больных, считая их симулянтами и нарушителями режима. Жизнь зэка ничего не стоила, что уж говорить о здоровье?

Самым верным способом закосить было кровохарканье. С этим не поспоришь. К тому же оно свидетельствовало об открытой форме туберкулеза, что представляло опасность не только для зэков, но и для всего лагерного персонала. Некоторые зэки делали себе надрезы на ногах, отсасывали кровь и выходили к врачу, кашляя кровавой мокротой. Однако врачи устраивали зэку дотошный осмотр, и если находили порез, то симулянт вместо больницы попадал в ШИЗО. Другие надрезали себе кожу до крови подмышками или в паху, куда врач, казалось бы, не должен полезть. Все равно лазили!

Мой сокамерник был в отчаянии и на грани паники. Он мучился не столько даже от холода и голода, сколько от безысходности. Никакого просвета впереди. Мне стало его жаль, и мы придумали выход.

У меня в камере было припрятано лезвие. Перед очередным обходом врача я вскрыл себе вену. Когда очередь дошла до нас, мой сокамерник припал к моей руке, напился из нее крови и вышел к врачу, откашливая кровавую мокроту. Его тут же тщательно осмотрели, не нашли никаких порезов и поставили предварительный диагноз: «туберкулез легких, открытая форма». В тот же день его отселили от меня в карантинную камеру, а через несколько дней увезли в больницу на Табагу.

Я был рад за своего соседа, но как только его увели, в камере похолодало. Присутствие даже одного лишнего человека делает камеру заметно теплее.

Я занимался самовнушением. Убеждал себя, что мне тепло. Через пару недель начало получаться. Мне действительно становилось теплее! Это было настолько удивительно, что я окончательно поверил в свои гипнотические способности. Мне и прежде случалось заниматься гипнозом, это умение я, вероятно, унаследовал от отца. У меня довольно успешно получалось гипнотизировать на воле, а в тюрьме я даже лечил таким образом зубную боль своим сокамерникам. Разумеет-

ся, я только на некоторое время снимал боль, а не вылечивал зубы. Теперь же я испытывал свои способности на себе.

Я был в восторге! Я приказывал своему телу быть в тепле, и ему было тепло. Засыпая, я внушал себе, что в камере тепло, и отлично спал всю ночь, не просыпаясь от холода. Утром я командовал своему телу разогреться, и этого хватало на весь день. Я валялся на скамейке, чуть не мурлыча от удовольствия. Из рта шел пар, а мне было жарко!

Через несколько дней такой беззаботной жизни я как-то заметил, что забыл утром дать себе установку на согревание, а мне все равно тепло. Как же так, начал думать я, либо одного самовнушения мне хватает очень надолго, либо оно здесь вообще ни при чем. Но что значит, что мне тепло? Это значит, что температура тела повышена. Но если она повышена безо всякой моей помощи, то это значит...

Меня вдруг так пронзила эта догадка, что я вскочил со скамейки и заметался по камере. Какое, к черту, самовнушение! Какой самогипноз! У меня весь день и всю ночь равномерно повышена температура. У меня хроническая инфекция, но при этом ничего не болит и не беспокоит. Субфебрильная лихорадка. Какой я дурак! Это же туберкулез!

У меня плохая наследственность. Мой дед по материнской линии, железнодорожный инженер, умер в молодости от чахотки. Маме было тогда два года. Другой мой дед был профессиональным революционером в Бессарабии, участвовал в революции в Мексике, был большевиком и политэмигрантом, жил во Франции и Бельгии, был членом ЦК Французской компартии, потом вернулся с семьей в Россию, и его расстреляли в 1938 году как врага народа. Итак, один дед умер в молодости от туберкулеза, другой погиб на Бутовском полигоне от чекистской пули. Теперь я сижу в тюрьме, и у меня туберкулез. Лучше не придумаешь!

На следующий день мне удалось записаться к лепиле. Мне назначили бактериологический анализ мокроты и рентген легких. Для этого меня надо было вывести на территорию лагеря в санчасть, но из ШИЗО в санчасть не выводили. Мне пришлось ждать еще недели две окончания карцерного срока.

Процесс между тем развивался, а никаких лекарств я не получал. Я по-прежнему согревался внутренним теплом, уже, впрочем, не слишком радуясь такому повороту событий. Мне стало все равно. Сидеть горячим в холодной камере было настолько хорошо, что мной овладели апатия и фатализм. Будь что будет, думал я. Может быть, мне на роду написано умереть смертью либо одного деда, либо другого.

Тем временем у меня отчего-то распухло левое колено, и нога перестала сгибаться. К этому добавились жжение во рту, боли в сердце и ломота в паху. Что это за напасти все сразу, думал я, стараясь относиться к своим болячкам отстраненно. От постоянно повышенной температуры мозга у меня окончательно затуманились, и я не мог понять простой вещи: у меня начинается генерализованный туберкулезный процесс.

Как только меня вернули в ПКТ, так на следующий день повели в санчасть. Я уже год не был на улице. Вольная лагерная жизнь произвела на меня сильное впечатление. Больше всего меня поразила молодая зеленая травка под ногами, и я, не удержавшись, сорвал себе пучок. Ходить по земле было здорово. Ощущать ветерок на щеках — очень непривычно. Триста метров от ПКТ до санчасти дали мне массу новых впечатлений. Проходившие мимо эки смотрели на меня как-то странно и участливо, но подходить не решались — меня вели под конвоем двое надзирателей.

Причину таких странных взглядов я понял, когда пришел в санчасть и взглянул в зеркало. Я узнал себя только по глазам. Вид у меня был совершенно уродский. Обтянутые кожей кости неузнаваемо исказили лицо. Глаза впали. Зубы торчали из провалившихся десен в разные стороны. Кожа на лице — бумажно-белая и дряблая. Меня поставили на весы, и я успел заметить, что большая гиря стоит на сорока килограммах. Маленькую разглядеть не удалось. Мною вполне можно было пугать маленьких непослушных детей.

Анализ мокроты на туберкулезную палочку занимал месяц или два. Это не было волокитой тюремных эскулапов — просто палочка Коха в посеве растет очень медленно. Если

зэк не харкает кровью и не заражает окружающих, начальство ни о чем не беспокоится.

С каждым днем мне становилось все хуже. Температура держалась на 38 градусах, я слабел и с трудом волочил левую ногу. Врач уже сама приходила на обход в ПКТ и вызывала меня, не дожидаясь, что я к ней запишусь. Она мерила мне температуру и каждый раз убеждалась, что лучше мне не становится. Я решил ускорить госпитализацию, добавив ей тревоги за мое состояние, — я вспомнил и повторил удачную симуляцию, испробованную во время призыва в армию.

Алка бомбардировала лагерь, МВД и прокуратуру письмами и заявлениями; туда же приходили и многочисленные запросы из-за границы — от «Комитета защиты братьев Подрабинек», из «Международной амнистии» и других правозащитных организаций. Никому из начальства не хотелось в случае скандала отвечать за меня. Предпочтительнее было спихнуть меня под чужую ответственность. Никто не мог с уверенностью сказать, сколько мне осталось жить. Они заторопились и не стали ждать результатов бактериологического анализа. Меня решили госпитализировать без окончательного диагноза.

В июне меня вызвали на этап с вещами, посадили в воронку и повезли в Табагу. Конвой был мне знаком — тот самый лейтенант, который не дал мне замерзнуть на якутском аэродроме и принял незаконную передачу от Алки. Он меня не узнал, и, когда я ему о себе напомнил, он еще некоторое время недоуменно смотрел на меня, не веря, что я так изменился. Потом рассказал, какие у него были неприятности из-за той злополучной Алкиной передачи, которую он взялся передать мне в Якутском аэропорту.

Ехали долго. На меня нахлынула другая, совсем забытая жизнь: запах дорожной пыли, мелькание зеленых деревьев за окном, задувающий в машину летний ветер, ощущение движения и скорости. Вдруг обнаружилось, что мир на самом деле гораздо больше тюремной камеры, к которой я уже так привык.

Машина тем временем тряслась по кочкам и ухабинам разбитой грунтовой дороги. Как ни прекрасен был мир во-

круг, а я мучился — сидеть на костях было невыносимо. Весь путь я стоял на одной ноге, полусогнувшись и держась руками за решетку двери.

Тяжко худому зэку ездить по российским дорогам.

Больничка

Если в аду может быть райский уголок, то это лагерная больница. Настоящие кровати с чистым бельем, белый хлеб, масло, молоко, медсестры в белоснежных халатах и спи сколько хочешь.

Меня положили в терапевтическое отделение. Едва я плюхнулся на свою новую койку, мне начали приносить чай, еду, молоко, какие-то деликатесы. Достаточно было посмотреть на мою белую, как простыня, кожу и торчащие кости, чтобы понять, откуда я. Лишних вопросов никто не задавал. Я благодарил, съел что-то самое вкусное и тут же вырубился, проспав до вечера между двумя чистыми простынями под настоящим одеялом на настоящей кровати с панцирной сеткой.

В лагере всё и обо всех узнается мгновенно. Вечером мне принесли со строгого режима, который соседствовал с локальной больничной зоной, майдан с одеждой, чаем и предметами первой необходимости. Это не было данью уважения именно ко мне — грев от общака полагался всем доходягам, пришедшим на больничку из ПКТ или крытой. Парень, который принес это, был немногословен. Он поставил майдан у тумбочки, присел на секунду на мою кровать и сказал только одно слово: «Отдыхай».

Я отдыхал. Первые несколько дней — на редкость примитивно: спал и ел, ел и спал. Это был чудесный отдых! Потом начал выходить на улицу, прогуливаясь потихоньку по больничной зоне и знакомясь с другими зэками. Здесь были люди со всех режимов, даже особняки. Со мной многие хотели познакомиться, так что дефицита общения я не испытывал.

Лечить меня не спешили. Диагноза у меня не было, но на всякий случай мне кололи антибиотики, чтобы подавить

угнездившуюся внутри инфекцию. Хотя точно и не знали, какую именно. Я не возражал. Чем дольше я буду лечиться, тем лучше отдохну в этом райском уголке ГУЛАГа.

Неделю я проторчал в терапевтическом отделении. Хирург лечил мое левое колено, отоларинголог — стоматит, терапевт ждала результатов бактериологического анализа и не особенно заботилась о лечении. Большинство лагерных врачей относились к своей работе с прохладцей. Все они были аттестованы, носили офицерские погоны и плевать хотели на эков.

Два года назад в этом отделении лежал лидер адвентистов Владимир Шелков. Ему было 85 лет. Из них почти 25 он провел за решеткой. Последний раз его приговорили к 5 годам лагеря в 1978 году.

Это был человек редкостной стойкости и веры. Он родился в 1895 году на Украине в протестантской семье. В 1927 году был рукоположен в сан проповедника в Церкви адвентистов седьмого дня (АСД). Шелков критиковал тогдашнего главу церкви за его лояльность к атеистической советской власти. В церкви было много его сторонников, которые тоже высказывались против советского режима. Окончательный раскол в АСД произошел в 1929 году, когда церковь была зарегистрирована органами государственной власти и стала подконтрольной государству. Владимир Шелков отказался от сотрудничества с властью — не соглашался с регистрацией церкви и прохождением воинской службы. В начале 30-х часть верующих, отлученных от церкви за несогласие с руководством, организовали реформистскую Церковь верных адвентистов седьмого дня.

Впервые за свои убеждения Шелков был приговорен к тюремному заключению в 1931 году. С 1931 по 1934 год он был в концлагере в селе Березово на Северном Урале. После освобождения в 1934 году и до 1945 года он действовал в подполье, часто меняя место жительства. В мае 1945-го его арестовали в Пятигорске. Он выдержал несколько месяцев пыточного следствия, а 24 января 1946 года военный трибунал приговорил его к смертной казни. После пятидесяти пяти дней, проведенных в камере смертников, расстрельный при-

говор заменили десятью годами лишения свободы. Он отбывал срок в трудовых лагерях в Спасске под Карагандой, в одном из крупнейших лагерных управлений того времени. В 1954 году после смерти в заключении главы верных адвентистов седьмого дня П.И. Манжуры Шелков стал главой церкви. Она стала называться Всесоюзной церковью верных и свободных адвентистов седьмого дня.

Освободившись из лагеря, он остался жить в Казахстане, но на воле пробыл недолго. В 1957 году его снова арестовали. В исправительно-трудовых лагерях он провел еще 10 лет. С 1957 по 1959 годы он сидел в Сибири, в том числе в лагере в Чуне. Он был одним из строителей «смертной железной дороги» — шестисоткилометровой железнодорожной ветки Тайшет — Братск, которую строили заключенные. С 1959 по 1967 год Шелков сидел в Дубровлаге, в Потье. Именно там, в Мордовии, оставались тогда политические лагеря, которые просуществовали там до самого конца советской власти. Здесь Владимир Шелков впервые встретился с диссидентами, познакомился с Александром Гинзбургом. После освобождения Шелков создал одно из самых больших подпольных издательств — «Верный свидетель». Там публиковалась не только теологическая литература, но и работы, связанные с общими вопросами религии, свободы совести, прав человека, взаимоотношения церкви и государства. Многие из этого было затем переведено и переиздано на Западе. Сам Владимир Шелков за свою непростую жизнь написал восемь книг.

Освободившись в 1967 году, он поселился с семьей в Самарканде. В конце 1969-го его снова арестовали, поместили в КПЗ, но через несколько дней освободили под подписку о невыезде. С этого дня Владимир Шелков перешел на нелегальное положение. Девять лет он скрывался от властей, оставаясь главой церкви.

В 1978 году его нашли и арестовали. Арест сопровождался четырехдневным обыском в доме его дочери в Ташкенте. Изъяли большое количество религиозной литературы. Арестовали и мужа дочери. Обыски прошли у многих адвентистов по всей стране. А.Д. Сахаров приехал к Шелкову на суд,

но в зал суда его не пустили. Шелкова приговорили к пяти годам строгого режима. Ему было 83 года. Приговор вызвал бурю негодования во всем мире, но советская власть была безжалостна.

На девятом десятке лет жить вообще нелегко, Шелкова же отправили отбывать срок в Якутию — край экстремально низких температур и жесткой северной жизни. Из лагеря он попал в больницу на Табаге, в терапевтическое отделение. Его не лечили. В циничной советской медицине вообще считалось, что стариков лечить ни к чему — это нерентабельно, а старых лагерников — тем более. Санитар из эков, ухаживавший за заключенными, рассказывал мне, как умирал Шелков. Он не предавал никого анафеме, не проклинал, а только проповедовал, рассказывая экам о Христе. Он умирал тихо и достойно. Ему предлагали перевод в гражданскую больницу, фактически на свободу. Взамен просили, по их чекистским понятиям, совсем немного — отступить от веры, признать вину. Он всё отверг. Владимир Андреевич Шелков умер через неделю после своего 85-го дня рождения, 27 января 1980 года. Он скончался в палате, по соседству с которой лежал теперь я.

Я пытался поговорить с врачами — что они помнят о нем? Что знают? Они не знали ничего и с трудом его вспоминали. Они не понимали, с каким человеком свела их судьба. Объяснить им это было невозможно. Им было неинтересно.

Через неделю, когда пришли результаты анализов и диагноз перестал вызывать сомнения, меня перевели в туберкулезный барак. До последнего момента я заставлял себя надеяться, что у меня нет туберкулеза. Меня мучили дурные предчувствия. Но все оказалось даже хуже, чем я думал. Помимо классической чахотки (инфильтратов в легких) у меня нашли костный туберкулез, туберкулезный стоматит и такого же происхождения орхит. Целый букет туберкулезных подарков! Объяснились и боли в сердце. Обычно туберкулез легких начинается на фоне воспаления легких, у меня же — после медиастинита (воспаления средостения), которое было вызвано длительным переохлаждением в карцере. Боль за

грудиной имитировала боли в сердце. Теперь все было понятно, но утешительнее от этого не стало.

Туберкулезный барак был мало похож на больницу. В палатах — двухъярусные шконки, тесно, грязно, заплесано и прокурено. И врачи, и сами эки относились к туберкулезу не как к болезни, а как к некоему пожизненному клейму, проклятию, которое невозможно изжить. Тубик в их понимании — это не столько болезнь, сколько судьба. Вылечить его практически невозможно, по крайней мере в лагерных условиях.

Они были недалеко от истины. Лечение в лагере было малоэффективным. Дозы специфических противотуберкулезных препаратов были слишком малы и только вызывали привыкание и повышали устойчивость к ним туберкулезной палочки.

В нашем бараке было около двухсот заключенных. Каждую неделю умирали два-три человека. Это было похоже на смертельную лотерею — никто не знал, кто будет следующим. Еще вчера ты прогуливался с кем-нибудь по дощатому настилу перед бараком или играл с ним в шахматы, а сегодня его труп уже лежал под резиновой клеенкой на каталке на первом этаже в закутке для мертвецов. И каждый раз кто-то должен был удивиться: «Это надо же! Еще вчера все с ним было нормально». А кто-то другой обязательно возражал: «Да что там нормально, он же доходяга был, это ж видно было всякому!» И все с ним соглашались, делая вид, что они-то не доходяги и уж им-то судьба такая не грозит.

Здесь в палате я встретился с Гошей, с которым в Якутской тюрьме мы когда-то вместе долбили стену в соседнюю женскую камеру. Он уже шел на поправку и долечивался. Впрочем, что значит вылечиться от туберкулеза, здесь никто толком не знал. Мы играли с Гошей в шахматы, он вспоминал свои многочисленные амурные похождения и строил грандиозные планы на будущее. Его должны были этапировать на туберкулезную зону в Узбекистан. Он рассчитывал там долечиться, освободиться и овладеть всеми узбечками республики. Он был совершенно безудержен по части секса. Скоро настал день этапа, и мы его проводили, чифирнув напо-

следок. Неделю спустя мы узнали, что через два дня на этапе у него открылось легочное кровотечение и он умер, не дотянув даже до тюремной санчасти.

Мрачным местом был наш туберкулезный барак с двумя сотнями его обитателей. Смерть ходила между нами и могла выбрать любого. Никто не был застрахован — ни первоходочник с общего режима, ни третий зэк с особого, ни вор, ни мужик, ни пацан, ни сука. Последних, впрочем, здесь практически не было. Они не выживают в таких местах и потому сюда не рвутся.

Несмотря на то что умирали здесь часто, об умерших не скорбели. То есть именно потому и не скорбели, что смерть стала привычной. Когда каждые несколько дней умирает кто-то из соседей, смерть перестает восприниматься как трагедия, превращается в обыденность.

Я старался больше времени проводить на свежем воздухе, гуляя по настилу перед баракom. Вышагивал свои километры. Таких любителей погулять было еще несколько человек. Среди них своей нелюдимостью и внешним видом выделялся один — в полосатой робе, с особого режима. Ему было лет под шестьдесят, он был худой и сгорбленный, с морщинистым лицом и жестким зэчьим взглядом. Пальцы его, похожие на барабанные палочки, и бочкообразная грудная клетка выдавали эмфизему легких. Он постоянно курил и надсадно кашлял.

Он сам подошел ко мне познакомиться. Ему было интересно пообщаться с политическим. Я посоветовал ему меньше курить и правильно дышать, на что он огорошил меня вопросом:

— А зачем?

— Ну как, меньше будешь болеть — дольше протянешь, — объяснял я.

— Да мне все равно, — ответил особняк. — Я за жизнь не держусь.

Он просидел около сорока лет. В тюрьме прошла вся его жизнь. Другой, вольной жизни он, по сути, даже не знал. Что-то читал о ней, знал по рассказам. Иногда ненадолго освобождался, но чувствовал себя на свободе не в своей тарелке. Зато тюремную жизнь он знал досконально. «Никогда не доверяй

первой пятерке эков. Среди первых пяти авторитетов обязательно есть кумовский», — обучал он меня тюремной премудрости. Он рассказывал о разных зонах и людях, которых видел. Он сидел с участниками Новочеркасского рабочего восстания 1962 года, но уже плохо помнил, что они ему рассказывали о той расстрелянной демонстрации. Он даже знал какие-то стихи Валентина З/К (Соколова) — потрясающего поэта и вечного эка, погибшего в заключении как раз в те дни, когда мы гуляли с моим собеседником по дощатому настилу перед нашим туберкулезным баракком. Впрочем, стихи Соколова знали многие, хотя обычно не знали имени автора.

Через полтора месяца на свидание прилетели Алка и папа. К тому времени Алка с сыном уже вернулись в Москву. КГБ требовал от нее сотрудничества — она должна была уговаривать меня отказаться от политической деятельности в пользу семейной жизни. Алка отказалась. Ее выписали из квартиры, в которой она прожила почти всю свою жизнь, и запретили жить в Москве. Она купила часть дома в старинном городке Киржач во Владимирской области. Оттуда и приехала в Табагу.

Свидание было общим, двухчасовым, но, слава богу, не по телефону. Мы сидели за двумя столами, поставленными друг против друга. Я уже слегка поправился, гораздо лучше выглядел и старался держаться бодро. Новости с воли были в основном невеселые. Судя по количеству арестов и судов, демократическое движение было на грани разгрома. Едва ли не большинство наших друзей были уже в тюрьме. Но были и хорошие новости — подрастали наши дети. У нас с Алкой — Марк, у папы с Лидией Алексеевной — Маша. Они почти ровесники, между тетей и племянником — разница всего в полтора года. С одной стороны, я очень жалел, что Алка не привезла сына, но с другой — дорога из Москвы слишком трудна, да и привозить его в очаг туберкулеза было рискованно. Свидание пролетело быстро. Время на тюремных свиданиях всегда пролетает незаметно.

Алка привезла импортные противотуберкулезные лекарства, часть которых у нее приняли и передали мне. Но мне давали не только таблетки, еще делали инъекции. К пяти ча-

сам надо было подниматься на второй этаж и ждать вызова около процедурного кабинета. Инъекции делала медсестра лет тридцати — худенькая, не очень красивая, но необыкновенно женственная на фоне толпы очумелых арестантов, страдающих от многолетнего воздержания. Ждушие своей очереди зэки довольно громко смаковали подробности ее телосложения и мечтали о том, что бы они с ней сделали, будь у них такая возможность. Медсестра наверняка всё слышала, но ее это не смущало. Возможно, она к этому давно привыкла, а может быть, ей это даже нравилось.

Как-то выяснилось, что мы коллеги; разговорились о медицине, затем заговорили и на отвлеченные темы. Через некоторое время она начала задерживать меня в кабинете дольше необходимого, а потом и вовсе стала вызывать на инъекции последним, когда очереди перед процедурным кабинетом уже не было. Я не возражал, да и с чего бы? Не сказать, чтобы мне было особенно интересно, но разговор с женщиной — это такая редкость в тюремной жизни.

Она между тем вела себя совершенно недвусмысленно. Расстегнутые верхние пуговички халата даже на ее весьма скромной груди выглядели завораживающе. Она явно ждала от меня первого шага, но я колебался. Искушение было велико. Честно говоря, даже более чем велико! Но не соображения супружеской верности останавливали меня. У меня перед глазами стоял пример Славы Чорновила, который отбывал свой срок в этой же колонии по обвинению в попытке изнасилования. Попытки, которой на самом деле не было. Устроить здесь то же самое — проще простого. В самый пикантный момент дверь кабинета открывается, в него вваливается ватага ментов во главе с кумом — и поехал Подрабинек мотать срок за изнасилование! От этой перспективы меня передергивало. Я старался выдерживать дистанцию, сохраняя отношения дружеско-романтическими.

Мое непонятное упорство ее, видимо, сильно задевало. Она не могла признать, что зэк от нее отказывается. Это было против всяких правил. Выдерживать дистанцию становилось все труднее, особенно когда она делала инъекцию в ягодицы. Заурядная медицинская процедура стала превращаться

в некую прелюдию. Я боялся потерять самообладание. Женщины — самое сильное оружие в борьбе с мужчинами!

Но я все-таки пересилил себя и природу. Пошел на прием к лечащему врачу и попросил на время отменить инъекции, сославшись на инфильтраты и болезненность в местах уколов. Я перестал ходить в процедурный кабинет, но иногда встречал ее в коридорах или на улице. Она смотрела на меня с сожалением или вовсе отворачивалась. Я так до сих пор и не знаю, что это было — внезапно нахлынувшее чувство или тщательно спланированная операция. Честно говоря, думаю, что первое, и кум здесь ни при чем. Однако береженого бог бережет, а стереженого конвой стережет.

Изгнание из рая

По пятницам туберкулезный барак выводили в баню, которая стояла на территории зоны строгого режима. Это была единственная легальная возможность попасть из локальной туберкулезной зоны в общелагерную. Мы со Славой Черновилом эту возможность использовали максимально. Время помывки было не ограничено; надо было лишь успеть к себе в локальную зону до отбоя. Мы заходили со Славой за баню или куда-нибудь в другое место, где нас не было видно, и вели нескончаемые беседы о лагерной жизни, о демократическом движении, об украинском национальном движении, о соотношении национализма и демократии и о будущем нашей страны. В Табаге кроме Черновила не было других политзаключенных, и поговорить ему было не с кем. Мне тоже. Наши беседы были для нас единственной отдушиной в интеллектуально скудной лагерной жизни.

Мы часто спорили, не соглашаясь друг с другом в оценке роли национализма в демократическом движении. Он считал эту роль положительной, я — отрицательной. Он считал украинский национализм движущей силой будущего освобождения Украины от коммунизма. Я считал русский национализм будущим могильщиком демократии в России. Наверное, каждый из нас был по-своему прав. Но как бы мы ни

спорили, мы оставались друзьями. И не просто друзьями, а лагерными. Вряд ли есть дружба более крепкая, чем лагерная или фронтовая.

8 августа у меня день рождения. В 1982 году я встречал его на Табаге. Дни рождения постепенно стираются из памяти один за другим, но этот день рождения я запомнил на всю жизнь. В тот день в клубе было кино, и весь Славин отряд ушел смотреть какой-то фильм. Обычно ходят не все, кто-то остается. На этот раз ушли все, кроме приглашенных — четверых самых близких Славиных приятелей. За нашим туалетом я перелез через забор локальной больничной зоны в общую, где меня уже ждали. Через пару минут я был в бараке Славиного отряда. Там был накрыт стол. Боже мой, чего там только не было! Я даже не представлял, что в лагере может быть такая роскошь. На столе стояли коньяк и шампанское, красная икра, две банки шпрот, шоколад, соленья, белая рыба и еще какие-то деликатесы, уж не говоря о белом хлебе и сливочном масле. У меня даже дух захватило. Мы разлили шампанское, Слава сказал в мою честь тост, и все выпили до дна. Потом мне начали дарить подарки. Слава подарил изумительной работы деревянную столовую ложку, сработанную местными умельцами. Кто-то подарил складные походные шахматы, кто-то — сувенирную шариковую ручку, собранную из разукрашенных и подобранных по цвету пластмассовых колец. Сувенирное производство было отлично налажено на Табаге. Я оценил это в день своего рождения.

У входа в барак и у локалки кто-то все время стоял на страже, и ни один лишний человек не появился за два часа нашего застолья. Правда, в середине веселья в барак зашел ментовской наряд, но посмотрел на всё и молча вышел — всё было куплено.

Обед был сказочным. Коньяк тяжело лег на игристое шампанское, а от необыкновенной еды можно было захмелеть не хуже, чем от алкоголя. Я уже едва стоял на ногах, когда нам сообщили, что кино закончилось и пора расходиться. Меня пошли провожать, а я шел и думал, как же я сейчас ползу к себе через забор. Да я даже до колючки не доберусь, а если и доберусь, то запутаюсь и повисну на ней, как тряпка!

Но и тут все было предусмотрено: меня безо всяких проблем провели через вахту локальной зоны. Сколько Славе пришлось заплатить за мой день рождения, он мне так никогда и не рассказал.

Между тем наши встречи не остались незамеченными. То ли кто-то настучал, то ли менты видели нас разговаривающими на улице, но к куму вызывали и Чорновила, и меня. Кума интересовало, не зреет ли в его колонии антисоветский заговор. Мы его убеждали, что не зреет. Куму в нашу честность не верилось. Видимо, тогда у начальства и созрело решение избавиться от меня. Повод скоро представился.

На вечернюю поверку мы выходили к четырем часам дня из барака и ждали ментовской наряд, выстроившись на плацу. Обычно ждать приходилось недолго, и вся поверка занимала несколько минут. В начале октября было уже холодно, а я, как и многие другие, вышел без телогрейки. Мы стояли уже минут двадцать, ругая ментов, но не решаясь расходиться. Наконец мне надоело, и я решил быстренько сбежать в барак за телогрейкой. Едва я вышел из шеренги зэков, как строй рассыпался — все решили, что это сигнал возвращаться в барак. Через минуту я вернулся на плац в телогрейке, но там уже почти никого не было. Вскоре пришел наряд и, убедившись, что на плацу пусто, поднял тревогу. Прибежал ДПНК и другие офицеры. Им всем померещился лагерный бунт. И выходило, что я был его зачинщиком. Напрасно я объяснял ментам, что все добросовестно ждали наряд, но замерзли и пошли одеться потеплее — бдительность лагерного начальства зашкаливала.

Мне дали 10 суток ШИЗО. Столько же получили пятеро авторитетов нашего барака и еще суток по пять полтора десятка зэков по случайному выбору. Мне — за срыв вечерней поверки и подстрекательство заключенных к неповиновению, авторитетам — за авторитет, а остальным — без всякого повода. В камере я сидел вместе с авторитетами. Они посматривали на меня недовольно, особенно один, который должен был в этот день вернуть карточный долг. Он всячески намекал, что это из-за меня он не сможет вовремя расплатиться. Тон его становился угрожающим, но его никто не поддержал — предъявить мне было нечего. К тому же все

знали, что в зоне у меня серьезная поддержка среди авторитетов со строгого режима, и катить на меня бочку без дела остальным не хотелось. Однако пару дней я провел в напряжении, ожидая дурной развязки. Конфликт рассосался естественным образом: игрока отправили «за пределы» — он укатил в другое лагерное управление. Возможно, он был кумовский и таким образом спасался от уплаты карточного долга — как бы не по своей вине.

В ШИЗО было довольно тепло. Мы не страдали от того, что у нас забрали в каптерку всю верхнюю одежду и мы остались в исподнем. Но менты зверствовали. В соседней камере с ними начали пререкаться, и они исполнили свой коронный номер: начали бросать в камеру через решетку комья сухой хлорки. Соседние камеры, в том числе наша, были закрыты только на решетки. Мы бросились мочить водой платки и майки и напяливать их себе на рот и нос. Я едва успел. Как раз в этот момент менты плеснули на рассыпанную хлорку ведро воды и дышать стало трудно даже в нашей камере. Можно себе представить, что было в соседней.

Через десять суток нас выпустили. За это время кто-то украл из каптерки мои штаны и куртку, и я был вынужден с еще одним таким же бедолагой топать через всю зону к своему барaku в подштанниках. Это было довольно унижительно, но я вспоминал, что у Михаила Булгакова поэт Иван Бездомный в «Мастере и Маргарите» в подштанниках заявился в ресторан, а генерал Чарнота в пьесе «Бег» шел через весь Париж в кальсонах лимонного цвета. А Париж или даже Москва — это вам не лагерь строгого режима в Табаге!

Мое нарушение режима было использовано как повод, чтобы выписать меня из больницы. Я знал, что мой лечащий врач была против этого, потому что курс лечения не закончен, но не она решала наши судьбы. Я должен был провести в больнице месяцев восемь-двенадцать. Провел только четыре.

20 октября меня вернули в Большую Марху. Я ехал в воронке по той же дороге, по тем же кочкам и ухабинам, но в этот раз сидел довольный и ни о чем не беспокоился. Я набрал веса, подлечился и отдохнул. Я был снова ко всему готов.

Приятная лагерная жизнь

Если моя судьба, по крайней мере лагерная, будет теперь устроена по принципу «от худшего к лучшему», то все совсем неплохо. Так думал я на следующий день после возвращения в свой лагерь. На ночь меня поместили в мою старую камеру, а уже утром перевели в лагерный стационар — комнату с четырьмя кроватями около санчасти, но с отдельным выходом на улицу. Ни о чем лучшем и мечтать было нельзя. Я был в палате один, получал диетическое питание и вообще был предоставлен самому себе. Менты обо мне будто забыли. Единственное ограничение — я мог гулять только перед санчастью, не выходя в общую зону. Так мне туда и не надо было!

Как-то вечером, гуляя перед своей палатой, я услышал истошные крики из ПКТ. Но это не были крики негодования или боли, это были вопли восторга. В ПКТ дружно кричали «Ура!», свистели, орали что-то невразумительное. Странно, думал я, для бунта это слишком радостно, а чему бы это в ПКТ так радоваться?

Вскоре все прояснилось. Я спросил проходящего мимо шныря с вахты, что случилось. «Как, ты еще не знаешь? — удивился шнырь. — Брежнев умер!»

Да, дела. Не сказать, что это были те четыре бетховенских удара, что описаны у Солженицына в «Раковом корпусе» при известии о смерти Сталина, но все же что-то в этом духе. Что-то могло измениться. Хотелось надеяться, что в лучшую сторону, хотя тюремный опыт уже подсказывал, что рассчитывать не на что. Уголовникам и подавно ничего не светило от смены партийного руководства. Но они искренне радовались смерти генсека. Чувство это было абсолютно иррационально — ненависть к власти была всепоглощающей.

Забегая вперед, скажу, что приход на место Брежнева главы КГБ Юрия Андропова не улучшил положения в лагерях. Напротив, режим ужесточился. В Уголовном кодексе появилась новая статья, предусматривающая ответственность за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения». Однако от того, что

зэкам стало хуже, ментам не стало лучше. Старая межведомственная вражда между КГБ и МВД дала о себе знать. Став генсеком, Андропов начал сводить старые счеты. Уже через месяц после смерти Брежнева был снят министр внутренних дел СССР Николай Щелоков. Но залихорадило ментов даже раньше. Они потеряли былую неприкосновенность. На них началась партийная охота.

Возможно, именно на волне этих событий через полтора месяца меня вернули в больничку в Табагу. К тому времени МВД снова завалили зарубежными протестами в связи с тем, что меня в больнице не долечили. Наверное, никто в МВД Якутии не захотел брать на себя ответственность за возможные неприятности. Тем более что по новым временам чекистам и прокуратуре нужен был только повод, чтобы освободить теплые ментовские места для своих людей. Жалобы граждан — чем не повод? Кто заподозрит сведение счетов?

Правда, на этот раз я пробыл в Табаге всего две недели. Врачи оформили окончание лечения, сделали назначения на полгода вперед и отправили меня обратно. Я чувствовал себя туристом, катающимся между двумя зонами.

Кратковременность моего пребывания в Табаге была вознаграждена чудесной встречей с подполковником Гавриленко. Мой ненавистник и мучитель уже не работал заместителем начальника лагеря в Большой Мархе. Он служил на лейтенантской должности начальника отряда в Табаге! Я старался попасться ему на глаза, чтобы он видел, что я его видел! Чтобы он знал, что я о нем знаю. Мне это удалось. Выражение лица у подполковника МВД было необыкновенно кислое, а у меня, ничтожного зэка, — напротив, очень довольное. Говорили, он был замешан в нелегальной торговле алмазами с приисков в Мирном и его падение с должности подполковника на должность лейтенанта было только началом. Потом он вообще исчез из поля зрения зэков, и никто не знал, что с ним стало.

Я заметил в тюрьме, что Бог всегда наказывает тех, кого не смогли наказать мы сами, причем гораздо сильнее и изощреннее, чем это могли бы сделать мы. Может, стоит во всех случаях передоверить ему это дело?

Лагерная жизнь моя приняла вполне определенные очертания. Начальство оставило попытки сломать меня и теперь относилось просто как к трудному для них заключенному. Меня переводили из отряда в отряд, сажали в ШИЗО и ПКТ, но уже в обычном для лагеря порядке, без намерения добиться своего или прикончить. Понемногу менялось начальство. Вместо садиста-фантазера Гавриленко пришел подполковник Кожевников — человек несколько мрачный, но без болезненной ненависти к зэкам. Появился и новый замполит. Вместе с группой офицеров он пришел в ПКТ знакомиться с лагерным отрицаловом. Зэков выводили из камер к нему в комнату для допросов, где он недолго беседовал с каждым, оставаясь в традиционной для замполитов роли отца родного — сурового, но заботливого и справедливого.

Я сидел тогда в ШИЗО. Вывели и меня. Замполит оказался худощавым майором лет сорока пяти, очень важным и, видимо, чрезвычайно довольным своей новой должностью. Он мельком глянул на обложку моего личного дела и, конечно, не отличил мою редкую статью 190¹ УК от популярной статьи 191 — сопротивление милиции. Просмотрев в моем деле кипу постановлений о ШИЗО и ПКТ, он горестно покачал головой, а затем решил поговорить «по душам».

— За что сидишь? — фамильярно обратился он ко мне.

Важный его вид показался мне настолько забавным, что я решил подыграть.

— Да вот, совершил преступление, — отвечал я, понурился головой.

— Ну, это бывает, — сразу смягчился замполит, обрадованный моим очевидным раскаянием. — Ну расскажи, как? Наверное, выпил лишнего?

— Ну да, гражданин начальник, — подхватил я тему. — Все водка проклятая! Разве ж трезвым такое совершишь?

— Небось, с дружками?

— С дружками, гражданин начальник.

— Ну, а теперь ты понимаешь, как себе друзей надо выбирать?

— Теперь понимаю, гражданин начальник.

— Дружки тебя, наверное, и подтолкнули на преступление против представителя власти? — бросал он мне спасательный круг.

— Не без этого, — соглашался я, — подтолкнули. Да еще вдрабадан пьяного!

Замполит разговором был очень доволен, и ему не хотелось отпускать меня. Сидевшие рядом офицеры, прекрасно знавшие меня и мое дело, молча давились от смеха — кто, отворачиваясь в сторону, кто закрывая лицо ладонью. Никто из офицеров его на мой счет не просветил — замполитов нигде не любят, тем более новичков. Я уже и сам с трудом сдерживался от смеха. Майор всего этого не замечал.

— Потерпевших-то много? — спрашивал он меня уже почти сочувственно.

— Ох, много, гражданин начальник, — признавался я.

— Ну, так уж и много? Один-два?

— Какое там, — сокрушался я, — считай, вся правоохранительная система. Да и еще кое-кто.

— Да ты что натворил-то?

— Так ничего особенного, гражданин начальник, книжку написал.

— Книжку? По пьяни? — тупо переспросил замполит.

— Конечно, по пьяни. По трезвяни разве хорошо напишешь?

Офицеры ржали, уже не сдерживаясь, но я был серьезен.

Тут замполита осенило, и он снова посмотрел на обложку моего личного дела. Поняв, что статья совсем другая, но не понимая, какая именно, он важно пробормотал «ну да, ну да» и велел мне идти в камеру.

«Ну ты даешь, подрывник, — довольно посмеиваясь, говорил отводивший меня надзиратель. — Нажил себе еще одного врага!»

Забава моя, однако, никаких последствий не имела. Замполит мне не мстил.

Вскоре на свидание приехали Алка и папа. Свидание было длительным — три дня. Весь день мы все вместе сидели в комнатке свиданий со своей кухней, а вечером папа ушел и оставшиеся два дня ждал Алку в местной гостинице. Мы

остались вдвоем на два дня и три ночи. Много это или мало? Трудно сказать. Каждое мгновение может растянуться в вечность, а вечность — пролететь как одно мгновение.

Вскоре — снова попав в ШИЗО, я пытался осмыслить это поэтически: «Три дня, как одно мгновенье. Три года, как век печали. Осталась одна шестая прожитых во тьме часов. Но в стрелках искать спасенье спасительно лишь вначале. Я просто шаги считаю, и ржаво скрипит засов». Ах, послесвиданная депрессия! У женщин — слезы, у мужчин — шаги по камере.

Скоро мне удалось перевестись в отряд, начальником которого был единственный в лагере мент с человеческим лицом. Вид у него был почти интеллигентный, по крайней мере осмысленный. Он, как и я, был медиком по образованию, но в поисках лучшего заработка получил звание лейтенанта и пошел служить в МВД. Ему было все равно, чем я занят, — требовалось только не попадаться за нарушения режима.

Это было недолгое, но чудесное время. Я жил приятной лагерной жизнью. Отряд был небольшой, и в нашем бараке стояли даже не двухъярусные шконки, а обычные металлические кровати. Зэки относились ко мне с уважением, даже почитательно. Все знали, как начальство ломало меня в ПКТ. Волей-неволей, безо всяких моих к тому усилий я становился в глазах арестантов авторитетом. Меня это не радовало, поскольку законное место авторитета — в ПКТ и крытой. А на свежем воздухе было так хорошо!

В новом отряде я нашел себе собеседника. Николаю Ильичу Волкову было под пятьдесят. До своего ареста в 1981 году он жил в Новороссийске, был инженером-строителем и строил элеваторы на Кубани. Кроме того он был пресвитером незарегистрированной общины евангельских христиан-баптистов. Преступление его состояло в том, что вместе с единоверцами они организовали подпольную типографию «Христианин», в которой печатали Библию. По делу их проходило одиннадцать человек, и ни один не сдался. Железные ребята! Волков получил 4 года общего режима.

Быстро сдружившись, мы стали с ним жить «семейкой», то есть вместе чифирить да делиться пищей, посылками

и всем самым необходимым. Ильич был большим, спокойным и добродушным человеком. Я ни разу не видел его вспылчивым или озлобленным. Не знаю, как ему удавалось, но он смирял себя. Религиозность его не была напускной. Иногда он складывал руки, закрывал глаза и молча молился про себя. Мне нравилось отсутствие показухи в его религиозности, что так часто встречается у православных и католиков.

Кажется, именно с этого начались наши нескончаемые разговоры о вере. Баптисты не такие формалисты, как православные. Они не носят крестики, им не нужны иконы, и смыслу они уделяют гораздо больше внимания, чем форме. Но я был еще меньшим формалистом, чем баптисты. Ильич, как и все воцерковленные христиане, считал, что вся божественная истина заключена в Библии. Я же возражал, что Библия — это лишь один из путей к Богу, и не всегда безупречный.

— Спасутся лишь те, кто родился свыше, уверовав в Христа, — убеждал меня Ильич.

— Но почему ты отказываешь в спасении тем, кто живет по-христиански, не принимая Христа или даже ничего не зная о нем?

— Как такое может быть в наше время? — усмехался Ильич. — Слово Божье проповедуется по всему миру. Только человек с ленивой душой может не услышать его.

— А как быть с теми аборигенами, до которых не дошли миссионеры? И почему не спасутся праведники, которые родились до Христа? Они-то в чем виноваты? — возражал я.

— Они будут судимы по делам своим и по завету предков, — смягчался Ильич.

— Значит, постулат о том, что спасутся только уверовавшие во Христа, неверен? — настаивал я.

Ильич был вынужден соглашаться, но потом искал в Евангелии аргументы своей правоты и снова спорил. Ему тяжело было отступать от сложившихся за многие годы взглядов, но он честно искал истину, не пытаясь уйти от споров или заткнуть мне рот.

Летом, когда я на несколько дней опять оказался на зоне, мы сфотографировались с ним на волейбольной площадке во время спортивного праздника. Разумеется, это было категори-

чески запрещено, но лагерный фотограф-зэк, который делал снимки для стенда о жизни колонии, согласился сделать несколько фотографий за две плиты чая. Это была хорошая плата за риск. Отснятые негативы я нелегально переслал на волю.

Ильич вел в лагере спокойный образ жизни. Он работал на швейке, выполнял план, и претензий к нему не было. Но вскоре начальство встрепенулось. Оно вдруг сообразило, что Волков, в сущности, тоже политический, а два политических в одном отряде — это ЧП. Возможно, кто-то настучал, что мы все время что-то обсуждаем.

«Зря вы перешли в мой отряд, — сказал мне как-то утром начальник отряда. — У меня уже Волков есть. Вы назначены на завтра дежурным по бараку».

Это значит, надо нацепить красную повязку дежурного, сидеть на входе в локалку, докладывать ментам о порядке и т. д. Не моя работа. Да, для уголовного лагеря два политических в одной зоне — уже много, а в одном отряде — и подавно. «График дежурств подписал начальник режимной части», — добавил в свое оправдание лейтенант.

Я и не сомневался, что это не затея отрядного. Значит, завтра снова в карцер и затем почти наверняка в ПКТ. Но я никак не мог идти в карцер. Через два дня мне должны были отдать мою новую телогрейку и подшитые валенки. Свою телогрейку я еще в ПКТ отдал кому-то на этап, рассчитывая справить себе на зоне новую. Впереди была еще одна зима. В старой драной телогрейке и прохудившихся валенках, да с моим туберкулезом мне в моей одиночке было бы лихо. Еще одну зиму, подобную прошлой, я с двумя дырками в легких, может быть, и не переживу. К тому же за все заплачено и отказываться жалко.

Надо было тормознуться на зоне. Единственный доступный способ — мастырка, но сделать ее надо было так, чтобы никто не мог разоблачить. Температура, рвота, боли в животе или понос в этом случае не сработают. Не годились и традиционные методы членовредительства — вскрытие вен или заглатывание костяшек домино и черенков ложек. Порезанные вены — вообще дешевый трюк. Все это производит впечатление на тех, кто ничего в этом не понимает или боится вида

крови. На самом деле от порезанных вен не умирают. За счет клапанов в венозной системе создается отрицательное давление, и кровотечение довольно быстро останавливается. За исключением, впрочем, двух случаев: у больных с плохой свертываемостью крови и если место пореза долго держать в теплой воде.

Глотать костяшки домино или ложки еще глупее — что могут сделать с эком на операционном столе лагерные хирурги, лучше даже не представлять. Тем более не годится и такой изящный способ протеста, как вскрытие собственной брюшной полости. Некоторые отчаянные зэки это практикуют. В тюрьме любят рассказывать легенду про одного такого бесшабашного зэка, который протестуя против чего-то, вскрыл себе брюхо и вышел на плац для утренней проверки, весело помахивая своими собственными кишками.

Все это не годится, думал я. Тут нужно что-то менее жестокое, но при этом достаточно убедительное.

Полдня я раздумывал. Я вспомнил роман Роберта Стивенсона «Потерпевшие кораблекрушение». В острой ситуации главный герой, капитан корабля, ищет причину, по которой он не мог бы подписать страницу в судовом журнале. «Ну, например, у меня болит правая рука», — говорит он своим друзьям. «Но твоя рука в порядке», — отвечают ему друзья. «А вот и нет», — говорит капитан, кладет свою руку на стол и пробивает ее ножом.

Очень красивое решение! Разве я не смогу так сделать? А если нет, то зачем было в детстве читать такие книжки? Я решил повторить прочитанное, но немного другим способом.

Вечером на кухне я вскипятил в пол-литровой банке воду для чая, который мы собрались попить с Ильичом. Банку я со всеми предосторожностями понес к нашей тумбочке, но, проходя между кроватями, «споткнулся» и вылил пол-литра крутого кипятка себе на левую руку. Банка разбилась, я громко и отвязно ругался, и всё это видели по меньшей мере человек пятнадцать. Я тут же пошел в санчасть, где мне на мгновение вздувшийся пузырь наложили какую-то бесполезную мазь и забинтовали руку. Какое теперь может быть дежурство с такой рукой?

На следующий день пидор-Быков вызывал к себе зэков из нашего отряда и допытывался, как я обжег руку. Все сказали одно и то же — что видели. Даже стукачи вряд ли могли придумать что-то другое.

Телогрейка и валенки были на подходе. Устраивал мне их за умеренную плату Сережа-маклер, молодой упитанный парень, беззлобный и расчетливый, который ухитрялся быть полезным сразу всем — и мужикам, и пацанам, и сучне. За свою универсальную покладистость он регулярно огребал то от одних, то от других, но маклерского промысла не бросал.

Сережа пришел к нам из Приморья, где сидел в одной зоне с писателем Игорем Губерманом. Он восхищался им и рассказывал про него разные байки. Особенно любил рассказывать такую. Пишет Губерман письмо домой: «Здесь довольно сыро и холодно. Погода пасмурная. На душе мрачно и тоскливо. Надежд на счастливый исход все меньше и меньше». Ну, и дальше в том же духе. Письмо бросает в лагерный почтовый ящик, его читает цензор, потом Губермана вызывает на беседу кум. «Что это вы, осужденный Губерман, описываете все в таких черных красках? Вам опять советская жизнь не нравится? Перепишите письмо». Губерман переписывает. «Здесь чудесная погода — тепло и солнечно. Настроение бодрое, жизнерадостное. Я наконец-то счастлив по-настоящему! Только здесь я поверил в наше чудесное будущее и с нетерпением жду его приближения». Примерно так. Кум приходит в негодование и снова вызывает Губермана к себе. «Вы что, осужденный Губерман, издеваетесь над нами? Кто вам поверит? Перепишите!»

Рука моя между тем потихоньку заживала. Огромный водянистый пузырь лопнул, затем рана начала подсыхать. Еще неделю я проторчал на зоне, справил себе новую телогрейку с валенками и пожил еще немного нормальной лагерной жизнью. Затем мне снова поставили дежурство, но я уже ничего не мастырил и спокойно пошел на 15 суток в ШИЗО с последующим переводом в ПКТ.

Последний забег

Как же было правильно, что я облил себя кипятком! Разумеется, я снова попал в одиночку, в родную свою 3-ю камеру, где даже в разгар лета было прохладно, а весной и осенью — промозгло и холодно. Как туберкулезнику мне разрешили иметь в камере телогрейку и валенки, а днем оставляли в камере матрас и постель. По закону мне была положена двухчасовая прогулка, но я согласился на час и гулял в прогулочном дворике обе получасовые пэкатэшные смены. Правда, в ШИЗО, куда я время от времени попадал, всех этих льгот, за исключением телогрейки, лишали.

Я много играл в шахматы, перекрикиваясь с другими камерами через дальняк, то есть через ту дырку в полу, которая служит унитазом и соединяется канализационной трубой со всеми остальными камерами.

У меня снова были книги и журналы, многокилометровые прогулки по камере, письма из дома, бумага и ручка. День был насыщен до предела.

Некоторые стихи и размышления не были предназначены для глаз начальства, и я их прятал. Кума между тем интересовали в моей камере именно бумаги и ничто другое.

Тогда мы разделили с уголовниками обязанности. В моей камере в полу был тайник, сделанный ребятами, когда они сидели в моей камере, пока я был в больнице в Табаге. Тайник не был засвечен, но пустовал. Постепенно из других камер мне передали весь инструмент, запасы чая и махорки, сувениры, ножи, деньги и всякую прочую запрещенную ерунду. Я забил этим тайник в полу и еще один сделал сам — в потолке. Теперь у меня в камере был почти весь буровский общак. Я же свои записи отдал в другую камеру, где менты на бумаги не обращали ровно никакого внимания. Это было правильное решение.

Через некоторое время режимник и кум спохватились, что уже давно не изымали в ПКТ ничего запрещенного. Провели несколько капитальных шмонов с выводом всех эков в коридор или в прогулочные дворики. Ничего не нашли. Но при этом тупо искали у меня бумаги, а у них —

все остальное. Ментам не могло прийти в голову, что общак хранится у меня. Они считали, что политический на это не способен. Я же по мере необходимости передавал в другие камеры то, о чем меня просили. Менты так никогда мой тайник и не нашли.

Заходить в мою камеру менты не любили. Они боялись заразиться туберкулезом, и я их страхи всячески подогревал. Как только утренний или вечерний наряд подходил к моей двери, я начинал надсадно кашлять. Менты предпочитали посмотреть на меня в глазок или, на худой конец, заглянуть в кормушку, но не заходить в камеру. Все это было очень удобно. Даже прокурор при обходе камер спрашивал меня о жалобах через дверь. На одиночное заключение я теперь формально жаловаться не мог, так как был единственным туберкулезником в ПКТ и должен был содержаться отдельно от остальных. Я и не жаловался.

Палочка-выручалочка Коха помогла мне и во время очередных учений спецназа. Проводили их примерно раз в год. Фактически это была операция устрашения. Сотни две солдат внутренних войск в бронезилетах, со щитами и дубинками влетали на территорию зоны и избивали всех, кто попадался под руку. Зэки должны были немедленно укрыться в своих отрядах, ибо это было целью учений — локализовать «бунтующих» в их бараках. Однако об «учениях» не предупреждали и под дубинки мог попасть любой, кто шел, например, в свой барак из санчасти, столовой или клуба. В ПКТ спецназ зверствовал больше всего, так как здесь по их диспозиции сидели «зачинщики бунта». Они выволакивали всех зэков в коридор, избивали их дубинками, травили собаками, а в камерах всё переворачивали вверх дном и уносили с собой то, что им понравится. Прошлые «учения» я пропустил, когда был в Табаге, а на эти поспел. Ко мне в камеру они, однако, не зашли. Мордатый лейтенант в бронезилете и шлеме рывком открыл дверь моей камеры и, увидев меня, спросил: «Почему один? Обиженный?» Тут кто-то из наших прапорщиков подсказал ему, что здесь туберкулезник, и лейтенант брезгливо сморщившись, заорал «Ну и х.. с ним! Пошли дальше!»

Наверное, с полчаса они загуливали по всем камерам, сметая все на пол, топча ногами чай, продукты и письма, забирая к себе в казармы то, что им могло пригодиться, вплоть до зубных щеток. Зэки в это время стояли, повернувшись лицом к стене и сцепив руки на затылке, а солдаты шутики ради время от времени били их дубинками по ногам. Повернуться было нельзя, жаловаться тоже — за это могли забить дубинками насмерть. На других зонах такое случалось. И никому никогда ничего за это не было — учения!

Вечером, когда все уже закончилось, все камеры ПКТ перекричались между собой: что делать? Решили, что нужен общий протест. Я не пострадал в этот раз, но к протесту, конечно, присоединился. Утром все отказались от пищи и потребовали прокурора. Прибежал начальник лагеря со своей свитой, угрожал вернуть спецназ. Но мы знали, что следующие учения не скоро, а для подавления бунта сейчас нет оснований. Массовая голодовка — это не бунт. После обеда приехал прокурор. Говорил с ним Андрюха Вдовин, парень молодой, но крепкий и умный, признанный авторитет зоны. Требования зэков: вернуть украденное, возместить уничтоженные продукты и сигареты, прекратить травлю собаками. Прокурор все записал и обещал поступить по закону. Это мало кому понравилось. Знаем мы ваши законы!

Ближе к вечеру пришел начальник колонии и пообещал внеочередную отоварку в ларьке и праздничную (двойную) пайку хлеба. Было решено на это согласиться. На том протест и закончился.

Вскоре из ПКТ начали по одному выдергивать к куму на допрос об обстоятельствах массового протеста. Пытался кум поговорить и со мной, но я по давней своей привычке отвечать на вопросы отказался. Из допросов зэков стало ясно, что кум пытается сшить против Вдовина и меня дело по статье 77¹ УК РСФСР — действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений. Максимальное наказание по этой статье — расстрел.

Припомнился мне и конфликт с прапорщиком Белинским, с которого я еще во время первого срока ПКТ сорвал погон. Это был молодой, белобрысый, щуплый и нагловатый

парень, только недавно пришедший на службу в МВД. Как-то, изрядно выпив, он один, без напарника, зашел в мою камеру покуражиться. Он считал, что поскольку я сижу один, то ему ничего не грозит. Когда его пьяные вопросы закончились и он решил своими руками построить меня по стойке «смирно», я с размаху шарахнул его об стену камеры. При этом оторвал ему с кителя погон. Белинский быстро протрезвел, испугался и выскочил из камеры как ошпаренный. Оторванный погон я успел кинуть ему вдогонку. Он благо-разумно не побежал никому жаловаться, поскольку за то, что он сам, без напарника, открыл камеру, можно было угодить под трибунал. В любом случае, неприятности у него были бы немаленькие. Я об этом случае тоже не особо распространялся. Однако оторванный погон в тот же день заметил другой прапорщик, которому Белинский, видимо, что-то рассказал. Короче говоря, историю эту тогда раздувать не стали, а сейчас припомнили. У ментов почему-то считается, что сорванный погон — это знак бесчестья и обидчиков надо наказывать по всей строгости закона.

Кум долго старался сварганить дело, но у него ничего не получалось — слишком слабые были поводы для такой серьезной статьи. Тогда решили ограничиться переводом в крытую тюрьму. Андрюха по своим каналам узнал, что на него и меня уже готовы постановления для суда о переводе. Однако в отношении меня это не прошло. Я числился за КГБ, а там такого решения принято не было. Возможно, они не согласились просто потому, что это была не их инициатива. КГБ всегда очень ревностно относился к своим полномочиям. В результате Андрюха Вдовин поехал на крытую один.

Я остался в своей камере, радуясь одиночеству и телогрейке. В ней и в валенках я просидел в камере все лето. Впервые мне не было холодно.

В одиночке тянет философствовать. Я думал о том, как русская национальная идея соотносится с лагерной телогрейкой. Что такая связь есть, было для меня очевидно.

Ода телогрейке

Лучшие умы России думали о путях спасения страны и народа. Они мечтали то о Третьем Риме, то о народе-богоносце, то о социализме, то о еще какой-нибудь глупости. Они искали национальную идею и не видели ее у себя под носом. Надо было только опустить глаза, оторвавшись от созерцания светлых далей, и оглядеть себя и окружающих. Тогда бы они увидели то, без чего народу России в новейшей истории было не выжить, — телогрейку! Народ наш в самые страшные годы лихой истории XX века был одет именно в телогрейку. Ее по привычке причисляют к одежде, но на самом деле это средство национального спасения и инструмент сбережения народа.

Никто точно не знает, когда она появилась и откуда. Говорят, что пришла к нам телогрейка в начале прошлого века из Маньчжурии, после первой Русско-японской войны. Может, и так, но не в этом дело. Она пришла и покорила нашу страну. Ее стали носить все, кому было холодно и неудобно во вздыбленной и перевернутой России. Ее носили рабочие и матросы, солдаты и крестьяне, партизаны и заключенные, геологи и охотники. Она согревала тех, кто коченел в окопах и мерз на лесоповале, работал на улице и вкалывал на великих стройках, ютился в теплотрассах и трудился в артелях, пропадал в плену и партизанил в лесах.

Она была родной для всех, потому что она *грела тело*. Телогрейка спасала народ без различия веры, национальности, идеологии или образования. Она была изначально некрасива, так как была призвана приносить телу только пользу. Она была одинаково добра как к мужчинам, так и к женщинам. Долгое время не было телогреек женских или мужских. Телогрейка — слишком серьезная одежда, чтобы позволить себе такие глупости, как гендерный стиль. Возможно, это была первая унисекс-одежда в нашей стране.

Телогрейку носили в колхозе и на заводе, на фронте и в экспедициях. Но больше всего ее носили, конечно, в лагерях, которых рассеяно было по нашей великой стране несметное количество. Телогрейка без воротника и с нашитой на груди биркой была формой советского заключенного. Бог

с ней, что без воротника и с биркой — главное, что ээку она всегда была самым близким другом. Нет у ээка никого ближе и преданней, чем телогрейка. Она вместе с ним, когда он валит лес или строит дом, сидит в БУРе или рванул в побег, подышает с голода или выходит на волю. Она всегда с ним. Она досконально знает его изможденное ээковское тело, торчащие кости и замерзающие на ледяном ветру пальцы. Она всегда готова услужить ему. В нее можно спрятать нос и щеки, когда темным морозным утром бредешь в колонне по пять на утренний развод. В нее можно укутаться, когда в промерзшем воронке тебя везут на суд или на этап. Ее можно расстелить на деревянных нарах в КПЗ, когда с нетерпением ждешь отправки в тюрьму. Ее легко свернуть под голову, чтобы она стала подушкой, которой можно доверить сладкие сны о свободе и оставшемся на воле счастье.

Телогрейка для ээка — вторая кожа и защита от подстерегающих на каждом шагу опасностей. Она может смягчить удар резиновой дубинкой и хоть немного защитит почки от беспощадных ментовских сапог. Она может погасить удар ножом, когда тебя хотят порезать в беспредельной камере. В телогрейке можно сделать потайной карман и хранить в нем крестик, деньги или крошечную фотографию любимой.

Телогрейку нельзя просто взять и выкинуть, как рваную рубашку или заношенное пальто. Она этого не простит. Освободившийся зэк тихо уберет свою телогрейку подальше в шкаф и не будет тревожить ее без надобности — ведь никто не знает своего будущего.

Когда-нибудь, когда одичавшая наша страна наконец очнется, ужаснувшись своему прошлому, она поставит на какой-нибудь скорбной площади имени всех замученных в ГУЛАГе памятник телогрейке — одежде, которая спасла российский народ от вымирания.

Искушение свободой

Настало странное время. Чем ближе была дата освобождения, тем невероятнее оно казалось. С какой стати они долж-

ны выпустить меня, думал я, расхаживая по своей одиночке в последние месяцы оставшегося по приговору срока. Они не могут просто так вывести меня 26 декабря 1983 года за ворота зоны и сказать: «Ты свободен». Это было бы на них не похоже. Тем более теперь, когда глава КГБ Юрий Андропов стал генсеком и все замерли в ожидании массовых репрессий.

Однажды я столкнулся с Андроповым. Чуть ли не буквально. Это было зимой, кажется, 1978 года. Я вышел из КГБ на улице Дзержинского после допроса, и в подъезде меня ждала Таня Осипова, которая сопровождала меня на всякий случай. Проще говоря, на тот случай, если я оттуда не выйду. Но я вышел, и мы пошли вдоль гранитных стен Большого дома в сторону метро. С нашей стороны улицы совсем не было прохожих, и только характерные люди в штатском стояли на краю тротуара, обеспечивая, таким образом, ненавязчивую охрану. Вероятно, мы вышли из подъезда, оказавшись внутри этого оцепления. Шли мы спокойно и уверенно, как имеющие право. Мы повернули на площадь Дзержинского ровно в тот момент, когда открылась парадная дверь здания и оттуда вышла кучка генералов и людей в штатском, а среди них — в каракулевой шапке пирожком и сером пальто, большой и грузный, в запотевших очках и с вечно обиженным лицом Юрий Андропов. Мы прошли в двух шагах от него, и я видел, как напряглась охрана, но мы не сделали ни одного лишнего движения. Андропов посмотрел на нас мельком, как на что-то малозначительное. Уже миновав его, я тихонько пошутил: «Где же наша граната?»

На посту генсека Андропов времени не терял. Он начал делать то, что положено делать дурному полицейскому, дорвавшемуся до верховной власти. В первую очередь свел счёты с конкурентами из МВД. Затем объявил борьбу с разгильдяйством и бросил все ресурсы страны на укрепление трудовой дисциплины. Правоохранительные органы вылавливали прогульщиков. Милиция проверяла у людей документы на улицах, в магазинах и других общественных местах. Если задержанный не мог доказать, что он сейчас не прогуливает работу, на него составляли протокол. Облавы устраивали даже

в кинотеатрах и банях. Задерживали даже прогуливающих уроки школьников!

Андропов любил жесткие волевые решения. Это касалось не только внутренних проблем. 1 сентября 1983 года советский истребитель сбил над Сахалином ракетой отклонившийся от курса и залетевший в советское воздушное пространство южнокорейский «Боинг-747», летевший из Нью-Йорка в Сеул. Самолет упал в море с высоты девять километров. Погибли все 269 человек — 246 пассажиров и 23 члена экипажа. Юрий Андропов объявил, что советские ВВС сбили американский самолет-разведчик. Это был его, андроповский, стиль — из всех возможных способов решения проблемы он всегда выбирал силовой.

Даже в далекой от политики уголовной нашей зоне известие о южнокорейском «Боинге» произвело тяжкое впечатление. И только некоторые надзиратели и офицеры ходили довольные и радостные: «А чего, пусть знают, как к нам соваться! Пусть боятся!» Менты любят, чтоб их боялись. Если ментов не боятся, то они никто и звать их никак.

Не обделил Юрий Андропов своим вниманием и лагерный мир. С 1 октября вступила в силу новая статья Уголовного кодекса — 188³, с санкциями от 1 до 5 лет лишения свободы за «злостное неповиновение требованиям администрации исправительно-трудового учреждения». Это был подарок ментам. Два нарушения режима в течение года — и материал для нового судебного дела готов. На наших глазах сбывалась известная зэковская хохма.

Встречаются на строгом режиме два зэка.

— Ты за что сидишь?

— Да ни за что.

— Э, врешь: это в первый раз ни за что сажают, а второй раз — за то, что сидел в первый!

Со статьей 188³ все именно так и получалось. Правда, подходили под нее не все статьи Уголовного кодекса, но моя — подходила. В лагерном клубе на общем собрании, которое обычно устраивали перед кино, кум рассказал зэкам о новой статье для нарушителей режима и удовлетворенно сообщил, что под нее попадаю я и еще несколько заключен-

ных. Мне это в тот же день передали. Я понял, что теперь вряд ли удастся выбраться по концу срока. Вот то, чего я ожидал. Не могут они меня отпустить просто так!

Однако скоро выяснилось, что статья вступила в действие с 1 октября, но в отдельном примечании к практике ее применения сообщалось, что три месяца дается на разъяснение этой нормы осужденным. Иначе говоря, применять ее на практике будут только с 1 января 1984-го. А у меня конец срока — 26 декабря 1983-го. На пять дней раньше!

Надежда снова затрепыхалась во мне, хотя я всячески уговаривал себя на освобождение не рассчитывать. Интуиция подсказывала, что не может быть все так просто. Какую-нибудь пакость они обязательно приготовят.

Я не ошибся. Пакость появилась в лагере в виде двух гэбэшников — одного московского, из центрального аппарата КГБ СССР, и одного местного, из КГБ Якутии. Для разговора с ними меня вызвали в штаб колонии и проводили, в шикарный кабинет начальника лагеря. Сам начальник скромно удалился.

Кажется, впервые за последние три с половиной года я сидел в нормальном мягком кресле за нормальным деревянным столом. Это было неплохо. Говорил в основном московский чекист, местный был у него на подхвате. Они не разыгрывали дурацкий спектакль в «плохого и хорошего следователя», наверное, понимая, что со мной это не прокатит.

Московский чекист Волин был уже достаточно хорошо известен диссидентам. Обычно он исполнял роль «плохого следователя» в паре с другим чекистом — Каратаевым, который назначался на роль следователя «хорошего». Поскольку Каратаев был «хорошим», то известно было даже, как его зовут — Булат Базарбаевич. Как Коровьев и Бегемот, эта неугодная парочка, где бы она ни появлялась, чаще всего становилась предвестником беды. Они приезжали беседовать к политзаключенным, вызывали диссидентов на Лубянку, и очень часто результатом этих бесед становился второй срок для одних или эмиграция для других.

Второй срок подряд в те годы был делом обычным. Его получили многие. Состряпать новое дело в лагере или ссылке было нетрудно. Но у меня это был бы уже третий срок под-

ряд, а третий срок давали исключительно редко. С другой стороны, из комплекта «кнут и пряник» ко мне приехал только кнут. Это дурной признак. Так я взвешивал свои шансы на освобождение, сидя в кабинете начальника колонии, пока товарищи чекисты пытались понять, что им писать в своем отчете.

Волин интересовался, насколько изменились мои взгляды и что я намерен делать в будущем. Казалось бы, этот невинный вопрос подталкивает на примирительный ответ: я успокоился и в тюрьме сидеть больше не хочу. После чего стороны, довольные друг другом, ко всеобщему удовольствию расходятся.

На самом деле все ровно наоборот. «Примирительный» ответ открывает торговую сессию, на которой свобода покупается ценой отступничества. И если отступничество не состоялось, а слабость и усталость высказаны, то у чекистов появляются все основания для новой пробы сил — например, еще одного срока или какого-нибудь изощренного шантажа. К сожалению, частенько они добивались от диссидентов обещаний впредь не заниматься «антигосударственной деятельностью». Это было ценой освобождения из лагеря для усталого и надломленного человека. (А через четыре года, когда началась перестройка, они использовали эти приемы по полной программе, и тогда большая часть политзаключенных написала в различных, иногда даже анекдотических формах прошения о помиловании и адресовала их в Верховный Совет. Не написавших освободили через год-полтора уже без всяких прошений.)

Искушение свободой — самое великое из всех искушений. Кажется, пойдешь им на маленькую уступку, хотя бы на словах, и они отвяжутся от тебя, и ты, наконец, свободен. Но если только ты не собираешься с ними сотрудничать, то всякая высказанная слабость может быть использована тебе на погибель.

Обо все этом я думал много раз и теперь легко ответил Волину:

— Тюрьма взглядов не меняет, да и какое вам дело до моих взглядов? Разве меня за них судили?

— Нет, конечно, вас судили за действия, — ответил Волин, — но что вы намерены делать, если вас освободят?

Это «если вас освободят», а не «когда вас освободят», отозвалось во мне гулким и безнадежным эхом. Умеют же они подбирать нужные слова!

— Я бы всегда жил спокойно, если бы вы не мешали мне жить, — ответил я. — Поэтому ничего пообещать вам не могу. К тому же у вас всегда есть возможность посадить меня снова.

Волин удовлетворенно кивнул, а его напарник из местного КГБ даже просиял — им было очень приятно, что я признаю за ними такую возможность.

— Разумеется, Александр Пинхосович, ни о каких письменных обязательствах даже речь не идет, — начал успокаивающим тоном Волин, — но не могли бы вы пообещать хотя бы устно и только нам, что не вернетесь к прежней деятельности?

Они опять давали мне понять, что от моего выбора зависит моя свобода. Но я знал, что они лгали, — им не нужна была свобода для меня, им нужна была победа для них. А какое было искушение поверить их словам! Ведь они тоже люди, отчего бы не поверить в их честность?

Поэтому людям, не уверенным в себе, лучше с ними вообще не разговаривать.

Я отрицательно покачал головой.

Волин сделал еще попытку, скорее формальную, склонить меня к уступчивости и стал рассказывать, что многие политзаключенные ведут себя разумнее. Он называл Болонкина, Романюка*, Ковалева-младшего и сказал, что даже Чорновил освободился условно-досрочно на «химию». Арестованный ими недавно Шиханович ведет себя, по его словам, очень правильно и сотрудничает со следствием, а Сергей Ходорович — нет, и теперь его судят. В заключение Волин констатировал, что взгляды мои, как он теперь видит, к сожалению, не изменились.

Вся беседа заняла не более часа. Мы расстались, слава богу, ни о чем не договорившись.

* Василий Емельянович Романюк (1925–1995) — православный священник, участник Организации украинских националистов, член Украинской хельсинкской группы, политзаключенный.

О том, что ко мне приезжало московское начальство, ментально узнала вся зона и ПКТ, разумеется, тоже. Все обсуждали это событие, и в ПКТ сошлись на том, что меня раскрутят на новый срок. Даже прикидывали, куда меня пошлют, и решили, что скорее всего на Дальний Восток. В Якутии точно не оставят.

Я написал домой письмо, рассказал о беседе с КГБ. Я просил Алку, если она приедет меня встречать, привезти с собой пятикилограммовую передачу для СИЗО. Свои шансы на освобождение я считал ничтожными.

У Алки же, наоборот, появились новые надежды. За месяц до окончания моего срока она обнаружила в потолке нашего дома только что поставленные подслушки. Она обрадовалась и ходила страшно довольная — значит, готовятся к моему приезду. Редкий случай, когда жучки могут доставить столько удовольствия!

Последнюю ночь в своей камере я долго не мог уснуть. Что бы ни случилось дальше, было невероятно, что этот день наступил.

Утром я с удовольствием съел свою баланду и стал ждать, как обычно прогуливаясь по камере. Семь шагов туда — семь обратно. Время замедлилось. Освободить должны не позже полудня, но было уже одиннадцать часов, а за мной никто не приходил.

Наконец в начале двенадцатого дверь открылась и мне велели выходить «с вещами». Все было давно собрано, и я вышел, но пошел не к выходу, а в противоположную сторону, по коридору ПКТ, открывая кормушку каждой камеры. Я попрощался с каждым за руку, мне желали удачи и просили написать из тюрьмы, если раскручусь на новый срок. Я обещал. Надзиратель и корпусной стояли и терпеливо ждали, пока я нагло нарушал тюремный режим. Они никогда не ссорились с освобождающимися — любой освобожденный зэк мог встретить их тем же вечером на улице и свести счеты. Поэтому они были благоразумны и терпеливы.

Корпусной сказал мне, чтобы я забрал в каптерке своего отряда личные вещи и затем шел на вахту. В отряде было полно народу, в основном незнакомого мне, но это было неважно.

но — все хотели принять участие в проводах. Мы сели чиффрить и говорить за жизнь. Всем было интересно поговорить со мной и просто посмотреть на человека, который уже через час будет на свободе. Я, правда, в этом уверен не был. Поэтому давно прошел полдень, а я все сидел в отряде и никуда не спешил.

В конце концов, шныри доложили, что ментовской наряд бегают по зоне и ищут меня. Вскоре они появились, и я, попросившись со всеми, пошел с ними на вахту. По дороге надзиратель по прозвищу Красноштан признался, что они бы не спешили и не искали меня, если бы не конвой, который приехал за мной из Якутской тюрьмы. Я только тяжело вздохнул. Я ведь в глубине души чувствовал, что все так и будет. Надеяться было не на что. С самого начала.

На вахте тем не менее мне отдали изъятые при аресте наручные часы, какие-то небольшие деньги и зажигалку, а главное — выдали справку об освобождении. Ничего не понимая, я вопросительно посмотрел на Красноштана. «Я пошутил, — сказал он, — тебя освобождают».

Я даже не рассердился на него, мне было не до того. У меня чуть не закружилась голова от нереальности происходящего. Открывались и снова закрывались за мной бесчисленные решетки и двери, и, наконец, в сопровождении офицера культурно-воспитательной части я вышел на улицу.

Я оглянулся. На морозной заснеженной улице никого не было. Меня никто не ждал. Только милицейский газик с работающим двигателем стоял около вахты. «Неужели Зинаида Михайловна из Нью-Йорка опять распорядилась, чтобы меня никто не встречал?» — подумал я.

«Здесь ходит автобус до города, — сказал мне офицер, — но мне приказано доставить вас в аэропорт». Я не возражал. Мы поехали на ожидавшем нас милицейском газике. Через полчаса мы были в аэропорту. Офицер вручил мне под расписку билет на ближайший рейс до Москвы и пожелал счастливого пути.

Через пару часов я сидел в мягком кресле теплого салона большого широкофюзеляжного самолета. Пассажиры косились на мою телогрейку со следами оторванной бирки, но

мне было все равно. Меня захватило ощущение сбывающегося чуда. Лайнер взревел двигателями, разогнался и оторвался от взлетной полосы. Я смотрел в иллюминатор на остающуюся внизу Якутию, и в унисон с ревушими двигателями самолета пела моя душа. Я выжил. Я вырвался. Я лечу домой.

Литературно-художественное издание

18+

Александр Подрабинек

ДИССИДЕНТЫ

Заведующая редакцией *Елена Шубина*
Литературный редактор *Галина Беляева*
Выпускающий редактор *Полина Потехина*
Технический редактор *Ольга Серкина*
Корректоры *Ирина Волохова, Надежда Власенко*
Компьютерная верстка *Елены Илюшиной*

Подписано в печать 20.12.13. Формат 60х90/16
Усл. печ. л. 30. Тираж 3000 экз. Заказ № 7149/14

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»
129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, стр. 3, комн. 5



<http://facebook.com/shubinabooks>



<http://vk.com/shubinabooks>

Отпечатано в соответствии с предоставленными
материалами в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546,
Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс №3А, www.pareto-print.ru

Издательство АСТ представляет:

Виктор Кондырев
ВСЁ НА СВЕТЕ,
КРОМЕ ШИЛА И ГВОЗДЯ

Воспоминания о Викторе Платоновиче Некрасове
Киев–Париж
1972–87 гг



Виктор Некрасов (1911–1987), автор повести «В окопах Сталинграда», ещё при жизни стал легендарной фигурой.

Боевой офицер, замечательный писатель, дворянин, преданный друг, гуляка, мушкетер, наконец, просто свободный человек; «его шарм стал притчей во языцех, а добропорядочность вошла в поговорку» – именно такой портрет Виктора Некрасова рисует в своей книге Виктор Кондырев, пасынок писателя, очень близкий ему человек.

Лилианна и Семен Лунгины, Гелий Снегирев, Геннадий Шпаликов, Булат Окуджава, Наум Коржавин, Александр Галич, Анатолий Гладилин, Владимир Максимов, эмигранты первой волны, известные и не очень люди – ближний круг Некрасова в Киеве, Москве, Париже. Все они герои этой книги, иллюстрированной уникальными фотографиями из личного архива автора.

Издательство АСТ представляет:

Бенедикт Сарнов

КРАСНЫЕ БОКАЛЫ.

Булат Окуджава и другие



Книга Бенедикта Сарнова «Красные бокалы. Булат Окуджава и другие» была задумана автором как одна из глав третьего тома воспоминаний («Скуки не было»), над которым он сейчас работает. Но по ходу дела так разрослась, что превратилась в отдельную книгу.

«Красные бокалы» — картина Бориса Биргера, запечатлевшего своих близких друзей, многие из которых были участниками описанных событий.

Бенедикт Сарнов создает свой групповой портрет: центральный персонаж — Булат Окуджава, «другие» — Наум Коржавин, Виктор Некрасов, Владимир Войнович, Фазиль Искандер, Андрей Синявский, Юлий Даниэль, Владимир Максимов. Люди, сыгравшие важную роль в жизни автора. С некоторыми из них отношения складывались не просто, что придает сюжету особый драматизм.



Александр Подрабинек родился в 1953 году в Москве, по образованию медик. С начала 1970-х активный участник правозащитного движения.

Автор книги «Карательная медицина» (1979, США).

В 1978-м арестован и сослан, в 1980-м снова арестован и приговорен к 3,5 годам лагерей.

Главный редактор правозащитной газеты «Экспресс-Хроника» (1987–2000), соучредитель Независимой психиатрической ассоциации.

В новом веке глава российского отделения Фонда гражданских свобод, журналист, регулярно публикуется в интернет-изданиях.

ISBN 978-5-17-082401-4



9 785170 824014

www.ast.ru